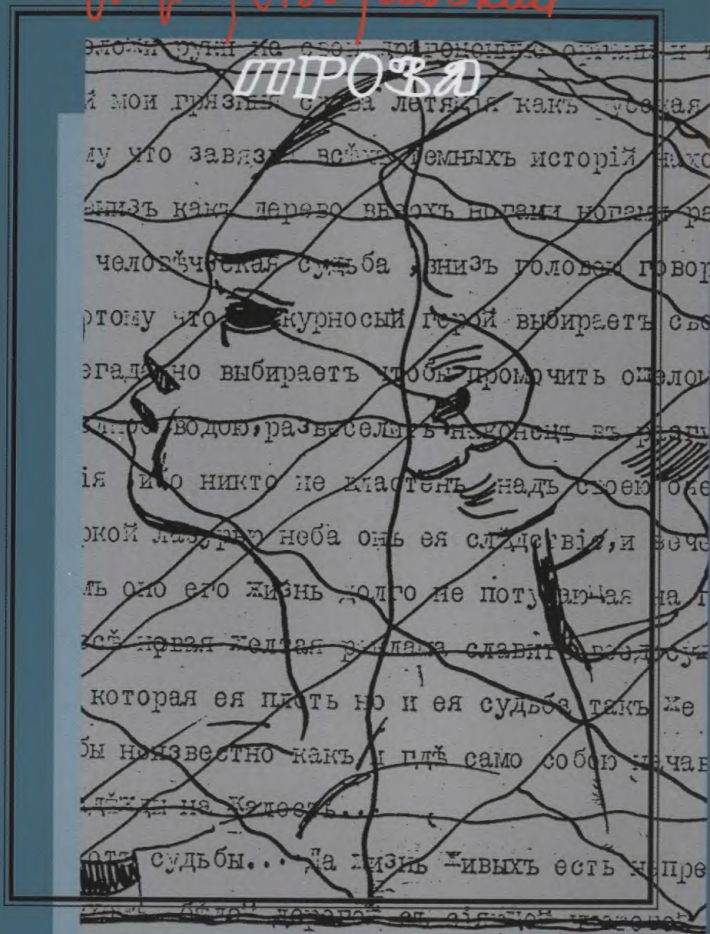


Борис Поплавский

Борис Поплавский

Борис Поплавский

2



ПРОЗА

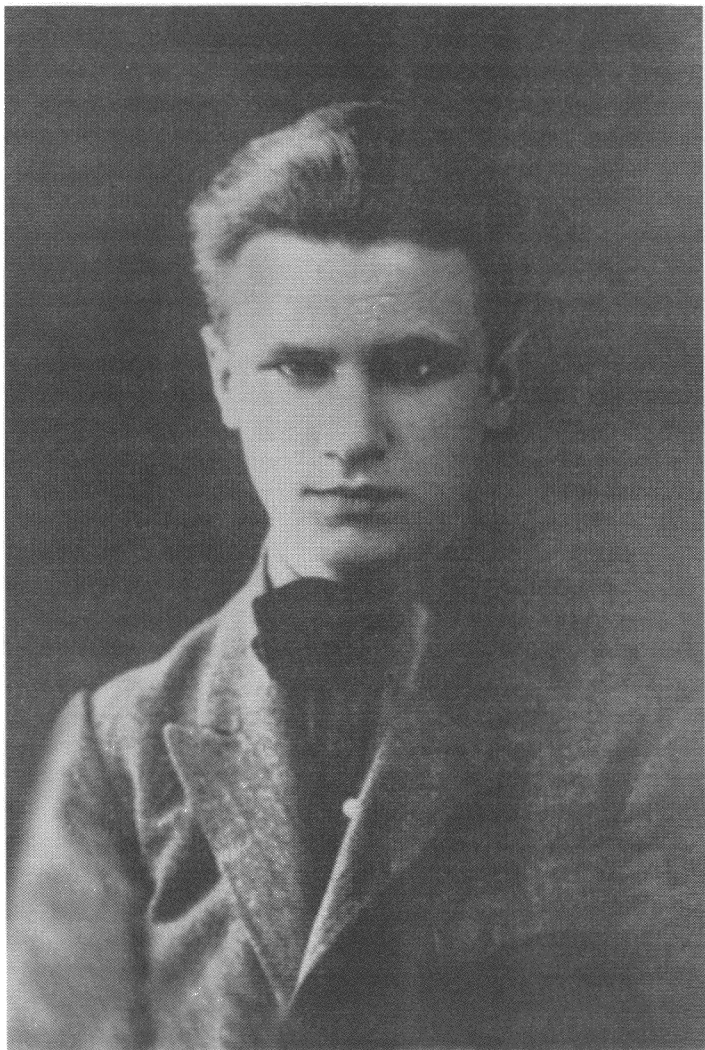
Борис Поплавский

Борис Поплавский

2

Борис Поплавский

Собрание сочинений в трех томах



Борис Пастернак

Борис Поплавский

Том второй

ПРОЗА

АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ

ДОМОЙ С НЕБЕС



Москва «Согласие» 2000

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
П57

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, КОММЕНТАРИИ
А.Н.Богословского, Е.Менегальдо

РЕДАКТОР
В.П.Кочетов

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
С.А.Стулова

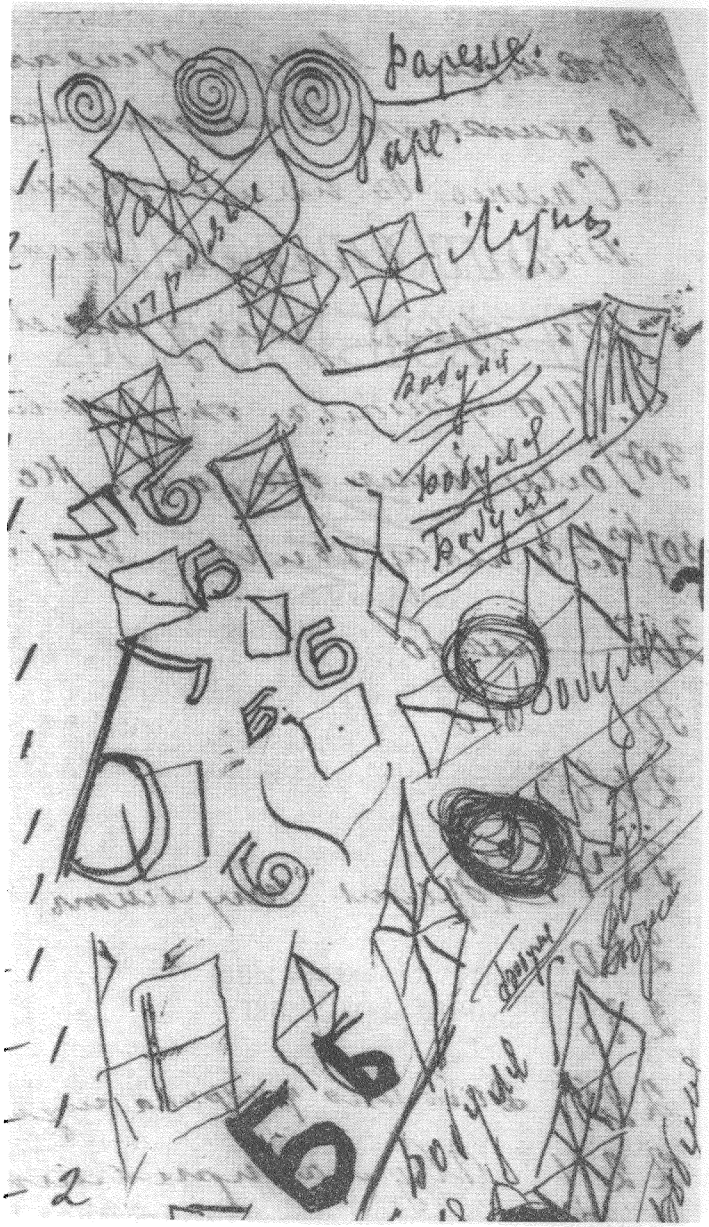
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «СОГЛАСИЕ»
В.В.Михальский

ISBN 5-86884-057-7 (Т. 2)
ISBN 5-86884-055-0

© ЗАО «Согласие», 2000
© А.Н.Богословский, Е.Менегальдо. Подготовка текста, комментарии, 2000
© С.А.Стулов. Художественное оформление, 2000

АПОЛЛОН
БЕЗОБРАЗОВ





ГЛАВА I

Oiseau enferme dans son vol, il n'a jamais
connu la terre, il n'a jamais eu d'ombre.

*Paul Eluard*¹



ел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел; он то медленно падал, как снег, то стремительно пролетал светло-серыми волнами, теснясь на блестящем асфальте. Он шел также на крышах и на карнизах, и на впадинах крыш, он залетал в малейшие изубрины стен и долго летел на дно закрытых внутренних дворов, о существовании коих не знали многие обитатели дома. Он шел, как идет человек по снегу, величественно и однообразно. Он то опускался, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей.

Под тентами магазинов создавался род близости мокрых людей. Они почти дружески переглядывались, но дождь предательски затихал, и они расставались.

Дождь шел также в общественные сады и над пригородами, и там, где предместье кончалось и начиналось настоящее поле, хотя это было где-то невероятно далеко, куда, сколько ни пытайся, никогда не доедешь.

Казалось, он идет над всем миром, что все улицы и всех прохожих соединяет он своею серою солоноватой тканью.

¹ Как замкнутая в своем полете птица, он никогда не касался земли, не бросал на нее свою тень. *Поль Элюар (фр.)*.

Лошади были покрыты потемневшими одеяниями, и, в точности, как в Древнем Риме, шли нищие, покрывши головы мешками.

На маленьких улицах ручьи смывали автобусные билеты и мандаринные корки.

Но дождь шел также на флаги дворцов и на Эйфелевой башне.

Казалось, грубая красота мироздания растворяется и тает в нем, как во времени.

Периоды его учащения равномерно повторялись, он длился и пребывал, и казался самой его тканью.

Но если очень долго и неподвижно смотреть на обои в своей комнате или на соседнюю голубоватую стену на той стороне двора, вдруг отдаешь себе отчет, что в какой-то неуловимый момент к дождю примешиваются сумерки, и мир, размытый дождем, с удвоенной быстротой погружается и исчезает в них.

Все меняется в комнате на высоком этаже, бледно-желтое закатное освещение вдруг гаснет, и в ней делается почти совершенно темно.

Но вот снова край неба освобождается от туч, и новые белые сумерки озаряют комнату.

Тем временем часы идут, и служащие возвращаются из своих контор, далеко внизу зажигаются фонари, и на потолке призрачно появляется их отражение.

И еще дальше идет, и безнадежно теряется время.

Огромные города продолжают всасывать и выдыхать человеческую пыль. Происходят бесчисленные встречи взглядов, причем всегда одни из них стараются победить или сдаются, потупляются, скользят мимо. Никто не решается ни к кому подойти, и тысячи мечтаний расходятся в разные стороны.

Тем временем меняются времена года, и на крышах распускается весна. Высоко-высоко над улицей она греет розовые квадраты труб и нежные серые металлические поверхности, к которым так хорошо прильнуть в полном одиночестве и закрыть глаза или, примостившись, читать запрещенные родителями книги.

Высоко над миром во мраке ночей на крыши падает снег. Он сперва еле видим, он накапливается, он ровно и однообразно присутствует. Темнеет и тает. Он исчезнет, никогда не виденный человеком.

Потом, почти вровень со снегом, вдруг неожиданно и без переходов приходит лето.

Огромное и лазурное, оно величественно раскрывается и повисает над флагами общественных зданий, над мясистой зеленью бульваров и над пылью и трогательным безвкусием загородных дач.

Но в промежутках бывают еще какие-то странные дни, прозрачные и неясные, полные облаков и голосов; они как-то по-особенному сияют и долго-долго гаснут на розовой штукатурке маленьких отдаленных домов. А трамваи как-то особенно и протяжно звонят, и пахнут акации тяжелым сладким трупным запахом.

Как огромно лето в опустевших городах, где все полузакрыто и люди медленно движутся как бы в воде. Как прекрасны и пусты небеса над ними, похожие на небеса скалистых гор, дышащие пылью и безнадежностью.

Обливаясь потом, вниз головою, почти без сознания спускался я по огромной реке парижского лета.

Я разгружал вагоны, следил за мчащимися шестернями станков, истерическим движением опускал в кипящую воду сотни и сотни грязных ресторанных тарелок. По воскресеньям я спал на бруствере фортификации в дешевом новом костюме и в желтых ботинках неприличного цвета. После этого я просто спал на скамейках и днем, когда знакомые уходили на работу, на их смятых отельных кроватях в глубине серых и жарких туберкулезных комнат.

Я тщательно брился и причесывался, как все нищие. В библиотеках я читал научные книги в дешевых изданиях с идиотическими подчеркиваниями и замечаниями на полях. Я писал стихи и читал их соседям по комнатам, которые пили зеленое, как газовый свет, дешевое вино и пели фальшивыми голоса-

ми, но с нескрываемой болью, русские песни, слов которых они почти не помнили. После этого они рассказывали анекдоты и хохотали в папиросном тумане.

Я недавно приехал и только что расстался с семьей. Я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как накожную болезнь.

Я странствовал по городу и по знакомым. Тотчас же раскаиваясь в своем приходе, но оставаясь, я с унижительной вежливостью поддерживал бесконечные, вялые и скучные заграничные разговоры, прерываемые вздохами и чаепитием из плохо вымытой посуды.

— Почему они все перестали чистить зубы и ходить прямо, эти люди с пожелтевшими лицами? — смеялся Аполлон Безобразов над эмигрантами.

Волоча ноги, я ушел от родных; волоча мысли, я ушел от Бога, от достоинства и от свободы; волоча дни, я дожил до 24 лет.

В те годы платье на мне само собою мялось и оседало, пепел и крошки табаку покрывали его. Я редко мылся и любил спать, не раздеваясь. Я жил в сумерках. В сумерках я просыпался на чужой перемятой кровати. Пил воду из стакана, пахнувшего мылом, и долго смотрел на улицу, затягиваясь окурком брошенной хозяином папиросы.

Потом я одевался, долго и сокрушенно рассматривая подошвы своих сапог, выворачивая воротничок наизнанку, и тщательно расчесывал пробор — особое кокетство нищих, пытающихся показать этим и другими жалкими жестами, что-де ничего-де не случилось.

Потом, крадучись, я выходил на улицу в тот необыкновенный час, когда огромная летняя заря еще горит, не сгорая, а фонари уже желтыми рядами, как некая огромная процессия, провожают умирающий день.

Но что, собственно, произошло в метафизическом плане от того, что у миллиона человек отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин Нидерландской школы малоизвестных авторов, несомненно, поддельных, а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек восстает совершенно опозоренный? «Разве не прелестны, — говорил Аполлон Безобразов, — и все эти помятые и выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязно-серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных и полысевших головах. И робкие розовые отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли (Ахиллесова пята), и отсутствие перчаток, и нежная засаленность галстуков».

Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был бы лысоват и что под ногтями у него были бы черные каемки?

Но я не понимал всего этого тогда. Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то зловеще-христианской гордостью начинал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге.

Но, особенно летом, мне уже чаще становилось все равно. Я ел хлеб прямо на улице, не стряхивая даже с себя крошек.

Я читал подобранные с пола газеты.

Я гордо выступал с широко расстегнутою, узкою и безволосою грудью и смотрел на проходящих отсутствующим и сонливым взглядом, похожим на превосходство.

Мое летнее счастье освобождалось от всякой надежды, но я постепенно начинал находить, что эта без-

надежность сладка и гражданская смерть весьма обитаема и что в ней есть иногда некое горькое и прямо-таки античное величие.

Я начинал принимать античные позы, т.е. позы слабых и узкоплечих философов-стоиков, паразительные, вероятно, по своей откровенности благодаря особенностям римской одежды, не скрывающей телосложения.

«Стоики тоже плохо брились, — думал я, — только что мылись хорошо».

И раз я, правда, ночью, прямо с набережной, голый, купался в Сене.

Но все это мне тяжело давалось.

Душа моя искала чьего-то присутствия, которое окончательно освободит меня от стыда, от надежды и от страха, и душа нашла его.

Тогда начался некий зловещий нищий рай, приведший меня и еще нескольких к безумному страху потерять то подземное черное солнце, которое, как бесплодный Сэт, освещало его. Моя слабая душа искала защиты. Она искала скалы, в тени которой можно было бы оглядеться на пыльный, солнечный и безнадежный мир. И заснуть в тени ее в солнечной глуши, с безумной благодарностью к нагретому солнцем камню, который ничего и не знает о вашем существовании...

Именно такой человек появился, для которого прошлого не было, который презирал будущее и всегда стоял лицом к какому-то раскаленному солнцем пейзажу, где ничего не двигалось, все спало, все грезило, все видело себя во сне спящим.

Аполлон Безобразов был весь в настоящем. Оно было, как золотое колесо без верха и без низа, вращающееся впустую от совершенства мира, сверх программы и бесплатно, на котором стоял кто-то невидимый, восхищенный от мира своим ужасающим счастьем.

Все каменело в его присутствии, как будто он был Медузой.

Огромным, раскаленным, каменным пейзажем казался мир, одним из тех пейзажей Атласских гор, напоминающих ад, над которыми по воздуху пронесился Симон-волхв. Но он не был жесток. Малейшие травы могли расти в его присутствии и птицы сидеть на его руках, настолько он отсутствовал. А он был где-то далеко-далеко, по ту сторону рассветов и закатов, где и время и вечность, и день и ночь, Озирис и Сэт, и все живые и все умершие, и все грядущие, и все надежды, и все голоса присутствуют вместе и никогда не расстаются, и никогда не смолкают и откуда со слезами на глазах нисходят в жизнь.

Так иногда путешествуешь по городу, как по девственному лесу. Перейдя через сотню трамвайных линий, остановившись на множестве углов, я подошел к реке, отошел от нее и вновь возвратился к ней. Солнце заходило над сожженными им коричневыми деревьями набережной, над мягкими лиловыми асфальтами и над душами людей, доверху полными теплой и смутной, прекрасной и безнадежной усталостью городского леса. На оранжевой воде, на маленькой лодке у самой набережной неподвижно сидела человеческая фигурка, казавшаяся с этого моста совершенно маленькой. Не знаю, сколько времени я стоял на мосту, но каждый раз, когда я поворачивал глаза в ее сторону, фигурка продолжала неподвижно сидеть, не поворачиваясь и не меняя позы, с беспечностью и настойчивостью, показавшимися мне сперва бесполезными, затем нелепыми и, наконец, прямо-таки вызывающими.

«Все рыбаки — мечтатели», — подумал я, но этот человек даже не был рыбаком и, следовательно, не имел никакого оправдания своей вызывающей неподвижности. Наконец, после, вероятно, целого часа терпеливого издевательства, мне вдруг захотелось спуститься вниз и заставить этого человека подняться или повернуться, или, наконец, просто показать

ему взглядом, что он не имеет никакого права на такое поведение. Кроме права совершенно тупого или, наконец, просто спящего человека, или просто права нищих, которые иногда с поразительной физической выдержкой в невероятно неудобных позах костенеют на скамейках общественных садов. Наконец, потеряв всякое терпение, я спустился вниз, неловко, как заговорщик, шагая по крупным камням, подошел к плоскодонной лодке, в которой на железной цепи и на аршин от берега уже, вероятно, несколько часов уплывал, оставаясь на месте, загадочный человек. Сперва я с притворной скромностью прошел мимо него, но затем, видя, что он не обращает на меня никакого внимания, прямо-таки в отчаянии я остановился перед самой лодкой и уставился в его необыкновенно волевой профиль — смесь нежности и грубости, красоты и безобразия.

На первый взгляд, этот профиль имел почти комическое выражение, но в нем было что-то, что совершенно отбивало всякую охоту смеяться даже заядлому шутнику. Было совершенно очевидно, что человек этот давно заметил меня. Он даже колебался одну минуту, не повернуть ли ему голову в мою сторону, но потом решился с очаровательным консерватизмом продолжать рассматривать пышно разметавшиеся по небу огненные волосы утопающего солнца. Его гладко выбритое лицо казалось выбитым из меди, и глаза имели то особое, но, скорее, женщинам свойственное выражение, которое появляется у светских людей, когда они отлично видят что-нибудь, но, еще лучше, не замечают. Наконец, я отступил два шага назад и с необыкновенной легкостью истерического припадка прыгнул в лодку. Этот странный поступок объясняется тем, что уже несколько минут вообще все было очень странно, все плыло по открытому морю необычайности, но необычайности как бы самодвижущейся, саморазвивающейся, необыкновенности снов и самых важных событий царства воспоминаний, тоже случившихся как бы сами собой, тоже

несомых каким-то попутным ветром предопределения, рока и смерти.

Сидящий неподвижно слегка улыбнулся, как будто ждал этого, но продолжал сидеть, едва-едва скользнув по мне ничего не выражающим взглядом людей, охотно, но иронически приглашающих сесть. Теперь лицо его было отчетливо видно, все озаренное великолепным угасанием остывающего неба. Лицо это было так обыкновенно и, вместе с тем, так странно, так банально и, вместе с тем, так замечательно, что я на очень долгое время как бы погрузился в него, хотя оно было непроницаемо, даже вдруг успокоившись от удивления. Я совершенно забыл необычайный способ моего появления в лодке.

Под умело сдвинутой набекрень серой фуражкой, как бы перелетевшей сюда из фокс-фильмы, изображающей жизнь подонков Нью-Йорка, ровно, твердо и даже добродушно смотрели небольшие широко расставленные голубые глаза, которые имели ту особенность, отчетливо осознанную мною значительно позже и чрезвычайно редко встречающуюся среди европейцев особенность, состоящую в том, что они ровно ничего не выражали. Поэтому-то я с первого раза приписал им добродушие, ибо приписывать им можно было решительно все. Не дай Бог вам, милый читатель, встретиться когда-нибудь с таким добродушием, ибо добродушие Аполлона Безобразова именно, может быть, и было самою страшною его особенностью.

Наконец, этот человек переменял свою удобную позу на другую, очевидно, еще более удобную, которую мне, вероятно, пришлось бы искать целый час, после чего я не усидел бы в ней больше пяти минут. Он облокотился на левый локоть и правой рукой вытащил пакет с желтыми папиросами и плоские спички. Потом закурил и выбросил спичку за борт, соблюдая при этом такую экономию в движениях и такую художественную простоту их, что я, в глубине души начинавший робеть, в верхних слоях ее вновь изобразил сильнейший гнев.

Тогда Аполлон Безобразов отвел глаза от холодящего неба и насмешливо посмотрел на меня. Глаза его отнюдь не были похожи на глаза гипнотизера, они не блестели ни загадочно, ни томно, они не темнели, а ровно поворачивались вместе с лицом не как живые существа, а, скорее, как толстые чечевицы красивых ацетиленовых ламп на башнях маяков. Но глаза эти отнюдь не были стеклянными, скорее, прозрачность их была чем-то замутнена, как это бывает у европейцев, долго живших под тропиками, или у курильщиков опиума; но эти глаза отнюдь не были сонными, они не спали и не бодрствовали. Это были обыкновенные глаза, совершенно ничего не выражавшие. Это были глаза совершенно особенные, которым я никогда не видел подобных.

Теперь Аполлон Безобразов смотрел на меня довольно долго, и, очевидно, это разглядывание имело свои фазы, постепенно отменявшие одна другую. Вероятно, образ мой проходил через тень и свет. Многие профессии и мирозерцания примеривались к нему и не прививались, потому что Аполлон Безобразов, никогда не ошибавшийся в людях, любил колебаться, любил одновременно утверждать и отрицать, любил долго сохранять противоречивые суждения о человеке, пока вдруг, подобно внезапному процессу кристаллизации, из темной лаборатории его души не выходило отчетливое и замкнутое суждение, содержащее в себе также и момент доказательства, которое потом и оставалось за человеком неотторжимо, как проказа или след огнестрельной раны. В этом сказывалась какая-то особенная, чисто интеллектуальная мораль его или, вернее, чрезвычайно моральное отношение к своим мыслям, как будто они были живые существа, относительно которых он оставался совершенно пассивен, как бы не желая ничем форсировать их развития.

— Что вы скажете об Н.? — спросил я его однажды об одном человеке, который давно нам надоел и, на-

конец, умер и уже, несомненно, ничего не мог прибавить к комплексу воспоминаний, связанных с ним.

— Я ничего не могу сказать о нем, но жду, — ответил он, говоря о себе, как будто о реке или водопаде, по которому что-то должно было откуда-то проплыть.

Но обо всех этих превращениях моего для него бытия я догадался только значительно позже, когда заметил, что Аполлон Безобразов обращается со мной, как будто я и вправду был одновременно и дураком и умным, и слабым и сильным, и нежно интересующим его и далеким от него бесконечно. В тот же памятный день или, вернее, вечер это разглядыванье показалось мне совершенно бесполезным, как разглядыванье узоров на обоях, и потому оскорбительным, настолько взгляд Аполлона Безобразова был неизменен, прост и величественно банален, как взгляд Джиоконды или стеклянных глаз в витринах оптиков. Казалось, этим взглядом нельзя было извлечь решительно ничего из бытия, хотя, в сущности, Аполлон Безобразов совершенно не слушал своих собеседников, а только догадывался о скрытом значении их слов по незаметным движениям их рук, ресниц, колен и ступней и, таким образом, безошибочно доходил до того, что, собственно, собеседник хотел сказать, или, вернее, того, что он хотел скрыть.

Но, в сущности, взгляд Аполлона Безобразова даже не был оскорбительным, он не удостаивал давать нам права оскорбляться, он ровно скользил и пребывал одновременно, он покоился и был несмываем, как отблеск из окна. Потом Аполлон Безобразов вдруг медленно встал и жестом Ксеркса, приказывающего выпороть море, бросил наполовину выкуренную папиросу в воду, потом тем же красивым и экономным способом, которым он все делал, снял и опять надел фуражку на самые глаза и приготовился выпрыгнуть из лодки, но раздумал и, потянув ее за цепь, спокойно сошел с нее с несколько даже стариковским приседанием на одну ногу.

У Аполлона Безобразова были неширокие, но совершенно прямо поставленные плечи греческих юношей и необыкновенно узкие бедра, придававшие его фигуре вид египетского барельефа или американского матроса. Он был довольно хороший легкий атлет, и все его тело было как бы выточенным из желтоватого апельсинового дерева, хотя он вовсе не имел вида сильного человека.

Тогда я тоже неловко спрыгнул с лодки (почему-то вдруг он сошел, а я спрыгнул) и пошел за ним, твердо решив не отставать от этого человека ни на шаг, пока он со мной не подерется или не примет меня в свой круг, потому что вокруг него всегда присутствовал как бы невидимый, правильный, но непроницаемый круг, даже для тех, кого он держал в своих объятиях или ударял по лицу, хотя я заметил, что в разговоре с самыми простыми людьми — матросами, цирковыми акробатами или женщинами — этот круг вдруг исчезал, хотя, может быть, именно потому, что для них этот круг и не существовал, и он становился почти сердечным, ибо Аполлон Безобразов по мере сил и лени всегда старался скрыть свою профессию и образование и прямо-таки сердился и отстранялся от человека, который, долго просчитав его за приятного и недалекого человека, вдруг изменял о нем свое мнение, изучая для этого и художественно подражая мелким движениям очень простых людей, их способу надевать шляпу, здороваться и закуривать. «Ведь пришел же Христос инкогнито, — говорил он иногда, — и уж, наверно, не постыдно нам, простым смертным, защищаться от тех невежливых и безвкусно требовательных взглядов, которые мы кидаем на заведомо умного человека, в нашем присутствии не вмещающегося в оживленный спор». И Аполлон Безобразов легко пошел вперед, но вдруг повернулся и, насупившись, вернулся обратно к лодке. В этой лодке мы просидели еще около часу, в который моя уста-

лость, скука, чувство соперничества, желание уйти и остаться, желание осмеять Аполлона Безобразова и, наконец, почти броситься на него с кулаками дошли до такой степени, что этот момент по своей мучительной остроте незабываем для меня. Но Аполлону Безобразову, как видно, что-то нужно было додумать, дочувствовать, и он совершенно забыл обо мне, всецело погрузившись в интеллигибельное созерцание воды и неба, которые непрестанно изменялись, зеленели и голубели, багровели и оставались теми же.

Вдоль набережной медленно, как траурные иллюминации под дождем, загорались зеленые газовые фонари. Там проплывали автомобили и шумели грузовики, и пыльные деревья раскачивались в такт визгливой и отдаленной музыке. Была ночь 14 июля, и где-то уже хлопали шутихи и визжали дети, а над рекой восходила луна, и, может быть, именно ее-то и ждал Аполлон Безобразов. Огромная, мутно-оранжевая, как солнце, наконец покоренное земным притяжением, как пьяное солнце, как лживое солнце, смотрела она своим единственным и еще теплым глазом без зрачка, своей гигантской тяжестью подавляя теплую железную крышу и дальние низкие острова. Потом она поднялась немного выше и просветлела и, как дрожащие руки проснувшегося от припадка, протянула к нам по воде белую линию отражения.

А тем временем с противоположной стороны тихо захлопали отдаленные выстрелы ракет, и низкорослыми кустами стала вырастать и падать, зажигаться и тухнуть фантастическая растительность фейерверков. Тихо поднимались они над рекой, лопались и отцветали, оставляя за собой в воздухе серые сгоревшие двойники. Наконец, раздался последний взрыв, беспорядочный, как расставание человека со сном, и уже ясно стало слышно пение труб и скрипок, взвизгиванье кларнетов и частый, как похоронный звон, удар цимбал. Теперь небо было синим, вода черной, луна белой, а наши лица темно-серыми. Аполлон

Безобразов вдруг взмахнул в воздухе руками, как будто выплывая из чего-то, затем это движение перешло в умелое потягивание приятно уставшего человека, и мы встали, спустились с лодки и поднялись на мост.

Так, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, подобно Данте и Вергилию, подобно двум врагам, подобно двум приятелям, подобно двум банальным прохожим, шли мы по безлюдным улицам, по безлюдным площадям и бульварам, пока вдруг не попадали в толпу танцующих, толпу оголтелых и порозовевших, которые, разлетевшись в минуту прекращения музыки, с полуоткрытым ртом смотрели на нас, как бы ища подтверждения чему-то, предположим, тому, что сегодня праздник и все хорошо, и, не найдя его, тотчас же отворачивались прочь. По мере углубления в ночь музыканты становились все красней и веселей, будто бы толстели на глазах. Они пили пиво, отдуваясь и проливая его. Они надувались и продолжали играть с невероятным напряжением и такую же выносливостью. Казалось, лошадь заплакала бы от усталости и отошла бы, отмахиваясь, но они все продолжали играть, хотя казались уже готовыми умереть. Иногда происходила война между двумя оркестрами, старающимися переиграть друг друга: в одном были тромбон и саксофоны, в другом были однообразные старики, старавшиеся как можно больше шуметь; конечно, первые побеждали.

Скоро мы подошли к бульвару Сен-Мишель, поднялись по нему и, как два заговорщика, стали подходить к кварталу Монпарнас, где интернациональная богема, почти сплошь состоящая из людей, презирающих Францию, больше всех шумит и веселится в день 14 июля. Но Аполлон Безобразов и я давно привыкли к зрелищу и, найдя облитый пивом столик на самой окраине танцующих, уселись, как свои люди, смотреть на чужие танцы.

Тогда Аполлон Безобразов подозвал лакея, и лакей неожиданно повиновался, и заказал ему просто-

го белого вина, которое неизменно и продолжал пить в течение всей этой короткой летней ночи.

Пил он очень много, не щурясь и не моргая, по-видимому, быстро пьянея. В одиннадцать часов ночи он казался совершенно пьяным, около часу, как будто бы, снова трезв, а в два часа даже глаза его порозовели от алкоголя, и он, стараясь попасть не в такт музыке, медленно махал в воздухе своей красной рукой и не замечал этого. Тогда, когда я счел его совершенно пьяным, я, чтобы осмеять его, неожиданно спросил:

— Сколько вам лет?

Тогда он вдруг моментально остановил свою руку, на что, казалось, был совершенно неспособен, и совершенно отчетливо и равнодушно произнес:

— Столько же, сколько и вам.

Сказав это, он опять принялся махать рукой и опять не в такт музыке. Очевидно, ему было приятно махать именно не в такт, хотя это было очень трудно, потому что в поздний час этой душной ночи, казалось, даже дома и деревья размякали от музыки и от сладострастия и, как сплошной разноцветный студень, медленно вибрировали вместе с людьми в такт величественно-пошлой музыке оркестров.

Казалось, даже теплый асфальт подымался и опускался от ее прикосновения, и, очевидно, только один Аполлон Безобразов еще защищался от нее, но и он вдруг остановил руку, и встал, и на мягких, точно резиновых, ногах прошел между танцующими и затерялся во тьме. Через пять минут он вернулся с целой компанией, которая хлопала его по плечу, галдела и пела, — очевидно, со своей компанией, которую он в точности знал, где найти.

Меня тоже тотчас же стали хлопать по плечу и чуть ли не целовать пьяными губами, на которых прилипли коричневые крошки табаку.

Они все вместе стали петь грубо и очень весело, хотя песни были очень нежные и очень грустные. Потом Аполлон Безобразов заспорил с бледным семнадцатилетним юношей, носящим готовое платье, с

неуместной и беспомощно-нежной улыбкой на полных губах, о том, кто из них перепрыгнет через большее количество стульев. Они поставили по одному и по два стула посредине мостовой, и оба перепрыгнули препятствие, потом они поставили три стула, и Аполлон Безобразов перепрыгнул, а юноша этот в конце прыжка сел на землю и больно ударился, но не заметил этого, ибо был совершенно пьян.

Аполлон Безобразов с невероятной жестокостью пригласил его прыгать через четыре стула. Когда четыре стула были поставлены, кругом стали собираться, потому что, действительно, почти невозможно было пьяному человеку перепрыгнуть через эту длинную желтую изгородь.

Юноша разбежался и остановился, как бы очнувшись, и снова отошел, но Аполлон Безобразов не дал ему остановиться во второй раз. Он странно крикнул на него, и тот, как бы во сне, отделился от земли и упал в самую гущу желтого железа и разбитых стаканов. Аполлон Безобразов, совершенно не обращая на него внимания, снова поставил все стулья в один ряд и, улыбаясь, снял фуражку.

Я заметил, что он снимал фуражку только в редких случаях жизни и тогда становился прямо-таки опасным. Он отошел довольно далеко, потом еще дальше, потом еще раз еще дальше, что уже было прямо-таки глупо, разбег был слишком большой, теперь я видел, как приподымается его верхняя губа, обнажая ровные зубы, и вдруг — сорвался с места и побежал; разбег был, действительно, слишком большой, пробегая мимо меня, он, очевидно, заметил это и чуть замедлил, но до стульев оставалось пять шагов. Казалось, он остановится, но он издал какой-то странный звук, как будто ахнул, звук, полный, как мне показалось, невероятного злорадства и какого-то дикого торжества, и, прямо-таки пролетев последние три шага, прыгнул — и перепрыгнул препятствие, взметнув ноги к самой голове и задев только спинку четвертого стула, отчего упал на руки и буквально перелетел

через голову, и, тотчас же очутившись на ногах, расмеялся с таким откровенным удовольствием, что все мы невольно замолчали.

Теперь Аполлон Безобразов сидел совершенно неподвижно, хотя лицо его, как полная противоположность этому, было озарено и обезображено отблеском того жесточайшего прилива воли, который он только что пережил.

Он сидел спокойно и, по-видимому, наслаждался, хотя на углах его губ еще запеклась кровь из разбитых десен, которую он далеко сплевывал на мостовую.

Таким образом кончилась моя первая попытка составить о нем определенное мнение и внести его в определенную категорию, например, одинокого философа, кончилась столь же прискорбно, как и многие последующие. Аполлон Безобразов, к которому я стал уже привыкать и даже смотреть тем собственническим оком, которым мы смотрим на все понятное, вдруг отодвинулся от меня в первоизданный мрак, как это всегда потом случалось, когда я пытался успокоиться относительно него на определенной мысли — как будто сесть на стул в его присутствии.

Личность Аполлона Безобразова никогда не позволяла садиться в его присутствии, она держала его собеседника в непрерывной и сладкой тревоге, которая вызывает в нас прекрасную идею чистой возможности. Для него не существовало внутреннего рока, которому подчинены души еще более, чем тела — року внешнему. Его вчерашние чувства ни к чему его не обязывали сегодня. И я часто, после некоторого отсутствия, почти не мог узнать его при встрече, даже походка его менялась, звук голоса. Долго знать Аполлона Безобразова означало присутствовать на столь же долгом, разнообразном и неизмеримо прекрасном театральном представлении, сидеть перед сценою, на которой беспрерывно меняется цвет облаков и реки каждую секунду текут вспять и по новому руслу; какие-то люди проходят, улыбаются, говорят красивые, странные и почти бессмысленные вещи; они

встречаются, они расстаются и никогда не возвращаются обратно, ибо Аполлон Безобразов со всех сторон был окружен персонажами своих мечтаний, которых один за другим воплощал в самом себе, продолжая сам неизменно присутствовать как бы вне своей собственной души, вернее, не он присутствовал, а в нем присутствовал какой-то другой, и спящий, и грезящий, и шутя воплощавшийся в своих грезах, и этот другой держал меня в своей власти, хотя я часто бывал сильнее очередного его воплощенного двойника.

«Когда проснется спящий?» — думал я и ясно чувствовал, что никогда, что для него все мы имеем ровно такую же степень реальности, какую имеют те наши сны, которые мы, продолжая спать, все же именно осознаем снами, то есть наименьшую из нам доступных.

Он как будто всегда находился вне себя, и, часто даже поправляя себя, как завравшегося актера, он превращался в свою противоположность и в противоположность этой противоположности. Но эта новая противоположность не была его первоначальным «я», а каким-то новым, третьим состоянием, подобно окончательному возвращению духа самому себе перед самой смертью, но не в самого себя, ибо «я» человека тогда не объемлет, а объемлемо, не окружает со всех сторон, как атмосфера, а, наоборот, как бы окружено со всех сторон нашим бытием, как золотой остров, как остров в закате, как остров смерти.

Но постепенно необыкновенное возбуждение Аполлона Безобразова прекращалось, глаза остывали и превращались в то, чем они были обычно, и какая-то дикая воля заметно отливала от него, поза теряла свою напряженность, и он как бы повисал на стуле.

Минуту мне казалось, что он заснул, и он, действительно, спал одну минуту, причем его рука автоматическим движением подперла обычно легко им носимую голову, и на губах, как слепая змея, медленно поползла испуганная и отвратительная усмешка. Но

через минуту он опять бодрствовал, пил светло-зеленое вино, похожее на густой туман, и курил папиросу за папиросой, окружая себя облаками голубого дыма, ибо Аполлон Безобразов не затягивался, а дым, выходящий из ноздрей незатягивающегося человека, — голубой, а у других — желтовато-серый.

Перейдя крайний предел опьянения, назначенный на эту ночь, я также стал постепенно отрезвляться, и окружающее нас многоцветное марево, в свою очередь окруженное маревом темным, расчленилось и распалось на отдельных танцующих, на отдельные столики, засыпанные шелухой какоуэт, на отдельные лица, необыкновенно красные или необыкновенно бледные над смятыми и почерневшими за ночь воротничками.

Меня тошнило и клонило ко сну.

Наконец меня стало тошнить по-настоящему, и я ушел в *lavabo*¹.

Наконец стало светать. Ровно засинел восток, и вдали над головами танцующих стали медленно гаснуть зеленые звезды фонарей.

Над Монпарнасским вокзалом взошла светлоперстая Венера, и небо порозовело, готовое проснуться. Изнутри и вовне тоже что-то просыпалось, смолкало и расцветало. Теперь лицо моего противника было почти прекрасно; в неверном свете утра голубые и фиолетовые отблески всходили на него.

Усталое и странно неподвижное, оно было совсем новым и совсем не таким твердым, как этой ночью. Оно смягчилось, но как-то безотносительно, ни к чему. Оно осталось неживым. Это было лицо совсем чужого человека. Необычайно глубокий сон лежал на нем, бодрствующем, и переменчивый свет. Оно физически о чем-то мечтало, неуловимо и медленно кривясь, прищуриваясь и улыбаясь, хотя странный дух, живущий в нем, явно не участвовал в этом.

Но это было новое мечтание, не объясняющее и не объяснимое предыдущим. Все прошедшее не оста-

¹ Туалет, умывальная комната (*фр.*).

вило на нем никаких следов. Казалось, фиолетовый дождь рассвета начисто смыл с него воспоминания ночи, и оно даже несколько удивленно и неподвижно смотрело прямо перед собой.

И вдруг физически ощутимо, как рвота, со дна горбом поднялась жесточайшая жалость к этому неподвижному. Я стал задыхаться, я склонился к столу и горько заплакал.

И вот расплывшееся и раздвоившееся изображение подало голос. Он был сладок, весел и спокоен.

— Чего там плакать в хорошую погоду. Пойдемте-ка лучше спать. Смотрите, солнце взошло, все к чему-то готовится, самое время спать, выставив из-под одеяла огромную грязную ногу. А еще — мыться горячей водой, страшно приятно после бессонной ночи мыться горячей водой, молодеешь тогда, и совсем будто бодрое настроение, и вдруг засыпаешь каменным сном.

ГЛАВА II

Добро рождается из зла. Зло рождается из добра. И когда все это кончится?

Тао Тэ Кинг

A large, stylized, hand-drawn letter 'M' in a simple, sketchy font, positioned at the beginning of a paragraph.

Может быть, день клонился к вечеру. Но в жаркой полутьме, где мы сидели полураздетыми и говорили, было по-прежнему тяжело. По-прежнему нас клонило ко сну, но не хотелось наружу, ибо снаружи было только одно сплошное теплое море дождя, в котором медленно и в неизвестном направлении плыли мы в глубоком трюме огромного черного дома. Только стол с неподвижной посудой был освещен; прямо над ним в глубине зеленоватой оконной шахты, как пароходный иллюминатор, белело толстое полупрозрачное стекло, по которому с утра мягко стучал тяжелый июльский дождь, то затихая по временам, то опять принимаясь с новой силой. Иногда белесо вспыхивала молния, тяжело перекатывалось отдаленное громыхание, и опять дождь падал, не переставая, среди тяжелых и душных сумерек нескончаемого дня.

Но, вероятно, он все же клонился к вечеру, этот бесконечно трогательный, тяжелый и серый летний день, когда мясистая зелень каштанов закрывает небо, когда все окна раскрыты и на мокрых улицах тяжело вращаются громоздкие колеса карусели, оглашая воздух паровозными свистками своих двигателей. Когда в тирах хлопают монте-кристо и потные солдаты пьют теплое желтое пиво и слушают под намокшими тентами, как тяжело и чуждо падает дождь на красивые рекламы писсуаров.

Вертикальная река света между нами уже давно сделалась голубоватой, а теперь синела и лиловела, в

то время как мы погружались во мрак, как будто тонули, забытые в трюме океанского парохода. А молчаливый водопад сумерек все низвергался и низвергался, бесшумно разбиваясь о серое дерево стола, и было удивительно, сколько их еще могло поместиться в широкой и низкой комнате под крышей высокого старинного дома, в углу заставленной тележками уличных торговек узкой и театральной площади Политехнического училища.

В то время вокруг на бесчисленных колокольнях и старинных зданиях били часы, далеко до назначенного часа начинали бить и долго еще после него били, запаздывая и мечтая. Они даже среди дня были явственно слышны, а ночью это были целые разговоры и споры часов между собою, когда вдруг кто-то из них высоко-высоко и странно возглашал час, близкий к заре; на мгновение воцарялось молчание, и вдруг далеко-далеко и полные как бы всем разочарованием и усталостью мира, как будто из ада, отвечали им еле слышно и явно запоздалые хриплые звоны.

Среди бесконечных выступов и уклонов темной черепицы, среди отвесов и маленьких, никому, кроме чердачных зрителей, не видимых, покрытых железом надстроек, где так чисто и длительно, так нежно и свободно падали и разбивались стеклянные розы дождя и медленно, едва двигаясь в воздухе, опускались таинственные бабочки снежинок.

Как хотелось мне всегда прилечь и заснуть на таком выступе, среди труб, желобков и кривизн, так далеко от земли, в таком покое и одиночестве и, вместе с тем, не в скалистых горах, а здесь, почти в центре огромного города.

Действительно, кажется, начинало темнеть, у потолка медленно накапливались опаловые слои папирозного дыма, похожие на долгие размышления подростков, угасающих от туберкулеза в этих огромных саркофагах из гнилого дерева.

Но где-то там, по ту сторону стола и света, как

мертвая Офелия, как маска Медузы с полузакрытыми глазами, еще плавало спокойное и нежное лицо Аполлона Безобразова. Он говорил, он уже давно говорил, и давно я то слушал его, то слушал лишь звук его слов, то слушал дождь, то слушал бой часов за дождем, то, кажется, спал, то просыпался к жизни и думал о том, который бы мог быть теперь час.

Потом мы оба молчали, быть может, часами, и тем временем еще глубже утонувшая комната погружалась в сумерки, и из еще большего отдаления возникал и вспыхивал голос, когда разговор возобновлялся под синевшим высоко-высоко над нами, как вход в железную могилу, ночным четырехугольником окна, ибо комната была уже доверху полна темно-синою звездною водою ночи.

— Древние смеялись над христианами, — говорил Аполлон Безобразов: — «Вы преувеличиваете жертву своей жизнью и любите театральные кровавые слезы. Посмотрите, как римские солдаты умирают». Конечно, Христос был еврей и книжник, но когда Эпиктетов хозяин завинтил его в специальный станок, чтобы насильно, посредством блоков, растянуть ему хроющую ногу, философ, с некоторой даже заботой о его коммерческом благе, только сказал ему: «Смотри, сломаешь мне ногу!» А когда тот, действительно, разорвал ему последние связки, прибавил назидательно: «Видишь, вот и сломал». Что сделал Христос рядом с этим? Да если бы и гений погибал, зачем он нарушал благопристойность и плакал? Не была ли его смерть вообще неприличная человеческая сторона его жизни. Всякая неудача есть позор. О ней следует молчать, как о карточном проигрыше. Да и как вообще он мог заметить, что умирает; очевидно, он принадлежал к тем, для которых смерть есть смерть, ибо жизнь была жизнью, чем-то, чего он жаждал, а не сном во сне. Почему он не улыбался на кресте и не стыдился своей смерти, как отрывки, например, как это делали римляне?

— Ну, допустим, что страдания Христовы ему ничего не стоили, ибо даже римский солдат страдал,

улыбаясь, — соглашался я, — а страдание маленьких и слабых? Да и как вы вообще можете защищать совершенство мира? Подумайте! Разве вам не ясно, что даже если вы были бы творцом мира, вы создали бы его много нежнее и счастливее, может быть, даже красивее, а его нечто, побольше человека, создавало!

— Да откуда вы знаете, — как будто возмущился вдруг Аполлон Безобразов, — что цель мира заключается в счастии людей или в красоте, да сами вы можете ли вынести зрелище чужого счастья и не предпочитаете ли ему явно возвышенную трагедию и благородную гибель? Разве не любите вы тайно самую трагедию мира? Если бы я создавал мир, я, вероятно, создал бы его еще более трагическим, я во много раз увеличил бы в нем количество боли, жестокости, болезней и всевозможных тягот. Разве сами вы не презираете загробную жизнь, ибо мысль о ней лишает ваши земные испытания всякой реальности и делает их корыстными. К сожалению, она существует. Но что-то не позволяет интенсифицировать муку мира и тем приблизить ее раскрытие, постигание его смысла. И это что-то есть жалость.

— Раскрытие какого смысла?

— Смысла любви, ибо это любовь породила мир. На глубине его она постигается именно в момент безвинной гибели и одиночества с безумною остротою. Здесь она понимает, что есть мировая причина и вина, принимает на себя все грехи мира, превращаясь в жалость; отрицает себя как утвердительницу жизни, ибо всякая жизнь — страдание; возвращается постепенно к исходному небытию. Там самосознается основа мира. Утверждая себя, она порождает вечность боли и количества, свой крестный путь. Достигши же самосознания, возможного лишь через отпадение, лишение себя даже имени и, наконец, нахождение себя, она отвращается от себя, ищет отдыха, возносится на небо; жалея же мир, ищет угасить в нем дух, ибо дух — начало всякой муки. Тогда круг завершается. Лучшие, наиболее сухие души погибают в огне разума, как Фа-

этон, вознамерившийся управлять колесницею Аполлона; более тяжелые души тонут в воде материальности. Природа слабеет с каждым днем, вещества распадаются, и снова прекрасная ночь покрывает все.

— Да, но чему служит постигание, если постигший умирает?

— А зачем это жить вечно? Понял себе, возрадовался, пожалел все, и вон из музыки, разве можно вечно слушать симфонию? Думается, наоборот даже, чем острее она, тем меньше времени ее можно вынести. Ибо за прекрасным до счастья таится прекрасное до боли, понять которое — погибнуть.

— Ну, а те, которые умерли, не понял?

— Они могут простить Богу.

— Простить можно за себя, ну, а за других, не смогших даже простить?

— Мы и они одно: кто себя не жалеет, имеет право и других не жалеть.

— Но скажите, — пытался я защищаться или, вернее, защитить что-то дорогое мне и миру, — если бы нужно было вам выбрать между двумя мирами: миром, где все было бы свободным, миром, где все подчинялось бы человеку, где по желанию все могло бы изменяться и возникать из ничего, и миром, в котором все было бы сковано, все навеки предопределено, все неизменно и детерминировано, необходимо. Какой бы вы выбрали? — с отчаяньем спрашивал я говорящий мрак перед собою. Короткая пауза, потом совершенно спокойно, но как бы из отдаления:

— Мир необходимый.

— Почему?!

— Так...

Какой-то странный звук, вроде горькой усмешки, и все.

— Аполлон Безобразов! — кричу я, не выдержав, наконец, этого. — Аполлон Безобразов, вы спите, что ли?

— Я? Нет, я не сплю, а может быть, и сплю, а что такое?

- Ну, а тогда зачем все?
- Не зачем, а почему все.
- Ну, хотя бы почему?

— Все спит сперва без сновидений, затем по железной необходимости просыпается, ибо забыло опыт прошлого и, любя, не может оставаться в себе, заворачивается в новый сон воображения. Там, вообразив сына своего свободным, теряет власть над ним, подчиняется его свободе, падает в свое отражение, преследуя себя, опускается все глубже в стихию воды, погибает в объективности и, умерши в своем сне, вновь начинает просыпаться. Сквозь все формы рвется на воздух, сквозь воздух видит свое средоточие в огне, постигает себя, удивляется себе, жалеет себя, отвергает себя, поднимается к огню, низводит страшный суд. И вновь все, безумно просияв, погасает и спит миллиарды лет.

Так вечно качается качалка Диониса, сознание и бытие, и то одна, то другая сторона превозмогает, так что мир периодически то тонет в воде, то гибнет в огне. Но вы еще не распрощались с бытием, хотя уже любовь, а не жажда удерживает вас в нем. Я же уже предался сознанию, и вам кажется, что я уже погиб, а мне кажется, что вы еще не жили. Вы еще плачете, значит, вы еще не доблестны. Я же доблестен по-своему, но напряжен и строг к себе, это значит, что я еще не достиг непоколебимости, конечной бескачественности. Ибо мы очищаемся и побеждаем себя, чтобы мыслить. Но когда мышление раскрывается, оно распускается в нас само, оно мыслится, а не мы его мыслим; выясняется, что в разуме нет личной жизни, всякое «я» становится бесполезным, и поэтому мышление печально, смиренно, и страх мышления справедлив. Помните: «ценою жизни ты мне заплатишь за любовь»?

Молчание. Опять, и еще отдаленнее:

— Бытие родилось за счет смерти истинного бытия. Бытие есть воображение, принятое за реальность, посреди которого вообразивший родился сам,

как герой своего сна. Однако во сне же он начинает подозревать, что он спит. Поняв это, он начинает пробуждаться от сна; пробудившись, исчезает, как тема сна, вместе с обстановкой и героем сна. Однако он не имеет места в бодрствовании, ибо он и сон, субъект и объект рождаются и умирают вместе, а трансцендентальное сознание субъекта невозможно. Однако оно есть истина. Все исчезает на ее пороге, и я стою на пороге. Однако оно есть храм, и я на пороге храма. Оглядываясь назад, я вижу бесконечно прекрасный, озаренный вечерним солнцем, прощающийся со мною мир. Поняв и исчезнув, я освобожу его от самого себя в себе и его от меня в нем.

— Этим летом как дивно глубоко небо. Вы же лучше живите среди ночи, бойтесь Аполлона, служите подземным богам. Любите жизнь божественно-конкретно, в ночи, в тайне. Ибо дерево познания есть смерть в огне. Так же, как дерево жизни есть смерть в воде. Но огонь только спит в воде. Погрузившись, он создает теплоту, красоту и Эрос, тогда как в себе он — холодная яркость, бесформенность и покой. Это я говорю вам, потому что я вас жалею, хотя жалость и ошибка, ибо она только увеличивает и обостряет чувство ценности жизни, своей и чужой. А вы должны учиться не ценить жизнь и легко умирать.

И вдруг мне показалось, что я смотрю в огромный телескоп и что в поле его окуляра, искусственно приближенный, уже очень далеко, абсолютно за пределами голоса быстро отдаляется металлический воздушный корабль старой конструкции, а на борту его, приветствуя фуражкой, стоит Аполлон Безобразов с совершенно красным лицом, и огромная надпись развевается за кормою: «Меланхолия».

И вдруг я снова просыпаюсь и спросонья почему-то спрашиваю:

— Ну, а искусство?

Молчание. Усмешка. Потом, как бы про себя или по телефону:

— Искусство меня не интересует.

Совершенно темно, даже страшно. Вдруг ослепительно ярко вспыхивает спичка, оставляя за собою зеленые круги в глазах. И снова слышно, как падает дождь, как где-то далеко звенят трамваи.

Меня знобит слегка, но мне уже не хочется ни встать, ни говорить. Наконец, я ощупью переползаю на кровать и скоро вижу уже сны.

Падаю в какие-то золотые колодцы, полные облаков, и долго, может быть, миллион лет лечу в них все ниже и ниже, в иные миры, к иным временам.

В детстве я часто засыпал посередине молитвы; как хорошо было бы мне тогда умереть посередине сна.

Холодное лето. Часы на камине. Бездонность мутного зеркала. Смеркается слава. Сонливость. Нечистая свежесть подушек. Усталость. Сон. Опять неподвижность. Больное сиянье постели. Истома.

За смеженными веками непрерывный танец золотых снежинок, точек, атомов, звезд. Куда опускаются звезды? С улыбкой смеркается слава. Лицо беззащитно темнеет, спускаясь куда-то среди звезд.

Смеркаться, сходить, обнажаться. Лишаться защиты и памяти. Черты распрямляются. Брови не так уже накрепко сжаты. Лицо. Ты можешь быть, наконец, прекрасным, ибо никто тебя больше не видит. Ибо ты уже не видишь себя, ибо скоро увидишь ты свой первый сон.

Ты спишь, Безобразов, смеркается слава твоего неподвижного взгляда. Но ты еще не покинул земли. Туманно и глухо к тебе долетают голоса собеседников. Но ты еще слышишь их. Хотя, может быть, ты видишь их во сне. Глубже холод подушек. Ярче мерцанье эфира, все ясно на миг засыпающим. Они от всего отделяются. Их сон уже совсем о другом. Тише, я как будто опять просыпаюсь. Я слышу соседние жизни. Кто эти люди?

Как параллельные нити, как проволоки из окна поезда, как ответные голоса в тумане. Почему они

именно? Почему с ними на земле? Почему на земле? Так есть, так было все время. Может быть, уже было давно, и сейчас только сон о прошедшем. Параллельные рельсы. Долго-долго за снегом сверканье огней параллельных вагонов. И вдруг раздвоенные путей, поворот, красная точка, снег.

Где вы, любимые прежде? Молчание... Они никогда не услышат. Звездный снег за окном, заглушающий стук паровоза. Да и где это было, и было ли?

Где этот город, где описан он в сказках? Бесконечные темные улицы, дома, заслоняющие небо, полное неподвижных звезд. И снова дождь. Где-то внизу горят фонари. Бледный человек, отодвинув занавеску, внимательно смотрит на часы в луче фонаря. Скоро ему уходить на работу.

Всю ночь внизу горит свет. Кто-то ворочается за стеною, скрипит кроватью, бредит. Кто-то встает впотьмах. Звенит струя, разбиваясь о дно ночной вазы, все более и более тихим звуком. Еще несколько капель. Все...

Где-то серовато белеет электрическая лампочка среди папиросного дыма, который медленно рассеивается. Там кто-то спит, не раздеваясь, ничком. Вдруг, забыв о боли и страхе, вдруг из хаоса мыслей взятый живым на небо.

Но еще глубже, на третьих дворах и шестых этажах, в низких комнатах без окон или с окнами без света, выходящими в глубокие шахты внутренних дворов, где внизу на проволочной сетке, защищающей мутные стекла, года и года мокнут и выцветают папиросные обертки, газеты и всяческая шелуха.

В глубине, за темными занавесками и туберкулезными ширмами, среди баулов, вешалок, лесенок, грязных кухонь, серых ватер-клозетов без стульчаков, в запахе кала, среди моли, пауков, клопов, мух, мокриц, стрептококков и гонококков, спирохетов, спирилий, коховских палочек и таинственных, невидимых даже в сильнейшие микроскопы возбудителей рака, трахомы, сонной болезни и столбняка.

В саване пыли и сырости в конце десятков задних лестниц, нереально освещенных бледно-зеленым, больным и неподвижным светом газовых горелок и тусклых, пыльно-желтых электрических лампочек низкого напряжения, там, в глубине проходов, коридоров, двориков, уборных и чуланов погасла античная слава неподвижного взгляда Аполлона Безобразова, и он спит, позабыв свое имя и перестав быть. В то время как на десяток верст вокруг высоко над землей в толще больного воздуха еще читают или мечтают в темноте, плачут и кашляют, совокупляются и испражняются, делают себе промывание и впрыскивание, слушают дождь, просыпаются и ворочаются или бесконечно долго, как иноки в подземелье, разговаривают и ссорятся в кроватях, вспоминая обиды, несдержанные обещания, потерянные и растроченные годы, а также длительно высчитывая мелкие суммы, упрекая и насмехаясь, чтобы, наконец, вдруг помирившись, ласкать немые члены, раскрываться, погружаться в живое тепло, мерно двигаться в истоме среди сотен животных запахов, скользя и поворачиваясь, натруждая колени, отдавливая руки и ноги. Глубокое ночное утешенье, теплое забвенье, отпадение, наконец, и глубокий сон, во время которого на изможденные лица восходит глубокий нищий покой средневековых святых.

А грязное платье на стуле, смятое и брошенное, пиджак с пропотелыми подмышками и жалкие брюки со свежими следами уличной грязи, и женские, потемневшие от пота, пояса для поддерживанья чулок, — все это, покинутое на стуле, похоже на неподвижно сидящего человека, фигура которого постепенно, через многие степени и оттенки, появляется в холодном свечении рассвета, как будто медленно выплывая из глубокой воды. И уже скоро где-то чуть слышно застучит будильник, и в предрассветной тишине жалко и тонко голос подаст младенец, ворочаясь в своих мокрых пеленках, и вдруг отчетливо и торопливо застучат далеко внизу стоптанные каблук-

ки, на которых, ежась от утреннего холода, быстро уходят на работу на фабрику обожженные холодной водой, ошеломленные отсутствием сна, больные, бодрящиеся, ежедневные и равнодушные зрители розового возникновения, алого полыхания, желтого свечения и, наконец, белого исчезновения холодного летнего рассвета, быстро сменяющегося мертвым белесым сияньем дождливого дня.

Трамваи, трамваи, трамваи. Все переполненные, звенящие на пустых улицах. Газ потухает. Грузовые автомобили тяжело катятся к центральному рынку. Белый сумрак. Европа. Зимой те, кто спали, прикорнувшись в подъездах и на ступеньках метро, у самой железной решетки, откуда дышит теплый вонючий воздух подземелья, почерневшие и перекошенные, как-то боком входят в первые кафе или спускаются, наконец, в подземную дорогу, где долго они будут, качая головами, задремав в тепле, кружиться под землю, но и им завидуют спешащие на фабрики; даже они кажутся более счастливыми, вернувшись к правде. Наконец, долгое время спустя, начинается утро служащих и школьников, и владельцев маленьких магазинов и еще, много времени спустя, утро хорошо одетых, лысеющих, считающих, пишущих, богохульствующих, одетых в фильдекосовые носки, рубашки из искусственного шелка, ботинки американского фасона, костюмы английской кройки и добродетельные мысли. Ужасающих, смердящих, калообразных, полных червями, источающих гной спокойных, важных разговоров среди современной мебели из симили дуба, мельхиоров с безалкогольным кофеем, безалкогольным вином и солью, потерявшею соленость; убийцы Христа, язвы и плесень Апокалипсиса. Утро людей, имеющих деньги. Людей, считающих себя правыми.

И наконец, уже позже всех, последнее из утр — посреди грохота, суматохи, яркости и неизмеримо далеко от пустоты, чистоты мусорщиков и перевернутых стульев в кофейнях, среди сбитости с толку, ошелом-

ленности, одышки, геморроидального зуда и поминутно извлекаемых членов и часов. В разгромленных комнатах за спущенными шторами кончается последний тяжелейший, бессмысленнейший сон, в котором фигурируют уже и грохот улицы, и пiski автомобилей, и смятые простыни, и отлеженные руки. Раскрываются медленно глаза уязвленных светом, ошеломленных головною болью, изжогой во рту, усталостью и болью в половых органах, души тех, кто вчера до утра хохотали, острили, кричали, пили фальсифицированные напитки, бессвязно спорили, развратно целовались и длительно и изможденно совокуплялись с кем-то, зачем-то, где-то. И долго будут они с сожалением вычесывать волосы нечистым гребнем, пить воду с женой магнезией, затем чесать промежности, зевать, читать газеты, пить холодное отельное кофе и, может быть, запрокинувшись, спать до самого вечера.

Но где был Аполлон Безобразов все это время, когда он лежал, завернувшись, как мумия, страшно скорчившись или до странности вытянувшись в позе каменных фигур на древних усыпальницах? Он сам не знал ничего об этом. Его глубокие сны, похожие на обмороки, повергали его часто по возвращении в тяжелую оторопь. Он как бы с трудом припоминал, где он, и не совсем узнавал окружающее. Казалось, что ему наново нужно будет учиться ходить. То огромное, страшное, золотое, то необъяснимое смертному еще ощущал он, как Товий по исчезновении ангела. Все казалось ему иным. Звуки улицы долетали трагически ясно, звали, и кричали, и повторялись за окном. Все казалось ему неведомым и многозначительным. Все удивляло и страшило его столь далеко за ночь отлетевшую душу. Но что, собственно, надо делать? Да вставать, рассекать воздух, поглощать свет, весить. Но, может быть, сегодня с утра начать называться по-другому, не узнавать никого, отпустить бороду, забыть русский язык? Может быть, читать целый день? Но в книгах написано или

то, что он уже знает, или то, с чем он не согласен. Пойти днем в кинематограф, выпиться с утра пьяным?

Но вот кончился первый переполох пробуждения. Аполлон Безобразов снова в тысячный раз принял нелепую жизнь. Он еще не двинулся с места, но уже черты его лица распрямились, разгладились. «Необходимость или Провидение, кто Ты, не знаю, необходимое или благое, дай мне, что пожелаешь, отними, что пожелаешь, — вспоминает он, перевирая, двухтысячелетние слова. — Да не греческого развратного и дивного, нет, чего-то римского нам не хватает, чтобы доблестнее жить, ежедневно мыться холодной водой, великодушно прощать судьбе».

И вдруг разом Аполлон Безобразов опять овладел положением, теперь он спокойно встанет, выстирает себе рубашку. Сделает гимнастику и даже сядет читать Аристотеля где-нибудь в городском саду среди отпускных солдат и детей.

ГЛАВА III

Эта любовь к разнообразию и была причиной смерти Адама и всех его потомков.

Зоар

В

те дни настроение мое всегда менялось в зависимости от погоды, как будто от солнца питалась слабая моя душа и вместе с солнцем помрачалась.

В сумеречную погоду в комнате Безобразова день не наступал вовсе; только какое-то бледное свечение появлялось, как будто сквозь глубокую воду доходило оно. А когда на подвижное стекло снег налетал сплошным слоем, в комнате воцарялась ночь. Изредка кто-нибудь из нас поднимался на стул, поставленный на стол, и, подкидывая стекло, освобождал его от снега, на мгновение оглядываясь вокруг, как капитан вынырнувшей подводной лодки. Вокруг, насколько хватало глаз, как белые волны геометрической формы, расстилались выступы, карнизы и отвесы узких и высоких средневековых домов, и вновь лодка опускалась под воду, и было тихо в ней в снежный час.

Иногда Аполлон Безобразов зажигал свечу, ибо величественный хозяин до пяти часов не давал электричества, хотя уже в половине четвертого было совершенно темно. При свече, отбрасывая огромную тень, Аполлон Безобразов читал «Подражание Христу», книгу, в которой он ровно ничего не понимал, тогда как короткого положения «Этики» Спинозы, почерпнутого из дешевой истории философии, ему было достаточно, чтобы до конца овладеть учением, которое ему так легко было самому развить и додумать.

Просыпаясь туманным утром, я долго думал о его жизни, и Аполлон Безобразов, почему-то всегда уга-

дывая мое пробуждение, хотя я не шевелился, предлагал мне идти за молоком и любил разрешать возникающий спор карточной игрой, ибо считал, что жребий есть единственное прямое участие Бога в жизни человека и народов; греки были религиозной нацией лишь до тех пор, пока выбором чиновников и решений руководили жребий и оракул. После чего указанный Провидением спускался в сырой колодезь лестницы и, возвращаясь, заставлял товарища своего спящим на разбросанных картах, а на полу догорающую спиртовку с наполовину уже распаявшимся, выкипевшим чайником, ибо сон мы считали несомненно важнейшим из наших времяпровождений. Случалось, что долгими дождливыми днями Аполлон Безобразов вообще не вставал с кровати, и я отправлялся гулять один в тотчас же промокавших башмаках, дыры на подметках коих я, по совету Безобразова, изнутри закладывал отрезанными хлястиками. Долго я так ходил с каким-то мрачным воодушевлением, подставляя лицо под холодные брызги, все дальше и дальше во тьму незнакомых улиц правого берега, чтобы, наконец, сдаться, сломиться, и, как будто относимый возвратным течением, как лодка, лишенная управления, медленно возвращался домой, все ниже нагибаясь и уходя в воротник тогда, когда сквозь желтые волны тумана уже загорались газовые фонари, распространяя вокруг себя неяркое сияние, сквозь которое легкими пеленами медленно и неустанно спускались мельчайшие капли дождя. Возвращаясь, я, не снимая пальто и шляпы, часто ничком ложился на кровать и засыпал, чтобы, вдруг проснувшись глубокой ночью от страшного сна, дико озираться вокруг налитую кровью головою. «Безобразов!» — возглашал я в темноте и долго, может быть, нарочно, не получал ответа.

Летом в нашем низком широком гробу под самою крышей, изнемогая от жары, мы спали совершенно голыми, причем, голый же, я ночью со свечою, стоя на кровати, в каком-то остервенении

ловил клопов; Безобразов же стоически предоставлял себя им на съедение, и раз я даже видел, как клоп полз по его лицу и он, страдальчески улыбаясь, подобно христианскому святому, нарочно не сбрасывал его, а только плотно закрывал глаза. Впрочем, в жаркие ночи мы часто спали в Венсеннском лесу или на укреплениях города, подкопав по-бойскаутски, ибо Безобразов в детстве был бойскаутом, небольшое углубление под свой правый бок. Все это было позже, но помню зато, с каким особым счастьем проснулся я июльским утром в комнате Безобразова. Ровно и ослепительно-радостно с потолка в комнату падал широкий солнечный луч, от красного плиточного пола розовым сияньем отражаясь во круг. Вернее, огненный столб стоял посередине комнаты, плотный и имматериальный, весь полный радостно танцующей пылью. Вскоре голый Аполлон Безобразов уже принимал в нем солнечный душ. А из поднятого люка окна, радостно фальшивя, бодро влетал и визжал, повторяясь, нестройный звук фанфары какого-то малочисленного гимнастического общества, проходившего по улице. Какое счастье было мыться в такое утро, вытираться докрасна и без носков, надевши теннисные туфли, без пиджаков, в высоко засученных голубых рубашках очутиться на улице.

В этот час улица была ярка, чиста и празднично пуста, ярко лоснилась черно-фиолетовая торцовая мостовая, движения не было почти никакого, и только у тележек толстые веселые женщины, покрикивая, распродавали остатную мокрую дешевую клубнику. На узкой площади Политехнического училища, куда не всюду за домами доходило солнце, все было ярко и немного театрально освещено отраженным светом. Небо было сине, и на него, прищуриваясь, любовались из своих подворотен или прямо с тротуара толстые чистые люди с багровыми шеями и широко расставленными ногами в мягких туфлях, а около них тоже любовались неведомо чем низкие

толстые собаки неопределенной породы, необычайно широкие и добродушные.

В летний день, когда дивно ярок воздух, когда все освещено, все согрето, все зелено, все пыльно, все ведет куда-то и за каждым поворотом снится загородная дорога, какую щемящей жаждой тепла и движения наполняется поутру душа бреющегося у неудобного зеркала. Вот бы только добрить шею, надеть новую синюю рубашку и, разбрасывая все как попало, вырваться, наконец, к свету и, конечно, к счастью, расправив узкую грудь, зачесав редкие волосы. Так отпускные солдаты весело перекликаются, занятые спешным одеванием, шутя и балагуря, высоко через голову надевая гимнастерки, или, пыжась и слегка высунув язык в угол рта, придают последний загадочный блеск армейскому своему сапогу. И вот уже ровно, волосок к волоску, зачесан льняной пробор, и складки рубахи собраны с изумительным, прямо-таки растительным совершенством; еще один озабоченный взгляд в зеркало при воротах казармы, краткая явка фельдфебелю и, наконец, солнечная улица и золотой парикмахерский таз над бульваром.

Но не слишком ли радостно ты собирался, защитник отечества, и за долгий день не разберет ли тебя глухая пивная тощища — ах!

Дело было к вечеру,
 Делать было нечего;
 Чистили картошку,
 Вдарили Антошку.

— Не спешите, — говорил Безобразов, — в солнечный день вырваться к шуму с грязною брагой ожидания в сердце, ибо, за нескончаемый день ничего не найдя и устав в пыли, кто защитит вас под раскаленным небом?

Да, Аполлон Безобразов в совершенстве умел гулять, добродушно и равнодушно, неумоимо и неумоительно, бесцельно, но и с величайшей пользой,

без тени зависти и ничего не осуждая, но и ничего не жалея, и это он научил меня этому исканию глубочайшего покоя и равновесия в походке, подобно шествованию иероглифических фигур, и хотя оно в совершенстве никогда мне не удавалось, все же иногда оно давало мне забвение зависти и жалости и то глубокое принятие всех вещей, которое может быть только у египетских колоссов. Так шел он, низко надвинув легкую фуражку, которой он, как моноклем, заслонял свой тяжелый взор, выставив грудь и загибая при ходьбе ступни вовнутрь, и многие провожали его глазами с безотчетным уважением, ибо он с одинаковым выражением неподвижного добродушия смотрел на лица и на спины, впрочем, больше любясь нагретыми чудесами малярного искусства или сияющей на солнце покатою цинковой крышей, а еще — дирижаблями. Долго-долго, до боли в шее он следил за ними, прищурившись, с бульвара, и сказочное их шествие в синеве напоминало ему какие-то драгоценные и редко вспоминаемые ощущения снов.

Вдали колокол медленно и хриповато сотрясал воздух, и, видимо, приятно было слушать его сидящим с широко расставленными ногами, хотя, вероятно, никто из них не посещал церкви. И вдруг стремительно, как большие красные и зеленые стрижи, через площадь пронеслись велосипедисты, краснощекие подростки на неудобных гоночных машинах, купленных на долгосрочную выплату.

Наслаждаясь красотой тепло окрашенных поверхностей ставен и стен, этих шедевров малярного искусства, изображающих невиданные каррарские мраморы или редкостные разрезы заокеанского дерева, которым солнце, слегка обесцвечивая и смывая краски, придавало монументальную условную прелесть. Всем этим точкам, полосам, слоям и завиткам воображаемой древесины или порфира, над которыми со средневековой тщательностью трудилась рука современного маляра, в то время как голова его, дале-

ко откинута и слегка склоненная набок, прищуренно созерцала труд свой и вдруг, низко наклонясь над ним, помогала своими движениями выписывать особенно трудные разводы. Мимо вычищенной меди и темно-зеленых пальм, только что вымытых и лоснящихся в деревянных своих ящиках, мимо красивых стандартизованных плакатов из жести с надписью «Basse»¹ или «Défense d'afficher»², мимо «Défense d'uriner»³, мимо «Docteur spécialiste»⁴, 914 Boulevard Sebastopol⁵, мимо искусственных ручьев непитьевой воды, которая с бодрым шипеньем вырывалась из специальных, вровень улицы вделанных отверстий и предназначалась для мытья водостоков; постоянно — иллюзия искусства — создавала впечатление только что прошедшей грозы под уже синим небом, где медленно и высоко, осеняя мансарды и самодельную мачту для радио, двигалось белое кучевое облако как колоссальный белый воздушный шар.

Из зеленых машин округлым шипящим веером вылетала, пенясь, вода, и уже у самых ваших ног, казалось, вот уже готовая окатить, вдруг сокращалась до незаметной струнки, чтобы вновь, миновав вас, с шумом развернуться, в то время как атлетический водовоз, самодовольно улыбаясь и, как фокусник или скрипач, изучив управление двойною своею струею, как настоящий художник в тысячный раз повторяет все тот же гидравлический маневр и не утомляется им.

Иные улицы были уставлены полосатыми балаганами, где продавались всякие ненужные вещи по баснословно низким ценам, ярко окрашенные и стандартизированного производства. Мороженщики предлагали свои обольщения, которые в глубине цинковых цилиндров являли самые неожиданные и

¹ «Пиво» (фр.).

² «Не расклеивать» (фр.).

³ «Мочиться запрещается» (фр.).

⁴ «Врач-специалист» (фр.).

⁵ Севастопольский бульвар, дом 914 (фр.).

явно химические цвета. Кремовые и зеленые трамваи перегораживали улицу, киоски демонстрировали красоту ног изумительную, ног фотографических (иные даже были удостоены трехцветной печати), во много рядов развешанных на проволоках по страницам порнографических журналов с целью возбуждения запретных ощущений, а также в целях коммерческих и декоративных. Широкие плакаты реяли над улицей, и красовались трехцветные флаги, которые вдруг в одну ночь вырастают на углах, на временных белых мачтах, над объявлениями об осенних или автомобильных салонах.

Народ теснился среди досчатых палаток, где высокие колеса рулеток с ритмическим треском вращались, то опуская, то поднимая красивые свои цифры, особенно два и восемь, и обещающая счастливым пиле-ный сахар в коробках, иные даже до пяти килограммов.

И вдруг улица опять опустела, и опять исчезли бесчисленные жирные зады женщин, нарочно колеблемые при ходьбе, а также руки, носы, подмышечные части, напудренные и блестящие кожные покровы, груди различных величин и крепости, брюки и бесчисленные шеголеватые ботинки самых невероятных цветов, включая ярко-синий, которые заключали в себе тайны равного количества носков, более заношенных или рваных, хорошо заштопанных, самодельно стянутых грубой ниткой, подвернутых на пальцах, фильдекосовых, демикотоновых, полшелковых, полшерстяных и отсутствующих. Брюки, заключающие в себе тайны кальсонов, покрытых подозрительными пятнами, груди-тайны не вполне зарубцевавшихся легочных процессов, сердца-тайны денежных мук, мистических чаяний и ночных эротических бдений.

Мимо аляповато и небрежно шумящих фонтанов, мимо подростков и газетчика, мимо величественных низких зданий обсерватории, мимо памятника Нею, на зеленой шпалке которого, высоко задранной,

размышлял голубь, мимо колымажистых красных двухцилиндровых taxis de la Marne, ныне уже вовсе исчезнувших, мимо множества знакомых и милых, ярких и поблекших вещей, единственного зрелища и судилища, предпочтительного всем музеям и Акрополю, безрадостной улицей подошли мы, наконец, к Монпарнасу, и еще раз не смог я сдержать в себе того знакомого подлого, болезненно-радостного оживления, когда-то — ожидания какого-то неведомого счастья среди пестрой и грубой толпы, чаянья, столько раз обманутого, но все вновь и вновь вырастающего на глубоком и живом корне надежды на низменную радость.

По обеим сторонам широкого бульвара далеко на тротуар выехали и раскинулись плетеные и железные стулья «Ротонды» и «Дома». Когда-то, когда я появился здесь, я вообще не мог понять, как можно уходить отсюда, отставляя стулья и отряхая пепел с пальто; мне казалось, что нужно вечно сидеть и говорить только о самом главном долгие ночи и, наконец, договориться, понять все тайны и задачи; и так, больше всего ненавидя тех, кто ранее всего разбивали очарование и порывались уходить, я ждал, и армянские анекдоты, еврейские, солдатские, генеральские, советские и марсельские, слой за слоем, бремя за бременем, как сажа, копоть, шелуха и нечистоты, накоплялись на моей душе, помрачая свет и наводя тяжелое дымное остервененье.

Под широким желтым балдахинном и прямо на солнце, развалясь, картавя и поправляя промежности, сидело местное общество. Мужчины острили и терзали земляные орехи, осыпанные их шелухой. Женщины грели на солнце широкие жирные плечи, а под низкими краями белых соломенных шляп глаза их казались животнo-сонными и светлыми. Здесь их было целое население, полдня проводившее в подробном и медленном омовении и раскрашивании своей кожи и в долгом самодовольном одевании, и, наконец, как пахучие эротические объекты, появля-

лись они на пороге кафе du Dôme¹, обязательно заказывая большую белую чашку кофе и округлым жестом положив на мрамор коробку американских папирос, чтобы застыть так в прекрасном развратном оцепенении, надменно шуря припухшие накрашенные веки, посылая многозначительные взгляды, принимая чужие пристальные, легким биением ресниц отталкивая недостойные, удостаивая просительные.

И так часы и часы, как бы на пляже, наблюдают дивные и бессмысленные очи безостановочное шествие любопытных, самодовольные позы богатых иностранцев и жалкие жесты нищей художественной братии, которая, за неимением денег, жестикулирует, сидя на фатидической скамейке перед кафе на виду всех, всех пытаюсь презирать, всеми презираемая и достойная презрения, ибо жестоко и низко презирающая друг друга.

Там и я не раз сживал в тщетной надежде на «пару франков» или пару ботинок, в то время как под притворным равнодушием сердце мое доверху наполнялось неизъяснимым, непередаваемым отвращением к какому-нибудь особенно ненавистному аргентинскому юноше, который с животным аристократизмом улыбался, слушая тарабарщину.

Русские, женственно-чувствительные, вообще не умели стоически-величественно носить свою бедность, они всегда подражали кому-то одеждой — то каким-то бедным американцам, то художественному беспорядку; они тенденциозными голосами окликались друг друга, в поисках угощения кочевали между столами, разнообразно фальшивя; молчаливее и достойнее других были редкие довоенные эмигранты, двадцать лет сидящие здесь, про которых говорили, что когда земля начала освобождаться от потопа и выросла первая пальма, около нее появился столик и за ним — они; видимо, они еще помнили какую-то совершенно другую Европу.

¹ Дю Дом (фр.).

Аполлон Безобразов, равнодушный к русским, охотно отводил от них глаза, иногда как бы запачкавшись, хотя он говорил, что так как мир сделан из единственного материала и подчинен единому закону, отбрасывать малейшую его подробность равносильно ненависти к целому, которое он с неистощимым добродушием разглядывал или забывал, друг его или насмешник, но менее всего судья и обвинитель; этим он успокаивал меня, и я, забывая свое мучительное добро и зло, погружался в стихию зрения, подолгу любуясь какой-нибудь здоровой раскрашенной женщиною, которая, в совершенстве овладев этим, то поднимала, то опускала тяжелые веки, окаймленные неестественными ресницами, как будто в них пульсировала какая-то таинственная и от нее не зависящая жизнь.

Абсолютно бесспиритуальная красота таких женщин была много загадочнее красоты одухотворенной, что-то апокалипсическое было в них, несомненно ни о чем не думающих, все решивших, все позволивших себе, какая-то откровенная и до абсурда доведенная роскошь земной жизни; все они верили в какие-то простые низменные вещи — в совокупление, в спорт, в деньги, в карточную игру, — и эта узкая, но твердая вера освещала их лица своеобразным спокойным титанизмом.

Все это двигалось, менялось, ело и смеялось перед застывшими одеревенелыми лицами местных проституток, неестественно набеленными. Они знали тут всех, и вне своих профессиональных обязанностей они держали себя сухо и сдержанно, даже бодро, разговаривали только между собою и ни в какие психологические излияния не вступали. Они, гарсоны и шоферы, были единственные здесь работающие среди праздных, они презирали здесь всех и чувствовали себя неизмеримо выше остальных.

Внутри кафе казалось темным — рядом с ослепительной пестротой веранды. Многочисленные зеркала, в которых иногда появлялась резкая солнечная

полоса, казались зеленоватыми, и все пустое кафе — подводным бутафорским гротом. Из него мы любовались и, наскучившись зрелищем, вставали, наконец, и, зайдя в молочную лавку, отбывали обедать и ужинать на Монпарнасское кладбище.

Там, среди нагретых солнцем могильников, среди тщеславных барельефов и смиренных решеток, мы на скамье ели руками творог, пили сырые яйца сквозь маленькое отверстие и холодное кисловатое молоко, затем мылись под краном, предназначенным для поливания кладбищенской флоры, и Аполлон Безобразов ложился отдыхать, высоко выставив коленку. «Пойдемте», — говорил я ему. «Погодите, нас сейчас отсюда выбросят». Действительно, вскоре в сопровождении молчаливого инвалида в зеленой форме и жестикулирующей черной старушки мы покинули кладбище и в душном закатном освещении отступили в сторону Gobelins¹ с кинематографическими намерениями.

Огромное солнце заходило, в облаке пыли мчались грузовики мимо высокой тюремной стены, все было тихо, истомлено жарой и театрально-торжественно освещено. Дети играли на тротуарах, скача и достигая заповедного квадрата с надписью «небо». Остальные назывались «понедельник», «вторник», «среда» и «четверг»; «небо» выпадало на воскресенье. Сидя перед своими магазинами, негромко переговаривался мелочный торговый люд.

У входа в кинематограф желто в дневном свете горели электрические лампы, скорее затемняя, чем освещая деревянные щиты с фотографиями и стены за ними, оклеенные особой бумагой, изображающей яркую кирпичную кладку.

Сосчитав деньги, мы задолго до начала представления устроились в одном из первых рядов из экономии, а также потому, что Аполлон Безобразов любил сидеть прямо перед огромным экраном и не видеть

¹ Авеню Гобелен (фр.).

ничего иного. Задрали ноги на железную скобу ряда предыдущего и только иногда опускали одну из них, чтобы глухо топать ею в пустоте. Наконец, редкие лампочки вспыхнули ярче, и по краткому звонку несложный оркестр нестройно, но бегло заиграл что-то довоенное, и вот уже белый-белый, молочный магический луч, пронесшись над нашей головой и вдруг окрасившись теплою желтизной, озарил высокий четырехугольник. Но, видимо, машина действовала неисправно, и восьмая серия «Зеленого стрелка», то удваиваясь, то делясь на отдельные статические изображения, прыгала перед глазами; тогда немногоголосый вопль раздавался в зале, вновь в голубой пелене папиросного дыма загорались лампы и было видно, что кинематограф был почти абсолютно пуст. Редко, подальше друг от друга, сидели потревоженные светом всклокоченные любовные пары, впереди — черноватый, необычайно волосатый молодой человек, видимо, неудачник, а направо, немного поодаль, молодая женщина в короткой юбке и дорогих чулках, беспрерывно курившая и кривившаяся заплаканным лицом.

— Клуб самоубийц какой-то, — сказал Безобразов. Но вот за невразумительным восьмым эпизодом, сразу введшим нас в темп кинематографической действительности, зеленоватой, но испещренной выстрелами, тогда еще бесшумными, чисто световыми, и по окончании фантастической, комической части, где все действие было в противоречии законам физики и вероятности, приведшей Аполлона Безобразова в буйное веселье, — причем, слушая его адский откровенный хохот, я подумал, что он может когда-нибудь незаметно для других сойти с ума, — на сцену, деревянно улыбаясь, вышел толстый молодой человек, раскрашенный как манекен, сходство с коим еще усугублял его дешевый, старательно выглаженный наряд, и запел удивительно неживым скрежещущим голосом что-то веселое. Аполлон Безобразов не слушал, однако был чрезвычайно доволен; занимала

его необычайная, совершенно условная жестикуляция куплетиста, в чистоте сохранившего ложно-классическую традицию: он то прижимал руку к сердцу, то отводил ее не далее, но и не ближе, чем следовало по строгому канону, и наконец, подняв ее вертикально, спел даже что-то коммунистическое своего сочинения, во всем показав старую, из рода в род переходящую цирковую выучку.

И вот уже синими лучами, туманными мирами, далекими, недостижимыми солнечными ландшафтами появились и поплыли перед глазами фотографические мифы. Это были то лунные горы, снятые при дневном свете, то ассирийская архитектура небоскребов, то комнаты, полные качалок и преступников, мимо окон которых ежеминутно проносился поезд «элевтера». Там обсуждалось противозаконное деянье, а ничего не подозревающая молодая наследница на широкой белой машине уезжала в коричневую дрожашую фотографическую даль, но уже ее настигали решительные и добродушные второстепенные закононарушители, вскоре долженствующие рассеяться и даже разлететься по воздуху, и вот уже две слоновобразные головы великанов, неустанно посыпаемые нетающим борным снегом, пошевелив исполинскими глазами, соединились, наконец, образовав громадные кожные складки в заключительном губном прикосновении.

Опять в оркестре звякнуло что-то, и утомленная музыка мигом остановилась на половине фразы; и вот уже громко и дружно ударили сиденья, отскакивающие на пружине, красные влюбленные неловко отстранились, а мы отбыли в еще более нереальное царство пыльных деревьев, светящихся вывесок и передвижных мороженщиков. И мне заранее было известно, куда направляются наши заиндевевшие стопы.

С детства любил Аполлон Безобразов фантастическую сень паноптикумов и музеев восковых фигур, лунапарков и гимнастических залов, их аляповатые облака из папье-маше, их легкие картонные готические своды, их ярко окрашенное железо, их пыль и запустение.

Он говорил, что только для человека, то есть для мыслимого, мир непроницаем и неподвижен, для Бога же, то есть для мыслящего о мире, все проницаемо, текуче и изменяемо по желанию столь же, как проницаемы и изменяемы для нас объекты нашего воображения или автоматы в паноптикуме, где все двигается, поет и загорается по произволу. Особенно любил он старые немецкие автоматы, например «тушение пожара» или «выезд президента», где тотчас же за исчезновением монеты начиналась сложная механическая возня, что-то тикало, и уже раскрывались дверцы маленькой пожарной части, из них выкатывались свинцовые повозки, а из трехэтажного домика, где горел электрический пожар, из верхнего окна периодически с важной настойчивостью высовывалась фигурка погорельца.

Хиромантические аппараты интересовали его тоже: там загорались большие и тусклые лампы, жужжал регистрирующий механизм, в то время как рука, прижимающая десятки металлических пузырьков, индевела от напряжения. Женщины в стеклянных коробках железною рукою вынимали предначертания судеб и, четким жестом бросив в медный котелок, останавливались с неизменной улыбкой, а из иных с тихим шипеньем брызгало облачко нестерпимых аптекарских благовоний. В других звучала хрипящая полустертая музыка, которая, как из отдаления, доносилась из грязных эбонитовых воронок. Затем контрольная лампочка гасла и музыка прекращалась. Зеркала слоноподобно изменяли посетителей, ружья на подставках бесшумно палили в электрические цели, а иные аппараты, потушенные и покрытые пылью, безмолвно хранили свои отшумевшие игрушечные тайны. Затем галерея поворачивала и, опускаясь вдоль ступеней, являла длинный ряд безнравственных стереоскопов, у которых, стыдливо смеясь, толкаясь и в восемь очес норовя смотреть в одно и то же тускло изнутри освещенное стекло, теснились неуклюжие загорелые солдаты с расстегнутыми ворота-

ми, как будто голубые коровы, введенные в комнату. Иногда глазоблудное приспособление отказывалось действовать, и они все громче и громче стучали в него ладонью, огорченные исчезновением скудных своих достатков, и растерянно озирались вокруг. Жаловаться в дирекцию они не решались. Да и необычайно толстая одноногая дирекция, сидя около искусственного соловья и витрины с шуточным калом и рвотными конфетами, не любила трогаться с места. Тихо и странно было внутри стереоскопов, там тоже заигрался пыльный желтоватый свет, и на серых негигиеничных постелях или из неусовершенствованных ванн появлялись улыбающиеся жирные женщины, являя антиморальные бедра и иные интересные места, к сожалению солдат, достаточно завуалированные. С металлическим треньканьем картина сменялась картиною, и вскоре последняя красавица так и замирала в неведомой своей пространственности четвертого измерения, высоко задрав недомытую ногу.

Дальше коридор, заворачивая, спускался в подвал со спортивными аппаратами. Широкая низкая комната была полна чудовищным металлическим населением на одной и двух ногах. Чугунный негр посередине груди являл кожаную подушку для ударов, сила которых тотчас же отмечалась на циферблате; кроме того, от особенно могущественных в глазах его заигрался тусклый свет, и он странно металлически пищал, не меняясь в лице; другие аппараты являли медные руки, ручки и рычаги, мячи, висящие на цепочке, а также ножные мячи, прикрепленные к полу. Дальше было еще одно неосвещенное отделение, где, как я думал, и помещалось самое интересное.

У одного из силомеров с двумя косыми рукоятями толпилось и галдело небольшое хмельное общество; в нем героем и центром внимания был толстый красный человек, периодически сдавленно восклицавший «ah voilà!»¹ или «sans blagues»²; другой, малень-

¹ «И вот!» (фр.)

² «Ты всерьез?» (фр.)

кий, в синем рабочем костюме, пьяным голосом доказывал, что ручки для него велики, но никто не допускал этих смягчающих обстоятельств. Скромно Аполлон Безобразов, стараясь казаться по возможности узкоплечим, протиснулся к динамометру. Пьяные силачи слегка расступились и с полуулыбкой смотрели, как он, слегка приседая, примащивался к рычагам.

Потом стрелка, дрогнув, вышла из неподвижности и, постепенно зажигая контрольные жучки, показала 100, 250, 500, 750; около 900 она заколебалась, но он судорожно скривился, и стрелка метнулась к 1100.

— *Nous mais il est ridé le mec*¹, — сказал из-за спин краснощекий солдат, тот самый, что в коридоре бил по стереоскопу. Великан, презрительно вытаращив губы, спросил:

— *Comment donc on s'y prend?*² — И, грозно насупившись, взялся за рукояти. Стрелка охотно двинулась с места и бодро пошла по кругу, но, дойдя до 800, она покачалась немного и остановилась. Рычание, судорожное усилие, стрелка переползла на 850. Невозможно было не заметить той переоценки отношений, которая произошла вокруг силомера, Безобразову прекрасно знакомого и на котором он годами уже тренировался. Великан как-то сразу уменьшился в росте, маленький синий человек почти торжествовал, остальные ожили.

— *Mais il ne faut pas tirer!*³ — сказал он нехотя. Тогда Аполлон Безобразов с возможной медленностью повторил упражнение, дойдя на этот раз ровно до тысячи.

— *Et vous voyez!*⁴ — смущенно сказал быкообразный и отошел. Однако на других аппаратах он остался победителем, хотя Аполлон Безобразов ни на од-

¹ Силен, однако, парень (*фр.*).

² За что тут взяться-то? (*фр.*)

³ Смываться не надо! (*фр.*)

⁴ Ну и ну! (*фр.*)

ном не отставал далеко, ибо, состязаясь с сильнейшим, он в этот вечер побил несколько своих рекордов, которые были тотчас же записаны карандашом на масляной краске стен, видимо, никогда не мытых, где одна из надписей имела уже пятилетнюю давность.

Видимо, Аполлон Безобразов превосходил себя в этом подвале. Никогда я не видел его таким серьезным. Лицо его обезобразивалось от напряжения, шея наливалась кровью, и сразу же после упражнения кровь отливала от него и оно становилось бледным. Солдаты с суеверным уважением наблюдали за ним. Досаду же свою пьяная свита толстяка срывала на мне. Узкие железные ручки причиняли боль моим неисккусным рукам, и стрелка, попрыгав, останавливалась где-то около 50, 100, 150 и ни за что, как железная гора, не двигалась уже с места.

В минуты усилия страшно было лицо Аполлона Безобразова, когда, побеждая границы естества, он всю свою моральную, может быть, даже духовную энергию вкладывал в невероятное напряжение своих рук до боли, до красных кругов перед глазами, до мягко плывущих во все стороны огненных завитков. И как бы сквозь сон, как райский свет, видел он все выше и выше загорававшиеся над ним лампочки; и вот, наконец, как пение Валькирий, уносивших его душу, слетал к нему громкий трезвон широкого круглого колокола на исходе пружины автомата. Часто только на улице замечал он, что до крови разбил себе руки, и они напухли высоким кровяным бугром, и, кажется, все деньги до последней копейки растратил бы он, опуская их без счета за всех присутствующих в металлическое брюхо спортивных Молохов.

Ах, если бы хоть часть этой дикой энергии можно было пробудить на благую деятельность, не на пустяки и на миг; и опять он совершенно успокоился, и она заснула в преисподней, из которой путь к жизни преграждало великолепное его «зачем».

ГЛАВА IV

«Je suis Dieu», — dit Faustrole. «Ha, ha!» — dit Bosse de Nage sans plus de commentaires.

*Alfred Jarry*¹



ем временем на улице пошел дождь, и по тротуарам вытянулись, расплываясь, зеленоватые и красные отражения. Обсасывая со всех сторон свое мороженое, мы постояли в нерешительности под каким-то навесом, вслушиваясь в отдаленное и непрерывное дребезжание звонка, означающего возобновление представления в иллюзионе; впрочем, соседние биографы тоже подавали голос, и сквозь слабый шум воды непрерывно слышалось, как жалобно подпрыгивает звуковая горошина в металлическом горле звонка. И вот уже один из них остановился, пора было двигаться. Впрочем, холодная вафля в моих ослащенных пальцах сделалась уже совсем тоненькой и скоро сама, как заключительное наслаждение, должна была быть съедена.

Мы еще раз посмотрели на пышную, ядовито-зеленую сень деревьев, неестественно освещенную снизу, вышли из неподвижности и, тотчас же промочив ноги, бегом миновали стоянку автобуса «Н», дошли до пятачка, находящегося против универсального магазина, закрытого в этот час, но, не доходя до Port Royal Cinéma², были остановлены веером разгонявшим воду и во всю прыть подъехавшим такси de Dion Bouton.

¹ «Я — Бог», — сказал Фаустроль. «Ха-ха!» — ответил Босс де Наж без излишних комментариев. *Альфред Жарри (фр.)*.

² Кинотеатр «Порт-Руаяль» (фр.).

Бодрый молодецкий голос окликнул Безобразова:

— Алло, Аполлон, полезайте в машину и молодого человека тоже с собой берите, сегодня Маруси Николаевны именины в ателье Гробуа, и они непременно наказали вас сыскать.

В голосе этом, принадлежащем толстешейшему, лысеющему, но необыкновенно молодцеватому морскому офицеру Косте Топоркову, было столько ласкового и вместе с тем наглого русского удалства, столько заразительного буйства какого-то, что, не зная ни что, ни куда и оставив мысль о соблазнительном сарае, пахнущем преступниками, мы, нагибаясь, тотчас полезли в кибиточку и скоро, раскачиваясь в разные стороны, нагруженные бутылками, со страшной скоростью выехали в пустынный *impasse de la Photographie*¹. Зажженные фонари ярко осветили низкую каменную стену, несущуюся нам навстречу, но вдруг пронзительный визг огласил воздух, и автомобиль с остановившимися колесами, проташившись по жирной мостовой, ударил в забор, осыпая штукатурку, и остановился подле полуразрушенного строения, похожего на фабрику.

— Ну, вылезайте! — раздался опять тот же нагло-веселый голос, и, поднимаясь по темной разбитой лестнице, мы уже издали слышали громкий, ритмично заглухающий рев граммофона и радостно и неприятно, как-то против воли, оживились. Но это была ложная тревога, ибо сами хозяева ждали Топоркова, чтобы ехать на *gue du Dragon*², куда за многлюдностью было перенесено торжество.

Опять носило нас и бросало из стороны в сторону в тесной коробке, обитой материей, но на этот раз нас уже было больше, и в беспорядочном смехе сидящих друг на друге людей и в невпопад громких их словах уже предчувствовалась радость какого-то близкого освобождения и надежда на распутство.

¹ Тупик Фотографии (*фр.*).

² Улица Дракона (*фр.*).

Пройдя небольшой двор и несколько коридоров, мы очутились в пустом высоком зале, рассеялись в нем и сразу примолкли, почувствовали себя неуютно. Помещение было очень странно, стены его с правой и левой стороны тонули в сумраке, ибо единственная яркая синяя лампа освещала, вернее, озаряла его, ничуть не рассеивая темноты под высоким стеклянным потолком. Но посередине, как раз под тем местом, где горела лампа, наспех расчищенное от мольбертов пустое пространство было направо и налево отгорожено низкою балюстрадой; все это заканчивалось пустым помостом для натурщиков. За изгородью налево, в скульптурном отделении, из темноты причудливо возникали поломанные гипсы и работы учеников, покрытые на ночь мокрыми тряпками, дальше были клозеты, умывальники, клетушки, где раздевались натурщицы. Под потолком висели картины столь пыльные, что даже при дневном свете ничего нельзя было разобрать. Изредка только луч света падал на желтое лицо в высокой шляпе девяностых годов, ибо академия была очень старая, полная переходов, чердаков и закоулков, поломанных декоративных предметов и бесчисленных забытых недописанных холстов. Все вместе напоминало кулисы заброшенного театра или типичный дом привидений, которых солнечный или электрический луч, сквозь слой пыли повсюду, вызывал со стен и из углов. В отличие от света, звук хорошо передавался здесь, и рев могущественного граммофона, привезенного нами и неведомо у кого одолженного, с грохотом разносился под сводами.

Эстрада, заменявшая стол, была уставлена длинными рядами бутылок и бутербродов, а посередине на тщательно выметенном пространстве хозяин помещения, широкоскулый литовец, боксер, натурщик и сторож, бережно своею огромною ладонью веером рассыпал тальк из жестяной коробки классическим жестом сеятеля; скромный и застенчивый, в своей спортивной карьере он был остановлен недостатком

злости, ибо его крестьянскому добродушию претила постоянная необходимость бить по слабому, окровавленному месту противника, например «lui fermer les yeux»¹. Далеко отставив зад, чтобы не наделать несчастий своими огромными ступнями, он бережно танцевал с каждой новопривывшей.

Все мы расселись в каком-то недоумении, и никто еще не решался ни пить, ни танцевать. Аполлон Безобразов рассматривал простенки. Я и Топорков исследовали переходы и классы, и только граммофон чувствовал себя великолепно, он то гремел металлическим шумом, то нежно-округло ворковал саксофонами, особенно двумя саксофонами, неустанно догонявшими друг друга, то вдруг, быстро и невнятно выговаривая слова, пел хриплым человеческим голосом, вскрикивая и шамкая, то вновь колокол ударял в глубине музыки; на четверть секунды все оттаивалось на синкопе, и, вновь переменяв темп и нарочно вводя в затруднение мнимых танцоров, снова рокотали трубы, били цимбалы, а скрипки, вдруг оставшиеся одни, нежно и согласно уносились, посвистывая, в музыкальном изнеможении.

I

О, бал, как лирическая гроза рождается твой разнообразный шум. Ты то затихаешь — и явственно слышны тогда отдельные разговоры по углам, грубые споры и тихий, счастливый, эротический смех, — то вновь столпотворение твое становится всеобщим, кружки распадаются, охваченные дионисийским нетерпением, все толкаются и поют, проливая вакховые дары, и только упившиеся, как раненые в оргическом сражении, слабо стонут, не могучи приподняться. Странную глухоту разливается оккультная влага по отравленному организму, и как бы из отдаления слышны пульсации музыкальной машины, ритмирующей танец, а танцующие, выступы и углуб-

¹ «Бить по глазам» (фр.).

ления которых совпадают все точнее, мимируют Цитерино действо, головы их склоняются на плечи, а лица — к запаху надушенных волос. Древние страхи ослабевают, и всеобщее танцевально-телесное братство охватывает добродушных. Да и музыка уже не слышна вовсе, какое-то ритмическое шарканье руководит телами, которые сами, как бы мысля, неведомым симпатическим образом передают друг другу инициативу поворотов, замедлений и остановок. И достаточно музыке на мгновение прерваться, взволнованные голоса, как разбуженные наркоманы или неудачным движением разлученные любовники, наперебой требуют вернуть им телесно-музыкальное согласие их динамического андрогината.

О, танец, алкоголическими умиленными очами как любезно созерцать двух, тобою преображенных, двух самозабвенных, двух, оторванных от антимузыкального хаоса окружающего, двух, возвратившихся в ритм из цивилизации, в музыку действия из безмузычия мышления. Ибо в начале мира была музыка. Как красивы кажутся они, соединенные и занятые танцем, когда они, то останавливаясь, то покидая неподвижность, возвращаясь и вращаясь, отделяются видимо от окружающего и, забывая действительность, может быть, более готовы умереть от усталости, чем остановиться. Но только музыка иссякает, как будто вода стремительно покидает водоем, и ошеломленные рыбы, красные, подурневшие, в растерзанном платье, бьются еще мгновение и озираются, не могучи найти равновесия. Как уродливы они в ту минуту, иссякшие в третьем пластическом существе, в точности, как измученные любовники, с трудом высвобождающие свои ноги.

Тем временем бал мгновенно опять затихает, как долгая южная непогода. С разных сторон раздаются пререкания, пьяные, качаясь, обнимаются, а иные, уткнувшись в диваны, предаются глубочайшему пессимизму.

Поделив женщин, компании веселятся или скучают отдельно, и настроения их, не совпадая,

вносят моральную дезорганизацию. Ибо общее празднество всегда быстро делится на ряд отдельных балов, имеющих каждый свой центр на каком-либо особом диване, и в то время, как из далекого угла обезнадежившиеся требуют от музыки растравить соединившее их на время, настроение соседнего хмельного человечества успело подняться на завидную высоту и, чтобы удержаться на ней, нуждается в бодрых металлических звуках; тогда возникают споры из-за пластинок и освещения.

Но и отдельные эти балы делятся во времени на ряд непрочных музыкальных атмосфер, чаще всего — смен воодушевления и упадка, порожденных иногда лишь счастливым повторением какого-нибудь блюза с особенно нежной звуковой фигурой, пронизывающей сердце неведомой, неповторимой сладостью.

2

О, бал, как долгий день, как жизнь или музыкальное целое, распадаешься ты, неразделимый, на необходимые азоны, лирические твои периоды. Таковы: холодное вступление, гимнастическое развлечение, танцевальное одурение, алкогольное забвение, словесное возбуждение, сексуальное утешение и рассветное размышление; но вернемся к его истоку, когда атлетический хозяин заботливо посыпал пол и никто еще не прикасался к волшебным и горьким жидкостям и не требовал сочувствия и утешения временных братьев, готовых, но и хорошо знающих, как приятно пролить несколько пьяных слез, когда вокруг воздух глух, дымен и наполнен запахами и шумом до того, что весь бал кажется одною разноцветною жидкостью. И только охваченный нестерпимой нуждой, с полузакрытыми глазами, прижимая руку ко рту, уже полному рвотой, уже полуживой, рвется куда-то в небытие гигиенических мест, расталкивая танцующих, чтобы опять, ослабев и освободившись

от демона, разрывающего внутренности, вернуться в музыку. Ибо медленно, столь часто потухая, разгорается огонь бала.

О, нищее празднество, как медленно занимается твое смятение и, кажется, не настанет вовсе. Никто сперва не решается танцевать, даже проходить по залу. Разодетые с тревогой осматривают оборванцев, и кто-нибудь обязательно неестественным голосом возглашает:

— Выпьем немного, господа!

Но даже пить никто не решается. Устроители с тревогой смотрят на часы. Ведь уже половина одиннадцатого. Гости с каким-то недоумением рассматривают неровные бутерброды и разнокалиберные стаканы, но вот уже кто-то, мигом оказавшись без пиджака, раскупоривает желтую бутылку, строго сквозь очки оглядывая присутствующих.

Аккуратно, как художник, легонько сперва прикасающийся к чистому холсту, как бы боясь запачкать, льет он желтую, кисло пахнущую влагу в толстый низкорослый стакан. Но час пройдет, и уже свободно кисть летает по полотну и, пачкая пальцы в нервической спешке, как попало, не глядя, выдавливаются тюбики на палитру. Но пока каждый блюдет свой стакан, лишь до половины его наливая, а также напиток свой, избегая губительного «ерша» — интерференции спиртов, и с напускною серьезностью медленно пьет толстыми розовыми губами девятнадцатилетний близорукий молодой человек, стыдящийся своего здоровья. Пьяницы пьют, не морщась, они скорее всего пьянеют и почти уже не переносят вина, глотая его с ловкостью фокусников и вытирая руки о волосы.

Девушки, только что вошедшие группой, взаимно одолжившие туфли и юбки, долго держат в руках стаканы и озираются, как будто чего-то ожидая; но это что-то решительно медлит.

— Может быть, уйдем, господа, — вдруг говорит кто-то, отмечая этим точку наибольшего сопротив-

ления белесого дневного сознания срамным и прекрасным подземным божествам.

Но вот вино оказало свое первое действие, тщательно пока скрываемое присутствующими, некоторые из коих всегда умудряются с изумительной, прямо-таки баснословной быстротою напиться в самом начале представления и являть красную веселую рожу еще посреди всеобщего напускного благообразия.

Двое шоферов, загорелых, как кирпичи, и аккуратно по-офицерски одетых и выбритых, степенно беседовали с Костей Топорковым в одной рубашке и эспадрильях, как принарядившиеся отпускные с боевым товарищем в грязной окопной форме. Один из них, высокий немец с большими золотыми зубами, широко улыбаясь, обращался к невысокому широкоплечему человеку, белоснежная рубашка которого свежо оттеняла его красную худую шею:

— Ну что ж, поговорим, Олег Васильевич?

— Об чем же мы, доктор, поговорим, если мы ничего еще не выпили, — ласково и браво улыбаясь, отвечал тот. И уже Топорков, раскачиваясь, подносил им мадеры, стараясь налить обязательно доверху, причем дружественно, притворно протестуя, они отводили его толстую руку.

Пей, братец! Вино напомнит тебе о прошедших днях. Ты родину вспомнишь и шелест прозрачной березы. Пей, милый, товарищей вспомнишь, упавших в боях, и слезы покинутых девушек, легкие слезы. Пей, загорелый товарищ, быть может, навеки, быть может, на время скитанья. Шути, веселись, загорелый ночной человек. Пусть музыка плачет и время несется над нами, ты все потерял, ты простил и уехал от всех. Ты начисто выбрился, сел на стального коня, шутя, улыбаясь, по улице чисто проехал. Задумался, ахнул, мелькнул и не вспомнил меня. Ты выпить с товарищем в белой рубашке приехал. Шоферская доблесть, что ж, выпьем, встряхнись и прости. Нам легче от смеха, и мы никому не помеха. Шоферы пьют, вспоминая прошедшие дни. Стаканы стучат,

вспоминаются павшие братья, что в степи родные, как в улицы синей огни, упали, раскрывши могучие руки-объятья.

Все плывет вокруг; как бы ступая по вате, пьяный вваливается в ватерклозет. Спеша вернуться куда-то, где что-то продолжается, он неловко вынимает мочеточник, но никак не может нацелиться струею в почерневшую чашку, и жидкость переменчивым плеском падает вокруг. Иногда струя касается платья, тогда на этом месте становится необычайно тепло. И вдруг невыносимый соленый вкус подступает к горлу. Раздирая воротник, свободной рукой опираясь о стену, жертва вся содрогается, но ничего, кроме едкой струйки желудочного сока, не выливается изо рта. Но вот, наконец, волна, кажущаяся ему огромной, вырывается из его внутренностей и, крепко ударяя в нос, с масляным шумом низвергается в раковину еще и еще, наконец, — все же облегчение. Вместе с последнею ядовитою струею желудочного реактива выплескиваются какие-то неузнаваемые остатки съестного, и, побледнев, как после долгой болезни, очистившийся и потрезвевший выходит из смердящего узилища, стараясь казаться как ни в чем не бывало и незаметно вытерев слезы, наворачившиеся от напряжения, в то время как розоватый кусок макарон, прилипший к носку его башмака, явственно свидетельствует о роде его отсутствия.

3

Тем временем никто не меняет иголок граммофона. Центральное явление, он шумит в одиночестве, хотя около него находится «стуло печали». Обиженные чем-нибудь, вообще всякого рода вышедшие из круга, потерпевшие эротические неудачи и оттиснутые с диванов, где четверо остряков стараются хоть чем-нибудь прикоснуться к разморенной смехом полнотелой соотечественнице, вдруг охваченные

печалью отправляются заводить граммофон, фонограф или патефон, как произносят иные: «веселитесь, мол, а я так, наблюдаю!» Но вот уже вежливо к отошедшему прибавляется какая-нибудь бродячая душа, приглашая алкоголизироваться или затевая разговор, и опять очарование внеположения разрушено, и отщепенец возвращается в смуту танцующих.

Только не думайте, что всем им неотступно весело: только иногда и на краткие минуты что-то удается, совпадает, все согласно смеются, не перебивая друг друга, или, поделив между собою различные части тела красавицы, переживают приятный, хотя и неполный, эротический момент, и низкое счастье, выйдя из-за вечных облаков, недолго, но тепло озаряет эту антиморальную сцену, но все расстраивается, и опять воцаряется старая мука непрестанного ожидания чего-то.

4

О, порочное и отдохновенное танцевальное действо! Ты, действительно, сперва глохнешь и бестолково прозябаешь, как вдруг какой-нибудь отчаянно веселый ласковый возглас или звон разбиваемого стакана как будто подает неведомый сигнал к отплытию, и все — ты вместе с раскрасневшимися пассажирами отчалишь, двинешься к Цитерину острову под мерную пульсацию музыкального своего двигателя.

Каким-то дымом наполнится вдруг разгоряченная атмосфера. Все кричит и колеблется, плывет и звенит в ушах. Незнакомые целуются, клянясь в вечной дружбе. Женщины, танцуя, опускают прекрасные головы на близлежащие плечи. Волна братства и нежности, безнадежности и веселья проходит по сердцам, она все ширится и, кажется, продолжись это еще немного, уже никогда, никогда чего-то не будет и навсегда, навсегда запомнится что-то; но вдруг какой-то злой демон, не поддавшийся очарованию или поте-

рвавший чувство действительности, останавливает граммофон и, остро ненавидимый остальными, настойчиво предлагает какую-нибудь нелепую игру, и вот уже забывшиеся очнулись, руки, оставленные в чужих потных и ищущих руках, испуганно отведены прочь, и уста, уже готовые соединиться, отстраняются навсегда. И всегда находятся эдакие изверги, нечувствительные к веянию иного, иррационального счастья.

5

— Сколько ни съем, все равно все начисто возвращу природе. А где же порто? — озирается Павлик, красивый всегда, как будто только что вымытый, гардемарин. Порто предусмотрительно упрятано в соседнем ателье, там небольшой конспиративную группой, высоко запрокидывая голову, из горлышка выпивает наиболее боеспособный молодняк; но какое разочарование, когда, вернувшись к заповедному, не находят ничего вовсе. Сперли бутылочку! И совестно разыскивать. Все равно через несколько минут она сама собою, но совершенно пустая, появится развратно посередине стола.

Унести, унести, уединиться; так, постепенно, танцующая пара, кружась, отдаляется от освещенного пространства и все дальше и дальше уходит от любопытных глаз. И долго потом не возвращаются они, сидя на табуретах или на полу у стенки неподвижно, о чем-то говорят они о своем, о вдруг возникшем у них своем, тепло и меланхолически дорогим, а по другим табуретам вокруг разбросаны снятые пиджаки, сумочки и смятые шляпы, ибо как неважно все до рассвета. Ах! До рассвета.:

6

— И ты, вино, осенней скуки друг, веселый утешитель всяких мук.

— И вовсе не веселый, а какой-то там другой, — го-

ворит наставительно наливающий подающему стакан. Вообще, сперва каждый свой стакан прячет, стыдясь и боясь другого, затем все, пообзав, пьют как попало; снимаются пиджаки, засучиваются рубашки, показываются руки и с гомосексуальным удовольствием ощупываются. Иные, наоборот, показывают, что у них мускулов вовсе нет, и почему-то сочувственно заглядывают в глаза или ссылаются на особенно крепкие ноги или животы. Тогда начинается пьяное спортивное состязание, где обязательно все, что делают акробатически одаренные — то ли пройти на руках или зубами, не сгибая колен, достать с полу спичечную коробку, — тотчас же берется повторить какой-нибудь пьяненький и все падает о пол лицом, под всеобщий смех тшась за подмышечные части поднять молодую женщину или мужчину высоко над своей головой. Он обязательно падает на землю вместе со своей жертвой, и уже никто и ни за что не соглашается помочь ему стереть то, что кажется ему досадной неловкостью. Долго потом оттенок небрежения слышится в речах женского общества, обращенных к нему, грязному и покрасневшемуся, с ним отказываются танцевать, замалчивают его остроумные замечания, и он страшно доволен, когда какая-нибудь толстая женщина соблаговолит на его приглашение. Желая показать, что он танцует прекрасно, он танцует ужасно, вихляя плечами и задом, и долго потом не отходит от спасительницы, чрезвычайно довольный оказией. Скоро танцы возобновляются, и всегда какой-нибудь другой необычайно маленький человек, всех толкая, танцует со всеми самыми веселыми и красивыми женщинами, веселя их до упаду, нагло кричит и вот уже оказывается в неизвестно откуда взявшейся феске, в то время как записные танцоры с деланным равнодушием старательно выводят па и с неприязнью оглядываются на него. И уже бал приобретает свой многогруппный хаотический порядок, и сам уже, как хорошо заведенная фабрика, шумит долгие часы, в то

время как новые и новые группы входят и сперва в изумлении толпятся на пороге, причем мужчины, спиною к балу поворачиваясь, инстинктивно оберегают новоприбывших женщин. Они почти со страхом разглядывают раскрасневшихся и потных танцоров, их смятые галстуки и грязные башмаки, а на лицах — следы вакхического обалдения, счастливого и кратковременного, будто медлят в нерешительности перед тем, как броситься в горячую воду, в то время как мимо них, толкаясь, выходят по нужде или, собрав деньги, уезжают за вином. Занятые и веселые, несутся посланцы без шапок по пустым улицам, бестолково советуют шоферу и, чувствуя еще и слыша шум граммофона, смех и шуршание танцев, как близкое «свое» оставив бал, в которое они сейчас победоносно и многобутылочно вернутся, с которым сейчас опять сольются счастливо. А наутро появляются и совсем посторонние люди, неведомо уже как прознавшие о бале; пьяненькие и грязные, они сперва озираются робко и стараются покушать остатков, затем грубо орут, рассказывают что-то и, совсем уже готовые быть выброшенными, ожесточенно защищаются молодежью, которой, скорее, свои, как чужие, а чужие ближе своих. Ибо к третьему часу ночи весть о выпивалище уже обошла монпарнасские кафе. Возвращаясь, виноносы застают уже ряд перемен. Намеднишние героини бала, кричавшие больше всех, уже тихо сидят по углам, разговаривая, или лежат подле стенки на чьем-нибудь пальто и тихо стонут, зажав в зубах лимон.

7

— Да не смейтесь вы так, что вы всегда смеетесь?

— Это вы смеетесь, а вот послушайте, я вам расскажу. Подходит ко мне жином. Садится у вуатюру. О лала, думаю. Ну, везу, значит. Везу час целый, оглянулся: на счетчике двадцать семь франков. Остановился я, он ничего. Я, значит, его за манишку: плати, сукин

сын. А он мне русским голосом отвечает: «Я, братишечка, вовсе застрелиться хочу, да все духу не хватает», — потому, мол, и счетчик такой. Плачет, и револьвер при нем. Ну, я, значит, револьвер арестовал, а его в бистро. Ну, значит, выпили, то-другое, о Бизерте поговорили. Он, оказывается, наш подводник с «Тюленя», то-другое. Опять за машину не заплатил.

— Так и пропадаем, как Тишка.

— Какой Тишка?

— Богомилов, здоровый такой, с бородою, лейб-казак. Его теперь бумаг лишили за то, что жулика одного пожалел. От полиции его повез, ну и въехал в ассенизацию.

— Жулика, конечно, каждому русскому жалко. Все мы жулики.

— Да успокойтесь, выпейте лучше. Да и барышни скучают.

— Я уже пил! Я уже всю горечь жизни выпил.

— Эх, пьяницы! — наставительно вздыхал совершенно захмелевший человек, подмигивая красным глазом.

— Совершенно как тот. Подушки облевал, коврик обделал, а я ему говорю: штаны-то, штаны, les pantalons застегни, а он мне: не застегну, всему миру покажу. Ну, здесь ему ажан как даст. Уж я сам за него вступился.

— Нет, вы подумайте!

— Нечего думать. Ты лучше нос вытри.

— Да ты что здесь за красавец выискался? Ты думаешь, я пьян?

— И есть пьян.

— Я! Я — пьян?! — кричал оскорбившийся, наступая, хотя всем, и ему, было ясно, что он именно пьян. Но еще слишком много добродушия было разлито вокруг. Все дружно бросились не допускать рукоприкладства, чему и сами взбеленившиеся были искренне рады.

— Давайте лучше споем что-нибудь.

— Ну, вы, Свешников, начинайте.

Свешников поет. Выставив адамово яблоко и, маленький, сделавшись вдруг серьезным, хриплым своим и приятным баритоном:

Выпьем мы за того,
Кто повешенный спит,
За револьвер его,
За честной динамит.

А еще за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За честной идеал...

— Нет, слушайте, вы врете, не так вовсе кончается!

— Господа, один кто-нибудь должен затягивать.

— Нет, мы сейчас споем «Быстры, как волны».

— Быстры, как волны, все дни нашей жизни, — начинают вразброд голоса. И обязательно уже и без того неладный хор кто-нибудь начнет передразнивать:

— Бистлы, как волны, все дни нашей жизни. — И тотчас больно, физически больно стало всем. «Опущенные души, — думаю я, — пел бы хоть кто-нибудь один».

— Костя, спой ты.

— Ну что ж, я спою.

Он поет. Голосу у него, конечно, никакого нет, да и слух с ошибками. Но громко зато поет, на самые верхи залезает. Высоко выкатив жирную свою шоферскую грудь, широко расставив крепкие свои кавалерийские шоферские ноженьки. Лихо поет, и вот все заслушались, все приумолкли и даже целоваться перестали. Честно поет, широкогрудо и антимузыкально, гражданственно и по-разбойничьи тоже:

Ресторан закрыт,
Путь зимой блестит,
И над снегом крыш
Уж рассвет горит.

Ты прошла, как сон,
Как гитары звон,
Ты ушла, моя
Ненаглядная.

— Еще, Костя.

Три сына было у меня,
Три утешенья в жизни,
И все они, завет храня,
Ушли служить отчизне.

Пой, светик, не стыдись, бодрый эмигрантский шофер. Офицер, пролетарий, христианин, мистик, большевик, и не впрямь ли мы восстали от глубокой печали, улыбнулись, вернулись к добродушию.

Как за гаем-гаем цыганы стояли.
Они песни пели, играли и гуляли.

— Подходит ко мне жином, садится у вуютюру. О ла-ла! — думаю.

Жином, конечно, черт. Шофер сорок дней не ел и не читал Достоевского. Антихрист же все равно превратит камни в хлеб пятилетки. Потому что жалостлив антихрист. И песня льется, и жизнь несется, без богатств богатая, без злобы лютая, без сердца добрая — до рассвета. Ах, до рассвета!

Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шоферская, зарубежная. Либерте, фрaternите, карт д'идантите. Ситроеновская, непобедимая, пролетарско-офицерская, анархическо-церковная. И похоронным пением звучит цыганщина, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда.

Париж, Париж, асфальтовая Россия. Эмигрант — Адам, эмиграция — тьма внешняя. Нет, эмиграция — Ноев ковчег. Малый свет под кроватью, а на кровати Грушенька наслаждается со Смердяковым. Слышны скрипы, эмиграция молится под кроватью.

Кого-то нет. Кого-то жаль.
 К кому-то сердце рвется вдаль.
 На фронт уходит конный полк.
 В станице шум и смех замолк.
 Ах, не вернется, не вернется.

Это бессонная ситроеновская кавалерия выезжает на рассвете. Шуми, мотор, крути, Гаврила, по Достоевскому проспекту на Толстовскую площадь. А пока шуми, граммофон, пой, пташечка, пой, и лейся-лейся, доброе вино, и только не деритесь (хотя и подражаться можно, и промеж глаз дать или получить куда лучше, чем вежливичать и таить дурное); подеретесь, потом и поцелуетесь, недаром Иисус воду в вино обращал (одобрял пианство).

— Ну, бросьте, вы бы тоже спели чего-нибудь, а то все руками да руками...

Подруга жизни неудачной,
 Ты ненавистна мне, луна,
 Зачем глядишь в мой терем мрачный
 Сквозь раму тусклого окна.

— Да оставьте вы со своим Чаадаевым, спели бы лучше, а то Чаадаев да Чаадаев.

Чарочка моя, ненаглядная,
 Каленым золотом посеребряная!

И снова шумит граммофон, и, мягко шевеля ногами, народ богоносец и роконосец поднимается с диванов, а ты, железная шоферская лошадка, спокойно стой и не фыркай под дождем, ибо и до половины еще не дошло танцевалище, не допилось выпивалище, не доспело игрище, не дозудело блудилище, и еще не время тебе зигзаги по улице выписывать, развозя утомленных алкоголем, кубарем проноситься по перекресткам, провожаема заливистыми свистками полиции. Ибо бал, как долгая непогода, только что разразился по-настоящему. Еще трезвы все, хоть и пьяны, веселы, хоть и грустны, добры, хоть и злы,

социалисты, хоть и монархисты, богомилы, хоть и Писаревы, и шумит вино, и льются голоса, и консьержка поминутно прибегает; а вот и консьержку умудрились напоить, и она, пьяная, кричит: «Vive la Sainte Russie!»¹ и обнимает доктора Фауста, который, долго держа недопитый стакан, один на высоком табурете, поставив ногу на другой, высоченный, читает на дне парижского Иерусалима зарю «Апокалипсиса Терезы».

8

Что делал Аполлон Безобразов во время бала?

Он ничего не делал.

Он пил?

Нет, он ничего не пил.

Он разговаривал?

Нет, Аполлон Безобразов не любил разговаривать.

Но он все же был на балу?

Этого в точности нельзя было сказать, ибо в то время, как бал, кружа и качая, объемлел нас, Аполлон Безобразов объемлел бал. Бал был в поле его зрения. Он входил в него и забывал его по желанию. Иногда в самый разгар его ему казалось, что снег идет над синим пустым полем. Иногда он видел горы. Иногда он вообще переставал видеть, тогда звуковые явления занимали его. Он позволял всему вращаться вокруг него, но сам не вступал во вращение. Он всем поддакивал, говорил сразу со многими и, не слушая никого, спокойно спал на словесных волнах.

Иногда ему казалось, что все представляются.

Это было правильно.

Иногда ему казалось, что все взаправду пьяны.

Это было также правильно.

Иногда ему казалось, что все глубоко несчастны.

И это также.

Иногда все казались бессмысленно счастливыми.

¹ «Да здравствует святая Русь!» (фр.).

Еще казалось, что все запутались, забыли что-то, блуждают.

Иногда все казались мудрецами, постигшими все тайны Бога и природы в Боге.

И то, и другое было несомненно.

Все одновременно было вполне объяснимо, непостигаемо и не нуждалось в объяснении.

Но чаще всего комната казалась совершенно пустой, совершенно. Только бледный луч лежал на полу, ибо свет был потушен, и что-то медленно билось в стекла бесконечным однообразным звуком. Все было видимо сразу, но абсолютно к делу не относилось. Но в чем было дело?

Дело было в шляпе. Дело было в разрушении дела, в освобождении, в свободном полете шляпы по сферам и временам. Да, да, так! Комната пуста. Шляпа свободно движется и порхает, в то время как домик в бутылке, бал, шумит в ином измерении.

И снова Аполлон Безобразов просыпался к смеху. Однако, лишенный грусти, как мог он смеяться — *ignorabimus*¹.

Лишенный жажды жизни до последней капли, как мог он жить — *mysterium*². Презирающий мышление, как мог он думать. Ответ: небытие не может погибнуть.

Он не был и не не был — являлся, казался, был предполагаем. И все-таки он был *за, в и потому*.

9

В глубине переходов и залов, за многими дверями, там, во тьме, где, тихо вслушиваясь в отдаленный рев, говорят о нищете и сумерках, кто осторожной рукой касается старого расстроенного рояля, извлекающая из него давно иронизированный романс:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей?..

¹ Мы этого не узнаем (*лат.*).

² Тайна (*лат.*).

Иван Константинович играет. Должно быть, не знает, что в комнате есть посторонние; неловко, но спокойно сильные его руки опускаются на клавиши. Ему сорок пять лет всего, но он согбен, лыс и весь устремлен в отшумевший, погасший мир свой.

О, старость эмигрантская, если бы сердце могло любить, расширяться, заболеть от любви, к тебе бы она была до последней капли. Как быстро ты сходишь на землю.

Иван Константинович — химик, несколько его заметок, как скромно он говорит, изданы при Академии наук. Но теперь нервность одолевает, ошибки в вычислениях множатся, простейшие реакции не удаются. Руки будто не слушаются. Тогда Иван Константинович играет в шахматы, гуляет в старой соломенной шляпе, варит гречневую кашу — демпинг. Но больше всего доброжелает. Он и денег «занять» рад всегда, только мало у него денег. Иван Константинович носится с идеей чудодейственного неразмокающего мыла, он обдумывает необыкновенный искусственный жемчуг, он дремлет в кресле, вспоминая прошедшие потонувшие дни, в которых ровно ничего никогда не поймем мы. Овидий среди валахов, где твой прекрасный и грязный Рим, потонувший во времени? Сердишься ли ты на православное, само голодное, покрытое вшами? Нет, куда там, только письма матери искурили. Нет, куда там, только уничтожили заметки о теории квантов. Нет, куда там, только выбросили, оклеветали, лишили прав и хлеба. Ничего... Темнота. Иван Константинович глухо играет:

Разочарованному чужды
Все обольшенья прежних дней.

А вы, мускулистые дети, вам новая жизнь, европейская родина, парижская Россия, вам будет спорт, мистика и стоицизм, а им только расстроенный Глинка во тьме, слабые, неземные, смиренные звуки.

Иван Константинович играет, и все концерты приостановлены на рафаэлевских небесах, все хрустальные музыканты задумчиво, внимательно слушают слабые звуки, прямо до рая, прямо до сердца мира летящие из парижского подземелья, и, может быть, только этим и за это все простится, все оправдается, забудется, возвратится к уснувшему добродушию, и вновь над березовой рощей солнце Иисуса взойдет. Какое? Колхозное? Ну, хоть и колхозное, а Иисусово.

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верю в мечты...

Тени встают. Шумят деревья срубленных парков. Лоснятся сквозь легкий грибной дождь крыши сгоревших домов, где матери пели, а отцы за книгой встречали всходящее солнце. Призраки счастья, ангельские бородатые лица прогрессивных литераторов — мужиков — монахов.

В душе моей одне сомненья,
А не любовь пробудишь ты.

Ах, любовь, ты опять не веришь в любовь. Прощенье, не ждешь прощенья.

Блаженны простившие много, ибо их царство небесное на земле.

В этот час, когда алкогольные пары смутили самые ясные головы, развеселили самых молчаливых и мгновенную пьяною грустью окутали сердца заядлых балагуров-анекдотистов. В этот час, когда никто уже не разбирается в стаканах, ни в пластинках, но важно всякому, чтобы вообще еще пилось и игралось что-то, чтобы сон бала не прерывался, хотя он становился все тяжелее и темнее. В час этот, повторяю, когда уже никто вовсе, кроме случайных пьяниц, не

встречает приходящих и останавливающих в нерешительности на пороге, среди вновь прибывших, потерянное в толкотне, появилось новое лицо и смущенно, но вместе с тем естественно совершенно, даже с какой-то мрачной непринужденностью, хотя и испуганно, может быть, глубоко уселось на диван. Лоб у этого лица был непомерно высок, как будто лысел на зачесах, а на вершине его светлые соломенные волосы рождались с болезненной мягкостью, как то бывает у скандинавов. Лицо это было бледно, и углы широкого его рта были с горькой резкостью опущены книзу под длинным и прямым носом, нервически, без всякой причиныдвигающимся иногда. Но особенно странно шевелились брови; тонкие, еле видимые, они ровно отдалялись по белесому лбу, влажному от усталости, над широкими мутными глазами, тяжелый взгляд которых презрительно блуждал по лицам и вещам. Голова эта на тонкой шейке, низко вобранная в широкие плечи, имела какое-то детское выражение, слишком подчеркнутое своей мрачностью и презрительностью. Новоприбывшая, счастливая своим местом на диване, все же с тревогою готовилась к вопросам и нападениям. Но так как таковых не последовало вовсе, глаза ее, несмотря на утомленность, приняли выражение счастливо удавшейся шалости, и она, заложив ногу за ногу, взяла со стола брошенную кем-то папиросу и закурила, немеломо втягивая дым, закашляла, покраснела и, укордкой оглядевшись кругом опять, видимо, поняла, что здесь она была в полной безопасности.

Так продолжалось бы еще долго, если бы гонимый отовсюду нелепицей быстрых своих волнений и молниеносными припадками чувства того, что «все это не то, не то» и что уйти бы лучше, но, вместо того, чтобы уйти, я по всегдашнему своему слабоволию не перекочевывал бы только от группы к группе, везде встречаемый безразлично, нигде не могучи вступить в круг, разговориться, ужиться, носимый, как угловое суденышко без привязи, по буре бала, каким-то неве-

домым образом, хотя и вовсе не нарочно, очутился подле новоприбывшей.

Черт, видимо, следя за всем происходящим, очистил мне место около нее, и, бросившись с размаху на диван и больно отбив себе ягодицу, я так и остался сидеть в неудобном положении, чувствуя тот особый пьяный энтузиазм, когда причинять самому себе страдания есть как будто все-таки какое-то утешение: вот, мол, тебе, вот, пусть еще хуже будет, все равно всем безразлично.

Тут я все же заметил Терезу, она разглядывала меня любопытно и спокойно, видимо, моментально поняв, что, несмотря на странность моего появления, от меня и подавно ничего не грозит ей.

Заметив этот взгляд, я тотчас невольно переменял позу на более скромную и тоже алкоголически-неучтиво уставился на нее. И несмотря на то, что какие-нибудь двадцать сантиметров только разделяли наши лица, казалось все же, что мы рассматривали друг друга издалека, ну хоть с разных сторон улицы, так что я раз на мгновение даже закрыл глаза, может быть, от утомления.

Новоприбывшая, кажется, чрезвычайно серьезно относилась к несчастному моему виду, что было справедливо, конечно, ибо под напускной иронией вторым характером каждого славянина, еще глубже, за печалью и за весельем, была все та же неизменная с гимназических лет, страшная, унижительная тоска; но о чем, ах, если бы знать, о чем: о жизни, нет не о жизни, о счастье, нет не о счастье, Бог с ним, со счастьем, о женщинах, «женщин настоящих нет», — думал я, о жалости, да, о жалости, которая есть жизнь, счастье и женщина, с которою лучше погибнуть, чем без нее победить.

Смутные глаза незнакомки не выражали ничего определенного, только была в них та серьезность, которая столь часто бывает у детей, затем, беззащитная, умирает под зловонным сахарийским дыханием иронии, а во взрослом возрасте является свидетель-

ством глубочайшей душевной чистоты, почти святости.

— Что вы смеетесь? — сказал я, пародируя что-то.

Она ничего не ответила, но, видимо, фальшь этих слов покорила ее, но не оттолкнула, привыкшую, видимо, думать о фальши и о причинах фальши; спокойно и серьезно продолжала она смотреть на меня, улы, слишком серьезно, так, как матери смотрят на гимназистов, подозревая их.

— Почему вы не отвечаете? Вы презираете меня?

— Нет, я вас не презираю... Я вас не знаю, — сказала она медленно (и вот мелькнуло в сердце: сейчас должна была прибавить — и не хочу знать), но сказала совсем наоборот: — Но хотела бы знать.

Сомневаясь, то ли я услышал, я даже в недоумении показал себе пальцем на грудь.

— Меня? — переспросил я и вдруг, как бы очнувшись, отрекомендовался: — Цыпленок Дутов, не мистик, а просто несчастный человек, да, — смеялся я, находя все ту же горькую усладу в этой словесной грязи, как давеча в неудобном положении на диване: — Жертва революции, вечный студент, враг бани и веры.

— Почему?

— Так. Грустно очень. Вот, например, сегодня не мог даже и есть, так было все как-то никак, — сказал я, опустив голову.

— Да что вы вообще делаете-то?

Здесь только я заметил, что говорила она с трудом, привыкнув, очевидно, к другому, иностранному, языку.

— Что я, пупсик, делаю, я стихи пишу, — сказал я комически-важно и вдруг, скривившись весь, схватил себя рукою за небритое лицо, помотал им, как будто хотел оторвать его, и тотчас же встал, подошел к столу и разом выпил чей-то налитый стакан, несмотря на слабые протесты владельца. Разом сладкое спиртное питье возмутило мои внутренности, я закачался и упал бы действительно, если бы чья-то хо-

лодная рука не взяла меня крепко и не отвела меня опять к тому самому дивану. Не помню, как я обнял Терезу, но вовсе и не думая ее поцеловать, прижал лицо к ее черной лошадиной шубе, ибо она странно не по сезону была в черной дохе из жеребенка, и на этот раз горько и сладостно по-детски заплакал, чувствуя, как холодная рука медленно гладит меня по коротко остриженным волосам, и казалось мне тогда, что вся нежность мира была в этом прикосновении.

Плачь, мальчик, плачь, ибо слезы — это жалость к себе, и если сам ты себя не пожалеешь, кто еще пожалеет тебя; сладкие слезы, слезы совести и отвращения, слезы первого столкновения с равнодушием мира, подобно первому страху юнкера перед артиллерийским огнем; плачь, все прошли через это, все остались на этом, все только вспоминают об этом, как земля о весенних дождях, и это еще не те поздние слезы, скупые, горькие, как полынь, соленые, как аравийская пустыня, те страшные слезы.

Он плачет, мой юноша с грязными ногами и чистой душой, а сам стыдится сморкаться, он плачет, оставьте его, не мешайте ему плакать, ибо он нашел, наконец, тот священный жилет (о, как редко, как редко), покрытый звездами вечера и еще непогасшими звездами утра; пусть выльются эти слезы, а не выльются, вскипят они в нем и жестокостью просияют в очах.

А она, невозмутимая, слушает эти слезы, как слушают на даче короткий летний дождь; а вот и солнце засияло, граммофон заиграл что-то радостное-радостное, зазвенел цимбалами, запел человеческим голосом, и незнакомая, строгая весело трясет мою размокшую голову, целует ее, поднимает меня и, поцеловав, танцевать с собой берет, и я тоже танцую. Боже, как это нетрудно, когда около самого лица, как тонкая мягкая солома, с высокого детского лба стекают нежные тонкие волосы, как причесанные набок солнечные лучи. И вот уже пробка театрально хлопает, и Костя поет «Чарочку», и все повторяют:

Пей до дна, пей до дна! —

но мне становится дурно, чьи-то заботливые холодные руки вводят меня в ватерклозет и держат мою голову, в то время как я, содрогаясь, блюю с хриплым стоном; затем материнские руки эти, расстегнув мне ворот, деловито мочат под краном мою голову и, чистого и бледного, как проснувшегося эпилептика, снова вводят в круг, и снова бал летит с незабвенным звоном прекрасных слов, со стуком стаканов и падающих и с криками «Vive la Sainte Russie!» окончательно вышедшей из себя консьержки.

Вера-Тереза, ибо русская ее мать, вопреки отцу, втайне называла ее Верой, пила теперь и танцевала со всеми, на нее нашел теперь тот безудержный, беспричинный разгул, безнадежный и добрый, который только и бывает у чистых душ; она чокалась, прикрикивала, командовала развлеченьями, соглашалась целоваться; она то скакала, опрокидывая табуреты, то пела что-то на неведомом языке, то утешала кого-нибудь, то била кого-нибудь, ибо все рвались к ней, как к Сольвейг, спустившейся с гор, подземные гномы, не знающие солнечного пути; и даже женщины на нее не сердились — «девочка, сущая девочка, сколько лет вам, Ингрид?» (почему Ингрид?) — Двенадцать, — говорила она и смеялась, закидывая волосы назад и дивно щуря свои туманные глаза. И все пило, пело, дралось и плакало, и полная до края чаша бала кипела и проливалась рвотой, как сердце танцоров, готовое разорваться от усталости; но что-то случилось с Верой, и вся зала вдруг протрезвела и приумолкла.

Ингрид, о чем смеешься ты? Ты танцевала со всеми и всех целовала; о, Ингрид, что значит такое веселье? Не то ли, что скоро нам будет, как прежде, в снегу без надежды, во тьме без любви. О, Сольвейг, ты к узкой и слабой груди прижимала случайного друга, что выюга отнимет, что минет, как выюга. О, Ингрид, о, Сольвейг, о, Вера, Тереза, весна!

Голос из музыки: О, Ингрид, чему веселишься ты? Или солнце взошло? Как в новой церкви, где еще пахнет краской. А там, за стеною, Ингрид, что там, за стеною?

Вера: Сумрак бежит от очей. Мчится сиянье свечей. Все нежно, все неизбежно. Смейся, пустыня лучей. Песок кружится, несется снег, и тень ложится на краткий век. Кто там говорит на балконе? Цветы уходят в свои лучи. Нам не нужно ни счастья, ни веры.

Голос из музыки (*слабея*): Ингрид, Ингрид, где мир твой, где свет твой?

Вера: Нам не нужно ни счастья, ни веры. Мы горим в преисподнем огне. День последний, холодный и серый, скоро встанет в разбитом окне. (*Кричит.*) Закройте окна! Забудьте детство!

Аполлон Безобразов: Полно, Вера, никто не стоит на балконе, и окна закрыты. Смотрите, и музыка прекратилась.

Вера: Нет, музыка не прекратилась, она только остановилась и ждет, чтобы он ушел.

Аполлон Безобразов: Полноте, Вера, нет ни балкона, ни музыки, ни меня, ни вас. Есть только солнце судьбы в ледяной воде и световые разводы в ней. Знаете ли, такие разноцветные разводы, которые бывают в утомленных глазах, долго склоненных над книгой. Вы слышите?

Грешники: Нет, мы ничего не слышим.

Аполлон Безобразов: А я слышу. Это тихо смеются, доходя до поверхности, исчезая, смеются солнечные разводы дней. (*Все тише и тише.*) Разлетаются птицы веков, рассыпаются атомы тел. Только зачем вам знать все это? Знать — это значит умереть.

Тихо звезды пролетают сквозь зал. Несомые музыкой, которая то отдаляется, то приближается, которая осыпает сирени над пещерою со скелетом, читающим книгу. Отчетливо и отдаленно напевая то далеко, то близко, проходит Ингрид по сферам и временам.

Ингрид, вернись. За высокою белой стеною колокол тихо мечтает в святой синеве, и тихонько слетают, наскучась своей вышиною, золотистые листья к холодной и твердой земле. Ингрид, венчанье в соборе, все святые и ангелы в сборе, все святые и ангелы боли ждут тебя в поле.

Вера: Звуки рождаются в мире, в бездну их солнце несет. Здесь в одеянии пыли музыка смерти живет. Кто их разбудит, кто их погубит. С ними уйду, с ними умру.

Голос с балкона: Ингрид, Ингрид, церковные двери закрываются.

НА РАССВЕТЕ

И снова бал продолжался, ибо все продолжается на свете и, откуда ни начни рассказывать, всегда середина, а не начало, уже сложившиеся люди, запутанные сложные отношения, но на вечеринке алкоголь развязывает языки и драматизирует события. В сущности, никто даже не подумал, откуда взялась Тереза, русская девушка с французским именем, и кто ее пригласил. В пьяном шуме она была уже своим человеком, как будто мы знали ее уже давно, ибо ее молодость встретилась с нашей молодостью на каком-то распутье, где впервые мы почувствовали себя одни в жизни, одни перед жизнью, и первым нашим движением было вместе спрятаться куда-нибудь от отвращения.

Измученная и отсутствующая, сперва она в опустевшее сердце как будто приняла все происходящее, настигнутая товарищами Топоркова и окруженная ими, сразу отвечала на все вопросы, шутила и пила сразу со всеми. Что-то отчаянное и неиспорченное, решительное до наивности было в ее — сразу из одной крайности в другую перешедшем — настроении. Выпив, Тереза ушла танцевать. Охмелев, чуть не со всеми, шутя, пьет на брудершафт и целуется, только как-то так по-детски, сама щеку подставляет, так что

почти всем с нею целоваться совестно. Смеется со всеми, сразу отвечает всем, и кажется, что вот сейчас под ее предводительством бал, как метель, вырвется куда-то и никогда не остановится и, вечно звеня и сияя, осыпаясь, расточаясь и ширясь, как обезумевшая комета с огромным хвостом, полным роз и привидений, будет вечно носиться среди высоких времен. Но нет, как этого и ожидал Безобразов, все последние минуты держась около нее, что-то на середине возгласа готовое разрешиться во что-то иное, навеки прекрасное, но нестерпимое вовсе, ломается вдруг, и возглас, начатый радостно, кончается такой невыразимой тоской, что все останавливаются, невольно смущенные. Несколько секунд Тереза стоит в классической позе Антигоны, высоко закинув голову, зажмурив глаза и крепко сжав губы, углы которых даже в улыбке как-то странно опускаются у нее книзу, и вдруг валится. Да, падает. Но не в обморок, ибо обмороков у честных людей не бывает, а так, на колени, без сил и смертельно пьяная, дошедшая до предела опустошения, до края крика, до границы мучительной, как нож, веселости. Тереза валится на колени, но с неожиданным трезвым проворством Аполлон Безобразов подымает ее с земли и, окруженный ошалелыми, советующими, икающими и кричащими наперебой, несет ее, не сгибаясь, но находчиво, в небольшую отдельную комнатку для натурщиц, откуда с сумасшедшим видом, не зная куда деть руки, вылетают двое потревоженных молодых людей. Спотыкаясь в темноте о какие-то бутылки, но не потеряв равновесия, он опускает ее на диван и подает лимон, неведомо откуда (вероятно, прямо из преисподней) взявшийся. Тереза закусывает лимон и, лежа на спине, поворачивает голову к стенке, но так быстро, что все с повинною головой выходят из комнаты, в то время как, вытесняя это происшествие, на другом конце залы разгорается другое представление и слышится частый и отрывистый характерный стук сжатого кулака по лицевым костям,

треск разрываемой материи, шумное паденье каких-то стульев и дикий пьяный женский визг:

— Да разнимите же их, да разнимите же их, чего вы смотрите!

Деморализованные безнадежностью, отвлеченные новыми происшествиями словопретели, бражники и танцоры покинули Терезу в темной раздевальне, и кто-то, под предлогом утешения, уже намеревался пристроиться к ней и некрофилитически развлекаться, но, вдруг схваченный за шиворот и изверженный прочь, не мог даже определить потом — кем и за что. Долго Тереза лежала в темноте, с каким-то даже удивлением прислушиваясь к странно затихшему шуму граммофона. Иногда лишь голос один раздавался громче и взрыв отдаленного смеха, ибо бал, несмотря на многолюдство, занимал лишь незначительную часть помещения и от раздевальни до места оргий нужно было пройти длинный пустой коридор.

Нечистая сила, удобно устроившись на подоконнике, спокойно сторожила ее пробуждение. Наконец, Тереза приподнялась, провела рукой по лицу и губам, как будто стирая что-то, и со всклоченными волосами попробовала встать, а так как нечистая сила не находила основания вмешиваться, опять в изнеможении опустилась на продавленный диван. Посидев некоторое количество времени с низко опущенной головой, она вдруг как-то разом встала и, хотя покачнувшись и вытянув вперед руку, пошла к двери. Вход в академию был настежь открыт, она постояла еще на пороге, колеблясь, не вернуться ли к свету и шуму, но мгновенное, счастливое и смутное, видимо, прошло уже, и так бесследно, что она и не помнила почти происшедшего. И только когда неровные ее шаги стали уже отдаляться по тротуару, когда стук их был почти неслышен, нечистая сила покинула окно и, как тень, двинулась вослед свету. На площади Saint Sulpice Тереза зачем-то обошла вокруг фонтана и остановилась, всматриваясь в циферблат часов на здании мэрии.

Летнее небо уже голубело в сторону Сены, и синева его широким и тихим потоком разливалась по до блеска накатанному асфальту, и явственно в тишине соловьи ворковали в саду семинарии иезуитов. Иногда, стремительно шурша, вдали проносился автомобиль, яростно трубя в дешевый рог свой, но вот уже гудки смолкали в отдалении, и медленно гасли над башнями собора последние звезды. Помедлив, Тереза прошла *гве Бонапарте*¹, вышла к *St-Germain de Prés*², прошла по широкому и пустому бульвару, где вдруг разом, с феерическим каким-то согласиём, погасли все фонари, обогнула зачем-то *Café des Deux Magots*³, помедлила около *impasse des Deux Anges*⁴, мимо закрытого ресторана вышла на *гве Jacob*⁵ и между высокими домами, черными еще на голубом уже небе, пошла в сторону *гве des Saints-Pères*⁶. Видимо, в бесцельном путешествии нравились ей такие именно высокие и узкие улицы, но по тому, что она часто шла посередине мостовой, описывала странные зигзаги и даже опиралась на выступы окон, видно было, как сильно она была пьяна. Когда Тереза останавливалась, Аполлон Безобразов останавливался тоже и, подперши ладонью щеку, смотрел на нее издали; и вдруг посередине мостовой, как раз на углу *гве des Saints-Pères*, она упала, как сноп, на асфальт, и не успел Аполлон Безобразов выйти из неподвижности, как что-то высокое и черное налетело со стороны набережной, повернулось вокруг себя, скользнуло с размаху на остановленных колесах, с треском влетело задом в витрину кафе и, помедлив немного, само рухнуло набок. Сразу послышались крики, в узкой улице открылось несколько окон, но когда шоферы вылезли, наконец, из перевернутого фургона, на мостовой уже никого не было, ибо, в то время как со всех сторон

¹ Улица Бонапарта (*фр.*).

² Сен-Жермен де Пре (*фр.*).

³ Кафе де Дё Маго (двух Маго) (*фр.*).

⁴ Тупик Двух Ангелов (*фр.*).

⁵ Улица Жакоб (*фр.*).

⁶ Улица Сен-Пер (*фр.*).

спешили любопытные, Аполлон Безобразов успел за суматохой поднять Терезу с земли и тотчас же занести ее в узкую, как тень, улицу, где скоро свистки полицейских замолкли в отдалении.

Тереза все еще не приходила в себя, и нужно было железную спортивную выдержку Аполлона Безобразова, чтобы нести ее так долго. Был уже яркий день, когда она очнулась на руках у него около Place Maubert¹, но пробуждение ее было гораздо более похоже на бред, чем на бодрствование, и, видимо, ничего не сознавая, она поднялась по rue de la Montagne Sainte-Geneviève², вошла в узкий дом на Place de l'École Polytechnique³ и вдруг опять заснула на лестнице. Сердце Аполлона Безобразова мучительно билось от напряжения; с красными кругами перед глазами, но все же верно ориентируясь в знакомых потемках, пройдя длинный коридор, он внес ее в комнату с окном на потолке и, сам изнемогши, уткнулся лицом в подушку, но вскоре, отдышавшись, удобно устроил Терезу на кровати; сняв с нее шубу и туфли и шубой накрыв ее, принялся разжигать спиртовку. Затем, нагрев воды, он начисто вымылся и выбрился и, легши рядом с Терезой, совершенно не обращая на нее внимания, заснул богатырским сном без сновидений.

Утро наступало. Яркая лампа потухла, уступив широкому, чуть видному еще синему пробуждению стеклянного потолка. Многие спали уже, многие уехали давно, многие поссорились и разговорились, может быть, кому-нибудь показалось, что он уже доказал существование Великого Архитектора; но еще больше полюбили за эту ночь, а теперь под бледно-синим куполом, медленно настигаемые трезвостью и разлукой, они танцевали, близко обнявшись, последний свой бостон.

Да, пожалуйста, не меняйте пластинку, пусть еще

¹ Площадь Мобер (*фр.*).

² Улица Горы Сент-Женевьевы (*фр.*).

³ Площадь Высшей политехнической школы (*фр.*).

покружится та, что сумела свести счастье на землю, болью очаровать, та, под которую родилась пьяная, краткая, пронзительно нежная любовь на балу.

Новые сумерки, углы комнаты еще погружены во мрак, там спят убитые алкоголем и шепчутся вечно бодрствующие развратники, а здесь, посреди зала, медленно выплывая из мрака, медленно возникая в голубом, в последний раз танцуют влюбленные, готовые уже расстаться. Танцуют и целуются, потому что еще день не настал, и еще разрешаются сны, и еще прощаются поцелуи. И снова кружится черный диск, полный хриплых звуковых асимптот, на минуту сведший огонь на землю. О, утро, как можешь ты наставить, разве ты не знаешь, как они безобразны при свете дневном, что воротники их смяты, руки грязны, щеки ввалились от утомления и заросли бородой. О, утро, помедли, пусть еще продлится эта щемящая музыка перед разъездом, замершая на одной ноте, невыносимо печальной, но еще поющей и поющей, но уже готовой оборваться. Боже мой, как скоро летом день настает, а вот уже светло совсем, и ясно видны и усталые лица мужей, и измученные лица очнувшихся женщин. И к чему уже танцевать, и не стыдны ли в ярком свете дня эти таинственные телодвижения, столь отчетливо нечто напоминающие... Наконец, пошумев еще в последний раз в пустоте, граммофон издает странный измученный рев на исходе завода и останавливается. Но нет, есть еще порох в шоферских пороховницах.

— Костя, кататься! Костя, поедem в лес!

— Ну, что ж, поедem, пропадай все!

И вот уже опять все ожили, многие даже проснулись. Измученные лица опять оживились отблеском необычайной, ненормальной жизни.

— Сколько вас есть? Полезайте все!

И вот все взгромоздились, захватили последнюю недопитую бутылку отравы и уже — крути, Гаврила, лети кибитка, скачи напропалую, незабвенная парижская Россия.

Лети, кибитка удалая. Шофер поет на облучке, уж летней свежестью блистает пустой бульвар, сходя к реке. Ах, лети, лети, шоферская конница, рано на рассвете, когда так ярки и чисты улицы, когда сердце так молодо и весело, хотя и на самой границе тоски и изнеможения.

Эх, лети, лети, эмигрантская кибитка, заворачивай на всем скаку, далеко заносая задние колеса, с адским шумом взлетай на подъемы и со свистом, на одних тормозах, стремительно несись под гору. А что, если тормоза оборвутся, что тогда? Тогда плачь, страховое общество, красной рожей ударяйся, клиент, в небьющееся стекло, и крепкая душенька лети на родную сторону высоко-далеко, через Германию и Прибалтийские страны, и без всякой визы. А пока визжите, подшипники, стучите, стекла на бульжной мостовой, а ты, гудок, жестяная собачка, лай на здоровье на кого ни попада.

Все равно верна татуированная шоферская рука, и у самой бабушки, поцеловавшей асфальт, или даже у самой заблудшей кошки мигом свернутся колеса-самокаты до зеленого дерева, то-то звону и треску будет, до больничной койки, до басурманского кладбища у окружной дороги, где день и ночь, пыхтя, паровозики несутся по железному кругу, не покидая его, как и душенька твоя-самокатка, по вонючему Парижу тысячи и тысячи верст.

А пока стоптанный ботинок, как доброго коня казачий шенкель, жмет грибастый акселератор и весело покачивается тросточка скоростей, извлекая из недр железного коня дикое металлическое ржание переключаемых шестерен.

Пока не подколоты шины и враждебный песок не течет самотеком погубить цилиндры-самопалы. Лети, лети, шоферская тройка, по асфальтовой степи парижской России, где, узко сузив поганые свои гляделки, высматривает тебя печенег-контравансионщик, а толстый клиент-перепелка все норовит пешедралом на поганных своих крылышках-полуботинках, и хам-

частник (попадись мне на правую сторону) прет себе, неспросавшись, перед раболепными половцами.

Эх, лети, железный горбунок, воистину, дым из ноздрей, на резиновых подковках, напившись бензину, маслом подмазанный, ветром подбитый, солнцем палимый.

Эх, яблочко, куда котишься,
 В Sens Unique¹ попадешь,
 Не воротись.

Быстро, как пьяное счастье по пустыне жизни, по утренним улицам, быстро, как песня цыганская, как пуля английская, как доля пропадающая.

И вот уже набережные миновали, вырвались на бульвары, мгновенным зигзагом миновали грузовик с морковью, пронеслись колесом по тротуару мимо растерявшегося велосипедиста и под адский свист, не останавливаясь, а заставив их в ужасе шарахнуть прочь, и пусть не гонятся на своих велосипедах: все равно на такой скорости не различить номера, да и что номер лихачу-пропойце, пропади совсем номера. А вот и Елисейские поля, где освещенные косым утренним солнцем верхние этажи домов кажутся сделанными из драгоценных розовых раковин и где сам Бог велит гвоздить акселератор по самую крышечку. У Триумфальной арки опять канарейка-свисток, да где там, кишка тонка, братишка.

Чуден утром Булонский заповедник, еще сумрачно под деревьями, где белеют сальные газеты, оставленные неистребимыми сатирами, где лоснится лиловая река асфальта, мимо пыльных озер с общедоступными лебедями и обветшалыми киосками, где Гамлет в восковом воротнике тщетно ждал Офелию-Альбертину.

Вот промелькнул белый заборчик стадиона Расинг-клуба, вот еще свисток, а здесь гони, железная

¹ Одностороннее движение (фр.).

тройка, догоняй утренний ветер, прошедший вечер, а вы, пьяные, кричите, и шуми ветер в ушах, трепи волосы, пока еще остались, ведь уже клонит ко сну, и горечь похмелья черным дымом встает в прекрасном розовом небе. И ты, танцор судьбы, не смотри на себя в узкое автомобильное зеркало, ни брату своему в грязное, заросшее лицо. Ибо мы сами знаем, как черны мы, как низки и слабы мы в нищем хмелю, но мы — все та же Россия, Россия-дева, Россия-яблочко, Россия-молодость, Россия-весна. Это мы останемся, это мы вернемся, мы, нищие, молодые, добродушные, беззлобные братья собакам и машинам, друзья книг, и бульварных деревьев, и алых городских расцветов, только одним бездомным и ведомых.

Тем временем праздник погибал, при ярком дневном свете печальное зрелище предстояло очам. Наскоро умывшись, но все же обезображенные утомлением, еще вяло шутили те, кто не нашли в себе силы подняться и вырваться к встающему утру, к последней, уже нездоровой бодрости. Пошучивая, они пили кофе, принесенное из кафе, и со стаканом в руке склонялись к дивану.

Широкоскулый боксер сокрушенно прибирал ателье и сыпал опилки на рвотные пятна. Кто-то зачем-то еще раз завел граммофон, и грубо орало железное горло при ярком свете, резавшем глаза; скоро его остановили. Был воскресный день, и многие укладывались спать, снимая, наконец, натруженные ботинки, распуская давящие пояса. И все огромное ателье вскоре напомнило собою фантастическое поле сражения, где мертвые, раненые и победители вповалку легли среди опрокинутых бутылок, которые хозяин аккуратно составил в ряд и сосчитал тридцать пустых и шесть полных (деньжищи немалые), а сколько разлито было дорогого яду и возвращено природе.

Так минул бал, долгая жизнь, краткая ночь, пьяное счастье, трезвое горе униженных и оскорбленных алкоголем.

Как ярко освещенный поезд, промчался он сквозь снег минут, громко стуча музыкальной машиной, на многие годы отметив солнечную пустоту скоро летящего года, и в него, как малейшие подробности разлук, навсегда включены, вместе с высоким снежным образом Терезы, и шум блевотины, стремительно извергающейся в пролет лестницы на другого, блюющего этажом ниже, и стук удара сложенного кулака по лицевым костям осоловевшего, и пот на пальцах танцующих, и невидимый ангел на балконе, на которого с нелепым упорством указывала полудетская рука; все это, навек унесенное, запечатлено в яркой еще, но быстро блекнувшей музыкальной ткани незабвенной «Леопог'ы», медленного слоу-фокса той ночи, того года, той, уже миновавшей, жизни.

Как яркий отблеск неземного воодушевления, словесного парения, спортивного напряжения, эротического возбуждения, запахового явления шумного, яркого, краткого прошлого, на миг незабвенного, дивно смиренного, и нет хулы во мне на твое антиморальное разгорячение.

О, оргическое действо слабых и добрых; и все прощено, ибо дивно грустен был ты.

ГЛАВА V

Oisive jeunesse
A tout asservie
Par delicatesses
J'ai perdu ma vie.

*Arthur Rimbaud*¹

В

ысоко над озером восходит белая дорога. С одной ее стороны скала, взорванная динамитом, уже начала зарастать орешником, покрываться цветами. Другая сторона укреплена на отвесе подобием крепостного сооружения. Все выше и выше, равномерными поворотами мимо маленьких горных церквей с низкими колоколенками, не превышающими покатых деревенских крыш, укрепленных камнями от ураганов, равномерными петлями все выше и выше, туда, откуда, стремительно курлыкая, несется поток, закрытый кустами и только изредка, на открытом месте, низвергающийся тонкой плоской водопада. Впрочем, падая, холодная вода, проходя по чисто крашеному желобу, вертит несложную горную турбину, и медные нити доходят и до беднейших деревушек, но еще выше, там и сама дорога хуже мощена и все чаще размывается непокорными потоками. А по сторонам ее, указывая близость снега, во все стороны расходятся ровные поля нарциссов, там на грани лазури и ангельского государства стоял монастырь, где Вера-Тереза фон Блиценштиф училась под добродушным и сварливым надзором сестер, шедевров опрятности и крахмальной архитектуры.

¹ Юность праздная,
Всему послушная,
Себя сгубил я,
Привередничая.
Артур Рембо (фр.).

Но сердце вовсе не замирало, когда со скалистой террасы, прикрыв ладонью глаза, дети следили, не идет ли пароход со стороны Женевы, ибо все привыкли к высоте, все внизу казалось не далеким, а просто маленьким, игрушечным, так и взял бы в руки и чистый, как белый карандашик, мол в Лозанне, собор — пресс-папье, Шильонский замок — сахарницу, и множество домиков-коробочек, и даже деревья и павильоны на набережной; все, точно видимое в бинокль, не голубело вовсе, а отчетливо отделялось сахарными кубиками у сине-зеленой воды, холодной и глубокой, которая посредине была перерезана желтоватой, скоро бледневшей полосой; на той стороне все так же игрушечные, из-за полного отсутствия тумана, виднелись высокие желтые горы без снега, особенно одна, острая, раньше всего загоравшаяся задолго до первой обедни. Далеко направо горы становились ниже, там была Франция, налево же и за спиною ярко-ярко и близко-близко, почти как предметы в комнате, горели снежные недостижимые громады итальянских Альп, до которых, иди не иди хоть год, никогда не приблизишься.

Но часто монастырь окутывали облака; тогда исчезали не только городки с их рядами белых корабликов, но и все озеро до последней синей капли, но даже и вершины близлежащих гор Ouchy et Glion¹, куда по тонкой ниточке цепного пути медленно ползла коробочка фуникулера. Все тогда было серо, все звуки долетали глуше, коровы мычали где-то в большом отдалении, и отходящий человек быстро бледнел и таял в воздухе. Только это было редко, чаще небо было сине-сине до черноты, и сад, раскаленный солнцем, тяжело благоухал магнолиями, которые широкими белыми цветами лишь в середине лета распускались при рождении длинных, всегда блестящих листьев, ибо ни малейшей пыли не было в солнечном луче, заливавшем красные кирпичи пола в келейке и

¹ Ушй и Глион (фр.).

розовым отблеском озарявшем белые, чисто крашенные стены, над которыми у потолка шла толстая основная балка. На окне между цветами ходили прирученные голуби, и часто даже наглые куры влезали в комнату, сперва с клохтаньем потоптавшись на подоконнике, вытягивая шеи, исследуя, наконец, решительно шлепая лапками, влезали на стол; пойманные, они дико били крыльями и орали, хотя Тереза только погладить их тщилась, а потом, подкинув их в воздух, научить летать, в чем они не делали вовсе успехов.

Воспитанниц в горном монастыре было всего девять девочек, но шестеро из них, только по слабости здоровья помещенные так высоко, уезжали на целое лето, и только Тереза и две бедные девочки-сироты, помогавшие на кухне, проводили безвыездно лето в Saint-Morancy¹.

Вера-Тереза фон Блиценштиф, как спорная драгоценность, опечатанная судом, как разоренное имение под запретом, была, сама того не ведая, предметом долгих судебных раздоров между родителями. Ее мать, толстая скромная женщина с плоской прической и голубыми болезненными глазами, была русская немка из остзейских дворян. Отец ее, уже несколько лет находившийся на излечении в нервной санатории, был французский аристократ из Лотарингии, высокий черный человек с обличем палача, автор многотомного сочинения о демонологии, имевший некоторую известность в католических журналах за страстную свою проповедь восстановления церковного суда и апологию худших жестокостей инквизиции.

Родилась Тереза в Bar le Roy², на Мозеле, в большом каменном доме на окраине города, жизнь которого, некогда бившая через край до флигелей и пристроек, в то время, в начале века, сжалась до одного этажа, до четырех комнат одного этажа. Впрочем, в доме имелась пятая, еще не заколоченная комната — часовня, ибо род

¹ Сен-Моранси (*фр.*).

² Бар-ле-Руа (*фр.*).

Блиценштиф, из которого вышел святой Стефан Ангулемский, был фанатически религиозен, до того, что встречал нарекания даже у местного духовенства.

В действительности, старый граф был даже не пуританин, а истинный кальвинист. Для него все христианство сосредоточивалось вокруг идеи возмездия человечеству, коллективно, вне времени оскорбившему Создателя.

«Иисус будет в агонии до конца мира» — и за это человек наследовал два ада, переливающиеся один в другой: ад моральный, носимый каждым в сердце своем от юных дней, и ад огненный, в который через краткий срок выливается первый, как масло в жаровню.

Он не признавал даже законности существования уголовного суда, ибо «мы все родились преступниками, и все в сердце своем смертоубийцы, — доказывал он. — И каждый из нас мистически вне времени виновен во всех преступлениях мира, но продолжает совершать их».

Он говорил подобные фразы, закрывая глаза, с выражением непоколебимого упорства властной своей породы, и толстый скептический священник, его собеседник, с огорчением поджимал губы, как снисходительный доктор перед рецидивирующим сумасшедшим.

Но он не боялся грядущего огня, он жаждал его всем сердцем. «Я жажду возмездия», — говорил он. Он наслаждался физическим мучением своих долгих молитв и среди ночи безжалостно будил детей для ночной обедни, ибо написано, что от двух до трех самое страшное время на земле. Молящийся сопровождает Иисуса в преисподнюю и к утру помогает Ему воскресать.

Считая, что дети несут в себе уже полный, готовый распуститься цветок зла, он необычайно сурово обращался с ними, прибегая к долгим телесным наказаниям, во время которых плакал. По его прихоти дом был почти весь заколочен и заперт, а в оставшихся четырех комнатах оставлена лишь необходимая мебель; не терпел он также на стенах, беленых известью, ни фо-

тографий, почитаемых им за идолопоклонство, ни картин — грубого соблазна, по его мнению.

Но больше всего он ненавидел музыку, вероятно, потому, что, как и всем героическим натурам, она доставляла ему наибольшее наслаждение.

Он говорил, что гармония есть отравленный плод мирского возрождения, который при посредстве протестантского простодушия вызрел в церкви, и защищал унифоническое грегорианское пение армян и греков, подобное страшному реву средневекового человека в час солнечного затмения или накануне тысячного года, когда среди смрада открытых гробов, полных чумных бацилл, в темных доготических церквях он ждал неминуемого светопреставления.

Ровно в девять часов, после молитвы и короткого чтения вслух устрашающих текстов, во всем доме гасился свет, и окна и двери закрывались на засовы, и запрещались даже самые необходимые разговоры.

Нервная и слабая девочка до того боялась отца, что часто безо всякой причины, даже за обедом, у нее делались нервные тики и ночью конвульсии. Скоро она почти перестала спать, стала худеть, косить и кашлять.

И вот кроткая, молчаливая мать ее, до того безропотно сносившая все зловещие выдумки, вдруг вышла из себя, опрокинула Распятие, ударила мужа по лицу.

С тех пор жизнь в доме разделилась на две половины, запуталась, стала невыносимой.

Тогда старый граф начал молиться прямо на улице, собирая прохожих. Местные власти не смели тронуть его. Он произносил сумасшедшие восклицания, врывался в антиморальные дома, ночевал под открытым небом. Вскоре его опрокинул извозчик, которого он принял за всадника из Апокалипсиса, и так как, радуясь ранам, он срывал с себя повязки и пластыри, волей-неволей его заключили в больницу для душевнобольных. Физически неузнаваемым он вышел оттуда, но в очах его сияла столь страшная решимость, что, несмотря на его примерное поведение, мать Терезы покинула древний дом пыток и начала дело о разводе и изъятии детей из-под отчей опеки.

ГЛАВА VI

Puis un beau matin, sans qu'il s'y attendit
tout s'eclaira.

*J. K. Huysmans*¹



осле обеда, во время которого сестра-послушница читала жизнь Катерины Сиенской, начиналось несложное, но прилежное учение: преподавались, главным образом, чистописание и арифметика, история Швейцарской конфедерации и рукоделие. Катехизис же и космографию читал аббат Гильденбрандт Ракрок, который был столько же учен, как сестры были просты.

Великие ложноклассики в курсе сестры Виктории читались с огромными пропусками, о Рабле и Монтене не упоминалось вовсе, зато Шатобриан был в высоком уважении и прямо следовал за Боссюэтом и Масильоном. Труден был вопрос о Руссо: несмотря на зажигательные идеи, он все же был швейцарским гражданином. Ксавье де Местром и Монталамбером заканчивался курс, других книг в монастырской библиотеке не было. Зато сестра Кларисса обширно читала историю.

Чисто и дико текли детские дни, сестры учили их строго понемногу и немного времени, за малочисленностью; они были часто заняты по хозяйству и, нуждаясь, нанимались сиделками. Летом они варили варенье и сыр, собирали орехи и мяту, подоткнув юбки, окапывали огород или же с медным опрыскивателем за спиною стойчески поливали каждый виноградный лист, борясь с филлоксерой. Они же доили и

¹ И в одно прекрасное утро все неожиданно прояснилось.
Ж. К. Гюисманс (фр.).

чистили коз, косили луг и даже красили монастырские постройки, как и все крестьяне, понемногу знавшие все ремесла. Субсидий монастырь не получал никаких.

Весною с раннего утра прямо из церкви дети уходили через горные кручи к высоким лугам, где паслось муниципальное стадо, а иногда и ночевать оставались там у пастухов, и не раз Тереза доходила до вечного снега. Тающий и почерневший на краю, он образовывал гроты и впадины, откуда вытекали холодные ручьи, в которые больно было окунуть руку; тихо журчали они в альпийской тишине. Иногда глухо, как будто деревянный, постукивал колокол на шее разлазлившейся телки, ибо коровы, неведомо как, часто оказывались на таких кручах, что их приходилось выручать веревками; и только кузнечики, как немолчный хор, треском своим наполняли воздух, и казалось, что это сам теплый воздух неподвижно кипит на солнце; и дивно тихо было кругом.

В каком-то нежном удивлении, как будто думая сосредоточенно о чем-то, ребенок слушал тихие и немолчные голоса насекомых, сквозь которые отчетливо и медленно, как синяя полоса, проплывало временами мычание; озеро внизу окутывалось голубизною, туда многими уступами вели леса и долины, каждый из коих был огромной недосыгаемой горой.

Монастырь был невидим отсюда, зато странно близко и ослепительно бело на солнце сияли снежные вершины, малейшие подробности снежной скульптуры были видны на них. Это были то косые стены, похожие на застывшие стилизованные волны, то снеговые завитки и целые ледопады, очертания которых летом все же слегка округлялись. Тени на снегу были ярко-синие и фиолетовые, а рано утром никакими словами нельзя было передать розоватого торжества золотого сновидения вечных льдов, в то время как долины были погружены в темную ночь.

Тихо и странно бывало на закатах. Тогда серые долины светились серыми сумерками, полными везде-

суших отсветов, и все ручьи, все лужи и болотца отражали высокие, яркие, желто-алые снежные миры, в то время как близкий лес уже был черен вовсе и в торжественный этот час полон страшных невидимых присутствий.

Долго-долго любила Тереза наблюдать за далеко разбредшимся стадом. Вдали перекликались рога пастухов, еле слышно свистела железная дорога, и когда краткий выстрел длительно перекатывался по лесистым отрогам, тогда сердце Терезы сжималось, ибо она до того чувствовала глубокую, невыразимо благородную и нежную жизнь зверей, когда в тишине они прядали кожей, отмахивались хвостом или медленно, с шлепающим звуком роняли жидковатый помет.

Сама мысль о насилии над этими добрыми молчаливыми богами казалась ей ужасной; до слез, до нарекания сестер гладила она теплую еще голову козочки, которая, варварски раскоряченная на палке и роняя на дорогу густые черноватые капли, все еще сохраняла удивленное грациозное выражение.

И раз она, наделав переполоху и почти оглохнув, разрядила два ружья, аккуратно оставленные в сенах. За это она была сечена и заперта в курятник учить какие-то стихи. Плача и обнимая обступивших ее кур, она твердила невразумительную и благозвучную тарбарщину и клялась когда-нибудь сбросить в поток все ружья.

Сестры же, наоборот, были страстными охотницами в душе, любили слушать рассказы и обсуждать ловитву и сами бы, если бы не пересуды, пустились бы по козьему следу, ибо охотники были героями деревни, хотя чаще всего это были самые неработающие и наглые мужики.

Но на каких только кручах и гранитных стенах, совершенно плоских — кажется, и мухе не зацепиться, — не путешествовали лопотальники; то обследовали ледниковые подземелья, то вброд переходили быстринные снеговые потоки, после которых ноги вообще

теряли всякую чувствительность на время; и какие только пастушеские рассказы ни слушали они, стерегучи поспевающую среди углей картошку, о заколдованных зверях, стонавших человеческими голосами, о горных невидимках, от которых трава начинала расти правильным темным кругом на более светлом лугу.

А главное, о горном водителе, молодом красивом оборотне, являющемся заблудшим путникам, любезно указывая им дорогу или в пропасть, или в ледниковую долину, где под хрустальный звон воды и зеленое сияние солнца сквозь лед путник засыпал непробудным сном и сам становился блуждающим свободным горным огнем вроде тех, которые со всех сторон озера зажигались в ночь на Ивана Купала, в то время как дети долбили тыквы и арбузы, чтобы, зажегши свечу, ошеломить на дороге подвыпившего пастуха, ибо никто в эту ночь не разберет, какие огни — человеческие, а какие зажжены неведомо кем на уступах, где испокон веков не было жилья человека.

Любила девочка разговаривать с аббатом Ракроком; у него был низкий дом, построенный на самом откосе, с галерейкой, на которую не советовалось выходить слабонервному туристу. Все комнаты были заставлены глиняными и стеклянными сосудами, потолок увешан пучками сохнувших трав, а в высоких ретортах неустанно кипятилось нечто прямо дьяволическое. Дважды казенный доктор возбуждал преследование против него за незаконное занятие медициной, дважды дело прекращали за неимением свидетелей, ибо жители городка, почитавшие его почти за колдуна, и не думали расставаться со своим целителем.

В высоком резном деревянном кресле аббат читал книгу в кожаном переплете, а Тереза старательно, желая доказать всю детскую силу, дергала веревку больших раздувальных мехов, приделанных к потолку; пристально смотря на нее и заложив книгу пальцем, аббат размышлял, абсолютно ее не видя.

Тогда девочка сама прерывала молчание, ибо

только с ним она говорила о тех голосах, чистых и звонких, но совершенно невнятных, которые она слышала в шуме водопада или просто так, вдруг, посредине священного альпийского молчания.

— Понимаете, — говорила она ему, свободную рукою делая в воздухе пояснительные жесты, — это так: высоко вдруг раздается дружное пение и вопросительные голоса, ясно слышно каждое слово, но смысл всегда путается. После некоторого молчания совсем с другой стороны радостно-радостно, как запыхавшийся человек, отвечают иные, высокие, стеклянные, восклицания; опять все слышно, но ничего непонятно. Кроме, редко-редко, отдельных слов вроде: «là-haut, là-haut»¹ или «dans la plaine»², и вдруг все хором, радостно, громко, но совсем близко: «Tu reviendras, tu reviendras»³, и все тише, отдаляясь в бледно-синюю высь, как будто прощаясь, в хрустале замерзая и обещая вернуться. Тогда я плачу всегда.

— Но почему? — с притворной строгостью спрашивал старик.

— Потому что я не знаю, когда они возвратятся, — говорила Тереза, для вразумительности тараща глаза и принимая самые неожиданные позы в неустанном своем маневрировании воздухопрогонного приспособления.

Вдруг сообразив, что ребенок очень устал, старик принимался сам за раздувание, поменявшись с ним местами; ребенок теперь спрашивал его, взгромоздясь на высокое жесткое кресло:

- Скажите, отец, разве ангелы несчастны?
- Нет, они счастливы.
- А звери становятся ангелами?
- Не знаю.
- Я люблю больше коров, чем ангелов.
- Почему?
- Потому что их едят мухи.

¹ «Там, наверху» (фр.).

² «На равнине» (фр.).

³ «Ты вернешься, вернешься» (фр.).

Аббат печально качает головою, смотря на Терезу с видом врача, угадывающего тлетворные признаки, затем он погружается в работу, раскладывает сушеные травы по банкам.

— Отец Гильденбрандт, к чему эта трава?

— Она против слепоты.

— А я хотела бы быть слепой.

— Почему, дурочка?

— Потому что камни слепы.

— Молчи, перепелка.

— Я не перепелка.

— А кто же ты?

— Я — Тереза, звезда преисподней.

Аббат гневно теребил ее за руку.

— Мне сказал это черный камень у круглой долины.

— А еще что?

— Больше ничего, а так: «Терезочка, звезда преисподней, открой мне очи». — «Я не могу». — «Тогда ослепни».

— Больше я тебя не пушу в горы.

— Нет, отец Гильденбрандт.

— Не пушу.

— А кто будет крестить камушки?

Рано утром, отстояв обедню в чистой, пахнувшей краской церкви, монастырские дети отпускались гулять до завтрака, после которого начинались классы. И на всю жизнь осталось у Терезы воспоминание о свежем запахе краски и ладана. Церковь в St-Moransu — древняя часовня, много лет в запустении служившая стойлом для коз, в те годы была только что реставрирована и, как свежая молодая ветвь на древнем стволе, вся благоухала свежей олифой и лаком.

Бессмертная, вечно возрождающаяся жизнь католицизма радовалась в ней безотчетно. Нет, не старая, огромная, средневековая была она, и не воспоминаньем о былой ритуальной славе наполнилась, а ма-

ленькая, вся начисто вымытая, с новыми, светлыми еще желтыми стульями, с новой церковной утварью, новыми светло-розовыми лампадами, и даже медь подсвечников не успела почернеть.

Чисто раскрашенные статуи на фоне свежей стеной росписи купались в широких солнечных лучах, которые вливались через матовые стекла. И действительно, сколько нездорового эстетства в этом любовании церковной стариной. Религия нуждается в поддержке истории только в развращенных и неверующих умах, а для широколицых монашек, обутых в мужские гвоздистые башмаки, истинным наслаждением было каждую субботу утром начисто вымывать плиточный пол и кремово-желтые стены, начищать всякую медь, менять цветы, протирать стекла. Крепкие и добродушные крестьянские их руки, видимо, никогда не знали утомления. Между собою они быстро и весело переговаривались на непонятном местном говоре.

Старик-священник, местный целитель, вечно смешил их, щурясь в маленькие свои очки, и они просто, по-бабьему, отшучивались, отмахиваясь от него сразу обеими руками.

На богослужении они стояли ровно, спина к спине, как румяные солдаты в голубых мундирах с огромными белыми птицами на головах.

С годами деревня медленно теряла обитателей. Они приходили сюда только на летние месяцы, зиму старались проводить в более культурных условиях. Даже почта не доходила в St-Morancy в середине зимы, и Терезино любимое занятие было, гуськом уместившись на салазках, лететь по снежной дороге, лихо поворачивая у самого края стремнины, за письмами в соседнюю деревушку. Возвращались дети медленно, они нарочно медлили, ссорились и менялись шариками, составлявшими заветное имущество одинаково мальчиков и девочек.

Дома (ибо, в сущности, монастырь был домом для всех восьми воспитанниц и десяти воспитательниц) монахини колотили их, растирали их замерзшие руки и усаживали всех за один стол за изучение истории Бернской конфедерации, полной несимпатичных австрийских герцогов и бородатых борцов за независимость, которых Тереза явственно представляла себе по раскрашенным картинкам, прилагавшимся к каждой шоколадной плитке. Впрочем, шоколадом детей не баловали. Вскоре одна из исследовательниц славной бернской старины мирно ложилась лицом на замусоленную страницу и, несмотря ни на какие хлопки и увещевания, не раскрывала уже вдруг окаменевших век; тогда сестра Гильдегарда легко брала ее на руки и водворяла в белую эмалированную постель, закрытую решетками.

Ночью Терезе снятся сны. Ей грезится, что полная луна ходит по комнате и тихим белым лицом своим заглядывает в кровати. Тереза прямо с кровати хочет вступить на луну, где серебряные горы четко вырезаются на черном звездном небе, а по горам ходит отец Гильденбрандт и разговаривает с кем-то, и ясно слышно, как из глубины долетают ответы. Затем снег скрипит у самого окна дортуара, кто-то долго стоит и смотрит в стекло. Это, верно, отец ее, он увеличивается, он сейчас войдет.

Она просыпается; луна покрылась тонкими серебряными облачками, похожими на прозрачных рыб. Тереза в одной рубашке садится на подоконник и долго смотрит, как в лунном луче ярко горят снежные кристаллы; наутро ее находят на притолоке. Целую неделю она остается без всякого варенья, даже и яблочного.

Осенью монастырь покрывали облака, иногда солнце светило над ними на мокрые золотистые заросли орешника, а совсем недалеко внизу, иногда даже ниже последней станции фуникулера, расстилась волнистая белая пелена, как будто озеро вдруг как-то странно вскипело и, покрывшись пеной, выступило из берегов.

Но снова все окутывалось облаками, белыми и не-ошутимыми, как призраки, и скоро уже сквозь них большими белыми хлопьями падал снег, которого за одну неделю накапливалось столько, что каждое утро деревянными лопатами раскапывался вход в церковь. Затем дорожка разметывалась, посыпалась желтым песком, и уже, поскрипывая и расточая клубы морозного пара, являлся закутанный аптекарь и, разогревая замерзшие руки у очага, где в медных кастрюлях вскипало козье молоко, поверх стеганого ватника и фуфаек надевал кружевное облаченье; приготавливался идти в церковь, ярко освещенную солнцем, но холодную, как ледник.

Степенно, парами, отправлялись дети, закутанные в шарфы, переминались с ноги на ногу, но, однако, обедня ни на одно «Ave» не сокращалась от этого.

После обеда в большой учительской комнате с нескончаемо глубокими подоконниками, уставленными гиацинтами, старик, высоко подняв голову, четко читал католическую газету «La Croix»¹ и сестры говорили о политике, не переставая при этом с ритмичным проворством вязать.

Священник был радикал, сестры, мечтавшие о паломничестве в Рим, не разделяли его демократических идей; часто разговор приобретал несомненно еретическую протестантскую окраску, ибо сестры, теологически необразованные, жили оторванными от мира, а отец Гильденбрандт был настоящий алхимик и демонолог, до чего незаметно дошел от собирания лекарственных трав и чтения средневековых лечебников. Впрочем, ересь дальше добродушного отношения к чертям не шла, ибо все в деревне, несмотря на электрическое освещение, верили в горных духов, хохотунов и зачинщиков снежных обвалов, но также и спасителей детей на горных кручах, направников полюбившихся им заблудившихся охотников.

¹ «Ля Круа» (фр.).

В церкви все сразу дружно вставали в определенных местах или же опускались на колени тогда, когда небольшой орган под неловкими жесткими руками местного учителя издавал несложный героический рев, в то время как в каморке здоровенный крестьянский парень с молитвенным усердием месил ногами педали воздушного насоса. «Attention, pas si fort»¹, — тихо говорил ему учитель, и снова из совместного усилия этих двух музыкальных деятелей воздух с прекрасным гармоническим ревом вылетал из цинковых труб, теснясь в маленьком храме и воодушевляя присутствующих, рвался к покатым сосновым склонам с такою простою и убедительною, не качественной, а количественной силой, что даже козы в саду подымали головы и вслушивались.

Кристалльно чисто звякал колокольчик перед даровозношением, белые ряды, заколыхавши накрахмаленными крыльями, склонялись к земле со вдруг затихшей и очистившейся мелодией, сквозь широкий солнечный луч, не замутненный пылью, поднимались витые голубые дымы ладана. И часто даже привычные монахини плакали. Хотя старик, сделавшись вдруг величественным, строго отчитывал их за это во время исповеди.

Все они были молодые крестьянские женщины, чаще всего вдовы или брошенные соблазненные работницы; вдруг сквозь чистую и здоровую их жизнь от этой грубой и высокой музыки проносилась волна шемящей жалости к их погубленному и забытому уже счастью, и священник, как хороший психолог, за простоватой своей внешностью деревенского шарлатана знал это. И, выходя, они становились еще добродушнее, толще, спокойнее; властно и просто они муштровали своих подчиненных, тоже все больше местных незаконнорожденных детей, и к девочкам из города относились с равным заботливым деспотизмом, часто наказывали, даже били, но кормили и холили необыкновенно.

¹ «Осторожно, не дави так сильно» (фр.).

Так летели года, полные солнечной тишины, туманов или тишины снежной, тоже солнечной, но по-иному, ослепительной, торжественной. На этих высотах ветра не было никогда, и неподвижно, как очарованные, тонким узорам своим удивляясь, стояли засыпанные снегом леса, чудом равновесия снег лежал на самых тонких веточках, сияя на солнце, и только птицы или белка вдруг отряхали его сухим облачком, и опять все было неподвижно в сложно-изукрашенных ветвях, которые от тяжести клонятся до земли.

Тереза на лыжах бежит сквозь очарованный лес. Низкое розовое солнце только что встало, и тонкие его лучи протянулись сквозь заросли, изукрасив алмазами хвойные лапы и лапочки. Тереза на лыжах, красиво и привычно волоча ноги, везет отцу Гильденбрандту записку и беспокойство сестер, и вдруг на повороте Тереза, составив копытца и присев, летит, морозя свой нос, под гору, но не страшит ее крутой заворот. Тереза с разбегу воткнула две лыжные палки, в воздухе перевернулась, подняв снеговую бурю, и вот она уже за поворотом, прошмыгнула мимо кондитерской, лихо подлетела к домику над отвесом. Отряхавшись от снега, Тереза входит в прихожую и вот уже, болтая и обжигаясь, пьет горячее молоко. Отец Гильденбрандт болен, он лежит на высоком одре своем одетый и нанизывает сухие грибы на веревочку. Огромный кот смотрит на него желтым своим глазом и щурится на солнце, а у постели на скамейке сидят рядком крестьянские ребятишки и громко повторяют за отцом Гильденбрандом: «Святейший отец папа избирается конклавом, состоящим из двенадцати кардиналов».

С появлением Терезы урок прекращается, и дети, шумно стуча деревянными подошвами, бегут кутаться в бесконечные свои шарфы.

— Bonjour, Thérèse, ne fait-il-pas trop froid?

— Non, père.

— Tu n'as pas le nez gelé?

— Oui père, le tout petit bout¹.

И оба хохочут.

— Отец Гильденбрандт, почему мама всегда плачет, когда она приезжает?

— Потому что ты плохо учишься.

— Нет, отец, вы думаете, что я маленькая и ничего не понимаю. Она хотела бы жить здесь.

— Да кто же ей мешает, — говорит притворно старик.

— Vous savez bien, que papa ne le vent pas.

— Ton papa ne vent que devoir dans la religion.²

Обратно Тереза идет медленно, о чем-то раздумывая и даже путаясь в лыжах, и уж снег становится совсем голубой и высоко-высоко лают собаки, когда она маленькими своими шагами добирается до монастыря. Там давно ее ждут и беспокоятся. Заторможенная, она молчит и наконец:

— Père Hildenbrandt a dit qu'il est mal de voir dans la religion de la rigueur seulement³.

— О, этот отец Гильденбрандт со своими разговорами! Дойдет это все до Лозанны.

Ее быстро раздевают и гонят в класс.

Долгие недели солнце било, не смыкая мучительных глаз, кустарник почернел, высокие пастбища сгорели, у коров отнялось молоко. Высоко на горном уступе отец Гильденбрандт молился о ниспослании дождя, кропил раскаленный камень, шептал невнятно заклятия воздушным духам. Деревенские ребята серьезно пели писклявыми голосами, кажущимися тихими на открытом воздухе. Старики и старухи и обиженные Богом кретины стояли, потупив

¹ — Здравствуй, Тереза, не слишком ли холодно на улице?

— Нет, батюшка.

— А нос не замерз?

— Только кончик (*фр.*).

² — Вы же знаете, что папа этого не желает.

— Для твоего отца религия — это только долг (*фр.*).

³ — Отец Гильденбрандт говорит, что нехорошо видеть в религии только строгость (*фр.*).

голову, изредка утираясь красными шейными платками. Более передовая часть деревни высмеивала то, что лозаннский социал-демократический листок называл «суеверными фарсами».

Но аббат Гильденбрандт был серьезен, все горцы верили в «горных человечков», в «одинокого путника» и в иную нежить. Еще два дня продолжало парить, но к вечеру второго дня со всех сторон озера начала приближаться воробьиная ночь. Со всех сторон зарницы загорались, и разом отражались в озере огромные черные силуэты. Настоящего грома еще не было, но отдаленный, как бы подземный гул нарастал непрерывно. Все замерло в деревне, собаки и люди притаились и, обливаясь потом, с тревогой смотрели на улицу. Аббат Гильденбрандт молился, с утра начались у него головокружения, и он посылал уже за Терезой, но Тереза была в Лозанне, она с матерью ела мороженое на набережной и с неизъяснимым страхом всматривалась в сумерки.

Легкая, чуть заметная рябь бежала по озеру, на тротуаре кружились обрывки бумаги, тревожно и поспешно где-то шумел опускаемый железный занавес. И вдруг над самой вершиной Pic du Midi¹ вырос и долго сиял, неестественно долго, высокий фиолетовый куст, «как будто толстые белые волосы встали дыбом», подумала Тереза, и четким треском ряд сухих громовых выстрелов проухал над озером, и опять все смолкло, и вдруг совсем с другой стороны, вернее, со всех сторон раздался долгий скрежещущий грохот, как будто огромный новый холст разрывался под титаническими руками. Вслед за тем страшный басовый удар задребезжал стеклами, и, о чудо, прямо напротив, у острова Руссо, зигзагами медленно спустился к воде ослепительный, как магний, белый шар. Коснувшись мачты небольшой рыбацкой шхуны, потанцевал немного и вдруг оглушительно разорвался, всю ее облив синими электрическими потоками, и

¹ Пик дю Миди (фр.).

мгновенно все это высушенное солнцем деревянное сооружение вспыхнуло со всех концов.

Гроза приостановилась на мгновение, и только были отчетливо слышны прокатывающиеся по горам слабые глухие выстрелы деревянных пушек, которыми виноделы пытались разогнать бурю. Но снова, и уже со всех сторон, падали молнии, и грохот носился и рокотал в ущельях, то как будто огромные железные листы сотрясались, то опять рвался холст, то лопалось что-то, и горы тяжело громыхали в ответ каждую секунду, молнии отражались в озере и белым светом озаряли кафе и суетню официантов, поспешно что-то вносивших с улицы. И вдруг Тереза слышит голос аббата:

— *Thérèse, viens, je me'n vais!*

— Мама, — закричала она, — едем сейчас же наверх!

— Да что ты, детка, утонем мы, да и дорога не ходит.

— Мама, едем на извозчике!

— Куда там на извозчике!

Тереза хватает пальто и бросается к двери, мать догоняет ее, обе женщины борются, вмешиваются посторонние, все кричат и разъяряют. Обессиленная Тереза плачет, склонившись лицом на просиженный ресторанный диванчик.

— *Il m'appelle, il me voit, il mourra sans confession!*²

Все еще ни капли дождя не упало. А в St-Morancy молния разбила уже мачту внутреннего двигателя в саду мэрии и ветер сорвал несколько крыш. Под рев грозы аббат мечется на своем одре, вскрикивая и кушая простыню:

— *Thérèse, Thérèse, tu me pardonneras...*³

Держащие его с удивлением слушают странные речи и крепко держат его за руки.

— *Marie, faut-il lui dire?*

— *Non, père Hildenbrandt, Dieu lui dira, Lui-même!*⁴

¹ — Тереза, поди ко мне, я умираю (*фр.*).

² — Он зовет меня, он видит меня, он умрет, не исповедовавшись! (*фр.*)

³ — Тереза, Тереза, ты меня простишь... (*фр.*)

⁴ — Мария, сказать ли ей?

— Нет, отец Гильдебрандт, Бог сам скажет ей (*фр.*).

ГЛАВА VII

В

монастыре, где молнией разбило голубятню, Тереза, лежа на плетеном шезлонге для чахоточных, слушала уроки катехизиса, применительные к конфирмации, которые быстрой скороговоркой произносил перед нею молодой бледный священник с худым лицом и вьющимися волосами. Она смотрела на него, не понимая, ибо все чаще теперь Тереза впадала в какие-то необъяснимые отсутствия, голос ее делался еле слышным, и она сама еле слышала, она присутствовала на земле, но пошевелить рукою казалось ей совершенно невозможным. Как она была далеко и счастлива в эти минуты, хотя чувствовала, что жизнь ее, как газ через форточку, быстро уходит куда-то; на ее место втекало что-то холодное, невыразимо прекрасное и легкое, как эфир. Иногда на единое мгновение она совсем теряла сознание и с открытыми глазами переходила во что-то такое нестерпимо счастливое, что, пробуждаясь от таких мгновений, она почти с изумлением озиралась, ибо ей казалось, что прошло необычайно много времени.

Хотя фраза, начатая аббатом перед восхищением ее, едва успевала кончиться и вода, проливаемая из глиняного кувшина в цветочные горшки сестры Клавдии, еще не успевала упасть на черную жирную землю — уже казалось ей: что-то огромное, бесконечно длительное произошло.

Это начиналось воспоминанием какой-нибудь маленькой и очень простой музыкальной фразы органа, и как бывает, когда от падения одной карты рушится, быстро передавая движение, сложнейшее карточное сооружение, так будто ряд дверей и стен

открывались в глубине комнаты и нестерпимая волна счастья невыразимым потоком слез и света врывалась в сердце. Она только успевала вскрикнуть или только схватиться рукою за шею, и вмиг все опять прекращалось.

Только молодой священник на минуту прекращал чтение и смотрел на нее пронзительным взглядом, полным невыразимого удивления и любопытства.

Роберт Лекорню был смолоду ревнителем католического учения. В этом волевом, худом и узкоплечем юноше так выражалась ненависть к отцу-протестанту, самодуру, сластолюбцу и экспортеру из Ларошели, презрение к скрытной провинции, где все, кроме публичных домов, закрывалось в десять часов вечера, недоброжелательство к мачехе, домашней портнихе.

Втайне Роберт писал стихи, увлекался Клоделем и через него узнал даже Лотреамона, за что чуть было не был исключен из семинарии. Читая Отцов, увлекся гностицизмом, занимаясь историей церкви, «открыл» Луази и Гегеля. В результате всяческих неприятностей очутился в Швейцарии, в горах, в деревушке, наедине с Терезой.

Тереза к священникам чувствовала нераздельное уважение, как будто они были статуями или картинами. На исповеди рассказала ему обо всем. Роберт слушал с готовностью молодого студента, впервые попавшего на эпидемию; ему казалось известным все это и описанным давно в книгах, и вот всецело и даже стремительно как-то принялся он за лечение от ереси со всем пылом мучительно скрытной от самого себя потаенной молодости.

Этот человек был полон идеями о новой, воинствующей, рационализованной и модернизированной церкви, его восхищали церковные сооружения из бетона в крайнем кубистическом стиле. Радио и пресса казались ему лучшими пропагандистами учения. Так

сделался он первым спортсменом деревни, и в жизни забитых и диких местных мальчишек с его появлением началась новая эра. Его уроки катехизиса были набиты до духоты, ибо местные Томы Сойеры знали, что после уроков начнутся лагерные бойскаутские занятия и американские истории.

Зато старики были недовольны, и состав посетителей церкви заметно переменялся. Сочинен был даже донос по церковному начальству, но он ответил точной сравнительной справкой о посещаемости его общедоступных лекций и питейных домов, и местным церковным консерваторам осталось только сетовать о добрых средневековых временах отца Гильденбрандта.

Зато совершенно неутомим был Роберт в своих передвижениях; с раннего утра, на лыжах или на велосипеде, он посещал самые отдаленные горные хутора, возобновил богослужение в нескольких заброшенных часовнях и ни одного умирающего даже среди снежной метели не оставлял без соборования.

Нищие и даже республиканский мэ́р были довольны им, вечным организатором спортивных пробегов, фейерверков и аэростатических подъемов, ибо он восстановил местную фанфару и вмешивался даже в дела пожарной команды.

Однако скандал, соблазн и ущерб рождался уже с самой неожиданной и, кажется, навеки благополучной стороны. Медленно, но неизбежно Роберт сосредоточивал свое внимание на исправлении Терезы.

Но как ни старалась она понять его ортодоксальную категорическую схему учения, как ни вникала она в смысл новейших полемических книг, почти совершенно ей непонятных, она изумляла его постоянно такими странными речами, что он спрашивал себя, в каких гностических *in folio*¹ набралась она такой крамолы.

¹ Фолианты (*фр.*).

— Скажите, отец Роберт, то, что женщины и мужчины вместе делают, разве это такое счастье?

Ошеломленный Роберт молчит.

— Но если вы говорите, что нужно давать людям счастье, значит, нужно всем мужчинам позволять делать это.

Возмущенный Роберт бросает книгу на стол и уходит. Тереза бежит за ним, но он грубо ее отталкивает, так, что она падает на землю; с изумлением она, сидя на земле, смотрит ему вслед.

Одинокий, без шляпы, Роберт идет по горной дороге. Дивный воздух блестит над горами, все желтовато и обито теплым косым светом, травы жарко дышат, и в них спокойно и нежно тоскует иволга.

Еще давеча она отдала нищему деньги, собранные на новую крышу над сакристией, так что с жандармами пришлось возвращать их, и как отвратительно это было. Роберт страдальчески перекашивается и бьет зачем-то подобранной палкой по ни в чем не повинному кустарнику, из которого в ужасе выпархивает малиновка.

— Ну, а теперь эдакие цинизмы, да ведь она развратит здесь весь монастырь. Какое бесстыдство! — говорит он вслух и тихо, про себя: «Какая мучительная невинность!»

Ночью аббат не может заснуть. Дивный запах сохнувшего сена дышит ему в комнату, как теплая, чисто вымытая женщина, и вот он воображает всех монахинь в костюме Адама и бесчинство на алтаре, как в средневековых книгах, но Терезу почему-то среди них видит одетой. Что это за притча? Наконец, Роберт дремлет, не поняв, вернее, не славшись, не сознавшись самому себе.

Новые дни настали для Роберта. Роберт понял: Роберт пропал. В страхе прекращает он уроки, но, прекратив, тотчас же находит всякие мотивы для возобновления их: обращение Терезы, подвиг добродетели.

тели, тайное девственное обожание. Ибо мысль о тайном девственном обожании уже, после недолгой борьбы, привилась у него в сердце. И вдруг: что значат эти постановления безграмотных синодов, ведь я богат; мгновенно самые нелепые надежды проносятся сквозь его сердце, но вновь дверь старательно придавливается, и, вытянув некрасивые руки старчески вдоль колен, он, прямо глядя сквозь круглые железные очки, отчеканивает урок; однако каждый день уроки затягиваются.

Ночью молодой священник ворочается на жестком ложе, потом, запалив керосиновую лампочку, он читает письма св. Терезы к Иоанну де ла Круа. Почему Терезы? Явно по созвучию имен... и вдруг находит разборчивым почерком, привыкшим писать аптекарские ярлыки, на полях замечания своего предшественника: «Сегодня она слышала высокую охоту, стеклянный шум путешествия лунных духов на кошунственное сборище, однако слов разобрать она не могла. Этот ребенок слишком талантлив, чтобы жить долго».

А дальше: «Лавины останавливаются, жители, неизвестные в крае, указывают дорогу, но не в овраг, как обычно, а подлинно к монастырю, лисицы, невиданные в горах еще дедами, выскакивая из-за кустов, отпугивают от ядовитых ягод, колокола сами приходят в движение, задачи по алгебре сами наутро оказываются решенными. Необъяснимые отсутствия, беспричинные слезы, а сколько еще скрывается тщательно медитаций, мгновенно появляющиеся и исчезающие стигматы и вместе с тем голоса высокой охоты, страшные кошунственные вопросы, равнодушие к учению церкви. Что все это означает, если не невиданную игру света с тенью и кошунственное содействие великих врагов в угоду неразумному ребенку. Тогда как столько трудов, столько вызовов и приказаний не привели ни к чему и не увидевший даже хвостика ни единого духа погрузился в презрение к Создателю».

Роберт читает, неугомные рассветные горланы

ревут уже за деревянными ставнями, звенит колокольчик почтового автомобиля, и голубыми линиями на закрытой ставне обозначается день. Но что делать? Роберт бросается на колени, и это он, он мечтает о ее совращении, о преступлении обетов, о счастливой жизни среди магнолий Италии. Боже мой, Боже мой, как он наивен!

Боже, Боже, молчание. Забыв молитву, Роберт думает, не меняя положения, но какая будет ее жизнь, кто еще доказал, что это не истерия, самовнушение, нервная болезнь; да, он защитит ее, он спасет ее, — трясется он весь в возбуждении. Он защитит ее даже от Бога.

Петух громко поет в палисаднике, белый день просочился в комнату отовсюду, но что случилось с ним, он не совсем понимает; да, ранняя обедня, «низкая» немая месса, уж не опоздал ли он, опоздал делать — что? Защитить ее от Бога. «У, у, у!» — воет он, сидя на полу и терзая лицо свое.

Кротко раздается стук в толстую дверь.

— Господин аббат, уже пять часов, — говорит тихий голос слепой старухи-гувернантки.

Наконец дверь открывается, и аббат, очнувшись, вскакивает с земли.

«Должно, молился всю ночь», — думает мадам Бригитта, притворно суетясь в комнате.

И снова в молчании, под шум теплого дождя, бьющего по новым стеклам, аббат механически шепчет молитвы, кланяется, приседает, поворачивается, возносит причастие, не замечая, что лицо его, небритое и вдруг пожелтевшее, выражает почти отвращение. Поднявшись с колен, сестра Вероника тихо говорит сестре Пруденсии:

— Eh bien, il ne se fait pas beau pour nous.

— Attends, il se ragera avant sa leçon¹.

И обе, многозначительно выпятив губу, переглядываются.

¹ — А для нас он не прихорашивается.

— Погоди, он будет бриться до наставления (*фр.*).

Бывают такие осенние дни: желтый лес стоит как бы зачарованный, боясь шелохнуться, чтобы не осыпаться на землю яркое свое одеяние, прозрачно и чисто кругом, высокое небо сквозь просветы ветвей, бледное и голубое, кажется, говорит с нами; хочется лечь, запрокинувшись, долго слушать, закрыть глаза, умереть. Теплые камни поросли розовым тысячелетником, а между мертвых листьев и хвои важно путешествуют жуки с синеватым отливом; быстрые альпийские ручьи, прячась в зарослях, охлаждают воздух, и дивно слушать в такой день, как медленно и отчетливо из горного селения долетает звук колокола. «Баам» — лето прошло, «баам» — деревья устали, «баамбаам» — ложись, усни, смотри в высокое небо, думай о будущей жизни.

На высокой горной поляне, скрытые в тепло-желтое великолепье лиственниц, неведомо как забредшие на такую высоту, среди нагретых камней и хвои Тереза и Роберт отдыхают на половине перехода к часовне снегов, куда сестры, не без добродушного лукавства или просто как самых молодых, послали Роберта и Терезу обследовать, прибрать и запереть часовню перед зимними месяцами.

Сидя рядом, не слишком близко, но и не слишком далеко, они молчат, зачарованные всеобщим прощальным сиянием, всеобщим торжественным замиранием природы. Тереза следит за белками, высоко задирая голову и стремительно восклицая: «*Voyez, voyez, Robert*»¹; желая указать, где именно, она берет его за руку и его рукою неловко показывает в чашу, и Роберту кажется, что рука его коснулась священного неземного тепла; не могучи вынести прикосновения, он сам отнимает руку и поворачивает голову.

— *Voyez, voyez encore!*² — восклицает Тереза, но, видя, что он не следит вовсе, она затихает и вопросительно-печально смотрит на него. Молчание. Нако-

¹ «Смотрите, смотрите, Роберт» (*фр.*).

² — Посмотрите, посмотрите еще! (*фр.*).

нец, Тереза серьезно, как только дети это умеют, спрашивает:

— Роберт, вы печальны в последнее время, что с вами, вы и бойскаутов своих забросили, и о зимних занятиях не думаете, что с вами, вы сердитесь, Роберт?

Роберт молчит; чем больше ему хочется говорить, тем больше ясна ему невозможность этого; он смотрит на нее вскользь, ложится навзничь и долго всматривается в голубое сиянье высот; потом вдруг сиянье это расплывается, и слезы теплыми струйками стекают по его щекам. Стараясь не выдать себя, он неловко трет глаза и только смущается, размазывает слезы и сморкается; тогда она обнимает его, как раненого солдата, и, поддерживая его голову и низко склоняясь к нему, тихонечко говорит:

— *Voyons, Robert, qu'avez-vous, qu'avez-vous, suis je fautive de votre peine?*¹

— Нет, — отнекивается он. Потом, еле слышно: — Я — парий, я — священник.

— Вы — посвященный, вы — служитель Христа, — изумленно возражает она.

— Моя вера — это вы, — тихо, с закрытыми глазами, молвил он и в страхе еще крепче зажмурился.

Пораженная, она молчит и, забыв нелепость этого объяснения, низко склоняясь над ним, гладит лицо его соломенными своими волосами.

— Но почему вы плачете, если вы меня любите? Любить это ведь такое счастье.

— Ах, Тереза, любить это такая мука, мука, мука любить и расстаться такую осенью. Я уезжаю, Тереза.

— Но почему, Роберт? Я сделаюсь монахиней. Вы останетесь здесь, и мы будем вечно видеться в церкви и в школе.

— Нет, Тереза, все уже смеются над нами, да и вы не любите меня.

— Да откуда вы взяли это?

Тогда он приподымается с безумной тревогой, крепко схватывает ее за плечи и, отстранив от себя,

¹ — Скажите, что с вами, Роберт, разве я виновата в вашем горе? (*фр.*)

долго-долго всматривается ей в глаза, потом вдруг отпускает ее и, с размаху уткнувшись лицом в хвою, говорит, рыдая:

— Будь проклят Бог и святые, обманщики, обманщики.

— Опомнитесь! — в величайшем волнении восклицает Тереза. — Помните, что говорил Христос: любите друг друга. Если вы хотите делать то, что сестра Бригитта делает с садовником, то сделайте это; мне так приятно будет сделать вам хорошо.

В слезах Роберт ухмыляется горько:

— Я хотел бы, чтобы вы меня любили.

Ошеломленная Тереза молчит; белка, спустившись необычайно низко, садится против нее и наблюдает, притаившись за розовым, чистым гранитным валуном. Солнце, косыми своими лучами скользя по папоротнику, низко освещает поляну, слышнее шумит невидимый ключ, и неведомо откуда взявшаяся ворона срывается с ветки и, громко возгласив, пропадает вдали. Буквально ничего, ничего не понимает она в жизни, и вот уже слезы, вовсе неоттираемые, опять заливают его руки.

Роберт прекратил уроки с Терезой, он разорвал ее фотографию, он не пускает ее в дом. Ночью Роберт плачет о Терезе, он кошунствует и проклиная Бога и ангелов, мечтает о ее развращении и ясно понимает, что Тереза его не любит.

Поздняя ночь. Лежа у свечи, Роберт читает «*Trinum Magicum*» (Frankfurti, 1629)¹, найденное под половицами среди гильденбрандтова собрания примуров и заклинаний. И чудовищная смесь словес, возгласов и веществ, необходимых для колдовского делания, переполняет его сердце горьким странным услаждением. «*Nomina barbara nunquam mutaveris...*»²

¹ «Триптих магии» (Франкфурт, 1629) (лат.).

² «Никогда ты не изменишь варварские имена...» (лат.)

Роберт спит. Во сне он видит бога Бафомета с эректным пенисом, играющим на органе в церкви; голые монахини сладострастно месят раздувальные мехи. «Какая чепуха, — думает он во сне, — ведь Бога нет».

— А я есть, — пищит мышиный голос, или это пищит половица.

Роберт просыпается. Тонкая дудка пастуха раздрает воздух. Сегодня праздник, вечером, о мука, предстоит проповедь. Однако кощунственная мука оставила его. Горько-иронически он раскрывает требник.

В маленькой церкви тесно. Странное любопытство и некоторые слухи привлекли необычайное количество слушателей. С возвышения, комического в таком ярко крашенном и тесном помещении, Роберт говорит проповедь:

— Ничего не ищите, братья мои, нет смысла умножать книги — и постоянное размышление утомляет тело, и все есть суета, ибо поняли мы, что человек не может найти никакой причины всего, что творится под солнцем, и чем больше он будет трудиться, чтобы раскрыть это, тем меньше найдет он. Ибо видите, Экклезиаст-праведник погибает от своей праведности, а непутевый долго живет своими обманами...

И дальше в этом духе он говорил о суетности познания, подразумевая религию, но слушатели думали, что о грамоте речь. Вообще, крестьяне понимали мало, многим даже понравилось, а сестра Вероника сказала:

- Сегодня он был неинтересен.
- Ест, вероятно, мало, худой весь.
- Полноте, это все от книжек.

Затем сестры отправились в кладовую.

— Кто Ты, скажи, и Ты ли создал этот океан боли или в Тебе — свете — есть темное основание, приро-

да Твоя, и Ты не всемогущ. Ты подчинен Року, Ты слаб. Ты нежен — Тебя не существует.

Или, не могучи создать Тебя, то, что всегда рвалось к Тебе, только в нас обессилев, в нас создало идею Твою, как обессилевший, умирающий только во сне видит победу. Тогда Ты прекрасен. Ты слаб. Ты нежен — Тебя не существует.

Или, превзойдя себя, она наделила нас таким возвышенным сердцем, такой идеей, которая сделала для нас невыносимым зрелище матери-природы. Но не все ли равно, мы ли сон Твой, оживший на мгновенье, или Ты в нас есть мгновенно живущий, веки готовый рассеяться. Ты слаб. Ты нежен — Тебя не существует.

Роберт: Ты — дьявол. Ты хочешь обладать Терезой, заглушить раскаянья, преступить обеты.

Голос: Ты — дьявол. Ты хочешь разлучить любящих, вызвать сомнение, сковать живое дыханье земли.

Роберт: Ты — дьявол.

Голос: Ты — дьявол.

«Боже, Боже мой! — мечется измученный. — С любовью или против любви. Любите друг друга! Нет!»

С утра, вставши, Роберт кощунствует: «Бога или нет, или Он — жестокость». Кощунствует, а не глумится, потому что верует он.

Он глумится, мысленно перевирая службу, он делает частые ошибки.

— Какой у него бодрый вид, — говорит сестра Вероника.

Однако на следующий день она, хорошо знающая службу, дивится новизне латинского произношения, иногда ей кажется, что она слышит какую-то тарбарщину. Подымая чашу, Роберт говорит:

— *God est satanis escrementatis amor destructione*¹.

— *Amen!*² — отвечают монахины, ничего не разобрав.

¹ — Бог — это разрушительная любовь экскрементов сатаны (*лат., искаж.*).

² Аминь! (*лат.*)

В сакристии Роберт нарушает естество. Все чаще и чаще Роберт, избегая Терезы, нарушает естество; после этого наступает ослабление, тупая боль в сердце, помрачение мыслей, сон. Нарушение естества влечет за собою похудение, нервность, неспособность к умственному сосредоточению.

Роберт хирел на глазах, он кашлял, кашлял и читал, ел яблоки и предавался одиночному пороку, от слабости он еле держался на ногах.

Так, раз ночью тихо отворилась дверь и в комнату вошел кто-то и, беспорядочно целуя его, забрался в его кровать.

Странная немая сцена. Тереза обнимает отталкивающего ее Роберта, который, наконец, сдается, позволяет ей, и она целует, согревает его, прижимается к нему, желая пробудить его.

«Да и вправду ли, — вдруг думает Роберт, руки его покрываются холодным потом и сердце нестерпимо стучит, — да и вправду уехать, ожить, да успокойся ты», — но измученное тело не успокаивается.

— Бедный Роберт! — целует его Тереза.

Но тело его отказывается повиноваться, иногда даже, кажется, оно немного пробуждается к жизни; тогда Роберт ее обнимает, но тотчас же выясняется, что телу вовсе не до этого.

Тереза ничего не понимает. Роберт отворачивается к стене и кусает себе руки; тогда Тереза, обнимая его не то по-матерински, и не то по-детски, успокаивает его, но бедный Роберт вне себя, он, быстро шепча, прогоняет ее.

Тереза исчезает. Роберт мучается и мечется; зажегши свет, он одевается, рвет первые попавшиеся книги, вынимает чемоданы.

Утро настало. Шатаясь из стороны в сторону, Роберт в исступлении идет в церковь. Почуввав недоброе, сестры думают уже отменить служение. Однако оно начинается и до половины доходит как будто нормально, даже слова служения произносятся правильно, однако плечи аббата как-то странно подпрыгива-

ют по временам и передергиваются. Всем ясно, что так не может продолжаться. Поднимая причастие, священник вдруг как-то странно ломается пополам, роняет, почти бросает его на престол и, поворачиваясь, кричит:

— Это не ваш Бог, а вот ваш Бог!

Роберт показывает им то, что считает их богом.

Смятение, вопль, монахини закрывают лицо руками, несколько крестьян бросаются вперед. Роберт ударяет первого, но ослабевает и тотчас же падает и корчится на земле, глаза его закатываются, пальцы и ноги скрючиваются, и на углах рта появляется пена. Здоровенный крестьянин, собравшийся было ударить лежащего деревянным сабо, вдруг замечает, что кто-то повис на нем, кто-то кричит и пытается закрыть собою лежащего.

Это Тереза. Сообразив что-то, сестры своими мужскими руками отрывают ее от него и, бьющуюся и голосащую, насильно увлекают за собою. Однако некоторые слова были слышаны многими, и скандал непоправим.

Роберта, сильно потоптанного и поминутно приходящего в сознание, несут на одеяле в больницу, а потом, во избежание самосуда, в муниципальную тюрьму. На следующий день его увозят навсегда на огромном дорожном автомобиле, в котором камень разбивает стекло.

Терезе тоже уже нельзя оставаться в St-Mogancy, ибо скандал и слухи о кощунстве быстро разносятся по окрестностям и проникают в газеты; и слухи увеличивались, как горный поток. Уже говорят о повальном прелюбодеянии сестер и священников, и всем ясно, что монастырь на днях будет закрыт.

Ровно через неделю мать, предупрежденная телеграммой, ночью увозит Терезу в Париж.

ГЛАВА VIII

Quand une comète pendant la nuit apparaît subitement dans une région du ciel... sans doute elle n'est pas consciente de son long voyage.

*Lautréamont*¹



После смерти отца наступила внезапная бедность. От большого дома ничего не осталось, ибо выяснилось, что граф растратил свое достояние на поддержку каких-то неведомых организаций, какого-то «братства седьмой трубы» или «антикаббалистической лиги».

Но в новой нищете на жизнь Терезы дохнула теплом кроткая и незлобивая вера ее матери. Нерасторопная и неподвижная, не смевшая прежде сказать единое слово, запуганная, она не смогла теперь защитить Терезу от нищеты. Девочка сперва училась в городской школе, неравномерно и неуспешно, носила башмаки на деревянной подошве и утром, еще в сумерках, закутанная в шарфы, ходила за молоком. Но мать все просчитывалась, забывала, роняла, разбивала, она слабела видимо, и скоро пришлось найти католическую стипендию и поместить девочку в монастырь; но при медицинском освидетельствовании выяснилось, что нужен не лицей, а преванториум. Еще месяц прошел, и Тереза уехала в Швейцарию. Тем временем меньшего брата усыновили богатые свояки с условием не видеться никогда с семьей. Старший же ушел в действующую армию с тем, чтобы бесславно умереть на задних линиях от молниеносной дизентерии.

¹ Когда ночью появляется вдруг в небе комета... для нее все равно, долго ли она находилась в пути. *Лотреамон (фр.)*.

Бессловесная мать их, оглушенная столькими несчастиями, продала все, что осталось, и поселилась приживаться в Испании около самого Гибралтара в поместье одной из боковых ветвей ее рода, передав все заботы о дочери своему брату, взбалмошному старцу, коллекционеру и спириту, у которого Терезе и пришлось поселиться по выходе из монастыря.

В монастыре мистическая наследственность ее распустилась ядовитыми цветами. Монахини запрещали ей молитвы и ночные бдения, боясь за ее жизнь, ибо Страсти Господни доводили ее почти до обмороков. В келье своей она не раз засыпала под кроватью, где пыльный промежуток между каменным полом и железным матрасом напоминал ей гроб. Когда же, изломанная холодом, она просыпалась, в голубом мраке рассвета думала она: «Боже мой, зачем воскресаю я каждое утро? Неужели Ты не призовешь меня посреди сна?»

И, превозмогая искушение закутаться в жесткое одеяло, что тогда казалось ей верхом блаженства, она с острую болью в суставах становилась на колени.

Но слезы горя смешивались со слезами счастья. Мистический свет, столь долго отказывавшийся брезжить даже на самые страшные мольбы, вдруг, без малейшего повода, ослепительным наводнением застилал все. Тогда она лежала на камнях ничком или на своей тюремной кровати навзничь, и нежное ее лицо было мертвенно неподвижно. Все творение, на темном дне которого она так долго-долго угасала, казалось ей вдруг залитым золотым светом, оно было доступно из конца в конец, и она сразу была во всех концах его. Подобно яркой звезде, дышало оно между высшим и низшим мраком, подобно бессмертному ангелу, сердцем которого был Иисус. А ангел этот был весь соткан из миллионов иных ангелов — живых огней, из коих меньшие напоминали золотые бабочки, а большие легко удержали бы землю на своей ладони. И две силы постоянно боролись внутри его священного сна: сила распада, терпкое качество,

вечно старающееся изолировать каждую клетку, и сладкое качество, нежная сила события и воскресения, которое, подобно лучезарному кровообращению, омывало все. Но это было лишь мистической телесностью видения, а за нею брезжила еще мистическая духовность его как сладостное и страшное предчувствие какой-то радикальной перемены, вечно звучащий и как бы безмолвный звук, осознать который означало умереть. Но умереть так было слаще всякой жизни. Исчезнуть, растаять, как снежинка, падающая на солнце, очнуться, преобразиться и все забыть. Тихо, через все сферы, потоки и озера света звучал голос:

— Ты видишь, Я в агонии и буду бороться со смертью до конца мира. Но ты, Тереза, возлюбленная Моя, не оставляй Меня.

— Господи, погибнуть! Господи, погибнуть! — быстро шептала она, обливаясь потом и слезами.

— Нет, живи, — отвечал голос, — вы все стремитесь оставить Меня в Мой смертный час. Оставайтесь там, где холоднее всего.

И она оставалась, она закрывала окно, через подоконник которого готова была уже переступить, и Он жил в ней неисповедимой тайной жизнью, так что, даже не думая о Нем, она ощущала Его присутствие, как ощущают присутствие смертельной болезни.

— Разве Я не покинул Своего Отца для Тебя и не возвращусь к Нему до конца мира? — от сердца к сердцу без слов говорил Он ей, прося ее остаться с Ним на земле, и она целовала каменный пол своей одиночной камеры и шептала:

— Боже, я остаюсь. Ты видишь, я остаюсь, и мне уже хорошо здесь, и я уже не хочу освобожденья.

И опять рыдания сотрясали ее, как цветок в руках сумасшедшего.

Когда Тереза выросла, дядя взял ее из монастыря. Этот дядя, депутат и доктор психологии, задумал лечить ее от мистической порчи перекрестными душами и политическими салонами. Она исполняла все

его прихоти и снова становилась как мертвая, и взбалмошный старик кричал ей грубые и оскорбительные вещи. После чего он стал держать ее взаперти и как бы забыл о ней и вдруг объявил ей письмом, что она должна зарабатывать на свою жизнь и как можно скорее оставить его дом, который она позорит своею истерией.

После этого Тереза стала служить в банке, и сперва все шло даже гораздо лучше, чем прежде. Она что-то целый день считала и даже видела цифры во сне. Но новое несчастье — зрение ее, до того исключительно острое, стало вдруг быстро ухудшаться, и, несмотря ни на какие стекла, резкая боль вдруг пронизывала ее голову до самого затылка. Тогда она перестала работать, и ее дядя принялся каждодневно издеваться над ней и над ее отцом.

— Паралитики прогрессивные вы все, — говорил он, жуя свои любимые свекловичные салаты.

Наконец, наступил тот день, который втайне она давно и радостно предчувствовала и даже удивлялась, почему он так запаздывает.

В этот день все само собой стало ясно. Проснувшись рано, Тереза раньше всего ощутила в себе необыкновенную неподвижность и конец какого-то долгого процесса. Она двумя руками отодвинула занавески и вышла на балкон. И вдруг, посмотрев на бездонно сияющее летнее небо, она почувствовала, что «разрешение пришло». И ей стало нестерпимо легко и просто. Слезы сами собой полились из ее глаз, но она не закрывала глаз и не утирала слез. Она с каким-то изумлением смотрела на пыльные деревья Люксембургского сада, как будто она видела их в первый раз. Внизу, не сумевши разъехаться с автобусом «А», малиновое такси выкатилось на самый тротуар, да так ловко, что Тереза засмеялась.

Она смотрела на все и как будто все запоминала. Но все было плоско и миниатюрно по сравнению с бездонною голубизною наверху, вровень с ней, у самого балкона.

Потом, вспоминая это, она спрашивала себя, почему ее тогда больше всего интересовала именно эта миниатюрная и плоская жизнь внизу, а не безмятежная сияющая синева, а потом решила: потому, что всю эту мелочь она должна хорошо запомнить, ибо разрешение пришло, и весы, слишком тяжело нагруженные, сами собой покачнувшись, показали стрелкою свободу, смерть.

Потом она стала прощаться со своими вещами, ибо друзей среди людей у нее не было: она перецеловала книги и ручки, она попрощалась с креслом и с ванной комнатой, она пустила воду в умывальник и, подставив руку под кран, попрощалась с водой.

Потом она достала из комода несколько новых кредиток, которые дядя передал ей на шубу. И, несмотря ни на что, как при кораблекрушении, во сне закрыла дверь своей комнаты. Жизнь в этой комнате вдруг стала ей казаться какой-то далекой, как воспоминание детства.

Было очень рано, и благообразный лакей, похожий на австрийского императора Франца Иосифа, наставительно наблюдавший за полотерами, радостно и удивленно приветствовал ее нараспев:

— Mademoiselle!

Mademoiselle остановилась и что-то хотела сказать ему, этому единственному ее доброжелателю в этом доме, но, ничего не найдя, только посмотрела на него, улыбаясь, но таким взглядом, что лицо его вдруг озадачилось и сделалось совсем серьезным, и он даже в смущении сделал шаг ей вслед и бессознательно протянул было руку, чтобы напомнить ей о чем-то, но ее уже не было; она, быстро перебирая своими тонкими ножками в туфлях из мышиной кожи, сбежала по лестнице и быстро пошла по сиреневому лоснящейся мостовой через дорогу.

Куда она шла? В оружейный магазин и в церковь, но над городом цвело яркое и пустое июльское воскресенье и оружейные магазины были закрыты, а церкви переполнены.

Исходив полгорода, она зашла в ресторан обедать. Против нее сидел кремовый японец и смотрел на нее восхищенными глазами без век; она, против своего обыкновения, необычайно откровенно переглядывалась с ним и, наконец, уставилась улыбающимися глазами ему в лицо, но от этой улыбки японцу сделалось не по себе, и вдруг из ее открытых глаз медленно выкатились крупные слезы и сбежали вдоль щек; она еще раз улыбнулась и, уже ничего не видя, вышла из ресторана. Лакей бросился за нею вслед, но японец горланно окликнул его и заплатил, рассыпая бронзовые деньги, ибо жалкие руки его тряслись.

На Pasteur¹, куда она заехала на неизвестно почему понравившемся ей автобусе, она вошла в ярмарку и, казалось, хотела за недолгое время испытать все радости земного существования. Она каталась на карусели вместе с модистками, она стреляла из пистолета и ела хрустящие вафли с кремом, затем ее внимание привлек безостановочно дребезжащий звонок над пестрыми рекламами кинематографа; она взяла дешевый билет и села в партер.

Несмотря на воскресенье, кинематограф «Mille Colonnes»² был почти пуст, и на целый час она, совершенно успокоившись, погрузилась в фарсовые перипетии американской кинотрагедии. В антракте почти все мальчишки ушли курить и есть сальные блины на той стороне rue de la Gaité³, а из аквариума оркестра вдруг родился и стал разрастаться хриплый и нежный звук, разбудивший ее от неподвижности.

Кто-то, вероятно, горбатый старик (почему-то ей казалось, что именно горбатый старик), на невероятно плохой, прямо-таки жестяной скрипке громко играл, нагибаясь к самой земле, «Патетическую сонату» Бетховена, и, странно, может быть, потому, что скрипка была так плоха и так врала, или просто по несходству с сизым дымом низкого зала, скрипка так

¹ Бульвар Пастер (фр.).

² «Тысяча колонн (фр.).

³ Улица Гэте (фр.).

незабвенно, неизъяснимо сладко пела и умирала звуками в воздухе, что невозможно было не зарыдать.

Но она сдержалась.

Да, так умирает, так исчезает ее жизнь на высочайшем звуке немудреной скрипки, никому не понятная, никем не оцененная, абсолютно безвозвратная, уже прошедшая; глаза ее закрылись и лицо окаменело, так прекрасна была безнадежность этого умирания. Так что толстый господин, три раза просивший ее подвинуть ноги, чтобы дать ему возвратиться на свое место, решился, наконец, попросту перешагнуть через нее.

Солнце было еще высоко, когда она вышла из синематографа, ослепительное пыльное небо резало глаза, разогретый усталый люд теснил ее.

Долго-долго она бродила по левому берегу, садясь на скамейки, путаясь в незнакомых перекрестках; наконец, она нашла какое-то кафе, уткнувшись лицом в стол, заснула; разбуженная, выброшенная на улицу, полумертвая от усталости, неведомо как попала на бал, бросилась в объятия судьбы.

ГЛАВА IX

Человек в смертную ночь свет зажигает
себе сам, и не мертв он, потупив очи, но
жив, хотя и соприкасается с мертвым.

Гераклит

Я

поллон Безобразов уже долго не платил за комнату и уже давно подготавливался к новой жизни. Мы постепенно вынесли под пальто все, что можно было унести, и то было немного, ибо книг мы тогда не читали, вещей у нас почти не было. Грязную посуду Аполлон Безобразов, утомясь ее зрением, разбивал, ели мы со сковородки, пили из никогда не моемой кружки, пахнувшей зубной пастой, привкус, который он даже любил, находя в нем особую свежесть. Пили и ели из одного и того же, безразлично ошибались пиджаками, в чем я тоже находил особую христианско-братскую усладу, близкую тому унижению и вместе с тем освобождению, которое чувствует женщина, впервые изменяющая своему мужу, или опустившийся человек, впервые в жизни вынужденный надеть чужую заношенную грязную шляпу.

На этот раз это было серьезно, вторую ночь мы уже спали на улице, то есть почти не спали, сидя в кафе и пытаясь разговаривать и играть. Но денег ни у кого из нас не было, и эту вторую ночь нам предстояло ночевать на скамейке. Нам, то есть мне, Безобразову и Терезе; относительно Терезы об этом страшно было даже и подумать. В комнате без окна, ключ от которой мы, возвратившись поздною ночью, не нашли на обычном месте, оставались лишь куски рубашек, какой-то мой дневник и первые дни нашего знакомства с их яркой июльской погодой. Вероятно, кто-нибудь проснулся в то утро, когда Аполлон Без-

образов нес Терезу на руках по лестнице, спотыкаясь о ступени, кто-нибудь пожаловался, да и очень давно за комнату было не плачено.

Жаркие дни, как нарочно, сменились вдруг дождями и облаками. Солнце осушало начисто вымытые мостовые, но не успевало еще толком нагреть камень, как опять освещение менялось, даже не на всем протяжении городского ландшафта сразу, и снова торопливый августовский дождь шумел и заливал сидящих за столиками, и все пряталось. Но у нас с Безобразовым было всего одно пальто на двоих. Промокшие, мы вызывали недоумевающие взгляды, мотивированные особенно присутствием Терезы без шляпы, в отяжелевшей от воды дохе. Ночью было спокойнее. Помню, мы только что пообедали в сердобольной шоферской семье, но вот опять мы были на бульваре подле виадука подвесной железной дороги. Молча, в каком-то недоумении, смотрела Тереза на темное небо, по которому, ярко освещенные уличными фонарями, плыли низкие желто-розовые облака. Ветер шумел в сырой листве, изредка обвевая камни, и сень каштанов поблескивала в зеленых газовых лучах, как бы гальванизированная чуждой искусственной жизнью. Песок бульвара, желтый и крупный, напоминал подмосковную дачную местность, и мирный вид его странно смешивался с угрожающим ощущением бездомности и непогоды, в то время как давно промокшее платье издавало особенный сырой сучий запах.

С каким-то долгим изумлением, как бы не веря случившемуся, смотрели мы пред собою, прячась в поднятые воротники. Да! Да, сомнения быть не могло, это и есть то самое состояние, мимо которого не раз проходили мы с дрожью болезненного любопытства, — ночь на уличном дожде.

Помню, еще оставалось у нас около трех франков на ночное сидение в «Ротонде», однако, дойдя до Denfert-Rochereau¹, мы остановились около места,

¹ Площадь Данфер-Рошере (*фр.*).

где жалобно в сырой пустоте, стеная органами и сияя старыми своими фиолетовыми дугowymi фонарями, тяжело вращались варварски изукрашенные пустые карусели. Однако не эти допотопные вращающиеся дома, все облепленные зеркалами, картинами, завитками и деревянными фигурами и гербами, привлекли внимание Терезы, а другое, еще более старое увеселение. На самом краю ярмарки, мелкие балаганы коей были уже закрыты, почти у самой станции метрополитена, той, где он выходит из-под земли, раскинулась за зеленой деревянной загородкой бутафорская железная дорога, где красивый, ярко начищенный паровоз медленно кружился, периодически исчезая в картонном туннеле, миновал картонную станцию, пронзительно-грустно свистя по временам. Седой величественный механик, стоя, правил. Древняя старуха сидела за большой, вероятно, совершенно пустой, кассой и вязала. И все вместе — газолиновые фонари, запах угольной гари и миниатюрные, совершенно пустые вагоны — было полно чем-то столь острым, дачным и дождевым, что мы долго не отходили от изгороди. Тогда старуха обратилась к нам и предложила барышне прокатиться со скидкой по железному кругу, и хотя скидка равнялась всему нашему имуществу, мы не смогли отказаться и около часу кружились, прижавшись в углы закрытых вагонеток, пока мимо нас в облаке пара вновь и вновь проплывали темный корпус какого-то завода и низкое здание станции метрополитена в конце лоснящейся от сырости площади. Аполлону Безобразову даже искра попала в глаз. Наконец, городские-велосипедисты остановили движение по круговой линии, и замолк паровой орган, откуда при каждом звуке вылетали струйки холодного уже пара, и мы, выброшенные из тяжкого своего оцепененья, снова очутились под дождем. Последние деньги были истрачены, и Безобразов предложил пройти до шоферского ресторана за Монпарнасским вокзалом, надеясь встретить кого-нибудь и занять мелочь. Тщетно обходя лужи, мы тронулись в путь.

Обдумывая случившееся вслед затем небольшое происшествие, я понял, что агенты частной полиции сидели, вероятно, на террасе кафе du Dôme и, узнав нас, проходивших, незамеченные, последовали за нами до самого «Rendez-vous des chauffeurs»¹, где и произошло столкновение, в результате которого мы нашли неожиданный приют и познакомились с Зевсом.

Сначала, изумленные и ослабленные голодом и бессонницей, мы и не думали сопротивляться, только Тереза, увлекаемая двумя широкоплечими, грубого вида людьми в котелках, так страшно, отчаянно закричала, что тотчас же все население ресторана выскочило на улицу. Тереза отбивалась, озадаченные агенты старались ее уговорить. Аполлон Безобразов растерянно озирался и с презрением и злобой поглядывал на меня. Но не успела Тереза вскрикнуть еще раз, как вдруг один из держащих ее буквально поднялся на воздух и, судорожно отбиваясь, как огромный краб, поплыл над головами, перевалился через низкую стенку писательера и, охнув, исчез за нею. Другой, ошеломленный этим зрелищем, вдруг слетел, сбитый мгновенно сообразившим Безобразовым, и вот уже они, мокрые и красные, исчезли за углом, из-за которого раздался острый рыдающий переливистый свисток. Однако теперь Тереза поднялась на воздух, и, бросившись за нею, мы уже качались, сдавленные, в таксомоторе и неслись неведомо куда среди возобновившегося проливного дождя. В то время как виновник нашего похищения и воздушных эволюций инспектора, узнав от Терезы о том, что она несовершеннолетняя, бездомная и преследуемая опекуном, поминутно оглядывался, сидя рядом с шофером, и лицо, всматривающееся в темноту автомобиля, было красно и окаймлено столь широкою рыжею бородою, что сразу напоминало что-то давно виденное и знакомое.

¹ (Кафе) «Рандеву водителей» (фр.).

Куда, однако, мы ехали? Кто был Тихон Богомилов, унесший агента, увезший нас? Он был сибирский крестьянин, то есть не крестьянин и не помещик, а сын старообрядческого начетчика и богатого человека, даже не старообрядческого, а какого-то особенного, сектантского; впрочем, он никогда не объяснял в точности — какого, а на вопросы о жительстве с добродушной улыбкой отвечал: «Да мы лесные», — но никто, впрочем, и не настаивал.

Борода у него, за которой он улыбался, была изумительная, не бородка, и не лопатой, а подлинно национальная бородища веником, которая, как русое сияние, со всех сторон озаряла его скуластое бесформенное лицо.

Впрочем, он был не шутовского нрава, а молчаливого, и не раз видел я его впоследствии читающим славянскую рукописную книгу, которую он в засаленной газете всегда вместе с деньгами носил на груди. Однако никогда не дал он даже заглянуть в нее, и только Аполлон Безобразов, втайне осмотревший книгу, говорил, что это было древнейшее сочинение о двух сокровищах, в котором большое место уделялось Отцу Света, Первому человеку, вопрошающему солнце, отвечающему луне, и пяти змеям Отца, возрастившим дерево. Аполлон Безобразов говорил, что в книге цитировался Барбезан и Маркион, и многозначительно улыбался, думая, что имена эти поразят меня; мне же они были вовсе не знакомы.

Утром, когда Тихон Богомилов мылся, фыркая и растираясь по старой борцовской привычке, он один раз только в день выкатывал до отказа дыхательный свой ящик, заросший невероятно рыжей бородой, почти столь же пушистой, как и лицевая; он издавал какое-то особенное покрякивание, от которого как-то особенно весело становилось, ибо в ширине этой груди, в высоте ее, в мягких огромных мускулах, которые ее окружали, было столько национальной мощи и свежести, сколько нет в десяти романах о России.

Аполлон Безобразов чувствовал безграничное уважение к Тихону и, действительно, казался сравнительно с ним ребенком, однако тот и не пытался повторить ни один из тех акробатических номеров, которыми гордился Безобразов, ибо в этом теле жило особое пластическое ощущение своего достоинства, и оно чувствовало, что ему, как слону, не подобает стоять вверх тормашками или, надуваясь, подтягиваться на одной руке.

На теле Тихона отдельные мускулы не выделялись вовсе или только при усилении, но широта этих рук была такова, что ему достаточно было стать в своем халате или вылезть из-за своего шоферского места, как недовольный его действиями и возбужденный противник тотчас же понижал голос или сам как-то даже уменьшался в росте.

Так, Тихон Богомилов единственный только раз за свою шоферскую карьеру рукоприкладствовал, но власти предпочли тотчас же лишить его права езды.

Теперь он служил сторожем в большом заколоченном особняке около *Porte Champerret*¹, за границами фортификации, и это к нему мы подъехали темною сырою ночью.

Таксист, обменявшись дружелюбной фразой, уехал тотчас же, и мы сквозь мокрый сад, который отряхал на нас крупные капли, шурша по заросшему гравию, но молча, проследовали в заколоченный и темный дом, крыльцо которого, покрытое выбитыми разноцветными стеклами, само даже заросло пышными сорными растениями, и только вдали над садом неестественное желтое освещение низких, полных влагою облаков говорило об огромном городе.

¹ Порт-Шамперэ (*фр.*).

ГЛАВА X



о незабываемое время, лето и осень, мы прожили в величественных комнатах, стены которых были облицованы старым полированным деревом, а потолки расписаны побледневшей и осыпавшейся лазурью, в которой висели желтоватые перистые облака и неподвижно парили синие ненатуральные птицы. Иногда по самому берегу неба проходила тонкая, неизвестно откуда взявшаяся веточка и заглядывал вниз большой розовый амур и, как бы задумавшись, оставался так, не меняя положения, дни и дни, годы и годы.

Дом этот, в котором мебели никакой не было, был под затыжным судебным запретом, и Тихон Богомилов нанялся сторожить его на место старика, участника многих войн, умершего при падении с лестницы.

Городской шум почти не доходил до отдаленной окраины, и в солнечную погоду комнаты эти, все залитые широкими лучами, не встречавшими нигде помехи, создавали впечатление какого-то неземного покоя и равновесия, как будто они находились где-то далеко над землей и облаками, подвешенные вместе с садом какой-нибудь неведомой силой.

Это были, действительно, «покои», то большие, с мраморными каминами и заколоченными окнами, то крохотные комнаты и комнатушки, лесенки, закутки, а на дне их — глубокие стенные шкафы, откуда оконца открывались на неизвестный дворик.

В подвале был глубокий колодец и около него склад каких-то проржавленных механических моделей неизвестного назначения. И оттуда, так же как и с потолка, можно было разговаривать с любой комна-

той по трубам проложенного, но не законченного парового отопления.

— Ау! — кричал Тихон басом с чердака, — снег, должно, пойдет.

— Что? Снег? Ну хорошо! — отвечал Аполлон Безобразов из подвала.

В хорошие дни солнечный свет спал на теплом полированном дереве. Он, казалось, накаплился в нем, как в янтаре, и наполнял доверху сосновые стенные шкафы, где Аполлон Безобразов нашел единственную книгу «Крокодил, или Героическо-комическая поэма о борьбе добра и зла. Неизвестного философа, Париж, второй год республики, издание Треугольника Добродетелей».

Иногда от этой солнечной полноты чувство такой беспричинной радости охватывало нас, что мы кричали, пели во весь голос, бегали и хлопали дверьми, дико танцевали перед пыльными зеркалами, а иногда хотелось нам именно там, где появлялось это настроение, сесть у стены на пол и молчать без конца, следя за медленным передвижением солнечных полос.

Аполлон Безобразов спал в шкафу. Его любимая комната была бывшая библиотека, стены которой сплошь занимали глубокие полки, на которых кое-где еще оставались пожелтевшие ярлыки с непонятными латинскими названиями. Аполлон Безобразов спал на этих полатах, и часто, когда я утром приходил за ним, его голос раздавался из совершенно неожиданного места, иногда с большой высоты под потолком, откуда он, наконец, приотворяя створки, не спеша выглядывал, как ожившая мумия из стены древнего могильника.

Тереза поместилась под самой крышей в комнате для прислуги. Она спала там на тонком матрасике на голом полу. А в соседних комнатах с разбитыми стеклами зимовали ласточки.

По вечерам мы все собирались вокруг маленькой железной печки, которую предыдущий сторож по-

ставил в полукруглой комнате, окруженной широкими диванами-лежанками, обитыми рваной кожей. Там спал Богомилов, широко раскинувшись и свесив во сне огромную античную ногу, за которую Безобразов и прозвал его Зевсом. И никто очень долго не знал о нашем присутствии в доме, потому что длинный и заросший сад, где мы ломали сучья для печки, выходил прямо к выбоине окружной дороги, где через равномерные промежутки с шумом проносился поезд.

Там же на печке Зевс варил наш древнеримский обед, состоящий чаще всего из супа из белой фасоли, которую он долго перед этим мочил в разбитой мраморной ванне. А поздно ночью он читал при единственном на весь дом голубом фарфоровом ночнике, шарообразный голубой абажур которого, покрытый матовыми стеклянными волнами, оставлял на потолке длинные расходящиеся световые полосы вокруг центрального, более светлого круга, в необычайной тишине осенних ночей, в то время как, неподвижно глядя на потолок, я часами вспоминал что-то.

Потом я засыпал, и мне снились сны. Мы все вообще спали очень много, и часто до заката дом был погружен в сон. Поздно, кутаясь в шубу, спускалась Тереза вниз. Ее красивое желтоватое лицо было зашпано и хмуро, и с трудом Зевс заставлял ее есть. Она почти всегда молчала и светло-серыми глазами печально и внимательно следила за говорившими. С темнотою вокруг печки по прожженному полу протягивались малиновые дрожащие полосы. Тогда начинались разговоры. Они позабыты, но их ощущение, не ведая тления, как ангел, как запах, овеивает то легендарное время.

Сохранение неподвижности, неподвижности судеб, авгуральных фигур и изваяний было особой мистической модой тех лет — созданная Аполлоном Безобразовым и усвоенная всеми нами, подобно пластическому открытию или особому восприятию мира.

Аполлон Безобразов удивительно умел говорить о ней, он любил ее и считал самым важным признаком душевного благородства. Но не о полной неподвижности и небытии, а о иной, подобной жизни флагов на башнях, во время которой медленно зреет и повторяется какой-то глубинный и золотой процесс.

Еще он особенно любил говорить о повторении, о красоте бесконечно долгого внимания и углубления внимания праведности восточных подвижников. Он говорил о том, что звук Е — начало, О — окружение и сумма всего, У — воля и звук трубы конца, А — полнота утверждения и вечность, И — сила, пронзающая окружность, начало всякой личности и печали. Так, долго рассказывал он о значении древних имен, как Оэахоо, Индра, Иоанн, Анна. Затем он говорил о количестве и качестве, о сплошном и раздельном, о свободном и необходимом, и голос его падал, как дождь, среди всеобщего молчания, и наконец, он как будто засыпал и сам превращался в одно из тех металлических изображений на фронтонах зданий, с неподвижною улыбкою смотрящих на что-то, которые он так любил. Он повторял и повторялся, с нелепым упорством развивал одну и ту же мысль, как гамму или этюд, остановившись на какой-нибудь паре понятий, бесконечно переливал их из одного в другое, как содержание двух чаш; задумывался, устраивался поудобнее и наконец действительно засыпал, не меняя положения.

Все мы любили сидеть дома, за исключением Безобразова, который неделями иногда неизвестно где пропадал, ибо его посреди зимы вдруг тянуло посмотреть прибой океана или Шартрский собор, и он, не заходя домой, отправлялся пешком в Нормандию, причем целую неделю жил в пещере на берегу океана, питаюсь исключительно яблоками, оставленными после сбора. Часто он ночевал на улице еще потому, что любил спать под открытым небом. А когда его не было, мы часто, но шутливо говорили о нем, то есть, вернее, я говорил, а Тереза, глядя в сторону, иногда

только отзывалась, а когда я уставал и замолкал, в комнате воцарялась, постепенно все наполняя, лишь бесконечная, подземная алая песня каменного угля в печурке; смежая веки и всматриваясь в красные лучи, протягивающиеся между ресницами, я слушал то, о чем пел огонь все тише и тише, неустанно расточаясь в отдалении. Теперь казалось, что музыка играет в печке и что какие-то голоса разговаривают на солнце. Медленно спрашивают, тихо отвечают. Молчание. Потом раздается тихий и отдаленный смех, заглушенный шелестом весенних садов и непрерывным торжествующим треском кузнечиков, шепотом солнечных гномов, ариэлей, эльфов.

Так мы молчали, как бы отдалившись вдруг от жизни, и курили папиросы, красные точки которых то разгорались, то вновь угасали в непроглядной тьме, освещая вдруг чью-нибудь руку и часть лица. Горящая папироса внутри сложенной горсточкой руки обращала ее в оранжевый грот с китайским фонарем, потом папиросы прекращались, но внимание наше отвлекалось другим замечательным зрелищем. Высоко на темно-синем фоне появлялся над нами тонкий черный крест оконной рамы. Над землей начинало светать. Потом крест этот превращался в стройную мачту с перекладинами, на которой медленно приближались бледно-золотые паруса. И скоро уже утро стояло над нами.

Так в этом фантастическом доме постепенно странные отношения установились между Безобразовым и Терезой; они, не сговариваясь, как будто находились в заговоре, или вообще всегда выходило так, что как будто Аполлон Безобразов со всеми, но с каждым в отдельности, находится в заговоре, ибо у него было то особое лицевое свойство, которое делает лучших судебных следователей: смотреть прямо в лицо собеседнику, не отрываясь и не улыбаясь, но с улыбкой, как будто готовой в любую секунду появиться на поверхности лица и никогда не появляющейся, как будто он все абсолютно уже знает и толь-

ко для приличия, формально, любезно спрашивает. И он, действительно, все знал. Он знал так много, но он ничего не понимал, потому что не признавал и, может быть, никогда не испытывал никакой действительной боли и унижения. Было такое свойство его характера, которое свободно позволяло ему на пари простоять два часа на одной ноге, и какое-то спокойное торжество заслоняло от него боль. Так, в течение недели он смотрел только левым глазом, в течение месяца делал все исключительно левой рукой. Было ясно, что он жертвует своей жизнью из-за малейшей прихоти, ибо был совершенно лишен страха, то есть того, вокруг чего сложилась вся моя жизнь. И вокруг беспричинного страха сложилась моя любовь к Терезе, страха за себя и за нее, который я называл жалостью.

В темноте чердака среди невероятной пыли Авероэс играет на рояле (Авероэс — новое лицо в доме, он согбен в три погибели, худ, подозрителен, то оборван, то одет во что-то невероятно дорогое и старомодное). Рояль сломан, несколько клавишей издают глухой и дребезжащий стук. Авероэс играет Баха, он знает несколько этюдов и фуг, путая их и перемежая. Покинутый дом своими пустыми комнатами прекрасно передает звуки, и кажется, что во всех комнатах играют Баха. Медленно строятся стеклянные лестницы. Кто-то подымается. На повороте начинается другая, по которой еще далеко до неба, но как уже высоко от земли. Раз, два, три, четыре, пять. Какой, собственно, час? Не знаю. В саду сквозь капли дождя — чистое омытое небо, золотые мокрые листья, заросшая беседка. Покосившаяся почерневшая гипсовая статуя смотрит на тихоходный поезд, не узнавая его. Рояль играет среди запустения. Холодеющий солнечный луч ползет по серому от пыли холсту картины, где только в одном месте кто-то случайно отер ее и обнажил неестественно тонкую женскую руку, лежащую на полураскрытой книге. Дальше, видимо, мысль стершего пыль переменяла свое направление,

и лицо женщины, раскрывшей книгу, так и осталось за серой завесой. Рояль играет в пыли. Аполлон Безобразов и Тихон, примостившись на диване, играют в карты, и отчетливо, не мешая музыке, слышатся их голоса: «Семь пик, без козырей, пас!» Тереза в нише окна смотрит в сад.

Долго вглядываясь в ее спокойную сутуловатую фигуру, я вспоминаю что-то и не могу вспомнить и все-таки помню, как бывает с книгами — ни слова не остается, а какое-то ощущение все-таки живо. И вот, кажется, она сейчас повернется, слабым болезненным жестом правой руки пригладит волосы, тряхнет ими, слегка откинув голову, и грустно-невидяще посмотрит на меня. Она поворачивается, подносит руку к волосам, страдальчески поднимает подбородок, скашивает глаза в сторону играющих, которые, не оборачиваясь, чем-то показывают, что они видят, что она их видит. И вдруг я вспоминаю.

Да, это было очень давно, так именно откинув голову, стояла на каменистом пляже молодая красивая англичанка, моя двоюродная тетка, и смотрела на бледное летнее финляндское небо, где с непередаваемой нежностью и столь постепенно голубой цвет у горизонта переходит в белый и желтоватый. Лето, похожее на русскую осень, нагретая вода в выбоинах гранита. Запах можжевельника, грибов и сосен, которые на склоне дня озарены таким долгим, таким торжественным вечерним свечением, что кажутся растущими в садах Гесперид; как это было давно, и как мал и несчастен я тогда был, и как мал и несчастен опять человек, когда он любит.

В широкой светлой комнате с разбитыми стеклами Тереза кормит голубей, и они, как белые живые письма, летают вокруг нее и садятся на руки и на плечи. Она смеется, по-детски меняет голос, приговаривает, лаская их, вытягивает губы, склоняет набок голову. Но только вошел я, все наполнилось переполохом, биением крыльев и испуганным клекотом. Как будто ангелы наполняли комнату и, толка-

ясь, спешили ее покинуть при виде грешного человека. Вечером Тереза кормит мышей.

Ночь. Низко клокочет коксовое пламя в чугунной печурке. За окнами черные ветви и прутья сада, а в самом конце его электрический фонарь рассыпает вокруг себя белые световые полосы, в неподвижном тумане странно перемежающиеся с черными тенями мокрых деревьев. Ни звука на улице, и далеко еще до очередного поезда, ибо еще задолго до его появления слышно, как трясется где-то железный мост.

Аполлон Безобразов играет на рояле. Тереза, закутавшись в шубу, не двигаясь, смотрит на белые полосы. Странные спутанные звуки доносятся сверху. Что это? Прокофьев? Милло? Скрябин? Иногда как будто танец какой-то слышен, что-то жалкое, знакомое, вроде «Китаянки», и снова «Ааа! Аааа!» — визжат нелепые агармоничные сочетания. Нет, это ни то ни другое. Дело в том, что Аполлон Безобразов просто совершенно не умеет играть на рояле и в темноте наугад берет бессвязные нелепые аккорды. Но иногда на него нападает какая-то звуковая жестокость, тогда он бесконечно повторяет какой-нибудь режущий диссонанс, затем он играет одним пальцем долго-долго какую-то детски-грустную мелодию. А вот слышится отвратительный дьявольский танец наугад, но странно ритмично выбиваемый на испорченной клавиатуре, причем в два голоса, один — на самом верху, как будто стекло бьется, другой — внизу, на басах, беспорядочно рычащих. А теперь опять бесконечные ахроматические аккорды долго-долго, но не слабея и не уставая вовсе.

Страшная музыка; не пойти ли наверх потребовать ее прекращения? Нет, это не в духе дома, да и странная больная прелесть есть в ней. Тереза, видимая в профиль и слегка освещенная белесым отблеском с улицы, тоже прислушивается и страдает от этой оргии бессвязных звуковых существ; вот она опускает голову на руки, прячет лицо, плечи ее коротко содрогаются, как бы от холода. И снова «Ааа! Ааа!»

Ааа! Аао!» — дребезжат звериные непредвидимые неземные сочетания, невероятные, невозможные, недопустимые, пробегают, корчась, звуковые чудовища — карлики, жабы, пауки и сороконожки, и Тереза подбирает под себя ноги, как будто по полу шмыгает нежить. Потом рояль как будто останавливается на одной ноте, и двадцать минут звучит только она одна. Наконец, когда мы к ней настолько уже привыкли, что почти уже ее не слышали, перемежаясь с нею через определенные интервалы, ей начинает отвечать другая, высокая стеклянная нота. Теперь кажется, что рояль настраивают. Однообразные отзвуки навевают оцепенение. Но вот к системе двух нот прибавляется третья, все три они долго перекликаются, как стражи различных кругов преисподней. Затем начинаются гаммы. Гаммы звучат иногда до рассвета, и вдруг опять я просыпаюсь от новой визжащей, лающей мелодической какофонии.

Тереза, смотря на потолок, укоризненно качает головою. Потом голова ее склоняется набок, глаза закрываются, и она дремлет, освещенная уличным фонарем, как Офелия в слабом луче ущербной луны.

Зевс спит давно. Ему это звукоподражание внушает странный интерес, напоминая что-то древнее, сектантское; он все улыбался и курил трубку, и огонь от маленького ее очага, изредка вспыхивая, освещал русую его бороду.

Наконец, он встает, крестится двуперстно, мешает золу в печурке, крестится, ложится. Перед сном он, очевидно, вовсе забывшись, вздыхает и кряхтит горестно, но облегченно, и в этих звуках столько какой-то древней, истинной, природной христианской философии.

Под утро рояль унимается, и только иногда еще странная звуковая судорога через большие промежутки пробегает по клавиатуре все тише и тише... Я сплю, и мне снятся сны.

Мне снился Париж, затопленный морем. Медленно через кафе du Dôme проплывали огромные рыбы, и гарсоны плыли вниз головой, все еще держа в руках подносы с бутылками, что совершенно противоречило законам физики. А где-то в сторону Обсерватории, далеко освещая воду желтыми снопами своих прожекторов, проплывала неизвестная подводная лодка, а голос говорил:

— Так меняется слава.

И солнце вставало, озаря неподвижно плавающих в воде красивых и мертвых монпарнасских проституток... И вдруг глубокий жалобный надтреснутый стон испорченных водопроводных труб будит меня, ибо я забыл сказать, что покинутый наш дом постоянно кричал и стонал во сне, как будто все не могучи забыть чего-то давнего, печального и отвратительного.

ГЛАВА XI

C'était l'heure d'un grand départ avec musique et envol de petits ballons de toutes les couleurs.

*Marcel Jouhandeau*¹



глядываясь на пролетевшие годы, я не вижу в них почти никаких событий. Они, как городские пейзажи того же художника, но как бы написанные на сплошной ленте, чрезвычайно похожи друг на друга, однако мне самому ясно, что все они различны. Только я не могу рассказать — в чем; это, как запах, как вкус, не поддается передаче. И все прошлое в целом делится у меня на большие и малые периоды, ряд непрочных атмосферических явлений, внутри которых, как при изменившейся погоде, совершенно другим кажется все тот же вид из окна. Жизнь делится на атмосферы. Своя атмосфера есть редкое, таинственное, счастливое совпадение нескольких настроений досугов и людей. Поняв что-то вместе, друзья защищаются ею от внешнего мира, который есть река забвения. Яркий и наглый поток, где среди шума и переполоха все отрицают друг друга, все смеются друг над другом, все взглядом или метким словом стараются стереть друг друга с лица земли. Огромное «Нет» несется отовсюду, все толкаются словами, все кипят и изнемогают в словах.

В то время все у нас было особенным и своим. Мы особенным образом молчали, усмехались и делали особые паузы. И столько вещей было уже условлено, столько времени сэкономилось своим условным язы-

¹То было время великого отбытия под музыку, с надувными разноцветными шарами. *Марсель Жуандо (фр.)*.

ком. Или еще больше: простое голосовое отклонение, сколько давало оно понять, ибо мы не торопились, не топтали друг друга словами, не доказывали.

— Знаете, — говорила Тереза, — я сегодня утром гуляла по набережным, и река была такая гладкая-гладкая под белым солнцем.

Говоря «гладкая-гладкая», она немного поводила рукою, и всем нам становилось ясно, о чем думала Тереза на берегу Сены и какое решение пришло к ней между двумя мостами. В то время мы были так защищены своей дружбой и своим стилем, что казалось, что еще года и года мы проживем в неподвижности среди пыльных зеркал, высоких потолков, окурков и спутанных ветвей заросшего сада, где теперь уже лежал снег. Обрадовавшись снегу, Тереза впервые, кажется, за два месяца вышла в сад. Она шутила, трясла деревца, с которых сыпались мокрые хлопья, и даже было начали мы лепить снежного болвана, и я накатал уже довольно большой ком, но вдруг она устала, бросила все, возвратилась к печке, и несколько дней еще сиротливо таял под дождем у крыльца недоделанный человек, коричневый от земли дорожек.

Но вот однажды сквозь сад прошел Безобразов и рассказал, что он нашел службу в цветочном магазине на углу rue St-Jacques и rue Claude Bernard¹. В этом магазине-лаборатории выращивались и окрашивались редкие тропические виды, и как раз следить за отравлением растений и нанялся Безобразов. Там, среди тяжелой гнилостной атмосферы, он проводил теперь свое время, сидя на высоком табурете у стеклянного колокола, внутри которого живые листья и лепестки под влиянием едкого газа обесцвечивались, окрашивались, умирали. Зимнее солнце желтым расплывчатым пятном светило сквозь толстый стеклянный потолок, и со всех сторон во внутреннем дворике, превращенном в парник, ползли, свешивались,

¹ Улица Сен-Жак... улица Клод Бернар (*фр.*).

путались и душили друг друга жирные и яркие порождения тропической флоры. Отовсюду открывались красные беззубые зевы, протягивались розовые пальцы и висели гигантские персиковые уши. Хозяин этого живого товара жил в самой глубине двора в полутемных комнатах. Он был удивительно худ и скрючен, хотя в движениях быстр и взором упорен, так что его кадык, губы, нос и надбровные дуги составляли вместе какой-то угрожающий гребень. Близко сидящие глаза были остры и внимательны, а вьющиеся волосы говорили о тайной жизненной силе.

Но он был не экспансивен, скорее, скрытен и горд. Видимо, заранее насторожен против нескромного внимания нового приказчика. Но, не дождав-шись его и поразившись молчаливостью Безобразова, сам вскорости попытался заговорить с ним. Разговорившись, они тотчас же сошлись чрезвычайно близко, хотя оба славились своею необщительностью.

Началось с того, что Безобразов, увлекшись своими растениями, в свободное время прочел несколько книг о ботанике. Затем в библиотеке St-Geneviève¹ нашел средневековые лечебники и трактаты о растительных ядах, полные легенд и заговоров. И так оба находили одинаковое, свойственное хорошо рожденным душам удовольствие в простом утверждении оккультных и сказочных реальностей, как бы простое изъявление силы, не принимающей во внимание возражений, легко игнорирующей, презирующей. Скоро от разговоров о колдовстве, алхимии и астрологии они перешли к более трудным предметам, к иллюминатизму и мистике, наконец, к труднейшему из трудных, к еврею-христианской каббале, все время ожидая, что собеседник окажется не в состоянии следовать далее, и все время удивляясь тому, что он справляется с трудностями.

¹ Сент-Женевьев (фр.).

Однако необыкновенный цветовод знал много, и даже больше Безобразова, ибо уже несколько лет он почти не выходил на улицу, весь окруженный редчайшими книгами, полными еврейских и греческих цитат. Он изучал то самое глубокое соответствие каббалы и Шеллинга—Гегеля, которое так интересовало Аполлона Безобразова, хотя он знал гораздо меньше. Но за ним были многие годы неотлучного размышления над учением о аэонах-ступенях самораскрытия духа, которому его поразительная способность к сосредоточению мысли при полной телесной неподвижности придавала большую внутреннюю убежденность. Однако он не записывал своих размышлений, а изображал их в курьезных символических фигурах, наподобие средневековых карт Таро, и сразу цветовод поразился ими. Их было также двадцать две. Три основы, семь миров и двенадцать этапов отпадения и возвращения солнца. Все вместе называлось «Таро Адама» или «Сон Адама», не помню.

Долгими часами они раскладывали двадцать два пасьянса Таро, бесконечно обдумывая каждую карту, в которых я ничего не понимал. Но одна очень нравилась мне, она называлась «Астральный мир», и на ней между черной и белой башнями у берега какой-то лужи с крокодилом медленно поднимались к ущербной луне блуждающие слабые огоньки. Безобразов больше всего любил карту «Сила», где красивая женщина закрывает пасть льву, и другую, где молния разбивает Вавилонскую башню. Он говорил также, что карты Терезы это «Изида» и «Повешенный», а карты Зевса — «Император» и «Солнце».

Это было в то легендарное время; помню, как-то сидел я тогда в «Ротонде», маленьком тесном кафе, перегороженном какими-то перестройками, и думал: «Неужели я когда-нибудь буду сидеть за этим столом среди теней минувшего, ожиревший, сонный, конченный, общеизвестный, — какой позор! Ах, нет, лучше пойти на каторгу всем вместе. Всем вместе покинуть Европу, всем вместе, чтобы никогда не по-

гасла та особенная бледно-голубая атмосфера нашей взаимной спокойной экзальтации, высокого европейского стоицизма». О, сколько раз после бессонной ночи мы молча проходили по пустым и чистым улицам, наблюдая медленное рождение света, медленное возвращение к грубой жизни. До боли близкие древней суровости закрытых домов, крестам фонарей и зеркалам, в сумеречной воде которых появлялись наши спокойные и изможденные лица.

Нищие городские подростки, мы с нескрываемым уважением смотрели на великолепное смирение нищих, стоящих на улице. Мы слушали фыркание лошадей в темном рассветном воздухе и тяжелое дыхание поездов, которые через весь город везут цветы и капусту на центральный рынок. Мы любили кататься на их подножках в то легендарное время.

То легендарное время!

Нас постоянно сопровождало тогда ощущение какой-то особой торжественности, как будто мы ходили в облаке или в сиянии заката, такое острое, что каждую минуту мы могли разрыдаться, такое спокойное, как будто мы читали о нем в книге.

Казалось, какое-то особенное мистическое светило стояло над нами. Впоследствии мне передавали, что о нас говорили о каждом как об «одном из тех», в публичных местах насмешливо ждали нашего появления, но мы ничего не замечали.

Подгоняемые друг другом, друг другом увлекаемые, мы образовывали тогда как бы особый хор греческой трагедии, движущийся в неизвестном направлении, но не круглый хор ионический, а четырехугольный хор спартанский, по углам которого с легендарным спокойствием и верностью себе шествовали высокие энигматические фигуры Аполлона Безобразова и Терезы, а вовнутрь его входили новые, слишком хорошие или слишком любопытные души, чтоб остаться в нем до конца, до последнего кораблекрушения.

Действительно, в нашу орбиту попадали новые люди. Они сперва проносились мимо нас, как кометы

с распущенными волосами, с ужасом любопытства оглядываясь на странное соединение стольких звезд. Потом периоды их становились короче, они делались спутниками, чтобы впоследствии упасть на солнце.

Глубоко и неустанно звучала между нами высокая нота солнечного сияния Аполлона Безобразова. Всегда видимый в профиль, всегда устремленный к какому-то грядущему, над ожиданием которого он так, однако, смеялся, он, казалось, забыл о нас, он привыкал к нам, мы становились свидетелями его повседневности, еще более энигматической, чем его речь. То, запершись в пустой комнате, он в протяжении двенадцати часов подряд с неумолимыми настойчивостью и любопытством вслух повторял какое-нибудь имя, то целую неделю с остановившимся взором катал на ладони железный шарик, изредка роняя его на стол, то пересыпал песок, то бесконечно долго слушал падение водяной струи из водопроводного крана.

Потом вдруг он поместил в газете следующее странное объявление: «Никогда ничему не учась, читаю лекции и даю частные уроки по теории всех искусств и по всем наукам. Исправляю и уничтожаю характеры, связываю с жизнью и развязываю страдающих от нее. Упрощаю все гнетущие загадки и создаю новые, совершенно неразрешимые для гордящихся своими силами. Создаю ощущения: приближения к смерти, тяжелой болезни, серьезной опасности, смертной тоски. Создаю и переделываю мирозерцания, а также окрашиваю цветы в невиданные оттенки, сращиваю несовместимые их виды и культивирую болезни цветов, создающие восхитительно-уродливые их породы. Идеализирую и ниспровергаю все...»

На это странное объявление получилось некоторое количество ответов. Но Аполлон Безобразов захотел вступить в переписку только с одним из своих корреспондентов, который оказался ранее уже упомянутым хозяином цветочного магазина.

Так, смеялся он, радиотелеграфист тонущего па-

рохода через несколько секунд по отправлении своего стандартизированного сигнала слышит короткое, но отчетливое радиоэхо, которое обозначает, что электромагнитная волна обогнула земной шар и возвратилась к месту своего возникновения. Но еще через несколько секунд, уже бесконечно слабо, слышит он новое эхо, которое ученые называют звездным, ибо, по всему вероятно, эфирная сфера земли окружена на большом, но вполне исчислимом расстоянии непреодолимой и сплошной электрической стеной, от которой через некоторый промежуток времени возвращается на землю радиоволна, создавая вторично звездный отзвук, а дальше — молчание, а дальше — небытие душ и сердец.

Как всегда, какие-то неповторимо прекрасные сумерки лиловели за стеклами и какой-то бессмертный закат, одно описание которого заслуживает целой книги, изнемогал на небе, как близящийся к концу фейерверк, как весна, сгорающая в лете, как то невозвратное время, которое, казалось, не могло уже и продлиться более часа, но все еще длилось, и лилось, и ширилось, легко унося с собою нашу жизнь, достаточно сверхъестественное, чтобы лишить их ощущения тяжести и реальности, достаточно болезненное, чтобы жить этой болью.

Помню, сидел я тогда в «Ротонде» с тем самым специалистом по средневековой философии, которого Аполлон Безобразов прозвал Авероэсом и у которого он служил. Это был чрезвычайно странный человек с прямо-таки фантастической биографией. Но мы уже давно только фантастическое считали естественным. Он сперва был раввином, затем доктором медицины, после этого биржевиком, поставщиком различных правительств, строителем и владельцем пушечного завода, затем вдруг снова студентом богословского факультета, чуть ли не монахом, одно время пансионером психиатрической санатории и, наконец, по какой-то мрачной фантазии своей, владельцем цветочного магазина.

Приблизительно в это время он стал часто появляться в нашем полуразрушенном необитаемом доме. Он всегда был тщательно и церемонно одет и приезжал на длинной черной лакированной машине, которую мы просили его оставлять за углом, чтобы не вызывать любопытства соседей. Аполлон Безобразов с видом любезного хозяина показывал ему дом.

— Вот эта комната предназначена на нас для библиотеки, — говорил он.

— Да, но где же книги?

— Я много лет ищу их, но пока еще не нашел ни одной, — продолжал шутить Аполлон Безобразов.

На самом деле, он просто любил жечь книги, особенно старинные, в дорогих кожаных переплетах, долго сопротивлявшиеся огню. Это было у него родом жертвоприношения, во время которого он любил читать отдельные слова на полусгоревших, освещенных безумным светом страницах. Он вообще любил все жечь: письма, записки и дневники. Это называлось у него «бороться с привидениями». В известное мне время он вообще уже ничего не читал и у него даже не было письменных принадлежностей, хотя, несомненно, был какой-то период в его жизни, когда он очень много читал.

— Эта комната — мой рабочий кабинет, — продолжал он растворять мертвые покои. — Здесь я пишу свои сочинения.

— А где же они? — спрашивал Авероэс, любезно склонившись и принимая игру.

— А вот, — показывал Безобразов.

Действительно, на пыли зеркала пальцем были написаны какие-то странные слова, лишённые смысла, а также, грубо нарисованные, несколько треугольников и пентаграмм.

— Вот на это я потратил более месяца.

Я приблизился и прочел то самое слово, которое он столько времени подряд повторял вслух.

Потом осмотр продолжался. Мы подымались по маленьким лесенкам, проходили коридоры, малень-

кие передние, ибо в доме было бесконечное количество надстроек и закоулков. Безобразов звал нас спуститься в подвалы. Но мы предпочли идти пить чай. По дороге Безобразов показал нам свою картинную галерею, или длинную комнату, в которой не было ни одной картины и только на задней стене, перед которой стоял покрытый пылью стул, висели прикрепленные кнопками репродукции трех луврских картин Леонардо да Винчи, Клода Лоррена и Густава Моро, двух рисунков Пикассо и одного пейзажа Кирико, изображающего огромное здание с черными окнами.

Затем Аполлон Безобразов показал другую пустую комнату, где хранилась его любимая коллекция шаров из различных материалов. Насколько я помню, там был огромный чугунный шар, весивший больше трех пудов, стеклянный шар, деревянный и несколько маленьких медных. Они были расставлены в нисходящем порядке своих величин, подобно модели солнечной системы, и Безобразов очень их любил и много часов подряд занимался тем, что катал эти шары по комнате, тщательно изучая их красивые округлые следы по толстому слою пыли. Потом еще комната, посвященная географии, где по всем стенам висели пожелтевшие географические карты. И еще комната, специально посвященная воде. Она циркулировала там по стеклянным трубочкам и была подвешена к потолку в бутылках различных форм, на которых долго в сумеречной тишине дома Аполлон Безобразов любил выстукивать однообразные прозрачные мелодии, которые, значительно приглушенные, были слышимы и на нашем этаже как непрерывный бой каких-то отдаленных подводных часов. Еще Аполлон Безобразов показывал свои странные приспособления, состоящие из веревок, крючков и гирь, благодаря которым все двери одной комнаты или ряд их, составлявший анфиладу, открывались одновременно или одна за другой со странным однообразным треском.

Читал он нам также свое стихотворение, каждое слово которого было написано на стене другой комнаты и составлявшее одну строчку.

Авероэс выслушивал молча его объяснения, любезно полусклонив голову и слегка скривив рот и держа свою высокую шляпу с тем особенным полусострадающим-полуироническим выражением, с которым светские министры присутствуют на открытии памятников. Впрочем, он был удивительно вежлив. Меня прямо поражало, с какой торжественностью он держал в руках немытую чашку с отбитой ручкой, как будто она была редкостным экземпляром китайского фарфора.

Он, так же как и я, любил Зевса за его меланхолическую самоуверенность колосса и огромные архитектурные позы, всегда напоминавшие Микельанджело. Он изумлял его своей средневековой любовью к науке и верой в нее, а малейшее слово Терезы повергало его в длительное молчание.

Он искренно восхищался ею и как-то сказал ей одну из самых хороших фраз, которые я слышал. Я помню, разговор уже некоторое время прекратился, но он все еще находился в той оторопи, в которую повергают воспитанного человека явления неслыханного благородства. Тогда он вдруг сказал Терезе еле слышно, и, к сожалению, лицо его было в это время невидимо, ибо ночь пришла:

— Самое лучшее, это вам умереть.

Однажды он принес с собою тяжелый деревянный ларец, в котором оказался шар величиною с кулак с выгравированной картой земного шара. Это для Аполлона Безобразова. Терезе он присылал цветы из магазина, к концу зимы в таком большом количестве, что ее комната напоминала засыпанный снегом карликовый лес, видимый с большой высоты.

Тереза не выносила окрашенных цветов, она любила восковые гиацинты и огромные белые бульденэж, которые в России ставились в комнатах покойников. Она спала среди них, как Офелия среди водяных

лилий, или целый день лежала уже в нижнем этаже, ибо мы, наконец, добились того, чтобы она покинула свою ужасную комнату с голубями. Она была необычайно слаба и казалась тяжело больной, хотя иногда она рано вставала в необычайно радостном, счастливом настроении и принималась мыть зеркала и чистить комнаты, как будто весь мир хотела переделать по-новому, но комнат было много и пыль была ужасающая. Она быстро слабела, уставала, как будто боролась со снегом, который со всех сторон налетал в этот ледяной дворец, и снова ложилась на свой низкий диван и, как больной ребенок, накрывала голову своей вытертой лошадиной шубой. Единственно, что могло ее развлечь и слегка пробудить от оцепенения, хотя не для жизни, а для другого оцепенения, более сладкого, но не менее таинственного, — это была автоматическая музыка, которая появилась в нашем доме вместе со своим необычайно дорогим ящиком из рук Аверозса.

Она очень любила автоматические звуки. Она говорила, что часто музыку для пластинок пишут погибшие, спившиеся композиторы, которые вкладывают в них всю душу своих неосуществленных симфоний, что часто граммофонные вальсы, бесконечно кроткие, как будто уговаривают, склоняясь над вами, и что-то хотят сказать вам, и плачут, что вы не понимаете; что иногда бывает, что после долгого пронзительного шума басов вдруг какое-то небо раскрывается в глубине музыки и кто-то отвечает с неба, кто-то прижимает к сердцу и обещает возвратиться и уже никогда, никогда не расставаться; и снова глухо поют трубы, как будто какой-то серебряный корабль отдаляется, и глухо шумит, заглушая их, подземная река бытия.

Она до бесконечности слушала одну и ту же пластинку, часто разбитую и издающую шипение и стук, а рядом сидел Богомилов и крутил ручку и изумлялся хитрой механике граммофона. А Тереза смотрела на него таким взглядом сквозь полуопущенные веки, как будто ей было тысячу лет, а ему девять. Затем он варил суп, повязавшись большим передником, и ва-

рил чай, и мыл посуду, и долго еще двигался и шумел среди нас, когда все мы уже застывали в иератических позах, охваченные губительной неподвижностью. Самый человечный из нас, но все же столь далекий от человечества, такой добрый и готовый, одинаковый ко всему нужному — то ли чистить картошку, то ли заклеивать бумагой выбитые ветром стекла, то ли настойчиво читать вслух «Добротолюбие» при бледном ангельском свете круглого ночника. В то время как льдина нашего совместного существования уже трогалась с места, любовь, жалость, болезненное любопытство, восхищение нераздельно связывали нас всех.

Человек в твердой шляпе тоже был уже болен той прекрасной болезнью, которая составляла наше счастье.

Он уже приходил каждый день, приносил подарки, лечил Терезу, так как также был и доктор, один только беспокоился о нашей будущей, но такой несомненно совместной судьбе.

Так жили мы, все одинаково и каждый по-своему защищаясь от жизни, Безобразов — мышлением, Зевс — презрением, я — печалью. И конечно, Терезе, которая защищалась молитвою, было всех труднее и всех мучительнее жить.

Боже мой, как Тереза была беззащитна! Ее буквально каждый мог обидеть на улице; как часто, например, ее обсчитывали или вовсе не отдавали сдачу. Мужчины, трусливое отродье, неустанно приставали к ней на улице, а какой-то, недовольный ее равнодушием, даже побил ее. Другой раз у нее вырвали сумочку, еще другой раз в пустом коридоре метро хорошо одетый господин средних лет, приоткрыв пальто, показал ей возбужденный детородный член. И всякому было ясно, что она не станет защищаться, не закричит, не ударит нахала. И вовсе не потому, что она была такой доброй, нет, она просто не в силах была очнуться от оцепенения, надеть перчатки, написать письмо. И кажется, не мучай ее Богомилов, никогда бы ничего не ела.

Бесцветные губы ее были странно выпучены, когда она часами смотрела в окно или рассматривала

потолок с мрачным интересом. Лицо ее часто носило почти злое выражение, углы рта были брезгливо опущены, и она казалась не в силах приподнять огромные, как будто оловянные ресницы.

Читала ли она книги? Не знаю, ибо я не запомнил ее с книгой. Хотя она все знала, все понимала, думаю, все предчувствовала с чужих слов, со слов о чужих словах. Думаю также, что ей было достаточно одной страницы, чтобы оценить книгу, ибо сразу грубость написанного бросалась ей в глаза, а хорошие книги, к чему, действительно, читать их до конца, не весь ли Пруст заключен в одной своей бесконечной фразе со множеством придаточных предложений, и не вся ли душа писателя в известной перестановке прилагательного, в одном описании единого сумрачного утра.

Зима надвигалась, суровая необычайно. Мы все страдали от холода и темноты. День рано смеркался, бесконечно рано слабел. По голубым улицам еще недолго вприпрыжку бежал полегчавший от холода народ, и скоро уже все было пусто, и редкие снежинки долго кружились по голому камню, прежде чем, ничем не тревожимые, останутся в неустойчивом равновесии.

Река несла широкие желтые куски льда. Широко разлившаяся, она выгнала нищих из их убежищ под мостами, и они исчезли куда-то окончательно. Умерли, может быть, все. Только на некоторых улицах обледенелые палаточные торговцы хриплыми голосами старались симулировать предпраздничное оживление. Они продавали грошовые гребни неестественного цвета, дешевые елочные украшения и бутфорские автоматические ручки. Газетчики грелись около жаровень, пылавших коксовым огнем там, где разрытая мостовая являла глубокий слой бесплодной желтой земли, замешанной черепками и бутылками. У гастрономических магазинов под ослепительным светом дуговых фонарей громоздились варварские декоративные сооружения из ярких консервных банок и раскрытых ящиков с дешевым и сырым

печеньем, и между ними, фальшивя и сжимая сердце, звучал кларнет летучего оркестра Армии Спасения, и бритые неудачники в плохо скроенной форме продавали что-то нравоучительное.

Я любил тогда ходить по предпраздничным улицам, проявляя полную нечувствительность к усталости, подобную анестезии. Слушал деревянные возгласы продавцов, шум автомобилей и шлепанье бесчисленных ног и копыт.

Возвращаясь домой, не снимая шляпы и пальто, ложился ничком на диван, куда Зевс, сжалившись, приносил мне чаю. Тогда я в каком-то смятии вдруг просыпался, приподнимался и, возглашая «нет, нет, я не сплю!», принимался доказывать что-то.

Ужасом сумерков означились эти дни, физической тоской о солнце, ибо солнце в деревне тяготит непривычного и недолгого дачника, но солнце в городе, среди камня, отдыхающее на пыльной облезлой зелени, мне было физически необходимо.

Почему так рано темнеет? Четыре часа и уже ночь.

— Самые короткие дни, — отвечал Богомилов.

Тереза сопела носом, она топила печку, и лицо ее было снизу ярко освещено и как будто раскалено, и было что-то бесконечно зимнее, елочное в этом освещении, хотя никто и не заговаривал о елке.

Время шло медленно. Потом мы все играли в карты при свече, и странно, но бесконечно успокоительно звучали однообразные возгласы: «Без козырей, семь первых, вист!» Или Зевс читал газеты, разложив их на полу в сиянии печки. Он вдруг каким-то милым и неожиданным тоном читал отдельные заметки, вызывавшие его изумление: о кладах, о путешествиях или об археологии, но никто не отвечал ему, и скоро он жег газету в печке и слушал прекрасный, но краткий гудящий шум горящей бумаги. А однажды я принес с собою несколько елочных свечей и зажег их, прилепив рядом на спинку колченогого стула. Все долго и неподвижно следили за тем, как прозрачное тело парафина превращалось в огонь, таяло и в озарении исчезало. Последняя

свеча долго агонизировала крошечным синим огоньком, то разгораясь опять, золотисто освещая натруженную спинку, и погасла, наконец, в неравной борьбе уступив со всех сторон теснящему ее мраку.

Скоро Зевс принес лампу. Все, шурясь, отстранились от нее, вырванные насильно из своего сгоревшего детства. Эту яркую лампу он купил для нас и чистил ее сам, наливал и заправлял, не позволяя никому к ней прикасаться.

Помню, рассматривали мы в этот вечер разные вещи, которые Тереза и Безобразов принесли с толкучего рынка: перчатки, русские баранки, ботинки для меня, купленные Терезой, а также что-то никому не нужное, купленное им: маленький какой-то автомат с заводом, увеличительное зеркало, «портрет молодой женщины с выставочным павильоном на руках», нарисованный живописцем вывесок. Впрочем, все это стоило недорого. Аполлон Безобразов складывал все это в комнате-музее, там, где была подвешена вода, и подолгу иронически размышлял там среди невероятного хлама, среди которого, улыбаясь, прямо перед собою глядела восковая полуженщина из парикмахерской, и одна половина ее головы была покрыта отвратительными рыжими мертвыми человеческими волосами.

Хотя удивительно интересно было слушать, когда он подробно рассказывал о происхождении каждой из этих вещей и смеялся над мертвой славой стольких забот и мод.

Наконец, неизбежное настало. Однажды, весенним утром, дверь стеклянного крыльца сама собою отворилась и вошедшие, подрядчик и инженер, в изумлении остановились на пороге, в то время как Зевс, не замечая их, оголенный до пояса, продолжал поднимать над головою свою отделанную медью гирию неестественной величины. И вот, как ни унижительно было вторжение, подобное полицейскому обыску в заповедной области

сонных видений, все было осмотрено, обмерено, и участь дворца была решена.

Помню. Никогда не забуду наше прощальное скитание по комнатам, которые мы должны были покинуть, подобно душе, уступающей свое тело червию. Сколько заповедных углов и подоконников было осмотрено и навек оставлено за поворотом коридора. Мы еще раз осмотрели комнату воды и картинную галерею, прошли по чердакам и долго жгли в печурке бесполезные и загадочные коллекции Безобразова, не желая оставлять их неприятелю. То были фотографические альбомы неизвестных семей, золоченые туфли для карликовых ног и флаги многих государств. Все это, политое керосином, горело шумно и быстро исчезало, оставляя неузнаваемые следы. И наконец, когда все уже было готово и гири, шары и книги наши уже отвезены в цветочную лабораторию, мы собрались еще раз вокруг ярко раскаленной печки и, опустив головы и подперев их ладонями, молча смотрели на пламя.

Уже зеленели кусты, тоже в последний раз, ибо и им предстояло быть выдернутыми с корнем, комната была полна теплого весеннего вечернего света, и, казалось, присев перед отходом, никогда не решились бы мы прервать это печальное созерцание, если б Аполлон Безобразов не встал первый и, подойдя к испорченному зеленоватому зеркалу над камином, в котором столько раз слабо отражались огоньки наших папирос, наши смятые пиджаки и небритые желтоватые лица вместе с их невозвратными выраженьями и отраженьями сада, вдруг отступив, размахнулся и железным шаром разбил высокую пыльную память зеркала. Невольно мы все встали, как бы проснулись, и за осыпавшимся стеклом в звездообразной пробоине увидели оставленную при перестройке побледневшую старинную роспись, деревцо и участок неба, куда, как будто освободившись, вдруг отлетела осужденная душа этого дома.

Затем Безобразов залил печку водою, и мы, как авгуры при пожаре Капитолия, среди клубов пара и дыма покинули прекрасный и осужденный дом.

ГЛАВА XII

Это был прекрасный день для сынов
земли и жизни, но еще более прекрас-
ный для дочерей смерти и неба.

Эдгар По

Б

лагородство молчания и неподвижности! Не устаивание серьезного отношения к жизни. Жажда покоя и достижение утешения этой жажды. Сидящий в удобной, но неженственной позе медленно поднимает руку:

— Как странно, что сейчас лето, и жизнь продолжает длиться, как тихо...

Все по-разному носят свою неудачу: одни, как красивую шляпу, измученную и лоснящуюся, другие с романтической нежностью, как Офелию на руках, третьи же (презренные), как разъедающего рака, который неустанно грызет их глубоко под одеждою. А я?.. Было время, когда я видел себя на солнце, а потом совсем переставал себя видеть...

Огонь жизни погасает; огонь жизни стелется по земле.

Усни, мужественный отрок. Смежи свои огромные веки. Тихо проведи по воздуху колоссальными ресницами. Все, что было, вернулось в память. Память вернулась на солнце. Память была...

Никогда не поворачивайся к жизни лицом. Всегда в профиль, только в профиль. Безнадёжно вращай только одним глазом. Величественно приподымай только одно веко. Одною рукою души жестоко-го. Одною рукою наигрывай чижика на золотом органе искусства. Одним развесистым ухом рассеянно слушай гортанный голос бедной девы. Пусть никто не догадывается о том, что у тебя есть духовный опыт. Пусть одна сторона твоего лица движется,

другая же вечно остается в неподвижности. Будь, как луна...

О, жалость к низшей жизни, жалость к глазам, которым больно от мелких букв. Жалость к сердцу, которому трудно подниматься по лестнице, и оно жалобно стучит, как матрос в железную стену.

Жалость к мозгу, которому хочется развлечений. Жалость к губам, которые ищут прикосновений. Жалость к дьяволу, тоскующему в костях, жалость к половому члену. Лицом к земле, головою в снег, слезы — сон.

Неподвижная перспектива крыш. Розоватые кубы домов. Незыблемая каменная тоска лета. Лениво и упорно, как гусеница, рояль издает гаммы. На нем кто-то что-то неумело разбирает. Как будто слышны чьи-то неумелые мысли, пытающиеся осознать жизнь. Они восходят на холмик. Они нисходят. Они сонно фальшивят. Они повторяются. Лето, пыльное лето. Самое метафизическое время на земле. Воистину спокойно. Воистину совершенно прекрасно и безжалостно прямо смотрят серовато-голубые глаза полдневного неба. Воплощение природы судьбы. Воплощение необходимости и согласия с богами. Свинцовая тишина вокруг, и только над выступами крыш пряма, высока и безобразна, как цивилизация, ровно дымит фабричная труба. И ровно от нее отлетает и стелется теплый коричневый дымок. Дорогой пароход, не ведающий приключений, мне восхитительно покойно на жесткой и солнечной твоей палубе...

Ты шутишь, мой милый друг, и это значит, что ты исчезаешь. Ты плачешь, мой милый друг, это значит, что ты, наконец, счастлив. Ты величественно сжимаешь брови, и это значит, что ты побежден. О, нежность света, о, сладость мрака, шум любви, уходящей в песок. Дождь, дождь, дождь. Ты видишь: восковые фигуры сигнализируют шляпами в первом ряду крыш. Они заметили приближение солнца, разукрашенного ангелами, и приготовились делать искусство. Но крыши уносит наводнение равнодушия, и вы

возмущены. Утешьтесь, утешьтесь. Сдайте свои книги в могилы, как мексиканские инсургенты лениво сдают свое оружие. Расстаньтесь с высокими шляпами и, нагибаясь, перестаньте быть. Тогда, наконец, оно захочет с вами познакомиться и положит ваши овальные головы на свою огромную розовую руку — и т.д.

Тем временем лето уже прошло. Оно клонилось к смерти, как клонятся ко сну могущественные императоры среди великолепия своих пиров. Никогда небо не было таким прекрасным и вечера такими удушливыми, полными голосов, сияний и шумов. На улицах слабые горожане с неестественно обожженной кожей демонстрировали ее с гордостью нищих. Это были мелкие служащие, возвратившиеся с каникул. Но большинство магазинов еще плыло в прозрачное небо всеми парусами спущенных своих тентов. Даже витрины их были завешены выцветшими полотнищами, за которыми восковые манекены укрывались от растаянья. Еще тихо и торжественно было в опустевшем городе, как в оставленной войсками римской крепости. Мягкие асфальты по вечерам отливали фиолетовым и темно-синим цветом, а в воздухе сладостно плавал такой уже для меня родной запах котлов для варки асфальта и разлагающейся человеческой мочи. И поздно по вечерам уже стояло над Люксембургским садом, бесконечно продолжаясь в ночь, то особое, прозрачное изумрудное зарево, которое на закате солнца неминуемо предвещает осень. Бульвары уже сплошь покрыты были золотыми листьями, а иные сгорели уже давно, чуть ли не в мае.

И вдруг разом, как разом кончается юность или любовь и человек, выйдя утром на прогулку, вдруг замечает, что любимого образа уже нет подле него, так в одну неделю лето уступило, и синева, темная, грозовая летняя синева сменилась синевой высокой, прозрачной, осенней. Уже больше не повторялись бело-серо-голубые раскаленные дни, когда все было в покое безнадежного торжества земной жизни. Жа-

ра перестала быть чем-то объективным, как присутствие, и разом перелилось на улицу предсмертное оживление, которым горожане провожают лето. Оживление, уже полное печали, явственной даже на лицах красных и измученных велосипедистов, которые на пыльных машинах возвращаются из загородных прогулок.

Мы по-прежнему проводили почти все время вместе. Аполлон Безобразов отирал пот и медленно проносил слова, как будто думал вслух; потом, наклонив голову вбок, прищурившись, смотрел вдаль. Мы жили тогда уже не в полуразрушенном доме, а в квартире при цветочной лаборатории Авероэса. Впрочем, магазин был заперт на лето и навсегда. Под широким потолком из матового стекла, сквозь который желтым пятном палило солнце, диковинные тропические растения умирали, отравляя воздух тяжелым сладостным смрадом. Иные же разрастались, повсюду свешивались их воздушные корни, они душили соседей; но и их ждала одинаковая гибель зимой, ибо лаборатория ликвидировалась. Давно уже покрывались пылью сложные алхимические аппараты, над которыми неподвижно и так долго и с такою любовью склонялся когда-то Аполлон Безобразов, то выращивая и прививая отвратительные неведомые виды орхидей, то медленно отравляя беззащитные белые ткани роз сложными бесцветными газами.

— Все это мы увидим на *Marché aux puces*¹, — смеялся Безобразов.

Какой чуждой сразу сделалась и эта лаборатория, и раскаленный осенний город! Мы уезжали. Зевс увозил свою гирию, Безобразов свои шары. Тереза надела вытертую лошадиную шубу. Мне же было все равно. У меня ничего не было. И я наслаждался тем, что мне все равно и что у меня ничего нет. Голубой утренний ветер свистал у меня в ушах, повторяя: «Ничего, ничего нет». И слова эти входили мне в

¹ Блошинный рынок (фр.).

сердце тем острым горестным утешением, которому научила меня Тереза. Это у нее была такая манера, доводившая меня чуть не до слез: очень долго вполголоса повторять какую-нибудь печальную фразу, все тише и тише, по-разному, но все с большим горем ее произнося, как будто все ниже и ниже к чему-то склоняясь и сдаваясь окончательно.

Быстро скользили мимо нас высокие розовые фабрики, в утренних лучах подобные светлым гранитам фиванских храмов. Туда, за пределы, где Нил вытекает из подземного мира, подобно монахам, спешащим в церковь, рабочие в голубых куртках шли на службу. Они перекликались. Тихо звонили трамваи, и уже солнце вставало в бессмертном своем обаянье.

И вот уже астры цветут в предместьях, маленький ослик ест что-то среди консервных коробок на бруствере разрушенного форта, и поют гудки, а вдалеке высоко над Парижем уже стоит темное марево фабричного дыма. А могущественная машина несет нас вперед и вперед, вырываясь из-за поворотов, как время, поворачиваясь на всем скаку, как длинногривые кони Гесперид.

Мы глубже надвигали фуражки и шляпы, мы молчали, немые и неподвижные, как фигуры на колесницах. Аполлон Безобразов правил автомобилем. Он был спокоен. Особое выражение его лица еще усугублялось тем, что он безостановочно перетирал жевательную резину. А я все хотел понять что-то напоследок. Но это были жалкие попытки. Конечно, судьба была выше меня. Она была во всем. И в энигматическом жесте прохожего, смотрящего с моста на убегающий поезд, в торжественном блеске утра, в лиловом асфальте дороги, и в глухом и угрожающем шуме мотора, похожем на рев моря. Она таилась в свисте подшипников и колес, она сидела на пальцах шофера, она странно и победоносно возглашала в гудке, а сзади неслась другая машина, нагоняя нас, не давая нам остановиться. И все провожали нас глазами, как свидетели некоего похищения. Быстро

уносимая тридцатью механическими лошадьми, Тереза сумрачно смотрела вперед, и вновь казалось, что ей тысяча лет, а нам десять.

Лето мы провели на Лаго ди Гардо. Замок, в котором мы жили, был настолько велик, что редко кто-нибудь из нас встречался в его столовой. Я проводил свое время на каменистом пляже за чтением газет и иллюстрированных журналов, присылаемых со всего света. В горячей и тусклой воде спали большие рыбы, которых никто не пытался ловить. И только раз в день к вечеру далеко от берега проходил белый колесный пароход с большим швейцарским флагом на корме, и долго я слушал, как мерно раздавалось сложное чавканье лопастей, постепенно затихая и смешиваясь с треском кузнечиков. Потом где-то далеко рождался гудок; это пароход останавливался около соседней деревни, откуда пассажиры, за неимением пристани, подъезжали к нему на лодках. В общем, я плохо переносил жару и долго спал днем в полутемной комнате, где на паркетном полу рядами лежали солнечные полосы жалюзи. Потом, полуодетый, я шел в библиотеку, где, как в сон, погружался в перелистывание переплетенных журналов времени Всемирной выставки и Боксерского восстания.

Тереза и Безобразов иногда надолго уходили в горы. Там они садились на камень и часами разговаривали. Высоко воздух спал среди белой мглы. Озеро внизу было серым и лоснилось, как олово. Кругом был удушливый запах вянущих кустов и горячей земли. О чем они говорили? Никто не знал этого. Авероэс в белом костюме беседовал с Зевсом в своем обширном алхимическом кабинете, который, вместе с библиотекой, занимал древнейшую часть строения. Остальная часть замка относилась к наполеоновским временам. Авероэс любил говорить с Зевсом. Обоих интересовали вопросы политики и политической экономики; они, как астрономы, с любопытством сле-

дили за падением кабинетов и за ростом кризисов, предсказывая Европе страшную судьбу. Во взглядах они сходились. Это было абсолютное нравственное отрицание и капиталистического, и коммунистического строя.

Последнее время я вообще никуда не выходил. Окруженный собаками, к которым чувствовал свою душевную близость, я читал Чехова на балконе, заводил автоматический рояль в зале и в розовом сумраке слушал его среди чехлов, пахнувших нафталином. Ибо моль царила в замке. Боже мой, как пронзали мне сердце старые довоенные вальсы из немецких опереток, под которые я так тосковал гимназистом на бульварах и катках, совершенно одинокий, слабый, плохо одетый, лишенный знакомых. Вся душа довоенной Европы в последний раз сияла в них вместе с отзвуками Вагнера и Дебюсси и призраками Метерлинка, Дрейфуса, Жореса и Сары Бернар. Воистину, ничего, ничего не осталось от этого мира, развратного и нежного, дурманящего и горького, как абсент. И помню, раз среди одного из таких спиритических сеансов, когда я, разморенный жарой, прищурившись, созерцал, как сами собою опускаются клавиши, и неземные и расстроенные звуки, как плохо проснувшиеся Елисейские тени, разворачиваются из облупившейся белой полированной крышки пианолы, вдруг перед моими глазами начала медленно перемещаться потемневшая мифологическая картина, занимавшая простенок (все это со странным механическим стуком), и из-за нее вышел скучающий Аполлон Безобразов, занятый исследованием подземелий замка.

Часто в лодке, далеко отъехав от берега, я думал о Терезе. Слегка наклонившись, отчетливо можно было видеть бледно-голубое каменистое дно. Оно было почти голое, и только параллельными рядами, как будто нарисованные, ползли и отдалялись тонкие водоросли. Далеко в озеро выходила белая лестница, которой оканчивался великолепный парк соседнего

замка. Маленькие алебастровые львы неподвижно смотрели в разные стороны, и одиноко на стриженной лужайке белела мачта для флагов. Солнечная тишина наполняла озеро. Свесившись над водою и полоща руку в теплой и чистой воде, я думал. И часы проходили, не принося никакого разрешения моим вопросам.

Что привлекает ее в этом каменном человеке? Разве можно разговаривать со статуей, с железнодорожным расписанием или с дельфийским оракулом? Чужой Безобразов всему живому. Разве что воде или воздуху близкий. И что ему до нее? Разве он не солнечный гений, который, по учению древних, просыпается ровно в полдень — Меридианус-Даемон — и славит вечное совершенство солнечного движения? Призрак! Не заболевает ли всё в его присутствии этой странной рассеянностью, этим смертным равнодушием, этой манией загадочных улыбок и многозначительных поз. Обманщик!

«Я делаю вид, что знаю то, чего не могу знать, и хочу то, что не может не случиться». Позер! «И жить и умирать неприлично». Умер бы, попробовал бы, или пожил бы на мгновенье. Восковая голова! Гипнотизер, недоучка! Смотри, доведешь ты кого-нибудь до иступленья. Боже мой! Боже мой! Что может она любить в нем? Разве железное колесо достойно любви? Солнечный сумрак ее искушает. Да и не ест ничего! Но как спасти больного от болезни, если он обожает эту болезнь? Да и любит ли она его? Она жалеет его, но за что его жалеть? Разве он не счастливее ее? Суются эдакие жалеть, у самих еле душа в теле. Тереза! Тереза! Ничего я не понимаю! Не нужен я никому! Но больно мне, страшно и пусто мне. Разве растопить дыханием ледяную гору? Ничто ему не поможет, ведь он просто не понимает, что нельзя славить золотое колесо, когда между зубцами его столько боли и ужаса, столько позорных одиночеств.

Казалось мне вдруг, что моя нищета, моя унижительная тоска и неспособность ни к какому самоприжудению более достойна ее жертвы. И почему это

всегда в мире все жертвуется тем, кому ничего не нужно? Значит, и она от мира. Ах, и Христос ошибался! Не возложил ли он себе на грудь прекрасную голову Иоанна? Нет, не Иоаннову, а Иудину грязную голову должен Он был к сердцу своему прижать: так, действительно, пожалел бы Он обездоленных. Не выше ли всякая Марфа всякой Марии? То же я говорил и Терезе. Она молчала; глаза ее медленно поднимались к пыльному небу, будто ища защиты. Но небо слепило ее, и она закрывала их.

— Я пытаюсь устыдить его. Страшный он человек...

Слабая и нежная, разве могла она поднять на него руку? Легче ласточке заклевать волка. Бедная ласточка, сколько кружилась и билась ее мысль, как укоряла она его, как звала к чему-то. Нет, он не переставал улыбаться; прихотью и метафизическим спором все это казалось ему.

— Безобразов, мне голоса говорят о том, чтобы я уходила, как Он от вас ушел, но кто же вас защитит от другого? Или вы сами — тот, другой? Кто же тогда защитит Зевса и этого нищего духом? Боже мой, Безобразов, ведь умереть вам так нельзя!

— Убейте вы меня! Что, не смеее погубить душу свою для Васеньки? Рано вам еще по-взрослому разговаривать.

Тереза молчала. Она теперь все меньше выходила из комнаты, и раз случайно увидел я из окна кухни, что она лежала на полу и молилась.

А Аполлон Безобразов придумывал новые зловещие игры. Теперь он совместно с садовником размуровывал в подвалах замка входы в подземное кладбище. Они находились в глубочайших подземельях, уходивших больше чем на километр в глубь горы; но на самом дне их он нашел еще замурованные галереи. Куда они вели? Этого никто не знал. Эти подземные залы имели долгую и сложную историю. Некогда они принадлежали монашескому ордену, который использовал находящиеся на этом месте развалины

древнеримских каменоломен. Но крепость была разрушена до основания во время религиозных войн, и только башня-библиотека относилась к ней. Возможно также, что в этом монастыре имела убежище какая-нибудь мистическая секта типа Розенкрейцеров, во всяком случае, в подземелье, кроме оружия и кладбища, сохранилась также часовня, стены которой были украшены пятиугольниками и иероглифами, с примыкающими к ней маленькими келейками, откуда винтовые лестницы выходили к подземному ручью, неведомо откуда и куда протекавшему. В иных часовнях все стены и утварь были облицованы и сделаны из человеческих костей. Аполлон Безобразов сам проводил электричество, укреплял своды, расчищал лампы и алтари. Он говорил, что чувствует особый вкус ко всему находящемуся под землей и мечтал бы жить в комнате, находящейся на сто верст в глубину. Увлекался он также средневековыми поэтами и поэтами Возрождения, писавшими о средневековье. Читал латинские книги по медицине, схоластическим вопросам и технике осад. И часто ходил по двору и ездил на лошади в полном рыцарском вооружении, которое, начищенное мелом, ярко блестело на солнце, испытывая тяжесть панциря и специальное ощущение человека, изнемогающего от жары и не могущего даже почесаться. Затем он и Зевс рубили мечами поленья. А в этот раз, когда под дребезжащие звуки пианолы он вышел в гостиную из раздвинувшейся стены, он был одет в полное католическое облачение, хотя и с папиросою в зубах.

После этого он увлекся водолазным искусством. Помню, как он с восторгом рассказывал, как сияющими полосами преломляется солнце сквозь воду и постепенно темнеет и зеленеет вода на большой глубине. Недалеко около нас, но на глубоком месте под водою находились какие-то римские развалины. И в тихую погоду были ясно видны на дне обломки колонн и стен. В водолазном костюме, предназначенном ранее для починки подводных частей замковых сооружений,

он так долго не возвращался на поверхность, что чаще всего Зевс, не дождавшись сигнала, против его желания вытаскивал его, иногда уже в полубморочном состоянии, с лицом, измазанным кровью, протекающей из носа и ушей. Это мы с Зевсом, сидя на плоскодонной лодке, вертели колеса воздушного насоса и следили, опрокинувшись, как он отдалялся по железной лестнице, достигал дна и то медленно шел, то останавливался в необъяснимом раздумье, как будто мечтал.

И все-таки ему удалось извлечь со дна бронзовую фигуру какого-то неизвестного героя с глазами из драгоценного стеклянного сплава и в фригийской шапочке, сходство коего с Митрой давало совершенно новый смысл существованию подземелий. Но от перенапряжения сердца он заболел. Он лежал в библиотеке перед открытым окном, читая Бомбакса Парацельса, Великого Кунрада и «Философического человека» графа де Сен-Мартена, к которому относился с величайшим уважением. А также древних: Апулея, Проклуса, Филона и Секста Эмпирика. Но вот состояние его столь ухудшилось, что он даже не в силах был следить за колесными пароходами там, далеко на озере, и целыми днями лежал с закрытыми глазами и даже не отбивал больше время в старинный золоченый колокол, как он это так любил делать, приговаривая при этом вполголоса смешные и непонятные фразы. Особенно он любил отбивать полдень и говорил, что это самая счастливая минута его дня. Он делал это очень медленно, закрывая глаза после каждого удара, ибо верил, что в полдень мир становится совершенным и близок уже к исчезновению.

К этому времени относится следующий рассказ Терезы. На раскаленном закате подозвал он ее, задремавшую в кресле, и, вынув из-под подушки револьвер, усталым жестом протянул ей.

— Я, кажется, начинаю заниматься глупостями, Тереза, — сказал он, — подземельями и магией... Не хорошо человеку переживать золотой свой час. Мир уже был совершенным вокруг меня. И жаждет душа

моя из музыки прочь. Вы христианка, Тереза, освободите меня, пожалейте мои лучшие дни.

Затем он вложил ей в руку браунинг и взвел предохранитель; и может быть, только судьба спасла его на этот раз, ибо первый порыв ветра налетающей грозы вдруг захлопал всеми дверями и тентами, и в туче пыли жалобно задрезжало и посыпалось разбитое стекло. Вдруг очнувшись от пагубного очарования, Тереза с отвращением, как змею, бросила браунинг на пол, и он, по странной случайности, выстрелил два раза, ударившись о камень и подпрыгивая, как живой. Тотчас же в комнату вломился Зевс, тоже дремавший в соседней столовой, высоко задрав свои башмаки, сорок седьмой номер, на подоконник.

Он, как маленькую собаку, поднял Терезу на руки и, дико озираясь, вынес ее в столовую как раз в то время, как я успел, всклокоченный, прибежать из своей комнаты. И, очевидно, предполагая, что я как-то замешан в происшествии, он своей огромной ладонью сгреб меня за отвороты куртки, рубашку и галстук и незаметно для себя сотрясал меня с такой силой, что я буквально плясал в воздухе, крича и вопрошая. Но что знал я? Тогда он бросил меня в кресло и, потрясая кулаками, заревел:

— Изверги! До убийства дошли со своею мистикой! Допрыгались, притворщики, ах, будьте вы прокляты! — И он одним взмахом смел с каминного монументальные часы и четыре подсвечника. — Уйду я от вас! Насилуйте, убивайте здесь друг друга!

И действительно, он с силой распахнул стеклянную дверь на веранду, но еще раз случилось нечто необычайное. Вдруг безумным светом вспыхнуло все кругом, и прямо перед балконом молния с грохотом ударила в белую мачту для флага. Зевс попятился и инстинктивно закрыл окно. Он прислонился к нему спиной и ошалелым взором осмотрелся кругом. Как будто тысячу дьяволов рвали в комнату и напирали на дверь. И он один своею монументальной спиной загорживал им доступ.

ГЛАВА XIII

Le Léviathan s'avancait vers nous avec tout
l'empotement d'une spirituelle existence.

*William Blake*¹



Какое счастье проснуться в летний день, когда из-за спущенных штор сквозь щелки и щелочки проникают горячие солнечные лучи, горят радугой в пыльном гранении стакана для мытья зубов, зайчиками повторяются на потолке. Как легко тогда спрыгнуть с мокрой от пота постели, с которой душною ночью смяты и сброшены простыни, и, мягко ступая по нагретому паркету, раскрыть, распахнуть окно. Внизу, прямо за подоконником, покрытые пылью магнолии и длинные гряды роз осыпаются в неподвижном воздухе. Дальше иссохший фонтан, где мраморный Меркурий с отбитой рукою и голубем на голове неподвижно смотрит в серо-солнечный безбрежный горизонт, где в этот час нелегко отличить, где кончается вода и где начинается небо. Прибрежные горы кажутся облаками, облака — снеговыми горами, до того солнечной пылью насыщен воздух.

А там, налево, замковый сад вдруг обрывается, чтобы вновь продолжиться огородами за расщелиной улицы, куда не достигает солнце и откуда несется легкое цоканье неподкованных копыт, одинокий голос, лукавый смех. Улица круто спускается к озеру, она непроезжая, и в конце ее прямо на мостовую среди пробок и мусора вытащены пахучие рыбачьи лодки.

Как хорошо на солнце бесконечно долго чесать голову, грудь или промежности и, не сходя с места, мочиться прямо на кусты под окном.

¹ Левиафан шел на нас со всем неистовством своей духовной природы.
Уильям Блейк (фр.).

Так именно, ни о чем не думая, я стоял, освобожденный на миг от своего бытия солнечною и водяною далью, когда, вернувшись за чем-то в свою комнату, я засмотрелся на колесный пароход, который, тормозя колесами, шумно пенил воду. И вдруг из щели улицы донеслось высокое, хрипловатое, но чистое латинское пение. Там, окруженный детьми и стоя у стены, бродяга пел о Пречистой Деве.

Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius...¹

Бродяга пел высоко и усердно, закрыв глаза и покачивая головою, а потом изменил мотив и, низко склонив ее, запел «Реквием» Моцарта:

Lacrimosa... Miserere.
Requiem, requiem Dei...²

Пропел и опять, покачивая головой и помахивая руками, замолчал. Наконец, вдруг, опираясь о стену, сполз на землю и, сев на нее, опять заголосил:

Lacrimosa!³

Явно он был юродивый, но когда-то знал и лучшую участь, ибо слишком чисто пел и красиво произносил. И, преисполнившись вдруг странной жалости к нему, молодому, но грязному, одетому в невероятно разорванную рясу, я выпрыгнул в окно на клумбу и оттуда по лесенке вниз на улицу.

Бродяга продолжал сидеть у стены, дергаясь как-то немного, и, услышав мои шаги, протянул, не гля-

¹ Стояла скорбящая Божья Матерь,
Обливаясь слезами, у креста,
А тем временем Сын висел... (лат.)

² Обливаясь слезами... Жалкая.
Дай Бог покой вечный, вечный покой (лат.).

³ Обливаясь слезами! (лат.)

дя, железную кружку, сделанную из консервной банки, и сказал на чистом французском языке:

— Pitié pour le fou¹.

Вместо денег, которых у меня не было, я спросил:

— Вы француз?

— Нет, я из промежуточного мира.

— Как вы говорите?

— Я не говорю.

Сказав это, он встал и, покачиваясь, торжественно запел:

Jésus s'en va en terre
 Mironton, Mironton, Mirontaine
 Jésus s'en va en bière
 Dieu sait quand il revivra...²

— Послушайте, — сказал я ему, смутившись, — зайдите к нам, мы здесь в гостях, — указал я на замок.

— Мы посидим на кухне.

Сумасшедший, начавший было отдаляться, остановился и, как будто перестав притворяться, сказал:

— Ну что же, пойдем, посидим в кухне.

И, идя за мной, повторил еще раз:

— Ну что ж, посидим, посидим в кухне.

Вход в кухню был через маленькую дверь немного подалее. Войдя в полумрак, мы увидели Зевса в фартуке, совещающимся с поваром. Они были друзьями; ругаясь каждый на своем языке и часто чеша бороды, играли в тени в трик-трак. Зевс любил этого старика-повара и изумлял его своими кулинарными талантами.

Увидев человека в рясе, Зевс густо захохотал:

— Ты где это Божьего человека выкопал, да он, поди, и не жрет ничего поганского. — Но видя, что

¹ — Пожалейте сумасшедшего (*фр.*).

² Иисус идет под землю,

Тра-та, та-та, та-та!

Иисус ложится в гроб,

Бог весть, когда воскреснет... (*фр.*)

странник уже жует подобранную с пола сырую морковь, наставительно прибавил:

— Ишь, харчит братишка... Ну, погоди, сейчас пойду скажу, чтобы шли жрать. — И Зевс, не снимая фартука, пошел за своим другом Авероэсом.

Странник за обедом, который происходил в кухне, подземной, сводчатой и прохладной, слабо освещенной стрелчатыми окошками, ел все без разбору и молчал, не отвечая на вопросы. Он, казалось, спал за едой и только иногда принимался напевать что-то, махая в воздухе руками. Все мы следили за ним. Безобразов, который ел мало, с невежливостью размышляющих смотрел на него, не отрываясь, и, казалось, именно из-за него странник закатывал глаза. Зевс, заметив это, неодобрительно кряхтел и, наконец не выдержав, недовольно спросил:

— Ты что уставился на него, змея рогатая?

Тогда Безобразов, видимо, глубоко отсутствуя, перевел взгляд на Зевса, не видя, в упор посмотрел на него и опять, уже забыв сказанное, погрузился в рассматривание нового человека; потом вдруг он сказал по-русски Зевсу:

— А ты его спроси, зачем он?

Но странник, привыкший притворяться и зубоскалить и, видимо, проникшись расположением к Зевсу, вдруг как-то странно запел:

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Радуйтесь, радуйтесь!

И опять замолчал.

— Да ты кто таков? — грозно насупившись, спросил его Зевс, вдруг сделавшись серьезным.

Монах не отвечал, видимо, не понял. Поев, он почувствовал усталость, начал дремать и вдруг, соскользнув на пол, заснул подле, свернувшись на половике.

— Пушай спит, — сказал Зевс, — ты его на кровать не тащи, ему так способнее, только глядите, чтобы его собаки не обоссали.

Вечером Зевс собственноручно выкупал монаха в фонтане, к чему тот отнесся совершенно безучастно, матерински остриг его и побрил, крепко держа за нос, как огромная нянька, ибо, видимо, с самого его появления считал Божьего человека как бы своею собственностью.

Мыля ему голову, он наставительно приговаривал:

— Крепись, монах, стой, монах, твердо, терпи, монах. У нас монах — лесоруб, пчеловод-монах, дегтярник, а вы — народ несерьезный.

Вымытый и выбритый, но все полуспящий, голый монах сох на солнце. Он был не волосат, черен от загара, но красиво и слабо сложен. К телу своему он относился настолько равнодушно, что, если рука его или нога случайно занимали неудобное или нелепое положение, он очень долго не догадывался его изменить. На вопросы он по-прежнему не отвечал. Однако Зевса каждый раз приветствовал не то кудахтаньем, не то лаем, дрыгая слегка ногою, и опять казалось, что он притворяется.

Оставив его, как ребенка, на дворике, Зевс невозмутимо продолжал свою ежедневную работу: пилил дрова, чистил картошку, окапывал и поливал из шланга цветы. Этот добрый и недостижимый простой человек, как медведь в снегу, чувствовал себя на солнце. Сельский житель, он не страдал от своего полнокровия. Копал, колол, таскал что-то целыми днями, и все мы, путаясь в своих отношениях, проще и теплее всего любили его. Тереза с высшей благодарностью какой-то постоянно, Безобразов, всегда охотнее всего с ним разговаривая и даже вызывая его на разговоры, чего никогда ни с кем не делал, я же — чувствуя подле него какую-то абсолютную безопасность. Время от времени Зевс менял положение, любовно поливая каждую ветку, каждый цветок.

Солнце было то же, оно все еще пекло, и вдруг из низкой двери кухни на гравий дворика вышла Тереза. Долго странник не замечал ее, тоже стоявшую не-

подвижно и остановившимся взором пристально глядящую на него, голого, перепоясанного лишь полотенцем, как евангельский рыбак, и вдруг он приоткрыл глаза, расширил их до нормального, перешел нормальное, выкатил до ненормального, перешел и этот предел и, как бы сорванный с места постороннею силою, поднял руки и, глухо ревя что-то, бросился на колени. И в то же мгновение, вместо того чтобы испугаться и отпрянуть, обливаясь слезами и ломая руки, Тереза опустилась на колени перед ним, и оба они, обнявшись, заплакали, как малые дети.

— Роберт, Роберт, что они с тобой сделали! — твердила она.

— Матерь Небесная, ты снова со мною! — бормотал он.

ДНЕВНИК ТЕРЕЗЫ

1 июня. Я так одинока среди тех, кому я не могу помочь, и тех, кто не хотят моей помощи, что, найдя эту выцветшую чистую тетрадь в библиотеке, я буду в ней что-нибудь писать. С пером в руках как-то сразу стареешь, как будто все уже случилось давно. Утром опять разбирали библиотеку, устали, перемазались пылью. Вытащили много рукописей и рукописных книг из ящиков. На грудах их погрузились в бесцельное рассматриванье. Как жалко все эти книги, как будто какую-то обязанность чувствуешь относительно тех, кто их писал. И хотя их и невозможно прочесть (я читаю одну книгу в полгода), хорошо уже их держать в чистоте, о теле их заботиться, смотреть на них. Как красивы они на полках, освещенные вечерним отблеском. Ведь это уже что-то — смотреть на них часто из кресла, раскрывать иногда и читать страницу.

Но еще больше самих книг я люблю отметины на полях: сколько в них жизни, смысла, соучастия. Сегодня было жарко. Никто почти ничего не ел, кроме Тихона Ивановича. Вечером лежала на террасе и слу-

шала пианолу. Все как-то уж очень хорошо здесь, и это не к добру.

6 июня. Все что-нибудь делают, и Тихон Иванович больше всех. А. раскапывает что-то в подвале. Аверозэ читает, только я и Васенька ничего не делаем, все смотрим куда-то, он жалуется, а я молчу. Как щемит сердце от этой духоты, кажется, все сообщается, все растворено в ней — и стадо, пылящее по дальней балке, и шум потока, и запах гниющих растений. Сегодня готовила лимонное желе, шутила с Тихоном. Какой он большой и добрый! Я только, кажется, тогда и счастлива, когда я с ним. А он так хорошо, презрительно-добродушно, со мной говорит:

— Хворая вы, и не жилица на свете.

— Что, разве помру скоро, Тихон Иванович?

— Нет, зачем? Нет. Сердце у вас хворое, как у кликуши. Вам заботиться надоть. Вот пироги, желе делать. Вы — горе-молчальница; смейтесь, балуйте больше. Вам и так все и без молитвы отпустится.

Это он мне раз только сказал. Он степенен, и горд, и аристократичен, как все дикари. Словом-рублем подарит. И почему это сильные слабых жалеют? С ним только и разговариваю. С Васенькой слова сказать не могу. Он того и гляди заплачет, и не о том все он, вернее, слишком о том, ему словом не поможешь.

21 июня. Были в горах, смотрели пещеры и родники. Жизнь бы сидела у родника и слушала. Тихон Иванович любит лес, а Васенька остался внизу, он совсем не переносит жары. А.Б. пошел купаться.

Ночью было страшно душно. Был гром без дождя. Было страшно даже. Поднявшись в библиотеку, я нашла А. и Аверозэ. Электричество было потушено, и они при свечах раскладывали свои карты. Там я сидела и заснула в кресле. Видела сон. Ходила по замку, кого-то искала и никого не находила. Вдруг сделалась ночь, повсюду загорелся свет, и по-прежнему никого не было. Только хлопали двери. Тогда я поняла, что все уехали. Что случилось что-то непоправимое, что я опоздала; и вдруг, открывши одну дверь, я

чуть не умерла во сне. Там в комнате опять было это дерево, огромное дерево с человеческими сучьями.

Четверг, 2 июля. Так я живу, каждый день с утра решаю работать, наконец работать, сегодня работать. Молюсь, умываюсь, схожу вниз. Да! Сегодня! Переводить Иоанна Испанского на русский язык, написать письмо маме, зашить Васеньке рубашки. И вдруг опять А., пианола и вальс из «Веселой вдовы». И все добрые решения тотчас покидают меня. Мне становится вдруг так плохо, так грустно или как-то вообще никак становится. Тем временем время идет. Неубранная посуда на запятнанной скатерти становится тяжелой, как железо, и нет сил жить. Так я сижу, сижу, слушаю в неудобном положении, не в силах двинуться, не в силах стряхнуть с себя что-то, пока Тихон И. не приходит со своими удочками, грустно смотрит на меня, кричит, убирает, подметает, собирает обедать. Что было бы, если его не было бы? Мы бы, вероятно, не ели неделю ничего, кроме абрикосов. Но разве могло быть по-другому?

Среда. И почему это в то время, как жизнь моя уходит, как газ из проколотого воздушного шара, он все выше поднимается в воздух? Когда-то я молилась, мучилась, не спала ночей, и свету было ровно столько, чтобы не умереть. Нынче я почти не молюсь больше, встаю поздно, ничего не читаю, и вдруг без всякого повода становится так хорошо, что неизвестно, как перестать плакать, и всюду — в саду, на террасе и во время обеда. Как я тогда обожглась супом, это было тоже поэтому. И Васенька опять понял, и мне было сумрачно оттого, что он понял. Зачем он меня так любит? Ведь то, что я могу, совсем земное или совсем иное, ему ни к чему. А полюбить его? Разве я могу еще полюбить, когда уже я так люблю. Он добрый, слабый, и ему я нужна, а А. не нужна вовсе. И почему я так преданна ему, так долго уже и с таким страхом; от чего остеречь, чему научить хочу его? Разве его можно научить, разве камень, облако можно научить, а он так же совершенен и невиновен в своем зле, как

камень и облако. Давеча во сне я еще видела, что волосы его уже горят и что все лицо его почернело. Боже! Боже! И почему мы не встретились раньше, когда он был еще человечески слаб и несчастен, ведь он был таким! И еще не принял холодных и ярких дьявольских своих утешений.

Сегодня я спускалась с ним в подземелье. Там в одной комнате есть два пустых каменных гроба. Так бы лежать с ним рядом и ждать Страшного Суда. Ведь души только после Страшного Суда воскреснут, то есть тела, не знаю уж как. Года и года, сложив руки на груди, лежать с ним рядом. Я сказала ему, а он мне:

— Я хотел бы, чтобы меня сожгли.

10 июля. Жизнь бессмысленна и пуста, когда она осмысленна и занята, заполнена. Когда она пуста, среди угрызений совести, скуки и грязной посуды что-то яснее понятно и видимее то, что невидимо за смыслом. Так оно и случается, и тогда плачешь, плачешь. Нехорошо, может быть, что я так люблю плакать, но это единственное земное утешение, которое и Иисус не отвергал.

11 июля. Как странно. Я никого не любила еще и не ждала, однако мне все кажется, что Царство Небесное — это после долгого ожидания под дождем увидеть вдруг быстро идущего любимого человека. Ад же — вечно ждать и чувствовать, что делается все позднее и позднее и что он уже не может прийти, и, вместе с тем, не мочь сойти с места.

Но как странно: после Иисуса я сразу больше всего люблю дьявола. О, если бы он раскаялся, думаю я, он возвратился бы в небо со всеми тайнами преображенного горя и стыда; и не слишком ли благополучны ангелы.

Я читала где-то, что Рай — это продолженное в бесконечность разрешение чувственного соития. Когда уже ничего не помнят и ничего не страшно. Но я думаю, что это не так, ибо разве можно, не умирая, больше радоваться, чем когда после долгого ожидания видишь, наконец, того, кого любишь, или берешь его за руку: это сразу самая высокая нота, и нет сил для большего.

15 июля. Прижать к своему сердцу Иисуса великое счастье, но прижать к сердцу Люцифера еще прекраснее, ибо Люцифер глубже страдает и обречен огню. Не святого, а изгнанного и падшего любишь. Искупить Люцифера, вот что хотела бы я, если бы была Марией. И вот я помрачаюсь от этой надежды и от слабости своей. Ледяную гору слабою грудью не растопишь, а только обледенеешь, умрешь.

Да, я люблю Люцифера, однако это не беспокойный демон, ищущий злого дела; так, может быть, преступив и пострадав, он понял бы Иисуса, как разбойник. Нет! Он — само зрение, и он видит Иисуса, но зачем ему лучшая из жизней, когда он вообще никакой жизни не ценит. Он хочет непоколебимости и покоя. Белый день. Надо идти обедать.

18 июля. Пришел Роберт, голый, безумный, покрытый ссадинами. Боже, спаси и сохрани!

Вторник. Боже, что хочешь ты от нас и о чем молиться Тебе? Нет, ни чистотой, ни силой, ни светом нельзя заслужить Тебя.

— У вас есть сила и свет. К чему вам Я?

Только нищетою. Значит, и любовью нельзя. Ибо что сделать, что дать, что сказать Тебе, любя? Умыть и накормить? Но среди обилия и услад умирают от сухости сердца. Так жизнь без любви не жизнь, а любя, новая мука: бессилие помочь. Пожалеть? Но сердце жалеет за самую жизнь, и тот, кто, не замечая страдания и унижения, жил, вдруг через жалость Твою понимает, и жизнь становится ему невыносимой. Жалость. Жалость. Простить Тебе этот мир, не осудить Тебя за него. Ибо Ты вложил нам в сердце всех утешить и утолить, но что не горечь в мире, кроме Тебя, кто может дать Тебя, кроме Тебя и священника? Я ниша, и тайны Твои слишком глубоки для меня, и как часто я завидую ангелам, которые ни в чем не сомневаются, ничего не знают и вечно тают, как воск на солнце, как голос в хоре.

21 июля. Он быстро поправляется внешне, но глу-

боко и тяжело болен. Он притворяется, что он выздоровел, но я знаю, что безумие его уходит вглубь и становится еще опаснее. Он одевается, бреется, душится даже, но улыбка и голос совершенно деревянны и страшны. Может быть, уехать? Но нет сил. И так ждешь чего-то и чувствуешь постоянно, как он следит за тобою. Боишься чего? Не смерти ли? Нет, конечно. Но есть страхи более необъяснимые, более едкие, чем страх смерти. Это страх непоправимого греха, нестерпимой вины и ответственности.

Атмосфера в доме теперь сразу переменялась. Все поняли, но все стараются показать, что ничего не замечают, и от этого напряжение только увеличивается. Ибо Роберт только раз испугался, смирился и заплакал тогда на дворе, и опять болезнь охватила его с еще большей силой. Он замкнулся в себе, похолодел и весь превратился в зрение и слух.

Страшные красные закаты, бесконечные и душные, мучают меня. Пот льется и сердце стучит, ожидая чего-то непоправимого, что должно случиться, что должно случиться очень скоро, и уже хочется, чтобы случилось скорее. Присутствие Роберта тяготит нас, ни смеха, ни разговоров, но все сразу поняли, что я должна ему, что он имеет право, что это расплата.

Каждый день он и А.Б. спускаются в подземелье, и только тогда я отдыхаю, но уже новые страхи мучают меня.

Понедельник утром. Дождь идет, и я вспоминаю, что он говорил. Он был откровенен и, видимо, рад объясниться со мною. Однако это в самом начале. К концу же Безобразовщина, ледяная и торжествующая, опять победила, и мне стало так плохо, что буквально задыхалась и даже не могла плакать. Ночью кровь горлом. Должно быть, от волнения.

— Вы говорите, надо было давно объясниться? Но разве вы в чем-нибудь сомневаетесь? Я... ни в чем! *J'ai accepté la situation. Je l'ai subie, et c'est tout*¹. Юно-

¹ Я принял ситуацию. Я подчинился ей, вот и всё (фр.).

ша этот привязался ко мне, потому что главная мука его — страх. Я же не боюсь ничего, ибо не жду ничего особенного. Я всем доволен, мне все нравится. Но от страха живут, а освободившись, вешаются. Но вы, что занимает вас во мне? Я даже не негодяй и вовсе не мечтатель. Я просто зритель. Я легко думаю о вещах и мало о самом себе, и мне это не стоит никакого усилия. Это у меня рождается совершенно непроизвольно. Я зритель своего мышления. Мне трудно вам объяснить... В разуме мало личной жизни.

— Я знаю, вам всегда было больно от меня и оттого, что я ничего не хочу. Но я счастлив по-своему. Есть столько глубоких людей и книг в мире, но какое мне до них дело! Они мне не нужны. Жалеть же их ни к чему, ибо невозможно помочь и нужно, скорее, учить их обходиться без жалости, быть непоколебимыми. Мир суров и прекрасен для зрителя. Но едва забудешься и пожалеешь его, он становится невыносим. Вы заметили, вероятно, что я ничего не читаю и даже не думаю, ибо вслед за жадной жизни скоро угасает и жажда знания. Покой и добродушие воцаряются, но я был очень несчастлив в детстве. И что тоже со мной бывает: я часто как-то вовсе отсутствую, будто засыпаю наяву. Этому можно даже научиться, если очень долго стараться ни о чем не думать, фиксируя какую-нибудь точку. Тогда с открытыми глазами я освобождаюсь от себя. И вся жизнь освобождается от себя во мне, и если бы я умер в этот момент, я даже бы и не заметил. Когда я вас жалею, мне хочется и вас научить тому же, но это значило бы вас убить, то есть уничтожить в вас то постоянное болезненное внимание, почти отчаянье за всех окружающих, и хотя я счастлив по-своему, больше всего вам больно за меня. Поймите же! Все для меня уже было, было; в едином логическом заключении скрыта до конца вся космическая диалектика, в единой капле любви все тайны любви, но я знаю умом, что в любви тайны ее — ничто. В любви сама любовь нужна. Да! Любовь — самое сладкое и возвышенное бытие, но она все-таки бытие и жажда.

— Что до Зевса, этот талантливый мужик тоже не замечает боли, он, как фресковый персонаж, никогда не принимает ее всерьез. А юноша этот, сделайте для него что-нибудь! Собственно, есть такие души, чем выше они, тем ближе к людям, всех их несут в сердце. Я же, наоборот, сколько бы я ни хотел в свои высокие минуты, я никого не помню, потому что уже давно не помню и себя. Это как, скучая в пустой вечер, зайдешь в кинематограф, но свет загорится — и где все тени?

— Вот вы все чего-то ждете от меня и как будто сидите вокруг черного ящика и все ждете, что что-то из него вырвется и раскроется, но ящик сей сделан из цельного дерева и вообще не имеет человеческого содержания, как не имеет и человеческой пустоты.

— Я думаю, что нам именно не надо объясняться. Ведь вы всегда видели меня насквозь, и я вас, и вообще каждый человек видит все мироздание насквозь, во всяком случае, во всем, что его касается, и если бы люди не уставали на десятый час разговора, все тайны Бога и мира были бы раскрыты.

— Но к чему это? Помню, я читал где-то у араба Альгазеля, что раз, выходя из ворот какого-то города, Иисус увидел человека, который спал на земле, завернувшись в плащ. Разбудив его, Иисус: «Что ты спишь и не думаешь о царстве небесном?» А тот ему: «Не беспокой меня, я давно уже умер и к этой жизни, и к райской». И сказал Иисус ему: «Тогда спи, спи, мой друг».

4 августа. Что Ты хочешь от нас, Господи? Ни любовь, ни вера Тебе не угодна, ибо те, кто имеют хоть какие-то ни было утешения, далеки от Тебя. Только нищета наша, только смерть наша может Тебя принять.

Да, так... так и будет А.Б. до конца дней таиться и немолчать, и никогда эта страшная сила не вернется к жизни, не просветит, не организует окружающего, никого не научит, не объяснит страдания, страха, бессмыслицы смерти.

Да, вероятно, так и надобно, ибо вот что он сделал с нами, а мы жили, любили, боялись, надеялись. «Блаженны нищие духом». Пораженная таинственным новым смыслом, который вдруг забрезжил над темнотой этой фразы, к концу разговора я вдруг перестала думать и притворилась спящей, и слезы скоро пришли мне на помощь.

Боже мой, Боже мой, соедини меня с самым темным, с самым страшным в мире, сломай, унизь и оставь. Но в последний час просквози в моем сердце тихим дыханием нездешней кротости, ибо то, что готовится, неизбежно настанет, но если бы знать, что готовится и кто готовит.

Роберт стал так сознателен, чист и любезен, слишком любезен, может быть, он все смеется и скалит зубы с А. Б., веселя его латинской своей чертовщиной, и каждый день после обеда они спускаются под землю. Как бы не случилось бы именно там чего-нибудь недоброго.

С тех пор как Роберт остался жить с нами, никто не спрашивал Терезу о нем, но все поняли, что это так нужно. Тереза ухаживала за ним и кормила с рук. Но он, казалось, опять погрузился в свое шутовское оцепенение и как бы не узнавал ее больше, все напевая что-то с закрытыми глазами, бормоча и вдруг выкрикивая невнятно, но громко какое-то слово. Жизнь его была еще беспорядочнее нашей. В любой час дня и в любом месте он попадался нам спящим в любом положении: в саду, на карнизе, в садовом фонтане, на большом обеденном столе. Он ни с кем не здоровался, никого не слушал, не вмешивался ни в какие разговоры. Но все же какая-то неуловимая деланность была во всех жестах, и по временам мне казалось, что он совершенно нормален и просто притворяется. Затем он принялся за книги Аверроэса, он читал их целыми днями, а ночью рассматривал звезды в громоздкий медный телескоп устарелой конструкции или расклады-

вал бесконечные пасьянсы. Ночью он ходил по коридорам, длинным и узким, не то страдая лунатизмом, не то просто любя лунный свет. Открывал окна и, шутя, подолгу стоял перед дверями комнат, тихо водя рукавом по дереву. Но это мучительство ему пришлось оставить после того, как я несколько раз разбудил весь дом, гоняясь за ним по лестницам.

Но Безобразов, казалось, полюбил его. Они вместе раскладывали карты Таро и, видимо, интересовались друг другом. Вместе, совершенно не разговаривая, катались на лодке и купались с нее, далеко отъехав от берега. Вскоре Роберт подстригся, стал открывать глаза, оделся в приличное платье.

Но он все-таки странно себя вел, на мой взгляд. Он появлялся вдруг из-за угла и тотчас же пропадал куда-то, стоял под окнами и неслышно ходил в фетровых туфлях. Мне было совершенно ясно, что он следит за кем-то, выжидает, старается понять. И действительно, он следил за Терезой, хотя почти не говорил с ней и всячески старался это скрыть. Но что хотел он узнать и почему безумие его переменяло направление, сосредоточилось на одном и он приобрел внешнее благообразие? Кто мы, окружающие ее, хотел он знать, и сразу, или очень скоро, он понял и отстранил из своих подозрений меня, Зевса и Аверозса. И все же он ничего так и не понял бы, настолько внешне безразлично держали себя Аполлон Безобразов и Тереза, если бы не завладел, украв, «Подражанием Христу», принадлежавшим Терезе, покрытым ее замечаниями на полях, а затем и дневник Терезы, которая ничего не умела прятать.

Тереза даже не искала пропавшего, она тоже тотчас же все поняла и вдруг сделалась мрачнее ночи. И только Аполлон Безобразов ничего по-прежнему не замечал.

Атмосфера в замке быстро менялась к худшему, но чем больше нарастала необходимость увезти Роберта куда-нибудь, тем больше привязывался к нему Безобразов и был с ним неразлучен, показывая этим

свойственную ему удивительную нечувствительность в человеческих отношениях — настолько он мало интересовался ими, не придавая им никакого значения.

Действительно, казалось, Аполлон Безобразов нарочно искал случая расплатиться и развязать все. Каждый день они опускались под землю. Они утвердили несколько сот свай и деревянных распорок, вытащили и вынесли руками сотни камней и корзин с землею, собрали множество костей, гробов и оружия. Они трудились, как чернорабочие, и иногда даже ели под землею, проводя свет, укрепляя и расчищая. Вечером же на большом столе они тщательно вычерчивали план погребов и галерей: некоторые до пяти раз заворачивали в глубине земли. Шутили и хлопали друга друга по спине. Казалось, они очень довольны друг другом, и, действительно, Безобразов был доволен, а Роберт очень доволен тем, что Безобразов доволен и вполне ему доверяется.

Душная летняя ночь царит над сгоревшими пыльными садами. Ущербный месяц низко висит над горизонтом и кажется совсем близким. Роберт на башне вопрошает судьбу. Тяжелый старый телескоп, как медное орудие, задран к чернильному небу. Все молчит вокруг, все как бы притаилось, и ни одна ночная птица не подает голоса. Тусклые желтые лучи медленно поднимаются из-под земли и как бы нехотя освещают нижний край месяца. Все подавлено нестерпимым летним изнеможением.

Обливаясь потом, худой и всклокоченный, совершенно голый, Роберт, шепча что-то, танцует на каменной площадке. Потанцевав, нагибается, несколько секунд смотрит в тусклый окуляр и опять, делая странные жесты, скачет, высоко подкидывая детородные органы. То, судорожно двигая пальцами, он делает какие-то пассы по сторонам, то, остановившись неподвижно и слегка присев, он медленно поднимает над собою худые голые руки и вслед за ни-

ми и сам поднимается, вытянувшись, став на цыпочки; он как будто старается достать что-то, висящее над ним, резко подпрыгивает, и опять возобновляется скачка.

Время идет, месяц скрывается за горою. Долго лежа на острой вершине, Роберт в диком напряжении продолжает танцевать и бормотать. Несколько раз он уже падал в изнеможении, но, полежав, опять вставал и продолжал корчиться. Он будет танцевать, пока не умрет, пока не скажет ему Бог, может ли он наказать Безобразова. Теперь он опять стоит неподвижно с поднятыми руками, в точности похож на мокрое белое дерево. Вот он опять склоняется к окуляру, и когда он устает смотреть в телескоп, высоко задрав зад и как-то протрезвев немного, резко поворачивается; навстречу ему над озером вспыхивает вдруг ослепительная белая огненная полоса. Одно мгновение он застывает, ослепленный метеором, и вдруг падает ничком на камень.

Теперь он будет лежать и биться среди пены, потом затихнет. На рассвете встанет, весь дрожа от слабости. Утирая кровь и озираясь, оденется, спустится вниз, спрячется в ванной. Теперь нужно быть спокойным и осмотрительным и собрать всю свою силу, ибо Бог осудил Безобразова и Роберта призвал к отпущению.

А в доме день встает. Зевс уже проснулся на своем тюфячке под кустами орешника и слушает пение птиц и рев петухов, вспоминая свою дремучую лесную вотчину. В кухне зашевелился повар и, насвистывая, растапливает печку, и под гудение первого парохода Тереза уже поднялась с постели и встала на молитву.

ГЛАВА XIV

La mélancolie de l'homme serpent.

Jules Laforgue¹

В тот день Тереза, по-
молясь, незаметно уснула, встала поздно и еще
дольше молилась. Страшный сон приснился ей
ночью. Ей снилось, что она сквозь страшный дождь
ведома ангелом по горной дороге. Они оба спешат и
путаются, и молния часто преграждает им путь. Они
поднимаются в гору и скоро выходят на широкую
возвышенность. Тогда дождь прекращается, и только
мокрая трава путается в ногах. Наконец, и трава пре-
кращается, и они останавливаются.

Страшная тишина окружает их, они как будто
ждут чего-то, и Тереза знает, что они ждут взоше-
ствия месяца. Глухо, медленно озаряются соседние
острые вершины, и из-за них показывается непра-
вильной формы низкая темно-желтая луна. И вдруг
она ясно почувствовала, что ей не следует пово-
рачиваться и смотреть перед собою, ибо она увидит
нечто, что не следует видеть, нечто стыдно ужасное,
и что все это сон, и что лучше, может быть, тотчас же
проснуться. Но медленно она повернулась и сначала
вовсе ничего не увидела на низкой и голой равнине.
И вдруг...

Прямо перед нею стояло не очень большое дерево
и, о, отвращение, несмотря на полное отсутствие
ветра, казалось ураганом склоненное по направле-
нию к луне; но что было еще ужаснее: оно, как увя-
зающий в песке человек с вытянутыми к небу руками
или как невиданное сборище змей, маленьких, оп-

¹ Тоска человека-змия. *Жюль Лафорг (фр.)*.

летших более больших, все в непрерывном движении, как бы корчилось на месте и не могло сойти с него. И так бесшумно, беззвучно под тусклыми лучами извивалось оно и тряслось, склонялось и вновь выпрямлялось на месте, и от напряжения кровь выступала на его ветвях. И голос сказал:

— Горе! Горе! Вот что стало с деревом жизни!

Щемящая жалость, смешанная с отвращением, сотрясала Терезу, в то время как дерево, как волосы, стоящие на голове умирающего, вдруг все повернулось к ней, отчаянно вытягиваясь в ее сторону, как будто звало и манило ее отчаянными жалкими жестами и корчами, и вновь кровь текла по нему и, казалось, кипела, ибо дерево сгорало от жажды и молило Терезу приблизиться.

И вот Тереза решилась. Сжав руки на груди, она сделала шаг вперед, и тотчас же, как тысяча горячих щупальцев, ветви обвились вокруг нее. Они жгли и душили ее, она теряла сознание, но не сопротивлялась.

Все изменилось вокруг нее, невыразимо животный ужас объял ее, и вновь страшная жалость и желание погибнуть, напоив собою и разделив боль, охватила ее. Теперь, казалось, она была проглочена и сдавлена, со всех сторон облеплена жирными поверхностями и мерно всасывалась, медленно опускалась, проваливалась куда-то все ниже и ниже.

Все было слабо озарено тусклым, как будто газовым, свечением и разделено перепонками, углублениями наподобие системы каналов с многочисленными поворотами. И вдруг Тереза поняла, что то, что она сперва принимала за сдавленные размытые тряпки или слои, было наполовину переваренными человеческими существами.

«Это желудок Адама», — пронеслось в ее голове. Раздавленные, смятые и разъеденные, но явственно еще живые и даже одетые люди текли равномерно, один, соединенный с другим, как смытый водой рисунок, скошенный и слезающий, или фотографичес-

кое изображение, не в фокусе снятое. У одного лицо было совершенно на боку, у другого одна нога была как будто нормальна, но зато другая была чудовищно вытянута и, как длинная черная макарона, длилась еще и за поворотом пути. И все это, смешанное, спутанное — и лица, и платья, какие-то даже мундиры и неправдоподобные короткие пальто, — ползло, равномерно движимое неторопливыми глотательными пульсациями слизистых стенок. И вместе с ним долго текла, ползла, влачилась и Тереза, которая часто теряла совсем сознание. Наконец, ей полегчало, и все наполнило чувство абсолютной слабости, вываренности и безволия. Теперь она была уже не в горячей массе, а в какой-то иной, не то летящей, не то скользящей среде, как бы проваливалась куда-то извне вовнутрь с тоскливым «чувством подъемной машины». Медленно Тереза достигала дна, ужасный нездешний холод охватывал ее, что-то абсолютно черное, немое и ледяное, не допускающее ни малейшего движения, не пропускающее ни звука, ни света; и страшное, невыразимое, нездешнее одиночество наполнило ее всю.

Так прошло очень много времени, как это ей показалось, годы и годы целые, полные невыразимой покинутости и отчаянья; опрокинутая навзничь, она не думала, не ждала, не жила и только потом поняла, что где-то здесь рядом — такие же, как она, попавшие сюда, растратившие последнюю доблесть и силу, также изжеванные, унесенные, вываренные и вкопанные в лед. Поздно, поздно! Тщетные сетования, поздние сожаления. Поздно, поздно! «Боже, буди милостив, не остави меня в старости, когда крепость моего ума помрачится». И вспомнив вдруг, как плакал всегда святой Фома при этих словах, сердце Терезы перевернулось, разорвалось, и, о чудо, слезы, разбив абсолютное оцепенение, полились из ее глаз.

Долго-долго плакала Тереза во сне, и вдруг она показалась себе как бы маленьким ключом, молчаливым, незаметным источником. А где-то там

внутри, далеко и близко, было синее небо, может быть, солнце, и кто-то, все время стоящий подле, но невидимый, спокойно-грустно сказал:

— Слезы есть единственная влага жизни.

И что-то вдруг переменялось вокруг, как будто успокоилось, легло поудобнее, забылось немного. И опять Зевс сказал:

— Поди, скоро и проснется, так и спит, не разувшись. Ноги натрудит.

Солнце сияло в широкой столовой. Зевс и Авероэс пили чай с блюдечка. Тереза поднялась с дивана.

С утра день был, как бумага, тяжел и страшно неподвижен. Все дышало медленнее, медленнее шел пароход, и лошадь зеленщика, останавливаясь, засыпала на месте. Книга падала из рук. Рука опускалась жалким и неживым жестом. И, несмотря на это, Тереза, борясь со сном, молилась в кресле, откинув голову и закрыв глаза. Трудно было напрягаться, сосредоточивать мысль, повторять слова. Часто она ловила себя на том, что думает совсем о другом или мгновенно видит целые сны. Даже Зевсу было тяжело работать и, окапывая какие-то гряды, с изумлением тыльной частью руки отирал он пот, а над ним сияло все то же дивное синее небо, клонящееся в безмятежную зеркальную гладь воды. Синяя вода смотрелась в небо, небо смотрелось в воду, и оба отражались одно в другом, и оба не видели себя в отражении, не смотрели никуда и не сознавали ничего. Высокое солнце пылало над каменными волнами гор, на небе ни облачка, на озере ни единой складки. Вдали верхняя голубизна сливалась с нижней, нижняя с верхней среди паров, и казалось, что мы внутри огромного лазурного шара без начала и конца.

И вот именно в такой день Аполлон Безобразов и Роберт, нечувствительные ни к солнцу, ни к усталости, отправились в давно обдуманную экспедицию к верхним пещерам, вырытым ледниками, за двадцать

верст от города, пятьдесят верст по горам. Оба надели тяжелые башмаки, альпийские мешки и короткие штаны. Задолго до рассвета, умывшись и напившись молока с медом, еще в пении соловьев, громко шурша по гравию, вышли в сад и у самой калитки встретили Терезу, которая, как Офелия, блуждала в полумраке, проснувшись в середине ночи и не смоги больше заснуть.

Она проводила их по дороге, сославшись на то, что хочет отнести письмо на почту, но по-настоящему от странной муки какой-то. Она все тщиалась задержать их, поила кофе со сбитыми сливками в станционном кафе, и все-таки по уже розовой улице под голубым небом она пошла назад, а они в гору, скрипя гвоздями в рассветной тишине.

Сперва шли среди дач и отелей, где еще подметали и чистили медь, затем, уже в первых лучах восходящего солнца, вошли в виноградники и уже до самой полдневной жары поднимались посреди них.

Иногда над дорогой свешивалось фиговое дерево, осыпались грозди глициний, и бежал скудный ручей по специальному трубопроводу. Однако людей было мало.

В городе дорога шла петлями, почти на вершине подъема опять начинались санатории, и это за ними на лужайке среди разбитых тарелок они впервые остановились и принялись есть. Теперь все озеро было перед ними и казалось меньше; серо-голубое, оно было похоже на рисунок на карте, и несколько точек-пароходов ползло по нему, оставляя далеко за собою неподвижный след, более светлый или более темный, который еще долго оставался видимым, даже когда пароход уже вовсе скрывался из глаз. На кегельбане, над которым они сидели, глухо стучали шары, и гонг долгим звуком дребезжал в столовой отеля.

Отсель дорога становилась более дикой, ибо теперь нужно было спуститься в лог и опять начать подниматься. Они сперва шли по дороге, потом целиною через кусты, затем лесом, цепко растущим среди

скал. Их приходилось обходить и перелезать, и они, мокрые от пота, но неутомимые, прыгали с камня на камень, состязаясь в бесстрашии. Горы одна за другою повышались, и ландшафт становился грандиознее, ибо то, что снизу казалось самой вершиной, было лишь подножием следующего уступа, и в середине дня они настолько отделились от города, что озера уже вовсе не было видно между горами. Теперь они шли оврагом высохшего горного потока, скатывали камни за собою. Это вообще было приятно, особенно если камень был побольше и подъем крут. Тогда он долго подпрыгивал, увлекая за собою щебень и ломая кусты.

На голой круче Роберт шел медленнее, однако не жаловался, и нельзя было сказать, то ли сил у него было много, то ли за постоянной своей мрачно-иронической экзальтацией он не хотел замечать усталости.

На вершине опять между двух гор выглянуло озеро, оно было почти белым от солнца, и деревни на берегу не были видны, так все-таки далеко они уже зашли даже от следующей станции, где Роберт, шутя и вихляя задом, написал и послал открытку Терезе. И снова они отдохали, лениво говоря о жаре и об особенных снах, которые бывают во время нее.

— Снятся ли вам вообще сны? — спрашивал Безобразова Роберт.

— Да, снятся, и очень неприятные, только я всегда знаю во сне, что сплю, и, когда хочу, просыпаюсь. Вот вчера я видел такой сон. Будто я сижу в комнате, она пустая, но что-то в ней есть очень нехорошее, что-то должно случиться и выхода нет. Но я опускаю руку в карман, нащупываю что-то холодное и вытаскиваю маленький пейзаж в металлической рамке, изображающий вот такие горы; и не то я уменьшился, не то пейзажик сразу вырос, и я ушел в него, пользуясь прекрасной погодой.

— То есть вы хотите сказать, что вы вообще никогда не попадаетесь?

— Да, вероятно, если бы я был преступником, я бы никогда не попался.

Здесь Роберт ухмыльнулся и незаметно посмотрел на Безобразова, который с закрытыми глазами погружился в ощущение солнечного жара на своем лице. Ему что-то хотелось сказать злое, но он удержался, и с этой минуты и началось то странное, о котором, вспоминая случившееся, часто думал Безобразов. Но тогда он не удостоил ничего заметить, и просто в спортивном остервенении, казалось ему, Роберт спешил подняться все выше и выше, и уже он шел впереди, а Безобразов далеко внизу, так что они часто теряли друг друга из виду, и тогда за большим камнем Роберт бросался на колени и, часто и мелко крестясь и озираясь, клал земные поклоны, потом вскакивал, выглядывал из-за камня и раз лицом к лицу столкнулся с Безобразовым, который, заинтригованный, быстро наверстал расстояние, но, виду не подав, невозмутимо прошел мимо.

Наконец они достигли плоской вершины широкой полосы возвышенностей, которая у горизонта упиралась в снежный неприступный гребень, и остановились, окруженные треском кузнечиков и смолистым запахом трав, можжевельника и тысячелетника. Они были почти у цели, вернее, к цели теперь нужно было спускаться, ибо дальше плоская вершина вдруг обрывалась, и там, в стене огромного скалистого амфитеатра, и были подвешены вырытые ледниковой водой стоянки первобытного человека и начало каких-то глубоких нор и переходов внутри горы, осмотреть которые они и надеялись. Только спуск этот был вдесятеро труднее. Он был невозможен без толстой веревки, которой они и привязались друг к другу.

Сперва спускался один, а другой, упершись за камнем, держал веревку, затем веревку нужно было перекинуть за камень и, упираясь в почти отвесную стену, сползать, сдвоив ее. Затем они оба отдыхали на уступе и опять начинали спускаться.

Первый шаг по крутизне было легко сделать, вер-

нее, легко, шутливо храбрясь, было на него решиться, хотя сердце отчаянно ныло, и вся природа возмущалась против этого, но когда, уцепившись между небом и землей, они понимали, что, если не смогут спуститься до самого дна, им придется опять ползти вверх по эдакой круче, в области живота и паха у них делалась такая щемящая мука, что они дорого дали бы, чтобы все это было только сном, и проклинали молодеческую фальшь, толкнувшую их на все это. А внизу, четыреста метров под ними, рос столетний лес, и, протянувшись ниточкой по дороге, весь превращаясь в пену и хрустальную пыль, однообразно грохотал поток, непрерывный водяной фейерверк, не подчинившийся еще человеческому лукавству.

Все же, опираясь кое-где на кем-то вбитые железные скобы, Безобразов первый коснулся ногою покрытой цветущими кустами террасы, как будто нарисованной искусным архитектором, но отрезанной от вершины и от подножья горы головокружительной кручей. Сюда, все в один ряд, выходили доисторические норы, но в них уже было совсем темно, ибо солнце, заходя, желтыми яркими лучами заливало противоположный берег ущелья, резко вырезывая на нем каждый камень, каждое дерево. И сразу все страхи прошли, когда нужно было разводить костер, вспоминая старую бойскаутскую сноровку, печь картошку и отдыхать.

В тот вечер они слишком измучены были, чтобы что-нибудь осматривать, да и сумерки быстро сгущались. Противоположный отвес скоро сделался оранжевым, затем глинисто-красным, наконец, фиолетовым. Пламя костра стало ярче, и над ним, окруженные ореолами, во мгле загорелись летние звезды. Костер горел высоко, и дым прямым столбом, как над Авелем, поднимался над ними, и, несмотря на усталость, Безобразов долго не мог уснуть, ибо нелегко было улечься возбуждению опасности; и все же он забылся, широко разметавшись, и тогда, притворившийся спящим, Роберт встал, обошел

костер и, наклонившись, принялся рассматривать спящего.

Несмотря на усталость предыдущего дня, проснулся Безобразов рано. Солнце только что встало, и дно ущелья еще покрыто было туманом. Птицы пели отовсюду, отовсюду шумела вода, и, несмотря на рассветную прохладу, что-то говорило об исключительно жарком дне. Роберт еще спал, уткнувшись лицом во что-то, когда он обошел уже скалистый выступ и побывал в одной из пещер, где дивное зрелище открылось ему. Откуда-то, из какой-то щели, как из стрельчатого окна, проникал свет, и алебастровый свод, покрытый сосульками сталактитов, был озарен бледным зеленоватым светом, который бывает в погребках именно в солнечный день. Эту пещеру они осмотреть до конца не смогли, для этого нужны были веревочные лестницы, факелы и фонари, но почти целый день они провели под землей, и солнце уже было высоко, когда, доев остатнее, они начали собираться в обратный путь. По мере того как отход приближался, Роберт проявлял все большую нервность, он буквально не мог стоять на месте, дергался, шутил и пел, и более наблюдательный человек, чем Аполлон Безобразов, давно бы заметил неладное; но какое-то необъяснимое отсутствие, оцепенение напало на него. Несколько раз он как будто уже собирался сосредоточиться и понять, чего Роберт от него хочет, но не мог совершенно, и солнце уже клонилось на запад, когда, нехотя собрав свои немногочисленные вещи, они начали обвязываться веревками.

Несмотря на это, спуск начался, и на этот раз, казалось, ему не будет конца, настолько далеко внизу, как маленькие кустики, виднелись столетние сосны; и вот то, что давно должно было случиться, началось — терпению сумасшедшего пришел конец. Впоследствии Безобразов никак не мог вспомнить: случайно ли отвязалась веревка или сам он, сообразив недоброе, ослабил узел. Едва только они спустились пер-

вые тридцать метров и остановились передохнуть на маленьком скалистом носе, где нечего было и думать о сопротивлении, сахарно улыбаясь, безумный спросил его, не устал ли он спускаться на руках.

— Нет, — сказал Безобразов, — только ладони ободраны.

— Ну, они вам больше не будут нужны, — сказал вдруг Роберт.

— Почему?

— Я думаю, что у всякого дьявола должны быть крылья. Впрочем, не хотите ли вы исповедаться на дороге?

Аполлон Безобразов понял и молчал.

— Ну! — сказал Роберт.

— Ну, что там, к чему вспоминать! Было и прошло, прожил как-то, все это неважно, — наконец отозвался Безобразов. — Лучше вам исповедаться, ведь и вам здесь конец.

— Мне?! — обернулся Роберт, показывая себе пальцем в грудь. — Я уже три года, как умер, и живу в аду.

Внезапно расвирепев, он схватил веревку и резко потянул ее на себя, но что-то, помимо воли соображавшее в по-прежнему отсутствовавшем Безобразове, жестоко и безошибочно мгновенно заставило его ухватиться за веревку и, упершись, сопротивляться; и когда безумный с нечеловеческой силой припадка уцепился за нее, все то же «оно» в Безобразове, поняв, что будет побеждено, заставило его вдруг отпустить все; веревка, мигом обжегши его, вырвалась из-за пояса, и Роберт, широко всплеснув руками и дико взыв, повалился в пропасть.

Подавшись вперед, Безобразов еще успел увидеть, как, махая руками подобно неуклюжей бесперой птице, Роберт ударился еще раз о какой-то выступ и, не смоги ухватиться, перевернулся и исчез внизу. Долго еще без мысли, без страха, в каком-то оцепенении недоумения Безобразов смотрел вниз, потом сел на камень, вынул гребенку и машинально, не зная,

что делает, начал причесываться, лег наконец и, не плача, остался неподвижным.

Вот ты, Безобразов, и убил человека. Человек — ничто, человек помер, вот ты и убил. Человек — ничто, вот ты и сделал его ничем, и ты доволен? Зачем же ты сам удержался? Значит, ты все еще хочешь быть, а бытие ты ненавидишь. Каждая неудача есть вина. И ты сам виноват, что так нелепо должен будешь умереть на лоне природы, раньше, чем природа умерла в тебе. Ты всегда хотел быть победителем. Ну вот, ты и победил человека. Не оступился, не уступил, а победил. А теперь ты будешь сидеть над ним, как злая птица, могущая убить, не могущая создать и летать. И конечно, ты защищался, но не ты защищался, а «оно» в тебе защищалось. «Оно» хотело жить и «имело» его, а теперь «оно» не сможет жить и «будет иметь его». Теперь сойди с креста. Чтобы сойти с креста, нужно заставить почувствовать себя на кресте, как дома, заснуть на кресте, привыкнуть к этой позе и к этому гложущему, сосущему чувству под ложечкой; этот голод не так важен пока. Ты уже давно знаешь, что это такое. Ну, а жажда — говорят, что она страшна; попробую прокусить руку и сосать собственную кровь, можно также заняться онанизмом, чтобы ослабеть и уснуть скорее, но лучше думать, пока думается, этого уж ни у кого не отнимешь.

Разве я на него сержусь; это судьба, а не человек. Действительно, хочется есть, но не настолько, чтобы нельзя было думать. Держать себя в руках.

Уже давно ночь, а еще так жарко и больно лежать; и как я ничего не замечаю, когда владею собою, но стоит мне распуститься, и мне от всего становится больно. Что-то ест меня, уж не блоха ли, и почему это блохи всегда кусают в промежности. Но что там с ним внизу, уж вовсе ничего, вероятно, и как плохо все-таки так сразу умирать, сразу все забывать. Но

почему плохо? Ни хорошо, ни плохо — никак. Мои это или чужие воспоминания? Читал? Видел во сне? Или же я чего-то не понимаю. Ну вот, если бы проснуться и ничего, даже имени, не помнить: смерть ли это будет? Но мне, вероятно, придется броситься вниз, ибо слишком жжет меня и гложет голод, но почему мучиться, а так сразу всему конец; но не стоит, самоубийство противно мне, как триппер.

Который час, собственно; а нет часов, и это я всегда отвечал, что счастливые часов не наблюдают. Только нужно себя держать в руках, держать в руках себя. Онанизм. Член становится большим и горячим. Почему я все-таки не жил с ней? Ведь она дала бы. Нужно было бы уговаривать? Нет, она и так дала бы. Но как-то жалко ее. Почему вообще как-то жалко женщин? *Omne animal post coitus tristum est*¹. Слишком она трогательна. Была бы при этом нежность, слабоволие, мокрые прикосновения, потные руки. Бррр... Презираю сладострастников. Что бы я хотел: иметь всех женщин или побить все рекорды? Конечно, все рекорды. А потом: зачем всех или эту именно, живешь ведь не с кем-нибудь, а живешь вообще с определенным типом бедер, кожи или волос. С определенным типом душ. Познавание через сексуальность. Я не езжу на этом вонючем трамвае. Нет, она не возбуждает. Она недостаточно порочна, и ей совестно, когда она нравится. Употребить и прогнать, как сын Давида. Как все сразу становится понятным в постыдный момент! Где мои, где твои ноги, и все покрыто жидкостью среди волос. Но почему волосы? Бэкон думал, что там же, где лучи. У Бога, значит, лучи на голове и между ног. Но почему Зевс с ней не живет? Девочка она для него, дочь. А с ним ей было бы хорошо. Эдакое полено. Ну, растянется как-нибудь. То же, что жить с отцом: он мог бы, а она нет. Она могла бы по милосердию, но ему было бы тяжело. Она ведь никому не отказала бы, ес-

¹ Каждое существо грустит после совокупления (*лат.*).

ли ее очень попросить. Странная она, и, вместе с тем, ей, вероятно, никогда не хочется. Однако трудно уснуть и хочется пить; выпить, что ли, своей мочи, но куда собрать? Скоро, кажется, нельзя будет думать и нужно будет остановить все, сосредоточиться, достигнуть нечувствительности. Грустно все-таки, что все так скоро кончается, особенно им. Ведь им все казалось, что вот сейчас «оно» начнется, и только мне ничего не казалось, ведь я всегда сам по себе, как летний день, когда пыль и солнце над добрыми и над злыми. Отсиять и не быть хотелось мне. Упасть на солнце.

Они меня, конечно, не найдут, но будут искать, звать, может быть, будут плакать, как они всегда искали, звали, плакали, ибо я все равно их потерял, и мы даже мало и встречались последнее время, слишком много было горечи в воздухе. И за что они меня так осуждают? И все-таки они — единственные люди, которые меня любили, а теперь уже всему конец и нужно заставить себя забыть их, не так страдать от голода, не так ворочаться из стороны в сторону. Забыть. Уйти за бытие. Тереза тоже забудет, ибо это как борьба со сном; в конце концов, всякая память бывает побеждена. Забудет. Утешится, но ведь я всегда хотел, чтобы меня никто не помнил, чтобы меня все оставили в покое. Ну вот и оставили. Почему же тебе так тяжело, Безобразов; или потому, что не по твоей воле, но разве ты всегда не любил все неизбежное и не знал, что так будет, нарочно не дразнил Роберта?

Значит ли это, что смерть гораздо страшнее, чем я думал? Чему же я учился всю жизнь, всю жизнь готовился, если не к смерти, и вот я сейчас беспомощен и слаб, как Васенька, и готов даже закричать, как во время операции без хлороформа. И как хочется мне еще увидеть, как, молодецки пыхтя, Тихон несет целую пальму в кадке. Кстати, перенес ли он их все? И даже Васеньку с его вечными «вечными вопросами». Так всегда думаешь, что это еще не те люди, стоящие, чтобы ими по-настоящему заняться, и вечно ждешь

кого-то, а жизнь тем временем уже прошла, и это были именно те, выбранные судьбою свидетели жизни, которые всю ее помнят, несут в сердце, и вот уже я их никогда не увижу, никогда; и где прелесть этого слова, которое мне всегда так нравилось, а теперь, когда «никогда» началось, как все это вышло совсем по-другому и гораздо больше.

Стыдно как-то умирать. Ведь я ничего не сделал, ничего не написал. Мне всегда казалось, что я еще успею, что и так, «по носу», все видно и что достаточно с особым видом пройти в воскресенье среди гуляющих, чтобы все поняли, что такое «оно». Что «оно» здесь, на воскресном бульваре, среди их возбужденных глаз, веселых ног и разгоряченных членов. И конечно, все понимают, если в комнате сидит «оно». «Оно» одно утешало меня, когда я еще не выносил жизни. В литературе и в жизни «оно» побеждает литературу и жизнь, солнечное, спокойное, нечеловеческое. Я всегда поклонялся ему, невидящему и вездесущему покровителю Антонина и Юлиана, и вот «оно» сейчас оставило меня, и мне страшно, тяжело, холодно. Мне хочется сейчас чего-то доброго, близкого, домашнего, босого и теплого, как нога; и как я всегда над этим смеялся. Как жалко тебе себя, Безобразов, а ты хотел умереть, улыбаясь. Незаметно пропустить смерть. Как скучно тебе и холодно умирать.

Еще минуту — он забудется, заснет, может быть, во сне неловко повернется, расплатится за все; но в непроглядной темноте непрерывный грохот водопада давит его, он ерзает, обливаясь потом, он то бредит, то просыпается, и тогда вся душа его сжимается, как рука, от страха, и вся превращается в немое моление о чем-то, о едином слове, о едином прикосновении человеческого тела. Но нет, только грохот природы отвечает ему, и еще горше, почти без слез, изверг плачет.

И вдруг, неведомо откуда, как будто из воздуха, ему слышится церковное пение. Оно разрастается, оно скоро будет совсем близко. Тихо и дивно-спокойно невидимый хор поет:

Блаженны нищие духом, ибо они Бога узрят.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

С каждым стихом мелодия поднималась все выше и выше, и уже казалось, что сердце его сейчас раскроется и будет иным и новым.

Впервые за долгие годы Аполлон Безобразов плачет. Плача, он приникает лицом к камню, и вдруг ему кажется, что он всю жизнь ошибался, лгал, портил, что все счастье его и свобода есть невыносимое горе, и связанность, и одиночество, но что-то опять возмущается в нем при мысли, что он таким родился и что не он во всем этом виноват. И, не смоги принять на себя всю вину мира, он засыпает, наконец, каменным сном, и чей-то голос говорит ему: «Времена еще не исполнились».

ГЛАВА XV

Скоро ты забудешь обо всех, и все,
в свою очередь, забудут о тебе.

Марк Аврелий

э́тот день все рано собрались за обеденным столом. Авероэс с книгою в руке, читая, катал хлебный шарик. Зевс, вымывшись после тяжелого труда, с удовольствием гребнем расчесывал свою львиную гриву. Я же, измученный сырою жарой, сдвинув скатерть, раскладывал пасьянс в две колоды и в нервическом бешенстве, кривясь, расклеивал старые маленькие карты, которые почти невозможно было тасовать. Тереза хлопотала где-то на кухне, откуда с веселым озабоченным лицом появлялся повар, чтобы, пошарив в буфете и подмигнув мне, опять исчезнуть.

Средкою красотою звука проиграв четыре четверти, часы, на целую октаву ниже, начали бить три часа. Помню, Авероэс оторвался от чтения, осмотрелся, заложил пальцем книгу, а пальцем другой руки далеко отогнал готовый хлебный катышек. Опять все погрузилось в неподвижность, и вдруг, как будто не расслышав чего-то, он высоко, как птица, поднял голову и как будто обдумал сказанное, но это было лишь привычное ему автоматическое движение, ничего не означающее.

Потом вошла Тереза в переднике и, бросив на стол газеты, грустно и мило сказала:

— Газеты только после обеда.

И вдруг, потанцовывая, как всегда, круглый и заросший бородою, в комнату вошел повар и, видимо, побаиваясь Авероэса, но все же желая чем-нибудь продолжить установившиеся у него с Зевсом шуточные отношения, низко поклонившись и выставив

толстый зад, подал Зевсу открытку. Продолжая причесываться и далеко отставив ее от себя, великан презрительно скосил глаза, но рука его, держащая гребень, остановилась на середине ее пути, и он, насупившись, устался на открытку, и что-то недоброе, мелькнув, как электрическая искра, переменяло мгновенно атмосферу комнаты.

— Ну что? — нарочно не поднимая головы, спросила Тереза.

— Ничего! Чепуха какая-то, — неумело притворяясь, сказал Зевс и вместо того, чтобы презрительно отбросить от себя письмо на середину стола, не глядя ни на кого, положил его под тарелку и хмуро, как неприступною стеною, отгородил ее своею ладонью. С этой минуты внимание присутствующих осталось прикованным к этому месту. И напрасно Авероэс опять раскрыл книгу, ибо всем было ясно, что ему уже не хочется читать.

Снова, но уже молча, Тереза некоторое время продолжала расставлять тарелки со слабым цоканьем. Она даже разлила суп, но, легко держа ложку, так упорно не поднимала глаз, что все понимали, что очень скоро она не выдержит. И вот Тереза оставила ложку и, вытянув руку через стол, просительно-жалобно коснувшись рукава Зевса, спросила:

— Нет, правда, Тиша! Дайте мне открытку, — и так на последнем слове печально и жалобно повела бровью, что казалось невозможным, чтобы Зевс не дал ее; и действительно, он еще более насупился и, резким жестом достав послание, пододвинул его к Терезе. После того как Тереза завладела открыткой, наступило молчание, но столь абсолютное, что недоброе и непоправимое еще более сгустилось в воздухе. Однако крупным угловатым почерком на ней стояло только одно слово: «Enfin»¹.

— Ах, зачем вы пустили их вместе! — вскрикнула, наконец, она, раскачиваясь в отчаянье из стороны в сторону, и тотчас же все мы фальшивыми голосами

¹ «Наконец-то» (фр.).

принялись рассеивать ее страхи. Вскоре она как будто поверила, но в полуденной духоте настолько ничего не выходило из разговора, что Аверозс, не вполне понимая происходящее, уговорил нас выйти немного послушать муниципальный любительский концерт на открытом воздухе, который местное филармоническое общество служащих почт и железной дороги давало в саду курзала.

Все также почти не разговаривая, мы вышли через кухню, провожаемые недоумевавшим взором толстого повара, и сразу солнечное пламя ослепило нас на дороге и тяжело легло на лицо и плечи. Идти было довольно далеко, но все предпочитали это, чем дома мучиться страхами.

Наконец среди пыльных деревьев показались мавританские крыши казино, все изукрашенные деревянными фестонами, мачтами для флагов и бутфорскими окошечками. У входа мороженщики и продавцы открыток и погонщики ослов громко расхваливали свои общедоступные развлечения, а за калиткой в тени эвкалиптов измученные жарой дачники сидели, развалиясь на садовых стульях. Местные жители, нечувствительные к ней, степенно прогуливались по шуршащему гравия, и некоторые из них были даже в крахмальных воротничках, необычайно высоких, что казалось уже вовсе сверхъестественным, так же как сложные шляпы их жен, покрытые перьями, что медленно проплывали по белесой синеве озера.

Музыка еще не начиналась, и духовые исполнители дружески переговаривались из аляповатой раковины эстрады с сидящими в первых рядах, и однообразно, но красиво, рождая в воздухе летучую радугу, шумел водяной шланг, поливая скудные клумбы, а водяная пыль, относимая ветром, холодом и свежестью падала на разгоряченные лица. Наконец молодой и узкоплечий распорядитель повторно возгласил начало слухового действия разбредшимся слушателям. В громком шиканье опоздавшие заняли свои

места, и, сразу сделавшись серьезными и высоко подняв свои дешевые инструменты, музыканты приготовились играть.

Все началось с «Вальса роз» Вагнера, и в то время, как нестройный шум музыки увеличивался, солнце, давно прошедшее над нашей головой, стало клониться к закату, и скоро розоватый горячий вечерний свет ярко осветил белые и декоративные купола курзала.

В антракте свирепствовали официанты, и франты в соломенных шляпах, бродя между рядами, смеялись высокими неестественными голосами и, провожаемые шипеньем меломанов, долго не могли успокоиться.

И вот, едва прилежно выдувая вступление, оркестр заиграл «Крестьянский танец» Шумана, что-то странное начало твориться с Терезой. Еще во время первого отделения она все щурилась на свет и закрывала глаза и вдруг широко раскрывала их, видимо, пораженная вновь какую-нибудь мыслью, все гладила рукою свои волосы. Она так редко надевала что-нибудь новое, что в этот день казалась очень нарядной в белом своем платье. На плечах оно кончалось нежными буфами и сборками, и Тереза, мало загоревшая, пожелтевшая, скорее, была удивительно красива, когда в антрактах, немного отошедши, она скучающе осматривалась по сторонам своими светлыми глазами, казавшимися в яркий день как бы лишёнными взгляда. Но едва музыка возобновилась и изолировала слушателей, прежняя тревога охватила ее, и вдруг она как будто увидела что-то перед собою и, сидя на самом кончике стула, все делала какие-то странные беспомощные жесты руками, как будто ловила муху; потом среди красных затылков и бумажных вееров она поднялась во весь рост и дико, неприлично закричала, вырвалась на середину и на дорожке перед самым оркестром повалилась на гравий, взмахнув руками.

Разом вся публика встала, и оркестр, едва, нако-

нец, наладившийся, остановился. Какая-то дама принялась суетиться и причитать над нею, но Тереза не приходила в себя; когда я помогал переносить ее к спешно вызванному извозчику, я чувствовал, что руки ее совершенно одеревенели, пальцы конвульсивно скрючились, и все тело, вытянувшись дугою, отвердело, как будто искусственное. Провожаемые кричащими мальчишками и стыдную атмосферу русского публичного скандала, мы, наконец, поехали и весь вечер и ночь просидели, не раздеваясь, у дверей ее комнаты. Сознание все не возвращалось к ней, хотя эпилептическая твердость покинула ее тело, она казалась теперь просто спящей; и вдруг: «Зевс! Зевс! Вася!» — страшно знакомый отчаянный крик раздался из запертой комнаты, сопровождаемый какою-то вознею, возгласами и падением стекла, и, не дожидаясь нас, Тереза в халате выбежала в столовую.

— Зевс, милый, я видела, поймите! Я видела, как он упал! Ради Бога, оденьтесь сейчас же и идем за ним.

— Лучше утра дожждаться, Тереза!

— Нет, сейчас, сию же минуту. Ведь он, может быть, еще жив. Боже мой. Боже мой, зачем вы пустили их вместе!

Действительно ли Тереза видела всю сцену или, догадавшись, в точности ее вообразила, но, проблуждав в горах два дня и потеряв уже было всякую надежду, переночевав на камнях и со страхом встретив рассвет, мы к закату солнца все-таки разыскали место, хотя ничего не знали ни о маршруте Безобразова, ни о пещерах, и увидели, наконец, его, лежащего ничком на каменном выступе. Окликнули его и, не получив ответа, начали спускаться. Безобразов был без сознания, и он не очнулся даже, когда его, привязанного, подняли наверх. В назначенном месте мы встретились с проводниками, которые, обойдя низом, принесли с собою завернутое в пальто тело Роберта, лицо которого было страшно разбито, и медленно странное шествие двинулось в обратный путь.

Впереди всех Зевс, как пастырь добрый, нес Безобразова, по-военному скрестив на груди одну ногу с одной его рукой. Затем шли проводники с телом Роберта на носилках, а за ними, как Пречистая Мать, Тереза, вдруг ослабшая, согнувшаяся, потухшая и не перестававшая плакать, совсем другая, чем та, которая вела нас на гору, все время молясь вслух, ломая руки и крича на нас в каком-то неутомимом исступлении отчаянья. А сзади всех шел я, неся какие-то вещи и часто отставая, и бессмысленной искусственной декорацией казался мне дивный горный ландшафт, весь озаренный спокойно и празднично закатывающимся солнцем. Потом небо потухло, и мы еще долго шли в темноте, и я вел Терезу, ибо, мучаясь воображаемую виною, она совершенно потерялась, ослабла и бессвязно и жалобно все повторяла что-то, размазывая слезы по грязному и обожженному лицу.

Бывают такие невыразимо грустные теплые дождливые дни, когда под белым низким небом дождь все шумит и шумит по темно-зеленой листве. И скоро уже и лету конец, хотя все еще чувствуется где-то скрытая, но не охладевшая сила солнца. Однако среди редкого погромохиванья снова и снова падают капли, и в сыром воздухе ясно слышно, как поезд стучит однообразным стуком, то затихая за горою, то опять подавая голос.

С утра на мокром крупном гравии сада остро пахнет очнувшимися цветами и листьями, горы вдали как будто переменили свои очертания, а внизу, на набережной, под навесами мокнут открытки с их вечною яркой погодой, раковины с надписями и шоколадные автоматы. Тогда вода в озере вся усеяна как бы мурашками от падающих капель. И все-таки еще тепло, даже почти жарко, хотя скоро уже будет холоднее.

Такими белыми днями, лежа на шезлонге, Аполлон Безобразов выздоравливал. Он присмирел как-

то и даже позволял теперь Терезе читать вслух, что она так любила делать. Он явно пошатнулся в чем-то, и прежнее торжество покинуло его, однако мне было ясно, что прежнее еще не умерло в нем, и только первая тень сомнения легла на него, как старое циклопическое здание, опаленное молнией, дает первую глубокую трещину, но еще долго будет своей зубчатой твердыней омрачать горизонт. Хотя нечто и вовсе новое, какая-то новая горечь появилась в его речах, а иногда, что было уже вовсе ему незнакомо, особенная, снисходительная ко всему печаль.

Так, помню, опершись на локоть, он долго, выпучив губы, смотрел на меня, остановившись среди разговора, и вдруг спросил:

— Скажите, Васенька, а что, по-вашему, сказал Лазарь, когда Иисус его воскресил?

— Не знаю, а что?

— Нехорошее что-нибудь сказал.

— Ну почему же?

— А вот представьте себе, что вы уже досыта намучились за день и устали, как сукин сын, и вот, наконец, добрались до койки и заснули, запрокинувшись, и вдруг непрощенная рука тормозит вас: «Вставай!» И вы, измученный бессонностью, с отвращением глядя на ослепляющий мир, что скажете вы мучителю, как не выругаетесь как-нибудь пообиднее?

Натрудив руку, он переменял позу и, продолжая раздумывать, оперся на оба локтя. Помню, тогда вошла Тереза и принесла карты, и мы долго играли и ссорились мило, ибо Безобразов умел как-то особенно мило и степенно шутить за игрой. Я помню, мы тогда очень полюбили карты: и что может быть печальнее этого?

Кончив играть, мы пили чай с молоком и читали газеты, а Тереза под большим абажуром строила карточные дома невероятной крепости, так что на них можно было положить тяжелую книгу. Но за всем этим Аполлон Безобразов следил каким-то вдруг со-

образившим что-то опечаленным взглядом, и во внезапной умудренности этой крылось для нас близкое и, увы, еще большее горе, чем в прошедшей его невнимательности.

И вот то, что готовилось, случилось наконец. С утра, уже привыкший к дождю, я проснулся как бы в другой стране, а в раскрытом окне небо было чисто, прозрачно-лазурно, и все было отчетливо видно даже на дальней итальянской стороне. Ярko вдали выделялись свежекрашенные крыши дач, с улицы слышались голоса, и все было так чисто и отчетливо, что мне стало ясно, что пришла осень.

В горах чуть заметная желтизна оттеняла чисто вымытую зелень лесов, и небо было уже не летнее, полное солнечной пыли и тишины, а высокое и бледное, вдали у горизонта незаметно белея и переходя в тончайший слой облаков. И так по-новому все было вокруг прекрасно: и телеграфные столбы с их фарфоровыми птицами, и тень дома, и сырой, напоенный влагою сад, и близкое характерное потоптыванье ослика по неверным камням подъема, что я понял, что уже не увижу вскоре всего этого.

Так в бескрайнем осеннем сиянии мы пили чай на остекленной веранде и, как будто сговорившись, все молчали и устало, как выздоравливающие, шурились на свет. И вдруг в столовую спустился Безобразов, неся на руке легкое пальтецо и дешевый картонный чемодан, вероятно, почти пустой. Он, видимо, собрался с силами и казался вдруг совершенно здоровым.

Долго он пил чай, ел хлеб и фрукты и, не думая ни скрывать, ни объяснять свое решение, читал внимательно газету. Он даже усмехнулся и сказал Зевсу:

— Этот Примо Карнера обязательно будет чемпионом мира. Тебе, Тиша, конкурент.

Но Зевс только промычал что-то. Потом, наевшись, он попрощался с нами, как будто каждому хотел что-то сказать напоследок. Богатырски толкнул кулаком Зевса в грудь, на что тот только криво ух-

мыльнулся, коротко пожал руку Терезе и вежливо, чуть церемонно, попрощался с Авероэсом, который даже встал при этом и смутился, но ничего не нашелся сказать.

Когда он сходил с перрона, весь освещенный сиянием осеннего неба, Терезе вдруг захотелось крикнуть, побежать за ним, но в ту же секунду с такой же отчетливостью ей стала ясна бесполезность этого, она сдержалась и даже отвернулась немного, но когда, вслед за поскрипываньем гравия, жалобно задребезжала садовая калитка, она не выдержала и повалилась лицом на диван, на котором сидела. Зевс сидел, низко опустив кудлатую голову. Авероэс, стараясь не видеть Терезы, все поправлял и расправлял свою газету, а я в нестерпимой тревоге не знал, буквально не знал, что делать. Наконец, я сорвался с места и долго бежал по ярко освещенной солнцем дороге, потом, не видя никого, сообразил, что ошибся направлением, задыхаясь, дотащился до вокзала, но только, когда и там никого не найдя, я, отупев от усталости, возвращаясь, проходил по трамвайному мосту над другою улочкой, я увидел Безобразова, который не спеша шел по солнечной стороне.

— Безобразов! — крикнул я и весь сжался, ожидая недовольного ответа.

— А, это вы!

— Слушайте! Подождите, я сейчас спущусь к вам!

— Нет, я спешу.

— Но почему же вы не едете с нами, ведь мы возвращаемся в среду?

— Не знаю... так...

И опять это спокойное «так» прямо парализовало меня на месте, как тогда, помню, в один из наших первых разговоров.

— До свиданья, — сказал Безобразов, помолчав.

— Прощайте, — пробормотал я, еще не веря, что все кончено и что сейчас он и взаправду уйдет навсегда. Но тело его пришло в движение и, побеждая земное притяжение и подчинясь законам механики, фи-

зики и биологии, начало двигаться в сторону высокой бетонной башни железнодорожной цистерны, уже окруженной желтыми листьями и ярко выделявшейся на бездонно-голубом небе. Так он дошел до угла, остановился, закурил таким знакомым жестом и исчез, оставив на мгновение за собой голубое облачко дыма. И вдруг страшная пустота и усталость охватили меня. Даль показалась мне грубо, мучительно-яркой и все — вычурным, оставленным, пустым и ненужным до слез. И даже не хотелось возвращаться домой, ибо и там все потухло, свернулось и ушло в прошлое.

Долго, нарочно плутая, я шел домой. Купил зачем-то спортивные журналы, но тотчас же и это показалось мне ненужным. Разве не кончилось, кончилось теперь все это, все, что нас окружало, все, чем мы жили? И вдруг слезы, как единственное освобождение и как Иисус, неудержимо пришли ко мне, и, не могучи идти, я сел на скамейку и надолго погрузился в их безысходную глубину. Ибо слезы есть единственное мое общение с Иисусом, но зато совершенно реальное, физическое, и я до сих пор считаю его самым совершенным.

ГЛАВА XVI

Où sont nos amoureuses?
Elles sont au tombeau:
Elles sont plus heureuses
Dans un séjour plus beau.

*Gérard de Nerval*¹

В

ту осень в Париже была серая, туманная, теплая погода. Деревья уже желтели, но еще неравномерно распределена была желтизна, и в то время, как редкие каштаны около Люксембургского сада стояли совсем золотыми, иные высокие деревья оттеняли их желтизну своею еще нетронутой темною зеленью. Неизъяснимая нежность была разлита в воздухе, и на белом матовом фоне красив был неравномерный серый цвет каменных зданий, омытых дождями и побелевших на выступах. В этом идеальном освещении флаги и вывески виднелись ярко, хотя надписи не были хорошо видимы.

Было воскресенье. Улицы, освобожденные от автомобилей, казались шире и слабо лоснились. Люди шли медленнее, они были чисто вымыты, тщательно одеты, особенно рабочий люд, и все в трудовом и экономном городе дышало усладой самодовольного отдыха, оправданного недельной спешкой. Звуки долетали как бы приглушенно, но четко, слышались даже искусственные ручьи, ко-

¹ Где ж наши-то милые?
Они лежат в гробу:
Они вполне счастливые
В гробу, словно в раю.

Жерар де Нерваль (фр.).

торами заботливый муниципалитет оmyвает асфальты.

Было, может быть, около трех часов, когда, поднявшись мимо аляповатых, но таких знакомых университетских зданий, мы вышли на rue Soufflot¹. Воздушный балаган Пантеона был налево: бесформенный, как почти все здесь, он, почернев, уже давно сросся с пейзажем и приобрел своеобразную красоту, рождающуюся от сложного и привычного сочетания цвета старого камня, белого неба, лоснящейся мостовой, скудной зелени в саду музея Генриха Четвертого и уличного фонаря с зеленым стеклом у остановки автобуса «S» — Place Contrescarpe — Porte Champerret². Как и всякое хорошо знакомое здание, милое своим циклопическим постоянством, он как будто говорил какую-то привычную фразу в ответ на мое мысленное дружественное обращение:

— Ага, стоишь!

— Да, стою, — ухмылялся он, как бы переминаясь с ноги на ногу.

— Ну, стой, старый, — отвечал я, совершив обряд, как классически-ритуально говорят между собою французы при встрече.

Направо был Люксембург с его разноцветной осенней растительностью, а за ним чуть видимая в тумане Эйфелева башня, чудо безвкусыя и бездна прелести девятисотых годов, когда железо изгибалось, как живое, а камень легко принимал растительные формы. Сентябрьский воздух, уже тайно охлажденный, но все еще теплый, мягко оmyвал и сглаживал все, как общий тон на картинах Коро, и его созерцание по временам надолго отвлекало мое внимание, осушая слезы во время медленного воскресного шествия от rue Saint-Jacque³ до бульвара Saint-Michel⁴ и оттуда мимо Пантеона до rue

¹ Улица Суффло (*фр.*).

² Площадь Контрескарп — Порт Шамперрэ (*фр.*).

³ Улица Сен-Жак (*фр.*).

⁴ Сен-Мишель (*фр.*).

de la Santé¹, где против тюрьмы за чисто выкрашенными резными воротами в теплом сиянии опадающих каштанов Тереза молится ныне за нас и за всех.

Зевс шел впереди. Он, кажется, вообще не сказал ни одного слова в теплый осенний день. Но вся его огромная спина с высоко поднятыми плечами и руками, глубоко засунутыми в карманы, выражала искренний и молчаливый протест против совершающегося. Он теперь опять ездил на ситроеновском такси, но, по инстинктивной деликатности, освободился в это воскресенье, вероятно, только для того, чтобы не сокращать автомобильной тягой наших последних общих минут. Может быть, он даже верил, что я уговорю Терезу во время дороги, болью, слезами ее умолю. Но тотчас же ясно стало, что, конечно, нет, ибо так иллюминативно-мгновенно ломалось все в ее жизни и против ее воли устанавливалось по-новому; так однажды утром проснулась Тереза с мыслью о том, что «разрешение» пришло, так вдруг она узнала Безобразова, и так мгновенно она смирилась и поняла, что ничего нельзя сделать с его жестоким счастьем; и вот теперь опять, после того как, казалось, уже ожила немного, стала иногда шутить с нами, сама ходить с мешком на рынок, готовить, даже стирать, читать газеты по вечерам и даже пошла с нами раза два в синема, ибо с тех пор, как Зевс работал, денег стало много, — вдруг в одно прозрачное сентябрьское утро не встала вовсе с кровати, два дня пролежала, отвернувшись к стене, ничем хотя и не больная, а на третий тщательно оделась и причесалась, убрала все в двух наших хаотических комнатах, приготовила обед и только к концу его, когда мы с Зевсом уже раза два переглянулись, не смея надеяться, что гроза прошла, вдруг объявила, что завтра уходит в кармелитский монастырь и что решение ее окончательно. И все слезы мои, все доводы Зевса остались тщетными.

¹ Улица Санте (фр.).

Купленный и нетронутый пирог с орехами был с горечью выброшен мною в ведро, хотя, выбрасывая, я все же отломил от него кусок и, глотая слезы, с презрением к себе, изжевал его за ширмой. Ночью я даже доел его весь. Поздно, в три часа, лестницу огласили тяжелые нетвердые шаги, и вдруг с треском под страшным ударом ноги отворилась дверь. Однако, войдя, совершенно пьяный Зевс присмирел, закрыл дверь за собою и, опустив голову, не раздеваясь, мокрый от дождя, повалился на слишком короткую для него кровать. Не смея его беспокоить, я устроился в кресле, где, желая думать до утра, тотчас же заснул. И вдруг очнулся в ярком солнечном дне и, вскочив, бросился в комнату Терезы, где уже стоял новенький кожаный чемодан, подаренный ей Аверроэсом.

Так шли мы, Зевс впереди немного, тяжелой своей переваливающейся походкой борца, огромный и хмурый, надвинув форменный свой картуз на самые глаза. Тереза шла рядом, а я позади немного, как будто стараясь задержать шествие. Самое ужасное было то, что на середине его, примерно на углу бульвара Port-Royal, я даже развеселился немного при виде какого-то необыкновенно неуклюжего щенка, кувыркавшегося на большой взрослой цепи. Тереза тоже заинтересовалась щенком, она даже присела, потрепала его и взяла за обе лапы. Но степенная старуха, выйдя из зеленой лавки, заявила нам: «Je n'aime pas beaucoup qu'on tripole mes chiens»¹, — и мы пошли дальше.

Теперь пути оставалось немного, и все казалось мне, вот что-то случится необычайное, что-то нарушит это недопустимое оцепенение; но страшно быстро, как самодвижущийся, прополз высокий забор монастырского госпиталя, мелькнул прекрасный бульвар Араго, весь усыпанный листьями, и вдруг мы остановились.

¹ «Не люблю, когда трогают моих собак» (фр.).

Тереза круто повернулась.

— Прощайте, храни вас Бог! — сказала она и медленно перекрестила и поцеловала меня и Зевса. Целуя ее, я почувствовал на губах соленый вкус слез и что-то неуловимое, запах какого-то одеколона, и я все думал, что вот она скажет что-то, объяснит нам что-то, и опять зарыдал. Тереза тогда обняла мою голову и, утешая, промолвила с печалью и горечью:

— Довольно, хранила и не уберегла, теперь Христос сохранит вас, — и хотела еще что-то прибавить, может быть, то самое главное, но вот дверь приоткрылась, и монахиня показалась на пороге. Тереза оторвалась от меня, и, показалось мне, громко, как гром, захлопнулись ворота. Тогда слезы мои неудержимо вырвались наружу. Я прислонился к стене, я сел у стены, не желая ни уходить, ни жить более. Но могущественная рука ласково и твердо поставила меня на ноги, и, провожаемые сочувственным взором молодого узкоплечего городского, стоящего на той стороне, на углу тюрьмы, мы двинулись в обратный путь.

День был все еще светлый и такой нежный, что вдалеке, над куполом церкви Val de Grâce, бледная, чуть заметная полоска синевы вовсе не изменила форму, когда мы вновь увидели ее на обратном пути; но вечер был уже близок.

У ворот огромного дома направо какие-то оживленные русские голоса переговаривались, уславливаясь о встрече:

— Так не опаздывайте! В восемь с четвертью.

— Да! Да! Идем скорее, Володя.

Шлепнула автомобильная дверца, и маленький Amilcar выкатился на мостовую. На бульваре Port-Royal, напевая, катил зеленый трамвай устарелой конструкции, и, смотря на него, я почему-то опять заплакал. Высокий автомобильный фургон несся вслед, стараясь его обогнать, в то время как незастегнутые кожаные его фартуки развевались и хлопали сзади.

На углу rue Saint-Jacques неуклюжей собаки не было, и улица казалась темнее. Все здесь было постарому, и уже вечерние газеты лежали стопкой у газетчика. Так, ничего не соображая, даже почти не думая, устав от слез, поднялись мы по темной лестнице на третий этаж. Окно выходило на какую-то архитектурную неурядицу — кусок старого дворянского дома, переделанного в декоративную мастерскую. Соседний дом был под питейной торговлей и стоял в глубине небольшого отступления, которое город заставляет делать подрядчиков с целью расширения улиц, но и ему самому было не меньше ста лет. Между пустыми столиками лежала на боку кошка, а в самом углу примостился сапожник. А над всем этим — множество крыш, покрытых почерневшей черепицей, прилаживаясь одна к другой, а над ними — белое пустое небо.

Продолжая ни о чем не думать, я сел на продавленное кресло. Так видны были только одни крыши, но яркая белизна неба резала глаза, и я закрыл их.

Так просидел я довольно долго, не двигаясь. Я думал теперь о предполагаемом внутреннем устройстве монастыря, о тяжелой работе послушника, о мытье плиточных полов, о грубом обращении с иностранцами, хотя Тереза была француженка, о всевозможных препятствиях, чинимых монахиням, хотящим вернуться на волю. И вот уже я представлял себе Зевса, плечом высаживающего монументальную дверь, разбрасывающего каких-то садовников (почему именно садовников?), освобождающего Терезу, и вдруг понял, что ничего этого не будет, что Терезина воля непревозможима, что вообще у Терезы никакой воли нет, а есть непреодолимая ее форма, внутреннее предопределение, духовная необходимость.

Все стало темно вдруг передо мною, я как-то весь сжался. Холодная судорога ошибки, какой-то огромной метафизической измены заставила меня сжаться, и я даже ногтем больно нажал на палец, чтобы насильно отвлечься.

Слезы опять покатались из закрытых глаз. Затем наступило какое-то небытие, нравственное переутомление, и вдруг тихий, неверный, но такой знакомый звук буквально разорвал мне сердце. Это Зевс, лежа на кровати, положив свои огромные пятки на высокий деревянный простенок в ногах, тихо играл опять, как тогда в Италии, на дешевой губной гармонике:

Поздний вечер, день ненастный,
Нельзя в поле работать...

И все сумерки мира, все одиночество всех миров сдавило мое сердце. Я круто повернулся, хотел крикнуть ему что-то, но смолчал, пораженный смиренным величием каким-то, которое было во всем этом зрелище — и в недопитой бутылке с плавающей внутри пробкой, и в огромных ступнях в заношенных рваных носках, и в тихой этой, бесконечно незлобивой православной песне. И сколь глубже была ее крестьянская умудренность смиренная всех гордых моих отвлеченных утешений, не утешавших.

«Блаженны смиренные» — вот десятая православная заповедь, средоточие скитских уставов и лесного подвижничества. И не слабый, не больной, нет, именно этот широкогрудый сектант Илья Муромец тихо играл в темноте. И конечно, только он знал — почему — и прощал добродушно всех нас, и только его спокойная земляная вера спасла меня тогда от горшего зла.

Снова я повернулся к окну и весь съежился в кресле.

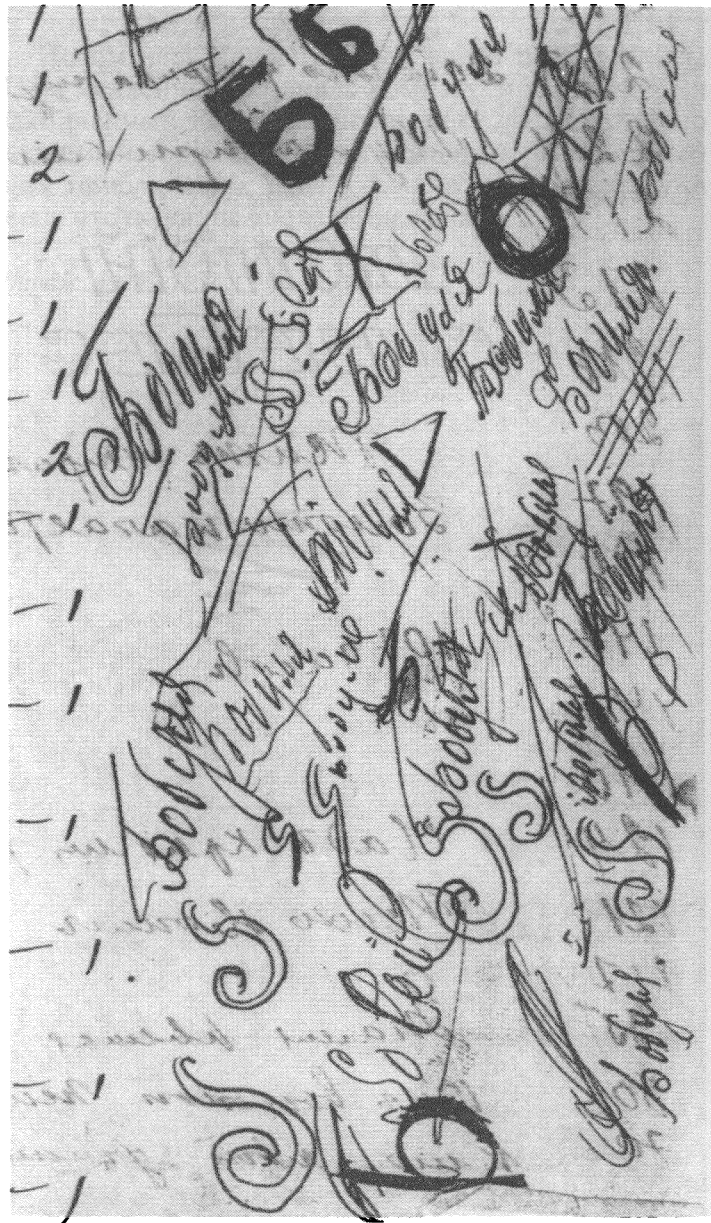
Прощай, девки, прощай, бабы!
У-угоняют,
Угоняют нас от вас
На далекий на Кавказ...

Потом нескладные нежные звуки прекратились. Тьма медленно наполняла комнату, и уже углы ее и закопченный потолок тонули в ней. И вдруг дивно знакомый и невыразимо печальный равномерный звук прибавился к ней, и я, не открывая глаз, уже знал, что на улице снова пошел дождь.

Париж, 1926—1932

ДОМОЙ
С НЕБЕС





Je rêvai que j'étais ineffablement heureux, mais sans aucune forme, sans univers, sans Moi, et ma filière même était le Moi.

*Jean Paul*¹



Солнце вставало над городом. Спокойно и независимо осветило оно пустые улицы и верхние этажи домов, неуклонно и равномерно делало свое дело, проникая во все детали металлической архитектуры крыш, освещая бесчисленные листья тополей. Но и без предпочтения, осушая политые тротуары — и сквозь белый пар над паровозами, на виадуке, за монпарнасским вокзалом, — заигралось розовым, сияющим облаком. Жизни еще не было; она еще была погружена в сон, куда солнце не проникало, только косо, сквозь занавески, освещая спящие тела, оттопыренные губы и великолепные неузнаваемые головы; в сон, где в унижительном хаосе физиологической мифологии докипали вчерашние обиды, отдавленные руки, съедобные ужасы, раскоряченные тела и деисусные страхи. Спокойно и безмятежно солнце распорядилось на улице, потому что, несмотря на хаос и неврастению миров, снова возвращалось лето, спокойное и ослепительное. Многокрылое время пронеслось над знакомой группой мелодекламаторов предыдущего действия, и все они переменились в лице, и только Аполлон Безобразов, не живя, следственно, не старея, не страдая, следственно, ни в чем не участвуя, архаический и недоступный, продолжал путешество-

¹ Мне снилось, что я несказанно счастлив, но лишен всякой формы, всякого мира, всякого Я и что единственной фильерой было Я.
Жан Поль (фр.).

вать из конца в конец города, как змея, не спеша переползающая железнодорожные пути. Потом змея подолгу читала газету «Paris-Midi» и философию науки Фихте, на полях коей она вела свой незамысловатый монашеский дневник.

«Сегодня почти уже жарко, то есть совсем уже жарко. Город быстро пустеет, величественно успокаивается на солнце. С тех пор как я начал учиться на богословском факультете, я все больше наслаждаюсь физической близостью с тем, чему я больше всего морально далек... Дни опять идут без истории (*sans histoires*), между общежитием (подло-грустные глаза, тайно выпьем за сатану, нестерпимое пение вразброд с обязательным передразниванием... Россия, Россия... мать ее в душу), лекциями (где я, конечно, первый ученик) и библиотекой, — пешком, через весь город по солнечной стороне... То есть я хотел сказать, что каждый человек абсолютно в плену у своего сна о Боге...

Воздержание от судьбы... Да — жизнь живых есть непрерывное, неустанное совокупление с воздухом, белой дорогой, с сияющей чистотой стекла, с музыкой, с Богом.

...Ну ладно надоело... Пока жизнь моя совершенно удобна, только выстаивать службы я не сразу научился; впрочем, медленное преодоление физически непереносимого всегда было для меня заветной целью. Есть без соли или писать левою рукой. И вообще — пошел в попы, а не в солдаты и не в ерники... Но чем же, вообще, заниматься дьяволу, которому люди и государства вовсе не интересны, если не Богом... Дьявол — самое религиозное существо на свете, потому что он никогда не сомневается, не сомневался в существовании Бога, целый день смотря на него в упор; но он — воплощенное сомнение касательно мотивов всего этого творения... Могли Он не творить... или стихийное воздержание сексуального воображения заставило Его... Но ка-

кою ценою... Ну ладно, начнется эта лекция когда-нибудь?

Май 1932 года»

(Годы проходят, а А.Б. все тот же.)

Олег и Бог играли в четыре руки на раскаленном рояле коричневой городской черепицы, и Олег уставал первым, а Бог еще долго продолжал, не уставая среди грозowych облаков, и тогда Олег только слушал, скребя голову, шурясь, кривясь на белое небо, нестерпимое для взора, хоть и без солнца, белое до боли.

Серый жаркий день, дождь идет в тумане, но снега высыхают мостовые и только изредка погромыхи-вает над домами. Жарко и сыро, лето без солнца... Как грустно тебе, Олег... У тебя тоже, как у всякого встречного на усталом, потном лице, та острая и постоянная безысходная летняя грусть оставшихся, оставленных в городе... Да поезжай ты на него посмотреть, на это лето у моря, фотографиями коего полны иллюстрированные журналы, которые ты с независимым видом рассматриваешь на стене киоска! Повешено их великое множество, и на всех счастливые, грубые лица, счастливые загорелые тела у ослепительной воды... Да поезжай ты на него, на это тысячеликое море, и не стыдно ли тебе неосуществимо мечтать, разве ты мечтатель, онанист воображения... И снова дождь шумит на теплом асфальте и на ярко вымытой, жирной листве каштанов... Дождь, дождь, дождь...

Теперь ты один в кафе, все твои знакомые или разъехали, или отчаялись в твоём бессердечии, а сейчас они нужны тебе, ведь и ты человек, потому что и тебе больно... Ну так, значит, уезжай; не осуществил ли ты до сих пор решительно все, чего тебе хотелось, и не гордишься ли ты именно этим?.. А давно уже тебе так не хотелось прочь от этой теплой, дождливой, городской боли. Туда, к дикому, грубому, го-

рячему морю, к диким, грубым, горячим, безысходно красивым женщинам на песке... Экзамены кончились... Уехать оказалось нетрудно ему, студенту и бойскауту, и сразу полегчало на душе, все вокруг стало покровительственно нравиться на прощанье, ибо так хорошо вдруг освободиться от подневольного, неискреннего сочувствия людям...

«Теперь, когда я уже достал эти 600 франков, ехать в лагерь мне уже не хочется... Думаю, я сбегу в Тулоне с вокзала и один, наудачу, вылезу к морю где-нибудь в Бандоле, где так элегантно умирала Катерина Мэнсфилд. Пишу в поезде, слушая бесперерывочные, жалко-веселые разговоры наших студентов, вдруг становящиеся необычайно громкими, едва поезд начинает останавливаться. Дождь давно перестал, и на перроне люди, которые непостижимо, на весь свой век останутся здесь, продают кофе в картонных банках и местные газеты... На рассвете я увижу Рону и что-то вроде гор... Спать не хочется... Сердце пусто, и до того неинтересно, что все внешнее воспринимается с благодарностью. Жадно впитываю в себя нелепые, не совсем мужские лица товарищей и бесконечно взрослые, архаические лица женщин, все это желтоватое, бесформенное, симпатичное, отвратительное русское мясо... Поорав, устали, загрустили, нестройно, не в лад запели, перебивая друг друга, кое-как устроившись дружески, недружески приминая женщин, задремали. Тогда и я, отбив себе место, вышел в коридор и, высунувши голову в темноту, наслаждаюсь стремительно несущимся вихрем угольного воздуха, а иногда далеко впереди виден паровоз; яркое зарево вырывается из его трубы, мгновенно и прекрасно освещая деревья, столбы и облако дыма над поездом...

Когда я воротился в купе, свет в нем был уже потушен и напротив меня, в отсветах коридора, кряхтелишевелились французы-молодожены, обнаглевшие в темноте до трогательности. Изолированные среди русских, они всю дорогу ели, озираясь, и безостанов-

вочно то застегивали, то расстегивали чехлы новеньких своих чемоданов, а в темноте я, не подавая виду, долго продолжал следить за своим первородным врагом, безгранично овладевшим ими, вместе с сонливостью вспоминаю, как где-то прочел в газете жалобу старого акробата, специалиста по летучей трапеции, на то, как трудно им находить партнеров, потому что только муж и жена или отец и дети одной крови хорошо без слов понимают друг друга, ибо они дышат одним дыханием, суть одно дыхание универсального моря телесно-сексуальной музыки; и только я посреди них, как мертвое среди живого чудовище подавленной сексуальности, наслаждаюсь и гибну от свободы, света и чистоты.

Спящие молодожены продолжают принимать все более растительные формы, так что теперь уже и разобратся невозможно, где начинается и где кончается каждый из них, они включены друг в друга, склеены, спаяны и — через отказ от отдельного бытия, самостоятельности — наполнены теплой и богатой жизнью, и я, как дьявол со скалы, огромными глазами изумленья наблюдаю первую человеческую пару в земном раю, ибо у них есть деньги, а деньги всегда там, где жизнь.

Раздумывая об этом, я заснул и проснулся уже ярким днем, в то время, как поезд быстро скользил по низкому берегу широченной реки. Направо были горы и в них целые заброшенные города, наполовину высеченные в скале, с их полуразрушенными замками, и вскоре я впервые увидел море...

Так встретился я с морем, как будто от мужчины с его бесформенной угловатой тяжестью, от земли повернулся к женщине в ее ослепительном, дьявольском, сомнительном покое, ничего не помнящем, отражающем все. Поезд медленно полз по берегу зеркально гладкого лимана Etang de Berre¹, откуда, как голуби с плеча Афродиты, грациозно и уверенно под-

¹ Озеро Берр (фр.).

нимались гидропланы, и что-то сияюще-отвратительное, архаическое и неумолимо прекрасное было в его оцепенелой лазурной спячке, и я понял, что мне придется бороться с морем и с сиянием моря, как некогда я боролся с женщиной и с сиянием ее тела во тьме ночей, а теперь среди бела дня, ибо то, что для сладострастной женщины есть совокупление с солнцем до горячего пота, до усталости, то для меня, чудовища подавленного сладострастия, есть любовь к морю.

В вагоне мы давно привыкли друг к другу, и при дневном свете он казался таким родным и знакомым, как дача, с которой завтра съезжать. Небо давно уже сияло безупречной голубизною, и вот наконец между розовыми корпусами фабрик, как синий луч, как дивное тело в разрезе античной дерюги, блеснуло оно, и около него огромными буквами было написано: «Briqueterie Centrale de Marseille»¹. Молодожены складывали чемоданы, вдруг остепенившись и всем существом показывая, что им-де есть куда податься, и запах разлитой жизненной силы в вагоне сменился запахом одеколона, в котором столько утра, молодости, счастья. Невольное радостное возбуждение, с которым бороться было невозможно, билось в висках, и все за окнами с почти непереносимой яркостью врзалось в утомленные за ночь глаза; повышенные светочувствительные от бессоницы, они досадовали на бесконечные туннели, выемки, задворки, палисадники, дачные станции, скрывающие море. Наконец поезд остановился около нескладного вокзала, полного загорелых джентльменов в белых брюках довоенного вида. Здесь следовало еще ждать полтора часа, но едва поезд снова тронулся, я устремился, заперся в клозете, куда яркость неба доходила, врывалась сквозь матовое стекло, и, скинув рубашку, принялся тревожно рассматривать себя в дрожащем зеркале — достаточно ли я натренирован, чтобы без позора появиться на пляже».

¹ «Марсельский центральный кирпичный завод» (фр.).

«Мир не может быть только мыслим Богом, ибо мысль не имеет протяжения и вся в восхищении открытия, но мир не может быть только воображением Бога, ибо воображенное необходимо подчинено воображающему и в нем не могло бы быть ни греха, ни свободы, ни искупления... Нет, мир должен быть сном Бога, раскрывшимся, расцветшим именно в момент, когда воображение перестало Ему подчиняться и Он заснул сном мира, потеряв власть, отказавшись от власти, и было в этом нечто от грехопадения звездного неба, вообразившего себя человеком, и, конечно, именно дьявол научил человека аскетизму, потому что любовь есть та самая сонливость — жизнь, которая сладостно усыпила Бога, а пробуждение от нее есть смерть одиночества и знания, в то время как жизнь есть гипнотическая жизнь, до слез принимаемая всерьез... Так снова здесь, на высоком берегу, над сияющей музыкой моря, я борюсь с тобою, о счастье мое, сон, любовь, жизнь; но как странно и сладко было бы сдаться, снова сделаться человеком, опять страдать... Как величественно холодны и оскорбительно умны те, кто разомкнули хотя бы на миг, на время огненный круг бесперерывного совокупления сердца с жизнью — но не для чудовищных снов неудовлетворенного сладострастия, подобных каббалистическому умственному распутству Адама до сотворения Евы. Распутству, породившему всю нечисть подлунного мира не для эротической бессонницы, а для ослепительного, до боли яркого света, абсолютного пробуждения люциферической девственности, в осатанении коей отсюда, с обрыва высокой дороги, я смотрю вниз на узкий пляж у самого стеклянного, ядовито-синего моря, откуда явственно в яркой тишине полудня долетает звон электрического граммофона. Там, между пестрыми зонтиками палаток, коричневые люди танцуют в воде вокруг перевернувшейся душегубки, радостно бьются полуголые дивы, загорелые, крепконогие дьяволицы этих мест, а вдали горизонт покрыт белыми облаками».

Олег ехал к морю с удивлением и тревогой, сделавшими для него почти неприятной его ослепительную новизну. Оба не могли себе еще и представить, что спать можно будет прямо в лесу на хвое, по-индейски завернувшись в одеяло, или на пляже, вообще где угодно, что дождя нет и нет вообще ничего похожего на Францию на этом странном изумрудном берегу, куда по разным причинам с веселым и тяжелым сердцем они катили теперь на паровичке от Тулона совсем вдоль моря среди скал, дач, и кактусов, и ободранных пробковых дубов. Всю ночь Олег проговорил в коридоре вагона — настолько его мучили тревога, тревога необычайного и непредвиденного, и детский страх одиночества. Странно... Все это путешествие решилось вдруг как негаданное радостное событие, но слабое его сердце было тревожно, и он, униженно, неестественно возбужденный, всю ночь пытался за кого-нибудь зацепиться, но, как всегда, все невесело, подозрительно сторонились его, и только Безобразов терпеливо — как дождь — переносил его несвязные речи, ибо Олег до позора не умел ничего скрывать. Все рвалось у него с языка, как моча у пьяного, теряя притом вкус и цвет; он сам страшно страдал, стыдился своей общительности, но она была прямым следствием, аспектом страха, невозможностью вынести самого себя и жизнь, перенести драгоценную тяжесть, подземное слоновое напряжение одиночества. И скоро, сам того не желая, Безобразов узнал всю историю поездки: и о мистическом кружке, и о самоубийстве Кумарева, и о встрече Нового года в полуосвещенном ателье, где в одну ночь порвалась старая Олегова жизнь и началась эта, новая, незнакомая, слишком для него реальная, для него, который столько лет просидел за мраморным грязным столиком, как бледнолицая гадалка над холодной кофейной гущей, в ранней грусти — старости не жившего еще существа. Но напрасно Олег, рассказавший так много, искал на лице Безобразова отблеск ответа, суждения, осужде-

ния, какого-нибудь отношения ко всему этому. Аполлон, слушавший, кстати, с большим профессиональным интересом, ответа дать никакого не мог, потому что, по своему обыкновению, думал медленно, отказываясь думать, судить, вмешиваться, но грубого, спокойного-добродушного внимания у него было сколько угодно — он курил, надвигал фуражку на глаза, закладывал большие пальцы за ремень пояса и в дешевой своей фуфайке, до плеча обнажавшей его толстые руки, слушал, не глядя на собеседника, покачиваясь на каблуках в коридоре с таким спокойным воровским, цирковым, пролетарским видом, что все в поезде с неприязненным уважением посматривали в его сторону. Аполлон уже и в Париже был совершенно черен от загара и говорил только по-французски, что любил делать, жуя и растягивая слова с таким неподражаемым уличным парижским акцентом, что его определение самого себя, новое и очень ему нравящееся — «студент теологии», — совершенно сбивало с толку собеседника, только что долго с ним проговорившего о боксе, плавании, авиации. В отличие от Олега, Безобразова как-то сумрачно, сдержанно, скрытно опьяняла новизна обстановки — он бросился в эту поездку, как в воду, сжавши мускулы и расширив ноздри, как в драку с еще не виданным им, но сразу угаданным противником — величественно ослепительной красотой мира, юга, дачного счастья. Но и ему нужен был *sorain*¹, товарищ по приключениям, ибо оба они были городскими молодыми людьми, выросшими в дымной нищете эмигрантских кофеен, для которых эта поездка была совершенно необыкновенным событием. Но Безобразов скорее Олега ориентировался, как Тереза говорила про него: «Если уж этот захочет вмешаться в жизнь, то никогда не будет без денег», — грустно, презрительно улыбаясь при этом.

¹ Друг (фр.).

Теперь они среди полуденного великолепия сидели на маленькой пересадочной станции и, как солдаты, степенно курили рядом со своими вещами, которые у Безобразова были по-тюремному связаны вместе ремешком: чемодан и тючок, — и он жестом носильщика перебрасывал один из них через плечо и нес в равновесии, к огорчению местных людей, привыкших смотреть на приезжих как на свою законную собственность, и те с явным недоброжелательством провожали его глазами; но Аполлон Безобразов разворачивался в недоброжелательстве, как рыба в воде, он даже снял фуражку и вместе с пиджаком сунул в чемодан, по-каторжному оставшись в одном полосатом тельнике.

Станция, утонувшая в солнечном оцепенении, была одноэтажная, и все окна ее были закрыты ставнями, так что казалась она необитаемой, и только часы на ней жили деловито-грозной железнодорожной жизнью, а кругом были какие-то плоские сады и рельсовые пути, заросшие дикой травой, и явственно слышалась, казалась видимой, руками осязаемой полдневная тишина — после грохота города, к которому так хорошо привыкаешь, как к шуму соседнего водопада в Финляндии, так что, кажется, глхнешь первые дни в деревне, — а за тишиной, медленно и равномерно подчеркивая ее, пыхтел какой-то невидимый паровозик, отдыхая под парами. Водоналивная башня, «водяной замок», неподвижно являла на солнце свои окна без стекол, и уже во всем чувствовалось невидимое море — и в низких скрюченных соснах, и в розовом гравии платформы, в конце которой, слегка колыхаясь, спал матросский воротник. Оно было где-то рядом, широкошумное и ослепительное, и Аполлон Безобразов ждал его, ухмыляясь и выкатывая плечи, в то время как Олег тревожно думал о Тане и о том, как он будет выглядеть в купальном костюме.

Вспоминал Олег также свое первое столкновение с его найденным наконец и мгновенно угаданным

хозяином, когда молчаливо и неподвижно она так долго в упор посмотрела на него из полуопущенных ресниц татарских своих глаз на этом несчастном Новом годе, когда, устроившись около ее кресла и держа, поднимая ее тяжелые желтоватые античные руки, он рассказывал всю свою жизнь — занятие, в котором для него не было ничего нового, но на этот раз таки нашла коса на камень, он не встретил никакого особого сочувствия и замолчал, пораженный грубой и мучительной силой неподвижного и презрительно-го взгляда широко расширенных жадных глаз, и так это было ново для него, привыкшего к болезненной материнской нежности еврейских женщин, что он вдруг понял, что его слабая душа, не зная того, всю жизнь втайне боготворила только силу сдержанности, молчание, высокомерие, судьбу, судью в любимом человеке и что в Тане это соединялось, на его горе, со столь мягко-тяжелыми, женственными плечами, со страшной силой, никогда еще не вырывавшейся наружу жизни, с затаенной бесконечностью тепла и жестокости.

Подъезжая к Сен-Тропезу на скрипящем и раскачивающемся паровичке, Олег вдруг вспомнил то особое, ни на что не похожее чувство сомнения, которое он испытал, всматриваясь в эти пристальные татарские глаза, и в то время как боль в сердце все время росла и росла, то, что казалось ему за секунду до этого воплощением добра, тепла и жизни, вдруг становилось столь же реальным присутствием холода, самолюбия и насмешки, и тогда желание поцеловать мгновенно превращалось почти в ненависть и чуть не в желание ударить это грубо-совершенное, так таинственно животное лицо.



Паня встретила Олега с расширенными от любопытства ноздрями. Шесть лет тому назад, в Терезины дни, это был сутулый юноша в грязном воротничке, казавшийся моложе своих лет, что-то запоздало-невзрослое и неприятно-растерянное детское светилось тогда, путалось, опускало голову в нем, но сквозь неврастению и тысячу неврозов земное, телесное брало свое, и он все-таки рос, тяжелел, мужал. Та безнадежная ночная звенящая жалость ко всему, не дающая ни принять жизнь, ни вступить в нее, скоро стала ему самому неприятна, как накожная болезнь; он вдруг открыл в себе другое существо, гораздо более грубое, решительное, юмористическое и религиозное в том смысле, что оно, научившись переносить собственную нагрузку, не решалось более судить и высокомерно сострадать чужой, не зная чужих утешений и тех счастливых и таинственных вещей, которые происходят между ними и Богом, подобные никому не видимым ночным ласкам мужа и жены. С тех пор, на удивление — с тех пор как он, подобно Безобразову, стал замкнутее, холоднее, веселее, — его отношения с людьми улучшились, и вообще у него появились отношения вместо прежних постоянных обид, потому что суровость, молчаливость и отчужденность и есть настоящая вежливость среди человечества железного века, сознающего бездонное, законное одиночество своего индивидуализма и больше всего стыдящегося сентиментальных приставаний; и, зная наизусть, что настоящие отношения имеются только у мужа с его женой, у Бога с человеком да еще между ребятами одного полка, одной профессии, смешливо-суровое

человеческое товарищество, вовсе не претендующее на полное понимание, самое допущение возможности которого (и постоянный упрек окружающим со стороны тех, кто эту возможность допускает) он считал слепотою и неуважением к каменному сердцу человека, сожженному первородным грехом, и что лучше уж признаться, что сердце — камень, и в этой откровенности находить суровую, мужественную правду, — он выпрямился, расправил плечи и зарос густо волосами, которые, оставшись на свободе и выгорая на солнце, начали у него виться. Олег даже подумывал: не запустить ли ему бороду наподобие Безобразова, который чесал ее и тер атавистическим, неподражаемым крестьянским жестом. Голый, он казался и шире и тяжелее Безобразова, хотя Безобразов был сильнее и более последовательно натренирован. Он был хмур и импульсивен, горько меланхоличен, за вином любил петь и даже драться, хотя как-то у него до этого никогда не доходило. Отчаявшись в безрелигиозно-протестующей боли за всех и самую жизнь, он горячо потянулся теперь к ней, к этой неизвестной ему жизни, домой с небес, головою вперед в горячую, смрадно кипящую влагу. Последнее время он даже неизвестно зачем принялся искать работу и учил наизусть улицы города по шоферскому самоучителю. Так, физически меняясь, он вдруг заметил Таню, которую он, будучи другим человеком, долго не видел вовсе, путаясь и мучаясь с Ирой, вечно стыдясь и тяготясь ее светлой, неживой заботливостью о нем, на которую он не имел никакого права. Когда же наконец, не без Таниного невольного участия, Ира оторвалась от него и ушла своею непонятною ему горной дорогой, после первого стремительного головокружения одиночества ожил он к полноте своей богатой, никем не разделенной боли, налился до краев беспокойной, тяжелой, славянской отчаянностью, и с этим почти нестерпимым грузом в сердце приехал в Сен-Тропез. Встреча с Безобразовым на мгновенье вернула его на шесть лет назад. Он все рассказал, но

рассердиться за это на Безобразова не успел: так ударила, захватила его новая, ни на что не похожая жизнь в лесу.

Потому что все-таки это были первые дни, и это его короткое и тревожное счастье началось седьмого августа за длинным столом без скатерти, где сидело целое почти голое общество. Таня в длинных матросских брюках, Надя, необычайно красивая и неуклюжая девушка, на которой буквально ничего не было надето, кроме двух каких-то приспособлений с ладонь величиной, Ника Блудов, коричневый человек-обезьяна с чуть покрытым стыдом, и еще один высокий мрачный молодой человек в футбольных трусиках. Еще здесь были старшие, крепкие, невеселые бородатые люди, сумевшие остаться на поверхности жизни, но, несмотря на смутный страх перед ними, Олег почти не замечал их.

Вечер, медленно розовея, шел к закату, но так ярок он был и так полон безостановочного треска цикад и тяжелого хвойного дыхания леса, что, докрасна накалившись за бесконечный день, долго не мог остыть. Воздух был необычайно тяжел и прекрасно-неподвижен над плоским морем, похожим на густое розовое масло. С утра ни единой складки не прошло по синей поверхности неба, ни единого шелеста не пробежало в сосновом лесу, оцепенелом от зноя, последние сосны которого, искривленные зимними ветрами, останавливались на самом песке, покрывая его хвойными иглами. Все, багровея, уходя в алый туман сумерек, молчало в таком сказочном оцепенении полноты земного бытия, что вдруг казалось декорацией, наваждением, недобрым пленом, и Олег вспоминал, как Аполлон говорил ему о мире как греховном сне Бога. Да, думал он, глубоко-глубоко, воистину каменном сне.

«Высоко в горах, спиной к гранитной стене, я сижу в удобной позе древних подвижников рядом с розоватой, скрюченной ветром сосной. Внизу отрог за

отрогом спускаются поросшие кустарником возвышенности, до которых так трудно было добраться. Еще дальше по лиловой дороге медленно катится коричневый автокар, трубя на повороте. Там начинаются виноградники и тянутся до первых неестественно розовых и желтых балаганов спешной постройки, совсем маленьких у самого голубовато-зеленого моря, кажущегося неподвижным и мелким с такой высоты. Тишина здесь первозданная, вековая, целомудренная, и только еле слышно и безостановочно звенят невидимые цикады. Еще лето, дни бесконечно долги, но скоро август — и они замолчат.

Удобно устроившись, я стараюсь ни о чем не думать, и вот опять само собою, как боль, повторяется знакомая мысль-боль о потере чего-то, о непоправимой потере зла. Да, я утратил друга, я утратил товарища, я утратил Бога. Как это... Я посмеялся над Ним... Я не отрицаю Его существования, Он слишком заметен, и я постоянно смотрю на Него, смотря на мир. Но никогда уже не говорю ему Ты, а только Он.

Молчание, молчание, чудовищное молчание над океаном жизни. Голубой или зеленовато-синий, он безупречно черен, темен в своей глубине. Медленно беловатые тучи пронизывают грандиозные руки облаков. И маленькое, тщедушное пение птицы должно слышаться до самых границ мира. Но речь ее прерывается молчаниями, как если бы глубокое сомнение по временам мучало ее. Звуки делаются все более и более слабыми и наконец гаснут совершенно. Но вот она сама здесь, рядом, укрытая между двумя камнями, и маленькая грудь ее раздавлена ослепительной меланхолией летнего дня. А теперь поезд местного сообщения с его раскаленным локомотивом, плюющим паром изо всех скреп, заявляет о себе — появляется со стороны Италии. И кажется, он бежит от грозы. Сзади него уже половина неба потемнела до фиолетовой черноты, и уже видима была по временам маленькая молния, очень низко летящая, но не было слышно ни одного звука, который нарушил бы тяже-

люю последовательность универсального молчания, тогда как последовательность видимая была нарушена, разделена на два мира, подобные раю и преисподней. И, как он, убегая от происшествий, тяжелая стая аэропланов, неровный треугольник в сомнительном равновесии, проползала на небольшой высоте в грузном механическом грохоте. Пять неуклюжих, неповоротливых ящиков из дерева и стали, видимо борющиеся с ветром, который, наконец, поднялся и в котором, как маленькая рыбка на большой волне, чуть видимый ястреб меланхолично скользил, презрительно предоставляя себя стихиям, с унижительным совершенством исполнения».

Вечер кончился странно. Отпив чаю и вымыв посуду в глиняном урыльнике, где ко всему прилипали вездесущие мертвые и живые осы, все вместе, принужденно перешучиваясь, спустились под обрыв на камни, где, разместившись удобно-неудобно, тотчас же открыли, что говорить им всем вместе не о чем, ибо настоящего серьезного зрения ни у кого не было, печального и злого зрения русских европейцев безобразовского типа, так любящего глубокомысленно-гамлетически говорить о пустяках. Но и от русских традиционных, тяжелых и нескромных, споров об идеях они давно отбились, да и, обездоленные дети, к счастью-несчастью для себя, не застали их; однако русская душа брала свое: неостроумно, по-мальчишески скорбно остря, они невесело кривились, пока не замолчали, замороженные наконец тяжелыми и мертвыми чарами так глубоко чуждой им природы. Они, как гимназисты, заснувшие над «Одиссеей», нечаянно с ногами вошли-вышли на ее страшные черные скалистые берега и замолчали, сбившись в кучу, смутно чувствуя присутствие чуждых и могущественных, повсюду притаившихся божеств. Луна вставала медленно, и долго уже окружала их та неверная грязно-розовая мгла, в которой теряются все очертания и тревожно-отчетливо слышатся все зву-

ки. Вода как-то отвратительно, мелко, сально клокотала под их ногами, и где-то совсем иной, не дневной породы печально, пронзительно верещал кузнечик, все время замолкая. Но вот последние астральные отблески поздней зари потухли, и от огромной луны протянулся широченный, грубо раззолоченный путь, по которому никому из них не хотелось идти. Теперь только изредка разгораясь, вспыхивали огоньки папирос, море было совершенно черное, и бледными туманными пятнами громоздились скалы. И вдруг явственно, хотя и на большем расстоянии, по ту сторону камней, зарослей, отмели бухты, уже не в первый раз слышалась музыка — то заиграл электрический граммофон в курзале, и жалкие желтые лучи фонарей задрожали на невидимой воде. Электрофон этот играл знакомое танго «Плегария», столько раз уже слышанный медленный гортанный припев того лета, и глухо, безрадостно, глубоко отдавались темные слабые звуки в вдруг замерших от отращения-страха сердцах подростков. И действительно, что-то сгоревшее, давящее, мертвое, чужое было в этой грандиозной природе, лишенной всякой мягкости, как оперная декорация, как кошмарный сон, где все с первой минуты подозрительно ярко и отчетливо. Наконец Аполлон первый проснулся от всеобщего больного оцепенения, и Олег был даже рад, что кончилась эта неловкая близость-отчуждение его с Таней на людях. Зато как приятно было впервые по-бойскаутски заворачиваться в одеяло и даже идти, спотыкаясь в непроглядной темени леса, искать среди кустов удобного места для ночевки, удивляясь, поражаясь привольной пустоте, мирной тьме, тишине, отсутствию полицейских. Но вот снова лунная синева разлилась по дороге меж соснами, и долго они еще переговаривались с земли о еде, арбузах, молоке, макаронах, палатке, пока наконец Аполлон не перестал отвечать, и Олег невесело подумал, что остается один со своими страхами, надеждами, но заснул, провалился в тысячу страшных сновиде-

ний о потерянных билетах, об «опоздал», о вечных поисках Тани среди невероятных, тоскливых задворков. Сны эти, неестественно ярко окрашенные, давили его и душили, пока наконец все не сгнули в бездонном здоровом оцепенении абсолютной усталости.

А поллон: Что же мы будем с тобою шамать сегодня?

Олег: Можно оторвать винограду, а после обеда нам оставят что-нибудь...

Христос в аду: Я есть лоза виноградная, и отец мой вино торговец, но украсть невозможно.

Аполлон Пифийский (*голый, в накрахмаленном воротничке*): Врет, все врет... и крал и носил его дьявол на крышу храма, дьявол носил Бога, как брюки со складкой... Врет, все врет. (*Оркестр играет «На сопках Маньчжурии».*)

Христос в аду: Как Лазарь, которому в результате таки дважды пришлось умереть, они будут, в лучшем случае, питаться крошками с ленивого ангельского стола... Зачем?.. Когда в аду они были бы доверху сыты и пьяны огнем и печалью. (*Колоссальный клуб дыма; на мгновение слышится хор грешников: «Пушай могила меня накажет...» И снова Христос устало, еле слышно напевает, насвистывая, читая прошлогодние журналы.*)

Аполлон Парижский: Ну а купаться, распраги его душу мать, выражаясь литературно?

Олег: Надоело купаться, сыграть бы опять в картейки-карточки или оторвать душегубку у этих дегенератов... (*Медленно среди дня темнеет день. Вода превращается в какое-то гнусное синее желе, полное консервных коробок, лес кажется забросанным сальными «Последними новостями», а за ним на горизонте, как красные облака, показываются огромные половые органы.*)

Хороганов: Зима, крестьянин, торжествуя, до ветру обновляет путь. На красных лапах снег почуя, спешит накласть на что-нибудь... (*Неизъясни-*

мая печаль сжимает сердце, в то время как с неба медленно сыплются окурки, страницы учебников физики и куски казарменных стен, выкрашенных в серо-зеленый цвет. Потом постепенно все заносится снегом, и из-под него огромный красный ангел предыдущего действия чуть бормочет, шевелясь во сне.) Давид играл на лире звучно. Давить в сортире очень скучно. Евреи — пакостный народ. Иона клал киту в живот... (*Медленно, низко над Лубянской площадью проплывает военный оркестр, играющий «Реквием» Моцарта, какие-то не приспособленные ни к чему животные, дома и миры открывают глаза и со страхом озираются, не понимая, куда они попали, и снова оркестр играет «На сопках Маньчжурии». Христос в аду докуривает папиросу, кривясь от дыма, и над ним в синем ореоле величавая женщина античной постройки разговаривает сама с собой...)*

Величавая женщина: Создатель выбрал любовь, потому что добро не потому добро, что его любит Создатель, а потому что оно добро...

Необходимый орган величавой женщины (*красивым и мелодичным голосом*): Любовь усыпила Создателя, ибо добро не потому добро, что оно добро, а потому что Он опился сладкого вина... И поэтому пушай махила мне накажет...

Аполлон (*мрачно*): Чивой-то здесь неуютно... Без денег поедем, что ли, назад в Париж?

Олег: Сейчас море так странно шумит, рвется и бьется, как будто упрекает берег, а по горам быстро скользят пятна солнечного света, все озаряя и все забывая на своем пути...

Христос в аду: А то, что наверху отражение того, что внизу, аминь... Так что Дон-Аминадо тоже отражается на седьмом небе...

Сатриры (*в пещерах и в шелковых носках*): Слава моряку Колумбу Христофору... открывшему Америку для пушского простору...

Матери в преисподней: Ничего не поделаешь, мы открыты...

Олег хорошо помнит свои первые пробуждения в Фавьере... Сперва поражало: как это вообще может быть, что над головой вместо пожелтевшего потолка реют чистые, всегда как будто только что вымытые ветви сосны, краше которых не выдумаешь, а между ними, над ними такое синее, такое безупречно синее небо в неопикуемой своей утренней ласке, верности, покое... Как вообще можно жить, спать под открытым небом, и никто, никакой городской к тебе не привязывается. Вставать было приятно еще потому, что не нужно было ни одеваться, ни стелить постели... Все еще спало на низкой даче; и хоть окна были открыты, все было полно опасной, удачной, враждебной жизнью, угрожающе-беспечно погруженной в сны, как беззаботный силач, которого и во сне хранит его сила.

Вымывшись у шайки с водою и, не глядя, причесав мокрую голову, оба бандита шли в городок, и, входя в магазин, Олег каждый раз умолял Безобразова ничего не красть, а Безобразов с удивительным самообладанием и быстротой исполнения крал огромные плитки шоколада, неподражаемо безопасно продолжая разговаривать с булочницей, в то время как та отлучалась в пекарную закуту за хлебом. Шли они мимо еще спящих отелей, окрашенных в неправдоподобный розовый цвет, делающий их похожими на выставочные балаганы, а там, где бульвар кончался, на пустыре, садились на каменную стеночку, ограживающую пустой пляж, и, свесив ноги, пили холодное молоко, от которого становилось больно в носу. Потом, отяжелев, не спеша возвращались среди кустов, за которыми красные люди с комической серьезностью раскрывали консервы у своих усовершенствованных палаток, сразу, до отвращения, возвращавших душу в город, на витрину универсального магазина, ибо они, новички, но настоящие бродяги в душе, сразу, не стараясь нисколько, потеряли городской вид. Дальше путь шел вдоль пустынного пляжа с тысячью разноцветных пород камней, на ко-

торые, омывая их и придавая им сказочный блеск и окраску, не спеша набегала необъяснимо голубая вода.

Эти утра с Аполлоном были счастливым временем без Тани. Кажется, Олег только тогда, покуда она не просыпалась, замечал природу вокруг себя. Когда же она своей притворно спокойной походкой появлялась в конце пляжа, все вокруг становилось вдруг не важным для Олега, все было лишь декорацией мучительно происходящего.

Утро было ослепительно спокойно. Налево над дальним мысом — горы, от которых они отдалялись, а впереди на скалах — неподвижные оранжевые сосны. Теперь они шли уже по сплошному ковру хвои, успевшей нагреться, и в треске цикад тепло и пряно пахнушему. Поднявшись на скалы и опять пройдя мимо дачи, где уже кто-то шумно умывался, они спускались на свой дальний малолюдный пляж, где еще не было ни души. За ночь вода смывала следы голых ног и песок, отяжелев от сырости, разглаживался так, что пляж казался необитаемым, и совестно даже как-то было его портить шагами. «Некоторые люди портят, пачкают море, не только они гадят в него, так что кал их свежий и лоснящийся всплывает рядом с ними и они спешат от него прочь, плещутся и перекликаются, засоряя горизонт своими мягкими телами», — говорил Аполлон Безобразов, вспоминая любимые им слова Константина Леонтьева о безупречности природы и внезапной кляксе на ней — городском человеке с тонкими ногами... Но пока они были одни и пока Аполлон Безобразов делал гимнастику, насыпав в выброшенную морем жестянку от керосина мокрого песка и гравия, пока он крутил и махал ею, лежа поднимал кончиками пальцев сзади своей головы, Олег, мрачно щурясь, чесал свой стыд и глубокомысленно тупел на солнце. На него, городского человека, море действовало сногшибательно, как спиртной напиток на эскимоса, он буквально терял себя, терялся в его сиянии, не могучи ни думать,

ни говорить. И вот, решившись наконец, влезал в воду, почти горячую, но все же неприятно охлаждающую спервоначалу раскаленное тело, доходил до глубокого места и, зажмурившись, бросался вперед, делая первые движения кроля, пять-шесть взмахов для разгону, совсем не вынимая голову на поверхность, и вот уже в горячем кипении клокочущий шум окружал его — то в низко опущенной голове под водой с грохотом отдавались движения рук, рвущих, гребущих, режущих воду. Но еще сильнее рокотало дыхание, когда, кратко глотнув воздуха, он переворачивался с боку на бок, с силой выдыхая его под воду в феерверке пузырей. Левой рукой было не так интересно колотить воду, она была у него слабее, зато толстая его правая рука углом локтя выныривала, как плавник акулы, и, разрезая бурун ладонью на возвратном ходу, срывала воду на своем прогоне. Захлебываясь от шума и почти не видя ничего впереди, Олег скользил толчками вперед, и Аполлону лень было за ним попевать, он плыл сзади удобным оверармстронгом, но в конце концов всегда обгонял зарвавшегося, вымотавшегося Олега. Так долго они не оборачивались назад, когда же наконец Олег оглядывался, пляж вдруг казался осевшим куда-то, а сосны — маленькими зелеными пучками на нем; но Аполлон плыл дальше и дальше, часто меняя повадку...

О счастье чистого физического бытия, вырвавшегося на свободу, счастье усилия, счастье зеленого шума, счастье податливости водной стихии, вечно срастающейся позади тела в светлом переполохе, кипящей перед глазами! О счастье руки, особенно правой, озорничающей, дерущейся с водою (наперекор всякому правилу, которое хочет, чтобы ладонь мягко, по-рыбы, без углов скользила в воде, но тогда не будет счастливой возни и пены, и Олег нерасчетливо, неуклюже рвал воду, так что водоворот постоянно мешал ему двигаться, в то время как Аполлон Безобразов бесшумно, неказисто все скользил и скользил вперед, как желтый дельфин)! О счастье ступни,

уставшей делать чечетку и как попало гребущей воду!.. О счастье лица и смешное несчастье глаз, которые ест соль!.. И вдруг становилось «страшноватенько», ведь так далеко залезли, но Аполлон Безобразов в точности измерял пройденное расстояние по медленно, домик за домиком, выступавшему вдали Сен-Тропезу из-за ближнего скалистого носа, на самой горбинке которого, как наблюдательная вышка, светилась на солнце Танина дача... Погоди... Кричал Безобразов... Сейчас тебе приедет подмога... И действительно, неуклюжий парус дачного морехода едва не топит самого Аполлона Безобразова, ибо они уже полтора часа в море и пляж успел наполниться слабо-нервными дачниками. Местные люди, до суеверия, никогда не купались, но под настоянием тщедушного беспокойства не раз сумрачно выезжали на лодке спасать утопающих, и Аполлону Безобразову доставляло удовольствие подпускать их совсем близко и когда с лодки уже кричали: «Tiens bon, mon brave, on arrive»!¹ — вдруг декоративно рассекая воду, уплыть от них прочь, в то время как перевозбужденный Олег барахтался в воде и орал на них: «Alors! Plus possible de circuler là dedans. Bande d'impotents!»² Отплыв на большое расстояние, там, где давно прозрачное море под ними казалось чернильно-синим, они ложились на спину и торжествовали, благоденствовали. Снизу и сверху были две синевы, одинаково теплые, а берег тонкой зеленой полоской расширялся до бесконечности — ничего не понять, где наш пляж, где соседний, — и на нем, тяжело придавив его, выступали горы. Собственно, Олегу, давно нервически трусившему, хотелось вернуться, по временам даже острая тоска-страх сжимала грудь, но вот Аполлон Безобразов поворачивал, и уже как попало — на боку, без фокусов — ползли они к берегу и, бывало, так уставали, что, казалось, не двигались с места, в шуме же прибоя

¹ «Держись, парень, сейчас поможем!» (фр.)

² «Надо же! Поплывать негде! Собрались одни импотенты!» (фр.)

от слабости едва могли вылезти, и все казалось, что встречная волна унесет их обратно, и, раза два с тоской барахтаясь у берега, чуть не захлебнулись на мелком месте. Все снова было пусто вокруг, ибо кокетливо причесанные молодые люди уже поиграли в мяч и, обмакнув натруженные органы в водную стихию, самодовольно вернулись к домашнему обеду. Для Олега же и Безобразова дело это было много сложнее: надо было, стараясь быть не замеченными с длинного стола в саду, пролезть на кухню и там на допотопном очаге на треноге кипятить свои макароны с дымными томатами, чтобы, пожевав их, жадно погрузиться в красную сладкую арбузную мякоть, возя по ней мордой и далеко сплевывая косточки.

После обеда Безобразов исчезал с книгою, которую, не читая, вечно носил с собою, ощупью впитывая-вбирая ее содержание. Уходил в горы, где до седьмого пота карабкался по скалам, чтобы, далеко отошедши от всего живого, спать в каком-нибудь орлином гнезде. Здесь, засыпая, он думал свои золотые буддийские мысли, о солнечном круговращении всего, о тождестве свободы и необходимости, о легкости мира, который так легко сдунуть с себя, как оцепенение золотой послеобеденной сонливости, а внизу, на несколько верст под ним, нестерпимо торопливо, тяжело, тревожно начиналось короткое, как гроза, счастье Олега, быстро долженствующее смениться столь долгим и тяжелым ливнем слез.

Уверенно опираясь на свои крепкие полные ноги, нарочно от переизбытка чувственности не двигая вовсе ногами-боками, а сжавши их, Таня медленно, со злобным своим и великолепным достоинством приближалась с противоположного конца пляжа, и, не смотря на близорукость, Олег сразу признавал ее нарочно вызывающе незаметную фигуру и весь в отчаянии радости болезненно застывал в неудобной позе. Все так же медленно, ни за что на свете не ускоряя шага, Таня подходила к нему и деланно спокойным

голосом, столь противоречащим жестокому татарскому огню глаз, здоровалась. Взгляд этот так мучил Олега, напряженный, непроницаемый, вровень с глазами, никогда не выражавшими ничего, кроме того, что она хотела, никогда не раскрывающийся взгляд этот так смущал его, что он предпочитал идти немного сзади нее, ибо так, невидимый, он вдосталь мог насладиться, насмотреться на ее широкую коричневую спину, выпуклым треугольником покачивающуюся при ходьбе, переходя наконец в не очень широкие ее бока в голубой выцветшей холстине. Таня была невысока ростом, но так ладно и крепко скроена, что казалась крупной, как афинский Парфенон, ростом не более четырехэтажного дома, кажется грандиозным, и, подобно его колоннам, загнутым наверху вовнутрь, плечи Тани не торчали углами, а мягко округлялись под тяжестью мускулов, и он вспоминал, как когда-то Аполлон Безобразов сказал, вдруг задумавшись, как будто вспоминая что-то и презрительно-печально выпучив губы: «Если ты хочешь узнать наверное, любишь ли ты человека, посмотри как-нибудь на него сзади, когда, не ведая того, он одиноко шествует по бульвару. Что-то есть удивительно непохожее в походке каждого человека и в выражении его спины — его слабости и силы особенной, — и если сердце твое не тает, значит, ничего тебе не поможет и не любишь ты его».

Идя сзади, Олег вдосталь насмотрелся на эту спину и, не возбуждаясь (куда там!), а как-то содрогаясь, постигал солнечную логику совершенного равновесия ее тела на оранжево-синем фоне моря и скал — и все это для него, изголодавшегося по золотой реальности в богословской печали Лафорга и Пруста, было каким-то до наглости прекрасным откровением о воплощении, об объективном раскрытии духа, не о падении в материю, а об ослепительной его объективации, в которой он обретает свою славу, о древности, о счастье удачных рас, о непоправимом позоре всего предавшего жизнь и без любви не радостно, не

достойно рожденного, что-то спокойно уничтожающее было и для него самого в этой непорочной, нервной механике, оно рождало недобрый страх, архаический страх, восхищение перед богами, по которому они безошибочно опознавали смертных и, улыбнувшись, отворачивались от них. Олег и Таня тоже поднимались в горы... Таня — весело, спокойно, все замечая, все отмечая на своем пути; Олег — невесело, беспокойно, восторженно, путанно, невпопад отвечая ей. Ходила Таня неутомимо, крепкой, без сухости, хорошо поставленной ногой перепрыгивая с камня на камень, карабкаясь все выше и выше, бравируя бесстрашием, наслаждаясь страхом — пока наконец на гребне горы не раскрылся им по ту сторону ровно такой же, только еще более девственный пляж, и она сдалась, поняв, что за новой, еще более высокой горой, которой он оканчивался, преграждался, опять море на белом песке целуется с берегом без свидетелей и что ему все равно не помешаешь.

Здесь, среди горячих камней, они устроились, сели, и был у них первый большой разговор, во время которого Олег все время соглашался, вдруг сорвавшись в какую-то бездну неведомых истин, совершенно противоположных всему тому, чем он так долго и бесконечно печально жил; но за стремительностью полета, отступничества был недобрый страх, вездесущий страх неизвестного, непоправимого, до боли сжимающий внутренности.

Что, собственно, он находит в этой толстой и наглой женщине?.. То, что она может хорошо родить?.. Его родить — с его грязными ушами и безвольным ртом... Но она предпочла бы родить от меня, а я не хочу родиться. Рождаясь вновь, согласиться родить... не соглашался никогда. Едва родившись, стал бороться за пробуждение, воздержание... ценою жизни...

И какой за нею стелется лисий, песий запах. Идет и хвостом за собою следы замечает... Толстая лиса Патрикеевна с татарскими глазами... Нет, не тебе ме-

ня съесть... И как он сразу потерял самостоятельность, достоинство, мужество, юмор перед нею, как он меняется в лице, когда она входит с непонятным видом, вся пружиня и выгибая подъем, чувствуя свой пол при ходьбе. Кстати, интересно, как женщины чувствуют свой пол... Сокровище между ногами... Как часто она вздрагивает от резкого режущего звука или отвратительно передергивается, сгибаясь на стуле, как будто чувствуя острую боль в своем поле, им одним, как центром своего существа, оценивая, ощущая, почти ощупывая мир... Берегут, моют, носят его с собою повсюду, даже в церковь, особенно в церковь. У мужчины пол на отлете... так себе болтается, а у них он глубоко запрятан, скрыт, заветно сдавлен, и первый жест защиты своего сокровища — это покрыть рукою пол. А мужского пола они нервически чуждаются, боятся, потому что весь мужчина, со всеми своими идеями, есть для них ходящий, говорящий, вертикальный пол.

Смотри, Безобразов, как бесконечно неожиданно, как неожиданно богата форма каждого камня. Взвесь его. Возьми его в руки. Не бойся сделать усилие. Видишь теперь, как его, горячего, горячо любит земля, не позволяя ни на мгновение оторваться от своего живота. И не потому ли так лелеешь ты и нагоняешь свои тяжелые руки, чтобы разлучить любимого и любимую надолго, подобно Гильгамешу, на которого разгневались боги за то, что он разлучал возлюбленных, принуждая их строить стены городов.

Прильни лицом к хвойному жару земли и слушай — ты ничего не услышишь, а там трудится подземный жар, текут раскаленные реки; напрягши слух и забывшись, может быть, услышишь ты, как маленькая и упорная птица деловито, печально, солнечно, настойчиво выкрикивает всю свою тайну. И снова постигаешь ты, что сущность всех вещей находится на самой их поверхности, не за вещами, и некуда за нею ходить. Раскрой ладонь и поцелуй ее. Не внутри

между костями и кровью раскрывается тело, а в золотой откровенности своей в коже. Кожа есть откровение тела, усталости, счастья, здоровья, страха, порока, вожделения, и нет ничего глубже кожи. Целуй горячую кожу земли, гладь ее, нюхай и пробуй на вкус, не под кожей, а в ее обнаженности раскрывается, дышит душа земли, и нет ничего глубже поверхности. Но чем была бы кожа без зрителя своего, не царапает ли себя от отвращения запоздалая девственница, не знающая мужа, так вот и вся красота мира радуется твоему зрению, как оно ей. Смотри, Безобразов, земля легко выносит тебя, как огромное дерево легко выносит птицу ситуирующую, раскрывающую, подчеркивающую его величину сказочным отдалением своего полуденного пения. Ты и земля хорошо понимаете друг друга, и потому так ровно дышит грудь, как будто и нет дыхания, так спокойно бьется сердце, как будто отсутствует вовсе. Вещь сама себя видит в тебе и сама себя в тебе находит прекрасной. Ты — зеркало мирового тепла, ставшего вещами, и ровно-спокойно, безо всякой мути расстилается оно перед тобою, как перед голубым лицом мира. Добродетель же зеркала есть и твоя добродетель: все отражать, всюду присутствовать, терять себя, теряться в зеркале зрения, непоколебимо, не дрогнув, встречать ослепительные человеческие глаза. Так встретился ты и, почти не дрогнув, отразил тяжелые Татьянины глаза, и только на мгновение зарябила поверхность, разошлась чуть видными кругами, полосами, лучами и снова расправилась. Нет, Аполлон, ты не найдешь Бога в человеке, пока не полюбишь человека в Боге. Все личное кажется тебе неприлично, назойливо привязанным к самому себе, больше всего обреченным самому себе, обязанным благородством игры защищать свою неповторимость, и поэтому неприлично бояться смерти. Зрение же одного полднего зрителя есть продолжение зрения другого, если это хорошее зрение и он умеет забыть себя, забыться в зримом, в самодовлеющем совершенстве зримого.

Но ты устал, Безобразов. Ты незаметно для себя смертельно устал торжествовать, устал видеть, устал быть видимым. Так самый яркий час недалек от первого вечернего сумрака, а ночью исчезает и зритель, и зримое, и только звезды и горячие живые сердца неподвижно кипят в своей ненасытимой жажде счастья. Потеряв жажду, ты потерял эту вездесущую ночную жизнь, Аполлон, ты теперь самый поверхностный человек в мироздании, потому что жажда и боль — его глубина, а тебе небольно.

Тихо, медленно, как огромная солнечная волна, сквозь тысячу форм и мучений мир приходит к очевидности самого себя и не может себя вынести, и долго в солнечном оцепенении, прощаясь, он смотрит на самого себя с высокой горы, удивляясь своей бесполезной красоте... Сила твоя, Безобразов, в отказе от всякого участия, в отказе от обиды и боли, в отказе от гордости и обвинения, в этом — стеклянная, золотая, неживая чуждость твоя всему живому. Но почему так больно было, так больно, почему не что иное, как боль дышит солнечным звоном от раскаленных камней?

Как часто, почувствовав неожиданный отпор, ты с религиозным немым удивлением всматриваешься в лицо противнику, повторяя про себя: этот человек свободен предпочесть свое зло моему добру. Как будто вдруг проснувшись и впервые ощутив всю неправивость этой свободы и смутно вспоминая то давнее, то мировое мгновение, когда все небо с тысячами его ослепительных глаз замерло в страхе... Да что он делает?... Не довольно ли с человека жизни и счастья? О, остановись, остановись... Ведь свобода в мире одна, и сейчас она всецело твоя, а тогда она будет непоправимо его и твоя... Но золотой мечтатель не слушал спокойно, спокойно в оцепенении решимости глядя на человека, который, как атлетическое растение, ничего не понимая, невинно в своей наготы смотрел на Бога; и вдруг стрела огня вылетела из уст Бога, вырвалась прочь, и все небо ахнуло, а чело-

век незаметно, но странно переменился в лице, но ангелы заметили, что и Создатель его переменился уже потому, что раньше у него вовсе не было лица, — и это, с огненными устами, почтительно повернувшись к нему спиной, говорили только что ангелы... Из огненного облака вдруг навстречу человеку выступила дивная, тяжело-мужественная, тициановская, человеческая фигура, и никто не умер, смотря на нее с невыразимым и спокойным вниманием восхищения.

За горами, закрывающими видимость, скоро оказались другие горы, с которых первые кажутся холмами, но столько пути до их подножья, что подняться не хватит ни дня, ни вечера. Повернувшись к ним спиной, чувствуя за своей спиной их скалистую недостижимость, обернись, душа, к морю, ибо достаточно уже ты поднялась и не следует тебе слишком отдаляться от жилых мест. Так Таня и Олег не очень высоко поднялись над дачным миром, и там, где первый гребень кончался среди редких сосен, скрюченных ветром, неизвестно когда здесь дующим, они остановились в каменной выбоине и, прищурившись, смотрели вниз на море. А там, вдалеке, на горизонте, лежала белая дальняя полоса дальней непогоды, и оттуда бесчисленными правильными рядами шли волны, затемняя цвет воды. Солнце было высоко, и август только что начинался.

— «Бойтесь неудачников: и себя погубите, и им не поможете» — вот фраза одного чернокнижника, которая меня поразила... Земля должна принадлежать здоровым, хорошо рожденным расам, потому что она не богадельня, и это из настоящего сострадания к слабым, они, эти слабые, должны быть уничтожены с лица земли.

— Но в чем, собственно, они виноваты?

— Ни в чем... Стул, например, не виноват, если он не стоит на ногах, и зеркало, если оно криво отражает лицо, но они должны быть уничтожены, ибо виноваты их создатели...

— Следственно, больные не имеют права иметь детей.

— Какая чепуха... В ребенке воплощается, продолжают жить вовсе не родители, а любовь этих родителей; так, чистокровные отцы часто рожают жалких, неживых детей, самые же нервные, хрупкие люди способны родить атлетическое солнце на коричневых ножках, потому что в нем станет плотью не они, а их любовь... Каждый природно удачный, естественно счастливый человек — ведь это такая бездна тайной праведности десятков поколений, их бесчисленных жертв во имя жизни, и они, как мед, разлиты в его золотом теле... Я жалею не слабых, а неживых, бестемпераментных, молодых мертвецов, но стыжусь своей жалости, ибо только восхищением меня можно привязать... Меня можно невольно разжалобить, но я тверда и беспощадна, когда я люблю, и я вся трясусь от отвращения, когда взрослый мужчина требует жалости...

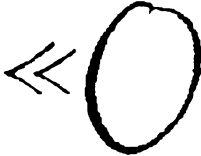
Таня говорила это вообще. Она только что прочла первые запрещенные книги и во всей новизне только что обретенной умственной свободы радовалась своей жестокости, как дети только могут радоваться злу, то есть всем сердцем, до samozабвения мучая животных... Он казался ей в эту минуту тем тяжелым горячим телом, которое физически не может плакать, но зато умеет делать больно, сладко до боли делать больно, о котором она, еще не встретив его никогда, писала в своем дневнике: «Как дивно это устроено Богом, что женщина совсем не страдает от тяжести мужского тела на себе».

Олег, неприятно пораженный, молчал, снизу вверх смотря, как реют ее золотисто-русые волосы в ослепительно мертвой синеве неба... Потом они медленно спускались...

III

Tu peux sortir en robe de cristal,
Ta beaute continue.

*Paul Eluard*¹



морe, о морe, сколько раз я выходил к тебе, кричал, звал и спрашивал, и ты отвечало мне, не отвечая, утешало, не замечая, вечно равномерно напевая о красоте и о невинности всего, о морe, атог.

О морe, самое роскошное и самое скромное из всех божеств, ты одинаково наряжаешься и для меня, и для богатого твоего поклонника, свесившего руку с белого борта моторной лодки, — всегда свежевывмое, всегда великолепное перед тысячей художников, как и перед пустынным скалистым берегом, где бедный рыбак читает прошлогоднюю газету. В глубине своей абсолютно спокойное, ты вечно кокетничаешь, сияешь и играешь на солнце, отражая его лучи, как солнце, как сердце кокетничает с Богом, как я весь освещен твоими синими лучами, так что страница, на которой я пишу, кажется голубой. Тончайший песок налетает на нее, и над ней наклоняется мята, что так же равнодушно к зрителю уже отцвела, потому что август проходит; странный месяц — ни лето, ни осень, и лето и осень, как мои тридцать лет.

Спеши, птица, спеши, улeтая на зов в камыши, завтра сентябрь; в нем небо и кровь холоднее, над заброшенным пляжем не будет в песке ни души, тихо в

¹ В хрустальном платье можешь выйти ты —
В красе своей не потеряешь.

Поль Элюар (фр.).

уровень с книгой качается мята над нею. О море, атог.

Волшебница, сколько раз в день ты переодеваешься, сколько я знаю твоих платьев, синих и голубых, зеленых, темно-лиловых полуденных, которые так пышно шумят на ветру, темно-серых вечерних, покрытых белыми кружевами, и утренних розово-белых, таких гладких, что, как риза Спасителя, кажутся они сделанными без единого шва. Но больше всего я люблю твои первые платья, утренние, такие сияющие, все покрытые блестками, лучами, разводами, в которых ты встречаешь торжественный августовский день, о море, атог.

Тихо в полуденной синеве меж камнями, до дна налитыми жарой, безостановочно четко, певуче звенят цикады и вдруг все вместе останавливаются, согласно тайному неписаному ритму, и снова воздух кипит на солнце от тысячи однообразных голосов. В море ни складки, в воде ни тени рыб, в высоком воздухе ни одной птицы.

О море, как я люблю тебя, я сейчас брошусь к тебе, поцелую твои соленые губы, и ты, не почувствовав моего поцелуя, ответишь ему, до шума в ушах, до соленой боли раскусанных губ, о море, первая и последняя любовь».

Таня и Олег, прыгая по скалам, спускались к воде — она впереди, играя, наслаждаясь бесстрашием, точностью движений и силой коричневых ног, он сзади, часто срываясь, неуклюже оступаясь и обдирая руки, переволнованный, обалдевший от любви, стеснительности и жары. В другое время он охотно принял бы участие в гонке, сам бы пощеголял отчаянностью, но сейчас кровь слишком стучала у него в ушах, так что он едва поспевал за нею; наконец, измучившись и вспугнув целую колонию нюдистов, как худые красные раки прятавшихся за камнями, они сползли на плоские глыбы скалистого мыса и сели, овеваемые свежестью водяной пыли, пролетавшей над ни-

ми при каждом ударе волны. Ветер усиливался, на горизонте лежала тонкая белая полоска — там, за горизонтом, была буря, и оттуда высокими рядами шли волны, по временам в нетерпении теряя кипящие белые гребни.

Подходя близко, волна вырывала перед собою синюю яму, на дне которой с шумом перекатывались блестящие камни, подымалась высокою синей стеной, вот-вот захлестнет, и, взметнувшись, ударяла о скалу. Тогда пена поднималась выше их головы, в трещинах между скалами синева, кипя, набегала вперед, но волна уходила, и тогда из них в обратную сторону клочкотали целые водопады.

Но так надоело сидеть, Таня подалась ближе, скинула туфли, и широкие подола ее выцветшей пижамы потемнели от воды, но и этого ей было мало, ошалев, она лезла на мокрые камни, и Олег неприятно, по-стариковски пугался за нее, потому что под ослепительным небом море и ветер видимо, на глазах сатанели, теперь волна приближалась в ракурсе с дом величиной, Таня в смешливом ужасе шарахалась назад, крича что-то, но ничего не было слышно, и дикой свежестью на лицо и грудь с неба валилась вода, платье и волосы липли к лицу, они, жмурясь, утирались, фыркали, а в ответ с бутафорским, хрустальным громом, обдавая их с ног до головы, вновь и вновь наступали волны — одна из них, особенно сильная, чуть не стащила Олега за собою, так что он едва удержался, уцепившись руками и ногами, и не на шутку струсил; зрелище теперь было грандиозное и опасность немалая, потому что в этаким котле никакое плаванье не поможет, да и Таня, как часто бывает с сильными от природы людьми, спорта не понимала, плавала плохо.

Среди непрерывных фонтанов, в непрекращающемся, счастливом шуме они теперь смеялись до упаду, обнаглев до безрассудности, между двумя волнами лезли в самое пекло; Таня раскрывала руки, зажмурившись, подставляла лицо воде и, хулиганя и

наслаждаясь, окончательно расшевелила и успокоила Олега.

Наконец натешившись, измученные, счастливо усталые, мокрые, как щенки, они полезли назад, нашли свои туфли и неуклюже принялись их надевать на мокрые розовые, как раковины, ноги, кое-как пятерней причесали волосы и двинулись в обратный путь уже по горной тропинке и, скоро выйдя из каменного хаоса, наткнулись на белую скупающую группу русских дачников с папиросами и «Последними новостями», которые с каким-то суеверным недоумением уставились на них.

Снова желтая широкая спина Тани, теперь уже не такая страшная, враждебная, покачивалась перед Олегом, а он был почти счастлив — ведь еще целый месяц таких художеств, но скоро у калитки им пришлось расстаться, ибо Тане теперь нужно было влезть в окно собственной комнаты, так как все взрослое буржуазное общество давно сидело за столом на площадке. А Олег, вновь попав в свою низовую категорию и оставшись один в лесу, побрел куда глаза глядят, искать Безобразова, чтобы вместе с ним, как индейцы, пробираться на кухню и жевать там свой вечный рис с томатами и постным маслом, который теперь они на четыре дня вперед варили на мангале, впрочем, аппетиты у них были волчьи, а есть после моря — великое наслаждение.

После обеда Таня запиралась заниматься, но, едва закрывались ставни, тотчас же засыпала в духоте, плечом и лицом на все той же странице, замусоленной от ее сонной тяжести. В полдневной пустыне Олег блуждал дик и нелюдим, с выгоревшими волосами, — то там, то сям бесцельно появлялся на скалах. Время ожидания шло медленно, и все вокруг казалось неинтересным, чересчур назойливо ярким, то грозным, чужим, враждебно, ослепительно равнодушным. Волны все так же медленно, мягко ложились, и, казалось, вода дремала там полминуты, прежде чем опять пошевелиться, несколько не ускоряя

своего привычного ритма, оттого что Олег, злобно шурясь на синюю даль, ждал, сидя на песке. Ему бы хотелось, чтобы все, как то бывает иногда в кинематографе, ускорилося, понеслось к шести часам. А в шесть часов в мертвой тишине, внимая хрусту собственных шагов по гравию, он, как к львиной клетке, подходил к даче и стучал в окно, не получая ответа. Осторожно раскрывал ставень, и разбуженная ярким светом и пристыженная Таня с отоспанным, красным, кухарочным лицом вскакивала и принималась причесывать волосы.

Вскоре в комнату, также через окно, влезла Надя, широколицая девушка необычайно кукольной, атлетической красоты. В противоположность Тане, она была непосредственно и наивно-кокетливо смешлива, на все смотря огромными вызывающими синими глазами, хотя так же, как и Таня, инстинктивно, по-звериному молчалива и скрытна, а вслед за ней влезал ее душегуб, охранитель, высокий, сумрачный красавец с убеждениями, говорящий на странном парижском русском жаргоне, смеси галлицизмов и зощенковских словечек. Надя и Таня всегда молчали вместе. Таня — зло, умно, напряженно ожидая, схватывая, утилизируя, осуждая всякое слово. Надя — наивно, грубо, глубоко смешливо, как небо, раскрыв свои огромные, выпуклые голубые глаза, совершенно лишенные взгляда, — податливый, по-звериному неуловимый экземпляр русского сексуального творчества.

Это было прекрасное соединение атлетических молодых тел, скученных в небольшой, выбеленной известкой комнате, в окне которой вовсе не было ни рам, ни стекол, а только зеленая итальянская античная ставня в одну створу. Но над ними плавала, висела — вечное мучение — наследственная чопорная скука глубокоречивой русской чеховщины, не устаивающей говорить ни о чем земном и милом, не умеющей без скуки говорить ни о чем возвышенном; дух, борющийся с телом. Внешнее, грубоватое, де-

ланное товарищество, напряженная, суровая, любовная борьба внутри. Вечная нерадостная му-чительно-знакомая русская гимназическая атмосфера.

Приходил (может быть, на руках) и человек-обезьяна, молчаливая темно-коричневая статуя из одних мускулов, с красивым, замечательным, губастым лицом испанского преступника, аристократа, художника. И наконец, невесть откуда, но уже через дверь, постариковски являлись Аполлон Безобразов, встречаемый сумрачным многозначительным взглядом вдруг темневших Таниных глаз, и еще одна глубоко измученная жарой грузинского вида барышня.

Разговора не получалось, потому что Олег столь же внутренне, как старший, снобировал их, как внешне неумело пресмыкался, жаждучи из-за Тани поддержать компанию, — терял искренность и достоинство и, мучаясь этим, злобно внутренне передразнивал их полурусские обороты речи.

Поэтому все любили танцевать. Во-первых, конец разговорам, во-вторых, сексуальное освобождение, тайный сексуально-эстетический разряд до скуки сдавившей сердце молодости. Любили и выпить, но боялись, ибо где-то около ходил и жил грозный бородатый создатель, поддержатель, блестящеголазый, золотоочковый бывший революционер, ныне ученый химик и крупный деловой мужик.

Странно в солнечной тишине сада на скалистом мысу звучал механический голос граммофона. Печально, надтреснуто, как будто издалека, из Парижа, как будто по телефону слышный, слышимый. За окном ослепительная, полуденная духота сменилась теперь неподвижной, сияющей духотой вечерней. Цикады кричали еще громче, но сад был уже освещен оранжево-розовым светом закатных облаков, а за ними внизу море приобретало уже тот странный, свинцовый, тяжелый масляный блеск, который сразу делал все угрожающим и чуть нереальным, так что вот-вот и жди, что между двумя ветвями на далекой глади — до странности по-сонному,

по-астральному четкий — появится черный эгейский корабль с неподвижно висящим буро-красным парусом.

Медленно-спокойно, печально-упорно, как пчела, звенел граммофон, и все продолжало наливаться красноватой, отраженной яркостью неба.

Вдруг понимая, вдруг видя что-то новое, чужое и неизбежно мучительное в Тане, Олег уже не верил, что это она все утро бродила, хулиганила с ним; сумрачно кокетничая с Безобразовым, Таня опять была величественной, каменной, тяжеловато-надменной.

Несколько раз уже Олег пытался встать и пригласить Таню, но сердце начинало так мучительно биться и он казался вдруг сам себе настолько неуклюжим, уродливым, узкоплечим, что он, психопатически боясь отказа, не мог решиться, но все-таки наконец встал. И едва помня себя, едва прикасаясь к Тане, обнял ее. Граммофон заиграл «Jalousie»¹, медленное, навсегда памятное цыганское танго того лета, и так, едва дотрагиваясь до нее, едва смея двигаться, он поплыл с нею по комнате, и комната поплыла перед ними в розовато-душных сумерках неподвижного августовского вечера. Они танцевали; сердце Олега вдруг обнаруживало, открывало, понимало, что они вместе плывут в бесконечную и бесконечно-долгую боль, в унижение, поражение, обиду, разлуку, но сила отплытия, отрыва, отчаливания от земли и старой жизни была так могущественна, так нова, так стремительна, что Олег, не помня себя, не защищаясь, сам до боли раскрываясь, шел на нее, как будто шел на бритву, — тая, гибнучи безвозвратно, продаваясь в рабство в горячем розовом неподвижном воздухе вечера.

Звуки, тихо звеня, тихо, глухо рождаясь, медленно летя сквозь густой воздух, буквально рвали теперь, губили Олега, сладко до боли, больно до сладости входя, вplывая, врезаясь в сердце. Казалось, огром-

¹ «Ревность» (фр.).

ные дали, горы, фрески, сказочные описания городов и путешествий раскрывались где-то за окном, и он кончиками пальцев не смел прикасаться, не смел почувствовать грозного, необычайного тела танцующего с ним божества. Танец кончился, но Олег теперь знал, что надолго раскрылось, проснулось сердце. Знал также, что Таня не любит и, может быть, даже никогда не полюбит его. Сумерки сгущались в нем ощутительно до задыхания, мучило его, сладостно резало душу что-то летнее, грозное, неповторимое навек. И долго потом в своем лесу, как беглые каторжники, он и Безобразов, сидя друг против друга у двух пней, жевали безвкусный рис с томатами, заедая нечищенным сладким огурцом, присмирив от явственного присутствия чего-то непоправимого.

День наконец кончился, бесконечно долгий летний день. Слабосердечная истеричная экономка собирала обедать. Таня странно-угрюмо согласилась встретить Олега после того, как проводит Ивана Герасимовича, который стоял постоем на другой даче. По уговору, Таня и Надя должны были вернуться домой спать, но тотчас же за калиткой, не сговариваясь, расстались, исчезнув в темноте по темным своим делам. Олег в неудобной позе сидел при дорожке на хвое и ждал. Тьма в лесу была непроглядная. Музыка в Сен-Тропезе не играла в будний день, и там, далеко-далеко, где-то за горами, гудели моторы военных аэропланов, совершавших ночные полеты. Иногда одна из огромных звезд, а то две-три симметрично начинали двигаться между черными ветвями. Но, пересекши небо, они исчезали в ровном рокоте, и снова ночь вокруг была непроглядна, прекрасна, враждебна, и Олег в ней, как доисторический охотник, был потерян, напряжен, весь превращен в слух. Для него, городского подростка, кофейного юноши, эмигрантского молодого человека, выросшего в дожде, все продолжало быть необычайным, и тишина была так сильна, так страшна, так совершенна, что Олег все время слышал шум крови в ушах. Издалека

услышал Олег, как идет Таня, услышал последние слова, которые она, посмеиваясь, бросила Наде: «Ты поосторожнее с ним», и тихий, четкий, издали приближающийся хруст гравия под ее крепкими ножками, ее крепких ножек по сухим веткам. И вот уже, слабо маяча между деревьями, бело возник тихий, молчаливый, сказочный световой круг от ручного электрического фонаря. Олег, притаившись, молчал, белый свет приближался, совершенно скрывая идущую за ним, и вдруг Олег почувствовал себя в фокусе электрического глаза и дико, как пойманный зверь, уставился в него.

В ту ночь, полную звезд, полную тяжелого запаха хвои, среди теплых, во тьме не позабывших солнца камней, они впервые поссорились, и Олег, оторвавшись от Тани, в непродолжительном безумии храбрости ушел блуждать по берегу в зловещем свете поздно вставшей ущербной луны, повторяя про себя любимые грубые фразы свадебного марша «Лоэнгрин», и вдруг разом погасло возбуждение, сердце физически сжалось предчувствием непоправимого, он бросился искать ее и не нашел. О ужас, ужас, древняя потеряемость, античное отчаянье среди великанов судьбы и природы... Бегом вернувшись к дачам, Олег с дикой мукой в сердце остановился растерянно на перекрестке нескольких дорожек. Луна теперь поднялась выше, и весь лес был изрезан белыми полосами, но где в них Таня?.. Куда ушла?.. Дома ее не было — Олег уже успел заглянуть в низкое окно... Где, куда, в какую сторону пошла в этом грозном хаосе деревьев, луны и камней? Отчаянье, отчаянье... Я ее никогда не увижу, все пропало. Над ним, вырезаясь черными силуэтами на театрально посиневшем небе, наклонялись огромные хвойные чудовища — как будто их ветви, качаясь, вытягивались в неподвижной лунной буре, бесшумной буре лунного света, как исполинские, черные волосы, относимые бесшумным ветром, — а у их ног Олег буквально ломал и грыз себе руки от неизвестности и тревоги, и все опять каза-

лось театром, все только притворялось небом, деревьями, луною, чтобы лучше его истребить и уничтожить. Его душу, слишком высоко взлетевшую, взошедшую в одиночестве и поэтому, как бешеная собака, осужденную самую природой.

В ту ночь, полную звезд, они впервые поцеловались, на несколько часов в ошалении чувственности совершенно потеряв чувство действительности. Но не миром, не сладостным примирением и новой жизнью встретились их губы, а чем-то яростно, беспощадно недобрым. Таня в его сильных лапах вся перегибалась, застывая на земле, как в каталепсии, он же, безрадостно шалея, мял, ломал и целовал эту крепкую горячую плоть в тревожном, тяжелом обалдении неожиданности и какого-то тайного подвоха, покуда, изомлев и настрадавшись-насладившись, она, охваченная каким-то раскаянием, не сказала ему: «Нет, я не могу любить, есть человек, с которым я связана, которому я должна... Я устала, изолгалась и не в силах теперь напрячь душевные мускулы, раскрыться сердцем навстречу вам...» — «Значит, вы не хотите играть на чистые деньги, а только на мелочь, — так не надо мне вашей похабной мелочи... Счастливо оставаться...» Олег, весь обожженный, весь взбудораженный Таниными зверскими ласками, отрывается от нее и, вдруг сатанея, вдруг со всею страстью любви ожесточаясь, каменея, подхваченный, скрученный воинственным сумасшествием обиды, исчезает во тьме. Таня думает, что он вернется, застегивается, ждет; мрачно, презрительно, горько встает и уверенно, не спотыкаясь, спускается с откоса сквозь заросли, быстро доходит до спящего Сен-Тропеза. Как атлетическое привидение бродит по улицам и вдруг встречает всю полувзрослую банду Олеговых врагов. Пьет и танцует с ними до утра. И тоже до утра Олег проискал ее, простерег, проблуждал, обливаясь слезами, страшась, раскаиваясь, наивно думая даже, не упала ли она где-нибудь со скалы, сам мечтая броситься откуда-нибудь повыше, покуда утро не начало

голубеть, и он, как от удара зажмурившись и закрывшись от него руками, не заполз в палатку, не провалился в тяжелое, счастливое небытие. С этого дня, с этой ночи и началась Олегова каторга.

И снова над Сен-Тропезом раскрылся ослепительный августовский день. Он, может быть, был еще безупречнее, еще лучезарнее, еще спокойнее, потому что, отрокотав свою солнечную службу, цикады вдруг ослабели, затихли и замолкли совсем, как будто их никогда не бывало.

Раскрыв глаза, Олег не сразу, а только на второй такт кровообращения вспомнил случившееся. Сначала, увидев снова яркие, восхитительные, новые ветви в синеве над собою, он хотел засмеяться, растолкать Безобразова, но ровно через секунду сознание чего-то непоправимого и неотложного толкнуло, сжало ему сердце так, что он сперва болезненно расширил глаза и сейчас же зажмурился, и тотчас же непоправимое начало сбываться, и ад Олега начался.

С утра Таня ушла на базар в Сен-Тропез вместе с экономкой; бежать за ними, искать ее было бы бессмысленно и смешно, потому что Таня на людях, отлично владея собою, особенно каменно цедила слова сквозь зубы с теми, с кем с глазу на глаз выясняла отношения. В атмосфере мира это еще прибавляло к остроте счастья, ибо включало как бы кусок нелюбви в ткань любви, отмечая, подчеркивая пройденное расстояние, или кусок начала любви в ее продолжение. Как приятно иногда как бы со стороны церемонно поздороваться с любимым человеком на балу, когда, в лучшем своем платье и в ярком всеоружии своих чар, он является нам в том загадочном ореоле минутной официальности и смущения или нарочитой чопорности, в которой он некогда впервые предстал изумленным очам, — но в часы ссор эта деланная отчужденность настолько походит на настоящую, что Олег буквально страдал от Таниной вежливости.

Следственно, нужно было скоротать все до послеобеда, и в этом мучительно-тревожном состоянии это было адски трудно. Снова Олег заплыл за тридцать морей и, не без труда воротившись на совершенно пустой пляж, с которого все русско-французские молодые люди убрались тонкими ногами по своим дачам, наткнулся вдруг на предмет своего давнего и бессильного вождения — белую душегубку, принадлежавшую одному аристократу с наклеенными волосами, особенно недоброжелательно всегда смотревшему на Олега.

В то утро море блеснуло в последний раз Олегу своим ослепительным синим покоем. Он еще не знал, что это в последний раз, он еще не верил в разлуку, как живое долго не верит, долго — против очевидности — не верит в смерть. Быстро и неуклюже вихляя, лодка отдалялась от берега. Вот уже то место, до которого обычно, назло дачникам, Олег доплывал. Не вернуться ли? Ведь ты устал от плавания, и ладони болят от весла. Нет, дальше в синее-синее, туда, где белым холмиком, подобно барке, в отдалении виднеется заброшенный маяк, буй, мишень для стрельбы, не понять что.

Еще раз Олег отвернулся от берега, чуть не перевернув душегубку. Безграничное синее, необъятно голубое снова раскрылось перед ним... Дальше и дальше. Волны теперь, когда он вышел из-за мыса, превратились в длинные, высокие, глубокие, равномерные синие горы. Они, идучи к берегу, тормозили лодку, и она, казалось, не двигалась больше с места. Раскаленное солнце пылало над его головой, но, несмотря на тревогу о том, что теперь от берега и до островка далече, Олег по временам забывал все на свете и, положив весло, засматривался, опрокидывался в непорочное счастье зрения. Особенно внизу, там, на большой глубине, было дивно красиво. Сквозь темно-лиловый хрусталь на дне все еще видны были какие-то черные полосы и более светлый песок. Сзади Сен-Тропеза — Сен-Максим, все исчезло и сблизилось.

лось тонкой полоской песка под зеленой полоской сосен. Зато горы, наоборот, выросли, надвинулись, и над ними белые облака высокими клубами увеличивали еще их высоту. Направо и налево показался неизвестный берег, сильно качало, и нужно было проснуться и, наваливаясь, грести содранными руками. А когда Олег начал уже приближаться к островку, вдруг вылезшему из воды, большому, скалистому и сплошь покрытому птичьим населением, волны открытого моря так били, так высоко поднимали лодку, что она почти доверху наливалась водой, но не тонула, ибо весь крытый нос и корма ее были непроницаемыми для воды. Но самое трудное оказалось вылезти. Скалы сразу, без перехода, уходили в глубину. Между камнями бурлила вода, пена, и все вокруг было покрыто острыми ракушками. В страхе Олег посмотрел назад, но вернуться, не отдыхая, было совершенно невозможно. Наконец, решившись, он выбросил весло на камни, слез в воду, вытолкнул, вытащил, укрепил лодку и, поцарапанный, с дикой болью в спине, качаясь от усталости, волнения и торжества, вылез на горячие скалы, окруженный облаком потревоженных птиц.

Как далеко он, однако, забрался. Сердце рвалось от одиночества, страха лазури и шири моря. Возвращаться было мучением. Два часа он блуждал, ослабев, относимый волнами, причалил наконец, с жалким, измученным видом человека, ждущего похвал, вдоль берега вернулся к пляжу и сразу увидел Таню, прищуренно-лениво и зло на него смотрящую, вполголоса, медленно разговаривающую с его врагами, и он уже собрался с духом подойти, когда прямо к ним, на них, подошел, надвинулся узкоплечий, худой, как скелет, арабского вида молодой человек, и по тому порывистому движению, которым Таня встала, и они тотчас же, ни с кем не прощаясь, ушли в лес, на другой конец пляжа, Олег понял, что это и есть ее жених.

Солнце село над берегом черным, такими представлялись мне скалы, где бьется кандальник с судь-

бой. Жизнь моя, обещай, что ты меня не покинешь дай еще попрощаться с тобой. Солнце село, и опять загорелся день, горы спрятались в каменные крылья, зеленые перья холмов горели на солнце. Высоко-высоко первородное существо, вечно новая, неповторимая лазурь повторялась в воде. А далеко в море, еле видимые в молчании полдня, неподвижно, все в той же позе лежали острова, куда раз в день из Лаванду уходил коричневый баркас, долго-долго в раскаленной тишине стучал, щелкал своим допотопным мотором, наконец затихая, и снова цикады кричали, хотя голоса их были слабее.

Белый воздух, раскаленный, жидкий, белый огонь наполнял, разделял все предметы, все было скрыто, поглощено и соединено им, как реальным присутствием всюду разлитого равнодушного божества.

О раскаленное счастье, лето, мир без счастья, как ты прекрасен, безжалостен, ослепительно совершен над моей каторгой, ибо именно над пустыней, над циклопическими крепостями, где задыхаются арестанты, над каменоломнями, где сухо и глухо стучат молоты закованных людей, над Рио-де-Жанейро, над Каледонией, Гвианой стоит такое ослепительное безупречное солнце.

Каторга Олега началась. Тани теперь больше нигде нельзя было встретить, и только в обеденное время, когда он, как беспризорный, околачивался около кухни, на мгновение появлялись ее выцветшие синие штаны, и снова до ночи она пропадала неизвестно где, вместе со своим курчавым цыганенком-женухом, с его таким хрупким, таким болезненно-тонким, никогда не загоравшим библейским лицом, и так же, как некогда Олег самодовольно радовался, как храбро она умела, ни с чем не считаясь и не показывая виду, уединяться с ним, бесконечно бродить, купаться, лазить по скалам, так же и теперь, с тем же совершенством звериного исполнения, она исчезала со своей узкоплечей жертвой, и Олег, несмотря на неустанное внимание, не встретил их ни разу, не уви-

дел мельком нигде — ни на пляже у ленивой воды, ни в лесу, где палатка ее выродка казалась совершенно необитаемой, ни в горах, ни на дороге. Исчезла, перестала быть. Олег пытался читать (он привез сюда множество книг, так что едва донес чемодан), но до сих пор не прочел ни единой страницы — все казалось ему мертвой благополучной чепухой; иногда он входил в черное бешенство, напрягая мускулы, ища их, рыскал по скалам, но и это было бесполезно: они, казалось, уехали из Фавьер.

Черный от загара, мускулистый, всклокоченный, в каторжной выцветшей нагольной фуфайке, он блуждал по Лаванду, встречаемый и провожаемый удивленными недоброжелательными взглядами. Сидел на молу, мимо которого не проходило пароходов, или в церкви, где не было молящихся. Теперь ему нравилась грязная вода в порту, бутылки и жестянки на дне, газетный киоск. В мертвом унижении, в унижительном осатанении ревности, он появлялся то там, то здесь, больше не купался и даже не делал гимнастики. Что до горных пустырей, скал, облаков, морских горизонтов — обо всем этом и не думал вовсе, все это казалось ему теперь шутовской декорацией, грубо намалеванным балетным занавесом. Все это грубо, грубо, грубо, зло твердил он про себя, какие все-таки у Создателя примитивные вкусы в живописи, и только иногда за поворотом тропинки между двух скал поражала его микроскопическая бухточка своим бесполезным, никому не видимым совершенством — там он ложился животом на песок лицом к самой воде, мурлыча без слов, без мыслей, без жизни, рассматривая камни и гравий на дне. Желтые нагретые каменные стены окружали его со всех сторон, все теряло пропорции, и разноцветный гравий на дне казался ото всего независимым, неподвижно счастливым миром. Микроскопические волны набегали, согревая руки... Боль замирала... Лицом в песок засыпал, спал час-другой, забыв себя, и вдруг вскакивал, налитыми кровью глазами ози-

рался и, ломая руки, опять принимался за тщетные поиски.

О каторга, каторга ревности под ослепительным небом, зачем он сюда приехал, поддался, соблазнился, отрекся от аполлоновской жизни, неподвижно, надменно-атлетической, без счастья, без природы, без участи! И вот весь годами скопленный пыл слишком высоко забравшегося одиночки вырвался о землю навстречу Тане.

Не видя, но постоянно видя ее перед собою, — она казалась ему еще прекраснее. Мягкое и злое лицо с удивительно нежными, злыми и чистыми губами, насупленные брови и такие совершенные звериные и точные движения поражали его прямо в сердце. В полдневной тишине она была повсюду, она была нигде.

Все теперь было отвратительно Олегу; море не звало купаться, горы не звали бродяжничать, ступать по песку было тяжело, как по клею, есть не хотелось, и только что ночью сон-спаситель не бежал с глаз. После обеда они теперь все вместе, кроме Тани и ее нахала, все вместе впав в черную меланхолию-мрачность неудачного лета, собирались играть в карты под деревом на одеяле или на тюфяке в палатке, которая, просвеченная солнцем, казалась арабским розово-желтым полосатым шатром. Надя ссорилась со своим атлетическим славянофилом, он грубо, похозяйски ругал ее за карточные ошибки... «А что ты вообще умеешь, ну ладно, сдавай... Ладно». Православная барышня, не выдержав жары и собираясь уезжать, смотрела на все огромными, непомерными глазами, в которых недоумевала грусть. Человек-обезьяна был погружен в свои необъяснимые испанские мысли, он теперь подвязывал волосы ремешком по-индейски, у кисти накручивал какую-то тесьму, показывая в этом доисторическую дикарскую элегантность в украшении своего совершенно голого тела. Аполлон Безобразов, высохший и заросший бородой, состязался в неподвижности с камнем, на камне

превращаясь в камень, отсутствовал и, на удивление всем, читал Олеговы с таким трудом и так бесполезно на спине принесенные книги.

И куда это делись без следа все многотомные книги Олега, все толстые тетради его, вдоль и поперек исписанные. Все это оставил Олег в Париже. Уже месяц целый он не читал, не писал, не молился. Дикая свобода от Бога и страх Бога сопровождали его повсюду. Так, казалось, лицом к лицу с миром, без защиты и без утешения, он свежее встретит незнакомую ему жизнь, а жизнь, как нестерпимое солнце, не скупясь била ему в лицо.

Оба товарища совершенно перестали понимать друг друга. Аполлон смеялся над Таней, и Олег в отчаянии искал защиты в тени его души. Но отдохнув немного, анестезировав боль на мгновение, он, как от сна на песке, вскакивал и с тяжелой головой принимался искать Таню. Он больше не молился, как обычно подолгу имел обыкновение делать, и страх, как падающий камень, висел у него над головой. Он вырвался из Бога, убежал в какие-то доисторические леса, рыскал, всклокоченный, по раскаленному бурелому, и тем безудержнее, беззащитнее сердце его растворялось, рвалось, кипело, отрывалось от него. По временам боль становилась невыносимой, казалось, все внутренности его разрывались, болели глаза, пальцы, волосы, губы, плечи; он выл, плакал, бросался на землю, но чаще всего это было тяжелое оцепенение какого-то недоумения. Ноги и руки казались огромными, налитыми кровью, распухшими от солнца, и их невозможно было поднять. От жары все обесцвечивалось, теперь все было серое, черное, голубоватое. Есть было почти невозможно, да и нечего было есть. Олег разучился готовить, ел только то, что ему подсовывал Безобразов, жевал, не глядя, или, потеряв всякий стыд, подъедал остатки на кухне, где с какой-то презрительной печалью экономка подкармливала его, догадываясь о его состоянии.

Эта экономка, еще молодая женщина с одутлова-

тым иконописным лицом, как-то болезненно-драматически относилась к Тане и к Наде. Она их вынянчила, но воспитать не сумела, и они, как два славянских утенка, высиженных еврейской наседкой, как два угря, выскользнули у нее из рук в темное болото французского лица, рано замкнулись в недоброй скрытности. Восторженная и незамужняя, она возмущалась ими с нездоровой страстностью бездетного существа и все рвалась сказать, что все Танины истории суть просто «похоть», и это постыдное православное слово в ее устах до неприязни смущало Олега, но, изувеченный больно своей любовью, он поддакивал ей во всем, сидел на кровати, доедал остатнее, находя странное удовольствие по-бабьи прижигаться на кухне, чистить горох и без конца слушать патологически раздутые истории ранних Таниных изуверств. Но одна все-таки его поразила, а именно: история о том, как Таня назло, чтобы испытать силу своей воли, своей рукою раздавила, задушила голубя, которого часто любила держать в руках, наслаждаясь его элегантно хрупкостью... Грусть его забитого детства просыпалась в нем, давняя его любовь к ночникам, чуланам, сортирам, кухне, прислуге, к задним дворам, улицам, вечеру, снегу того времени, когда он в венке из воска отказывался жить.

Ночи теперь начинались раньше. Вечерами они с Аполлоном Безобразовым подолгу сживали на парапете набережной, молча смотря, как под платанами, расцветенными разноцветными фонариками электрических звезд, уродливо-беззаботная толпа медленно танцевала среди белых плетеных кресел. Возвращались они уже в темноте и, вдруг вынырнув из зарослей к морю, останавливались в недоумении. Ближе от берега, факелом освещая воду, скользила большая лодка, полная совершенно неподвижными людьми. Желтое пламя ярко горело, огненными каплями обтекая в воду, глубоко освещая ее, и от светлого места под водой расходились лучи. Прибрежные кусты казались оранжевыми.

Медленно, без слова, без всплеска весел скользила лодка и скрывалась за скалами, а они все продолжали стоять, неспроста озадаченные, испуганные, как будто это была ладья Летейского перевозчика, в рваной одежде рыбака, с острой вышедшего на осьминогов.

Станный берег, думал Олег, ни одной птицы и рыб не видно на песке, ни крабов, ни раковин, проклятое место. Цикады окончательно замолчали — начинался сентябрь, и вода ночью казалась холодным черным маслом.

Утром он проснулся от характерного, так давно не слышанного шума дождя, за бесчисленными ветвями облаков не было видно, но дождь веял ему в лицо, и все вокруг было блестящее, дачное, подмосковное под белым небом. Кутаться всем окончательно надоело; в мокрой серой палатке все всё чаще курили, сидя на разбросанных картах, и Таня была тоже здесь, потому что ее непрочный, разлюбленный суженый убрался уже восвояси — голая волосатая стрекоза на облезлом велосипеде. Но и карты скоро надоели и так и остались мокнуть в палатке, склеились, и только одну из них, затоптанную Таниной ногой, Олег повезет обратно — только одну из целой новой и непрочно-яркой летней игры; хотя деньги еще были, но уже в сером небе веял отъезд.

Иван Герасимович уехал, и вечером, конечно, вся компания, ожив, собралась в Лаванду выпить по единой. Помнил Олег, как ненормально оживившись, они вытащили из чемоданов, из этого милого хаоса грязного белья, писем и вездесущего песка, заветные глаженные брюки, как, пересмеиваясь, брились морской водой, причесывались, прыгая пред микроскопическим зеркалом, одеколонились и накручивали до отказа уже и без того короткие рукава фуфаек. На запястье Олег по-каторжному накрутил ремешок, который подарила Таня, жадная и скупая до подарков, и с которым он не расставался даже в самые отдаленные плавательные загоны.

Наконец, похорошев и полные дурацким оживлением ожидания, все в темноте уверенно спешили по таким знакомым скалам мимо аэропланного места через пустырь в Лаванду.

Под яркими звездами на проволоках горели электрические фонари, бело освещая дохлые кактусы и киоск мороженщика. В обоих казино играли электрические граммофоны, но туда можно было только идти танцевать, а чтобы выпить — они знали другое дешевое место в конце набережной, где под белой лампой, ярко освещающей босые ноги, развалясь сидело местное общество и взглядом знатока молча наблюдало за шарами степенных игроков. Это было что-то вроде игры в кегли без кеглей.

Сели на отлете, на краю темноты, и, пока хозяин неся за розовым вином, Олег неподвижно, по-незнакомому рассматривал неподвижную, незнакомую в городском платье Таню.

В оцепенении вдруг отхлынувшей боли, в неподвижности вдруг позабывшей о себе жизни, пораженный, оторванный от себя жизнью чужой, Олег смотрел на Таню, а та будто совсем не чувствовала этого взгляда, смотрела куда-то вбок, и это отсутствие и позволяло ему вдосталь насмотреться, сравнить, вспомнить разные ее облики.

Одетая, вдруг сделавшаяся необычайно импозантной, расправив плечи и чувствуя чужое, непривычно приятно, как броня, обнимающее ее голубое платье, она сидела в плетеном кресле, ярко, резко освещенная в профиль, одною головою повернувшись, упорно, мрачно смотрела в сторону моря, невидимого и только указанного желтыми точками каких-то фонарей на молу. И было в этой неподвижной фигуре что-то зимнее, трезвое, совсем проснувшееся от летней чепухи, насупленное, мужественное, почти мужское. Губы были устало, презрительно выпучены, лицо, никогда не загоравшее, бледно, и чистый, необыкновенно правильно вырезанный нос угрожающе прямо резал мрак. Но в глазах, смолоду ок-

руженных складками, светилась совсем незнакомая Олегу и дивно-мучительная ему усталость, печаль какая-то, неожиданная отрешенность от всего и за этим — тень какой-то высокой, облачной грустидоброты очень талантливых, очень порочных холодных людей. Олег буквально забыл себя, до чего это было неожиданно, в точности как небожительская аскетическая красота Терезы на этом античном, почти коровьем лице, но на этот раз без той ужасной праэллической, чахоточной худобы. Горькое, тяжелое, умное живое тело неподвижно, упорно смотрело в сторону, что-то сумрачно понимало, чувало, слушало на грани двух вер, двух бесконечностей, лета и снега, его, Олега, и ее души. Олег смотрел, как античный пастух, по ту сторону стола, на служительницу таинства, с восхищением и страхом почти святотатства. Он пил, и медленно наливались невидимым свинцом пальцы и глаза, тело ненормально тяжелело, звуки глохли, собеседники казались говорящими из отдаления, изображения теряли точное положение в пространстве, ночь была у него в сердце.

Он пил, и необычайное приволье глухонемого счастья наполняло его тело, которое внешне еще не поддавалось всеобщему деланно русскому невеселому веселью.

Таня пила мало, быстро пьянела, виду не подавала, но казалась добрее. Что-то добродушное, почти покровительственно-материнское светилось теперь в ее зеленоватых раскосых глазах, которыми она смешливо обводила компанию. Славянофил то мрачнел, то смеялся, отмахиваясь от всего, отрицая все. Человек-обезьяна, играя кисточкой на ручной перевязи, удивленно-отсутствующе слушал шальные, чуть развязные речи большеглазой барышни. Надя смеялась, сверкая тридцатью двумя зубами, могущими привести дантиста в отчаяние. Безобразов, охмелев, но сопротивляясь, по-русски чесал и собирал в кулак бороду, следя за шаровой игрой. Впрочем, столики пустели, и за поздним часом хозяин мелкими шажками

заносил их в помещение, и скоро они одни остались под белой лампой.

Назад шли с нестройным, неуклюжим пением, невесело хулиганя. Опрокинули какую-то будку-раздевалку, обругали местного человека, который, к удивлению и облегчению всех, даже не ответил. Шумно толкаясь, ввалились в белокрылый кабак «Гоелан» в форме бутафорской подводной лодки, выкрашенный и отделанный по последнему слову кубистической моды. Там, развалясь на зеленых диванах, пьяно приосанились, нескромно-печально принялись хамить друг другу на личные темы. Танцуя, опять разошлись, распоясались, разголосились угрожающе весело, нагло смотря на чужаков, так что скоро остались одни, замрачнели, устали и, неохотно расплатившись, отправились в обратный путь и скоро разбрелись в темноте, на пустыре потеряли друг друга.

Теперь Олег шел рядом с Таней, ошеломленный, оживший, осмелевший от спиртного, напевая только что выученный цыганско-французский романс: «Poursuivant le néant d'amours sans lendemain, sans amis, sans tendresse je poursuis mon chemin. Et la nuit m'envahit. Tout est brume, tout est bruit»¹.

И сам он слушал свой голос, потому что обычно от нервности и самолюбия он совсем не мог петь — магия преследования сдавливала ему горло, но сейчас она отпустила. Потом вдруг, сделавшись предприимчивым, взял ее под руку и обнял за плечо. Таня не сопротивлялась, наоборот, она поддавалась этому и ждала, желала других, более решительных действий, потому что, вне угнетающего и унижающего это статное тело духа, она всегда невольно тянулась к нему, ждала, любила его горячее сухое прикосновение, но, на горе себе, Олег быстро протрезвел и ближе к даче опять вернулся в свою подневольную насто-

¹ «Преследуя пустую любовь без завтрашнего дня, без друзей, без ласки, я иду своим путем. А ночь охватывает меня. Всё — мгла, всё — шум» (фр.).

женно-принужденно-обиженную роль. «Как скучно, — подумала Таня, — опять эта надорванная интеллигентщина, и нет сил ему даже пьяному забыться, перестать умничать и бояться всего на свете...» Но больше того, на свое несчастье, Олег, окончательно теряя чувство реальности, теперь плакал; пошатываясь, спотыкаясь, роняя слезы, театрально сопел от жалости к самому себе. «Как мне физически, кожно омерзительны плачущие мужчины», — напишет потом Таня в своем дневнике. Страх и детская нерешимость терзали его, ибо пути оставалось недолго, и мгновенная пьяная близость их все убывала, и вот вплотную у решетки сада Олег сорвался, лбом упершись в холодный переплет проволоки, тупо, по-гимназически наивно потребовал решительного объяснения: «Нет, ты скажи сейчас, раз навсегда: любишь ли меня или никого не любишь и никогда не полюбишь?»

IV

Comment se fait-il que le public du monde n'ait pas encore crié «Au rideau», n'ait pas demandé l'acte suivant avec d'autres êtres que l'homme, d'autres femmes, d'autres fêtes.

*G. de Maupassant*¹

«Н

ет, — сказала Таня, вдруг высвободившись и набравшись храбрости, — я тебя не люблю, не люблю и не полюблю никогда, ты мне нравишься, ты меня притягиваешь и интересуешь, как взрослый человек, но я тебя не люблю», — сказала и понравилась себе, говоря это. Та дальняя, холодная, взрослая нота, одетая в снег под белой лампой, прошла, и она вместе с вином и темнотой, с этим бессмысленным и отбившимся от жизни и себя не понимающим телом полетела в противоположную крайность. В ушах у нее гудело, казалось, что горячий, дикий ветер свободы и пустыни дышит над древним лесом, где ее участь, как участь древних священных сатиров, до утра, до расплаты, полна нездешнего одиночества, жестокости земли и греха.

Она теперь наслаждалась своею жестокостью, своими словами, своими широкими высоко поднятыми плечами, но вдруг заметила, что и вправду перехамила, потому что Олег вдруг протрезвел совершенно от ее слов, вырос, возмужал в одно мгновение. Гневная, злая, неукротимая ответная искра блеснула в его глазах. С секунду он смотрел на нее, как будто впервые увидел все дни их, все ночи на одеяле в лесу

¹ Как могло случиться, что мир еще не прокричал «Занавес!», не потребовал продолжения спектакля, но уже с другими героями, а не с человеком, с иными женщинами, с иными праздниками?

Ги де Мопассан (фр.).

с песком на зубах, все злые их отчаянно счастливые поцелуи, — все мгновенно вспыхнуло перед ним, и он, ничего не боясь, наотмашь, не шутя ударил ее.

Таня пошатнулась, уперлась о забор, но не закрыла глаз.

«Прощай... Доигралась, стерва».

Круто повернулся, пошел, неожиданно твердо соображая дорогу. Куда?.. На камни, а оттуда — в последней роскоши сил молодости, неудачи — в черном молоке ночи он поплывет, разбрасывая пену, а затем, глухо, упорно скрежеща зубами, часами будет плыть, больше не мучимый необходимостью рассчитывать усилия на обратный путь. Без возвращения, туда, в открытое море, где черно и широко шумит черногриявая волна, и туда наконец, без преграды и без стеснения, доплывет верст за десять, выбьется из последних сил и ляжет на спину, лицом к звездам, которые будут медленно блекнуть, когда, быть может, уже не над морем, а над полями Елисейскими взойдет ненаглядный, ни на что не похожий рассвет.

Он шел, а Таня, спотыкаясь и держась за щеку, спешила за ним, вдруг проснувшись и поддавшись его решимости, его так поздно и так нелепо отчаянно блеснувшему мужеству: «Нет, Олег, ты не сделаешь этого», — твердила, выла она все громче и громче.

Мгновенно они поменялись ролями, и вечно электрическое поле, вспыхнув по-новому и наоборот, неудержимо, постыдно, механически тащило ее за Олегом. И она, Таня, сен-мишелевский Люцифер, принуждена была теперь идти за ним, терять самообладание, бормотать, сбиваться, плакать. Но Олег, новичок в земной жизни и школьник в любовной борьбе, недолго смог удержать верх, сохранить магический авантаж, за который он бессознательно так дорого заплатил или еще готов был заплатить. Долго, теперь уже молча и рядом, шли, спустились, вошли в камыши. Огромная луна из-за их спин бросала резкие, черные тени, предварявшие их, бамбук ярко блестел, и мельчайшая, солнцем в прах измельчен-

ная пыль лежала почти белым ковром перед ними, совершенно заглушая шаги, и снова Олег начал слабеть, и так в молчании несколько минут накалило позорное, непоправимое. Шаги Тани становились четче, злее, бока опять привольно, естественно чуть заметно колыхались при ходьбе.

— Боже, оставь ты меня, ну чего тебе, и так конец всему.

— Олег, не хами, лучше уезжай, подумай, ведь я ничего о себе не знаю и тебя еще не знаю, что ты за человек — то мужчина, то баба, — приди в себя, стыдись.

— Оставь. Оставьте, что вам до всего этого, никто ничего не узнает, пьяный топился, утоп, так и надо, туда и дорога сволочи.

— Олег, надоело, ребячество это, проснись наконец.

— Отстань, оставь. — И вдруг, перетянув неуловимую струну и разом теряя все с таким трудом приобретенное: — Отстань, отстань, говорю тебе, ты блядь, понимаешь, вот ты кто, а если ты этого не понимаешь, ты идиотка, больше ничего!..

Под ударом Таня выпрямилась, забыла, забылась, вернулась в себя: «Ах так...» Каменная, повернулась, осатанев вдруг, едва почувствовала конец Олеговой решимости. Пошла лицом к луне. Лицом к самой себе, вся освещенная собою, как архаическая, широкоскулая серебряная статуя. Совершенно сбитый с толку, явно, ясно чувствуя, что проиграл, проигрывает последнюю ставку, Олег, не поворачиваясь, отдалялся в противоположном направлении, каждый шаг выжимая, как гирю, корчась, мучаясь от невыносимого стыда, трусости, отчаяния. Спиной, затылком, всею кожей всматриваясь, вслушиваясь, впиваясь в каждый шаг Тани, так что спина мгновенно от напряжения заболела, налилась кровью. Но Танины шаги, чуть слышные, продолжали отдаляться, и он понял, что она дошла до перекрестка и исчезла из виду за стеной камыша. И вдруг притворно, искренне

невыносимо, как припадок, как рвота, изо рта вырвался вой, вопль, рычание: «Таня...» (Таня, услышав, тотчас же застыла на месте, по-волчьи хитря, молчала.) «Таня!..» Повернулся, тяжело топая, качаясь, побежал, осмотрелся... Никого... Снова заорал: «Таня!» И вдруг совсем рядом из чернильной полосы тени суровое, злое, гордое: «Что тебе?..» Сорвался с места с размаху, полоумный, залившись слезами, с разбегу — по-русски, по-раскольничьи, по-арабски изо всех сил, изо всех слез, — с разгону бросился ей в ноги, с горьким наслаждением зарывшись мордой в пыль, едя, жуя, царапая пыль, завыл, забился, с наслаждением, симулируя, мимируя, повторяя, разрешаясь в эпилептическом припадке слез.

На русское это бездонное, кровное, татарское, монастырское изуверство мгновенно откликнулось в сердце Тани что-то бабье, кликушеское, мутное, древнее. Не помня себя, не видя, что делает, повторяя какие-то тысячелетние народные жесты, она села подле него, прижала мокрую его голову к груди и, в то время как он, мыча, лопотал что-то с полным пескатором, гладила, целовала его волосы, прижимала их к своему теплomu, гладкому, загорелому, живому животу.

Олег, добравшись наконец до тепла, вкуса, запаха ее тела, ноздрями, глазами, всем лицом пил этот запах, запах сена, пота, солнца, мочи, затихая, бормоча, сотрясаясь еще, и оба они забылись, увлеклись, искренно оттаяли вдруг сердцем. Искренно, как раненый солдат, как больной буян, как Светлана-кручина, нашедшая наконец своего Васеньку, скулила, муравила Таня над ним, уже не помнил он сколько времени, но наконец, против воли, вступила все-таки в свои права лживая, мертвая, городская натура. Показалось все это смешным, застыдились они так сидеть на дороге, встали, утерлись, отряхнулись и под побледневшим небом — кругом через поля — потащились домой. Идучи, ничего не говорили, но чувствовалось, что теперь уже непоправимое поражение

Олега, именно благодаря своей русской изуверской полноте, безвозвратности, разбило какую-то взрослую, западную отчужденность навсегда и без любви сроднило их снова, сделав какую-то любовь возможной, хотя завтра она сделается по-звериному, покрепостному безграничной; он стал как бы вещью Тани, и поэтому она хмуро и почти против воли приняла на себя заботу о нем. Прощались они молча, причем грустно, по-эскимосски в сторону смотрели Танины глаза, грустно, но без усталости принимала она долгие его и, на горе, незабываемые поцелуи.

Скоро, на следующий день после объяснения при луне, на берег налетела первая осенняя буря. Она зашумела лесом, растрепала волосы и дикой печальной свежестью приклеила платье к телу, уперлась не на шутку, разыгралась, разорила палатки и купальные балаганы, унесла в море множество лодок. Берег опустел и изменился. Серые волны огромными, равномерными воплями били без перерыва, и в них кипела и танцевала всякая тревожная, непогодная чепуха — пробки, куски коры, жестянки из-под бензина, сучья, доски.

Таня вдруг мучительно подобрела к Олегу, и перед этой добротой он был совершенно беззащитен; она вдруг бесповоротно потребовала от него, чтобы он уехал, — потому что Яша опять приезжает, и если ты уедешь, я все пойму, — до грубости наивно уверенная, что все на свете вращается вокруг нее; и сквозь абсолютное унижение его любовной зависимости нахлынула на сердце Олега неугасимая глубокая обида за то, что она не понимает, что он десять лет не выезжал из Парижа и что, может быть, опять десять лет не представится случая. Сумрачно, грустно тридцатилетний подросток прощался со своим огромным и единственным другом — он с раннего утра бросился ему в объятия и в беспомощности печали плыл без конца, грустно веселясь от борьбы с волной; быстро исчез из виду берег. Плывая в последний раз, он то с

разгону влетал, влезал на гребень, то выскальзывал на другую его сторону, сверху вниз неся в блестящую пучину между валами, и эта одинокая, отчаянно счастливая борьба с волной осталась у него на всю жизнь, как вкус соленого поцелуя до боли на губах. Дождь теперь шел на волны, и все они в своем глубоком движении были усеяны серыми точками, как будто мурашки выступили на блестящей, серой коже моря. Олег выбился из сил, плыл теперь на боку по черепаши, по-лягушечьи низко сидя в воде; выпив, как ему казалось, полморя, доплыв и едва вылезши — ибо прибой, откатываясь, буквально валил его с ног, — лег на мокром песке и в изнеможении чуть не заснул, чуть не заплакал от усталости и грусти.

Но потом отошел, побрился, быстро свалил свои нищие бабехи в чемодан, полный песку, который во всех карманах и отворотах брюк он привезет с собой в Париж и с грустью будет вытряхивать, нюхать, щупать многие месяцы спустя. Как бык на закляние, явился он к Тане, и она унизительно-покровительственно повела его в Сен-Троpez к автобусу. У камней она собственнически-добродушно, нежно поцеловала его в губы, зато у автобуса на людях нахмурила брови и чуть не отвернулась из боязни, что он при всех поцелует ее на прощанье. Это было больно, но Олег до того привык к боли, что, едва коричневый автобус, увеличивая скорость, выкатился на лиловую дорогу, большое, шальное, детское счастье скорости, непоправимости полета охватило его — он высовывался, свистал, пел, наслаждаясь ужасом соседей в ту минуту, когда русский шофер, до безобразия наострив руку, умопомрачительно петляя, пронесился, перегоняя частные автомобили, — еще один и последний кусочек неповторимо русской котдазюровской действительности.

Так Олег уехал, и море забыло, раньше всех забыло его. Огромное и тысячецветное, оно наутро, расшвыряв купальные будки и переменив линию песчаных береговых холмов, успокоилось наконец,

ослепительно сияя перед бесчисленными своими новыми сентябрьскими поклонниками, — мимо них по песку, по щиколотку могуче увязая в нем, тяжелые мифологические лошади потащили допотопные телеги, из которых, как малиновая кровь умирающего лета, тек сладкий сок раздавленного винограда. Никогда Олег — никогда — уже не увидит этого скалистого лилового берега, где так не вовремя, но так всецело, хоть и ненадолго, он проснулся к жизни.

В Париж возвращаться было как-то болезненно грустно-радостно. На улице рано утром все озирались на негритянскую загорелую голову с совершенно выцветшими льняными волосами. Здесь было тоже жарко, но по-другому — утомительно, тяжело, по-осеннему парило, и люди, бледные, шурясь, волочились, обутые в сандалии. Но Олег не забыл моря, никогда не забудет моря, хотя с изменой Тани уже не о счастье и не о жизни пело, певало оно ему — то неумолимое и необъятное, то молчаливое — ослепительный свидетель стольких летних драм и тщетных объяснений. Следы Олега раньше других разгладились на песке, а Таня только в конце октября вернулась в Париж и только в половине ноября написала об этом ему.

PROSE D'OUTRE-TOMBE¹

Вопрос: О чем ты больше всего жалеешь относительно жизни?

Ответ: О том, что не сохранил чистоту.

В.: Но в чем состоят эти муки?..

О.: Мужчина, умирая, познает сердце женщины. Женщина, умирая, познает рабство мужчины. Каждый из них, потеряв себя, тщетно ищет себя без исхода в другом, и от этого *Perpetum mobile* адских мук.

В.: Но в чем состоят в точности эти муки?

О.: Живым это понять трудно... Невозможно... Ой... О-о-ух... Я М. Я Ж. Я М... Я Ж...

¹ Замогильная проза (фр.).

В.: Можете ли Вы молиться?

О.: Нет... Жизнь есть фотография. Смерть — проявление пластинки жизни, но ничего нового сюда не приходит... Все то же: Я М. Я Ж. Я М. Я Ж.

SOMMEIL — APPRENTISSAGE DE LA MORT¹

Комната, освещенная тусклым, желтым электрическим светом... Олег понимает, что таких ламп, тускло-оранжевых, с огненной восьмеркой волоска, он давно не видел... С тех пор... значит, то, нестерпимое, еще живо... В комнате грязные кирпичные стены, и все вместе веет подвалом, заброшенностью, подневольностью машинных отделений, фабрик, задних дворов. Но это не главное, главное в чем-то другом, оно где-то здесь, но пока притворяется незаметным. Сперва все как будто нормально, но страшная, сонная тоска гнетет сердце, а тело в оцепенении — ни встать, ни двинуться с места. Постепенно выясняется, что *все дело в стуле*, и вот Олег, уже не отрываясь, смотрит на него, но странное дело: чем дольше это длится — *а это длится уже давно-давно*, может быть целые годы, — тем слабость его увеличивается, как будто он теряет субстанцию, она утекает через его глаза в сторону стула, а стул этот явно поглощает ее, не приближаясь, — в своем углу, неподвижно увеличивается в весе... Время томительно ползет, и Олег чувствует, что почти никакими силами нельзя уже оторвать этот стул от грязного бетонного пола, что он врос в него глубокими корнями, и вдруг понимает... Конечно, это так, потому что стул *медленно наливается кровью*... Олег теперь понимает, что прежде, на воле, он был мужчиной, он был М., а стул был женщиной, вещью, объектом, здесь же, «в неволе», какие-то магические полюса переменялись и стул, который он всегда носил в себе как свою слабость, свой позор,

¹ Сон — научение смерти (фр.).

свой грех, ожил и стал хозяином своего создателя; в то время как он все больше цепенеет и теряет субстанцию, стул медленно увеличивается и удивительно отвратительно оживает, наливается заемной жизнью, не сходя со своего места. Все вокруг, как в луче волшебного фонаря, фокус которого меняют, менялось, сползало, пятилось теперь в непоправимое окаменение вечного рабства. «Я М. Я Ж., — звенит у него в голове. — Я М. Я Ж.» И вдруг в отчаянии он корчится, рвется, и тогда стул, корчась тоже, рвется с земли, победоносно сопротивляясь, как будто невидимая рука борется с ним, а он, скрежеща зубами (стул скрежещет зубами), одолевает ее. По временам одна из ножек все же отделяется от бетона, и тогда (о, гадость!) оказывается, что ножка эта соединена с полом толстыми, синевато-красными, бугристыми, налитыми кровью венами. (Олег вспоминает свой красный и мокрый орган, который при движении наполовину выдвигается из влагалища.) Потом ножка опять прирастает накрепко... Стул приседал, скрежетал, торжествовал, и искоренить его было совершенно невозможно. Олег слабел, терял силы, и навек укореняющимся рабством стул медленно наступал ему на грудь. Еще минуту, еще час — и все было бы кончено, ибо стул теперь четырьмя ногами, четырьмя насосами сосал из него кровь. И вдруг в потерявшемся сердце вспоминалась, проснулась отроческая молитва «Господи, защити и спаси...» — и вдруг всасывающее движение как будто замедлилось, вернее, передвинулось куда-то в другое измерение, ослабев, как на картине, и какой-то белый день, рассвет в окне освежил ему лицо. Потом (о, счастье!) рядом заговорили *люди*, и с таким счастьем вслушивался он в их бормотание. Утро действительно наступало, и кто-то, посмотрев на градусник, сказал голосом его отца: «Сегодня они не пойдут в училище».

Дорогой читатель! Между первым и вторым действием этого оккультно-макулатурного сочинения

прошел целый год, и это не с моря, а с океана возвратившись с коричневыми ногами, Олег снова ждет Таню у метро Пасси. Год унижений Олега по кафе, где Таня побивала все рекорды опаздывания, и мертвой скуки у моря-океана, на грязном стоптанном пляже, у холодной воды, под бледным небом. Чтобы не видеть дачного человечества, Олег уходил купаться за три версты и там среди колючек, как облезлый летний волк, скулил свою обиду на Таню, которая попросту не взяла его с собою на юг, конечно, для того, чтобы он не мешал ей выяснять отношения. И все-таки Олег умудрился загореть, одичать, налиться своею грубой, мужицкой красотой. Дорогой читатель, и т.д.

Опять из огненного куста Эйфелевой башни вылез градусник, красным морским жителем поднялся до пятнадцати, а электрические часы как будто остановились на двадцати минутах десятого. Теперь даже в синема поздно было, и Олег думал о том, что все меняется, обрывается в городе к четверти десятого. Те, кому есть надобность или простая возможность, дошли уже, вошли, поздоровались или поцеловались, а те, кому некуда деться и к которым не пришли на свидание, вдруг поняли, что дальше уже ждать нечего; они еще упорствуют, переминаясь от обиды и апатии, но впервые уже трезво оглядываются вокруг, раздумывая, что же им осталось делать сегодня вечером — то есть уже не вечером, а ночью, — жалким, деланно-стоическим жестом закуривая папиросы.

Олег все-таки на свое счастье («Это Бог послал», — подумал он) нашел в кармане целые полпапиросы, начал закуривать и в рассеянности поджег всю коробку; пламя, жарко урча, опалило ему брови, но окурок все-таки задымил, холодные струйки дождя остужали лицо, и, с горьким наслаждением жмурясь, он затягивался прогорклым, табачным дымом, тем особым перегаром однажды потушенной папиросы, так хорошо ему знакомым. Так, морщась до боли во

лбу, он поднялся по уже темной rue Franklin¹ и мимо пустого музыкального киоска на Трокадеро, где уже зеленовато горел газ, смешался с народом. Дождь вдруг прошел, и он, потеряв направление, бесконечно-навязчиво рассматривал теперь фотографии перед синема «Miracles»², под презрительным оком разодетого холуя, когда вдруг колоссальный удар по шее заставил его ахнуть: «Alors, vieille chaude — pisse, on ne reconnaît plus les potes?»³ — и Аполлон Безобразов, загорелый и похорошевший, по-видимому, только что вернувшийся с полевых работ, продолжал ругаться, стоя перед ним: «Что это за хамство, вот я уже десять минут иду за тобою и кличу, а ты, сволочь, только дорогу перешел», — и как-то по-новому, подружески тепло приятели впервые расцеловались.

О город, город ближе к ночи, когда уже сгорела зоря и только зеленый отблеск ее бесконечной полою светится на западе, но воздух, не успев опомниться от палящего присутствия солнца, еще душен, стены еще совсем теплы, а над ними, как раскаленное железо, таинственно-ярко вспыхивают красные линии неоновых ламп, малиновым заревом падая на листья и лица, в то время как четко, плавно из раскрытого окна расточается по воздуху невидимый джаз радиостанции. Луна над разноцветною водою кажется теплой и близкой — подать рукою. Углубления железного виадука становятся темно-лиловыми, а там, над ним, уже вспыхнули тусклые ряды электрических лампочек, означающих в ракурсе видимую станцию подвесной железной дороги.

Нечего делать; разомлев вдруг от бесполезной силы своей и от вечерней душной, городской задушенности, выбившись из ритма самозащиты, загорелый молодой человек сидит на платформе, которая пе-

¹ Улица Франклина (фр.).

² «Чудеса» (фр.).

³ «Что, своих не узнаешь, старая гонорей?» (фр.)

риодически пустеет. Тогда что-то совсем дачное появляется в ней, и вновь возникает на противоположной стороне стоически согнутая фигура бродяги, которая сейчас опять исчезнет за многоногой толпой пассажиров. В промежутке станция кажется теперь железным кораблем, где они двое и распухший от однообразия контролер, подвешенный где-то над городом и временем, молчаливые путешественники без направления и без возврата, и надо все-таки уходить («Как это всем есть куда податься?»), а ему вот, Олегу, в сущности, некуда, и поэтому ему безразлично, спустившись на набережную, пойти направо или налево или пересечь мост Пасси. Олег, волоча ноги, пересек мост Пасси и мимо того же киоска на Трокадеро, где снова загорелся декадентский газ, дошел до неприветливой авеню Клебер, помедлил около Триумфальной арки («Насрать, что ли, на неизвестного солдата?»), пошел, валандаясь, по полям Елисейским.

Город давил его, вчера, намеренно только что вернувшегося с океана, что-то величественно-душно было в знакомой печали раскаленного вечера на границе осени, на границе ночи. По широкому проспекту — прохожие толпою; люди были здесь почище, но не было в них любимого Олегом фамильярного приволья французского пролетариата, глумливо, остроумно перекликающегося под деревьями, — иные тащили пессимистических детей, иные сидели в мопассановских позах на желтых железных стульях, — другая порода, чем там, на станции, где он опять, тщетно проклиная себя за свою слабость, ждал Таню. Там сходящие с поезда люди были веселы тяжелой, изомлевшей веселостью пропадающего воскресенья; широкоплечие подростки пересмеивались с блестящелицами, осоловевшими девушками; отцы возвращались из предместий с целым садом цветов в клечатых мешках для провизии, а священнику было жарко в черном своем талисе, и он по-демократически обмахивал средневековой шляпой свой лысый лоб, на котором от нее оставалась круговая багровая черта,

а позже всех, как-то боком, из вагона вываливается совершенно пьяный человек, едва не застряв в автоматических дверях, и так, боком, совершенно вопреки законам равновесия, подвигается к выходу, и все с симпатией, опаской и тайной завистью на него озираются, а он тоже, кого-то до безобразия переждав, не дождавшись в кафе, что-то сумрачно говорит в пространство, делая тяжелые, неверные жесты.

Олег только что вернулся и с нездоровой радостью-печалью осматривает свои владения, потому что город, особенно эти улицы, были местом, где он впервые до конца, до слез возмущился своим одиночеством и, стерпев его, ожил какой-то новой стоической, замкнутой, зрительной жизнью, но сегодня он снова, как тогда, незащищен ни от чего, снова шел куда-то, ждал чего-то и, конечно, невольно взял курс на Монпарнас — встретиться с товарищами-литераторами, и скоро, идя по знакомым местам, он очнулся от надоевшей боли тщетного ожидания на метро Гренель. Снова побив все рекорды благородства и бесхарактерности, он ждал ее почти до десяти часов и снова один попал в тот сумрачный час, где каждый, разместившись, счастлив своим местом, а на улице остались одни лишние люди, обманутые любовники, безработные иностранцы. Среди них в затихшем уличном воздухе однообразно кричали газетчики и радио неестественным басом возглашало результаты велосипедной гонки; их жгли натруженные ботинки и дикое желание не то выпить, не то пожаловаться кому-то старшему и всемогущему, не то подраться с первым встречным.

Шествуя, Олег проходил миры и кварталы с другими прохожими, принадлежавшими, казалось, к другой расе. Их разделяли промежуточные улицы, пустые и мрачные. Так, на Сен-Мишель он сразу, без перехода, попал в сплошное шествие двадцатилетних подростков с дисгармоничными голосами, порочно свободными движениями и накладными плечами. Люди здесь громко переговаривались, дурили и тол-

кали прохожих. Олег, снобируя их, выкатил плечи, но никто не противостоял ему, его дикое и изборожденное усилием лицо вызывало отчуждение и удивление, и вскоре он опустил плечи и, побитый без единого удара, потащил ноги вдоль стены, вдруг опустившись от усталости на свое привычное место бывшего молодого человека. На авеню Обсерватуар нужно было пересечь еще один рубеж двух миров, стык двух физиологий, потому что человек с бульвара Монпарнас еще совершенно другой породы — и моды, и жесты, и голос другой. То Франция, самоуверенность живой почвы, от которой, как ни рвись, все равно останешься по пояс в здоровом тысячелетнем перегнутом костях отцов, — а то голый человек, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалипсически одинокий.

Вдали огни Монпарнаса уже освещали вечер. Олег ожил, и сердце его забилося. Старые друзья, старые счеты, старые самолюбия, старые унижения, и со всеми, решительно со всеми у Олега были сомнительные, невыясненные отношения. Всем им он в свое время или перехамил, или перекланялся, на тех сердился, стыдился этих, потом еще путалось другое желание — пококетничать своим загаром, здоровьем и вновь открывшимся ему счастьем дикости, пустыни, земли, — так что Олег, сейчас мгновенно забыв про газетную бумагу и окурки в холодной воде дешевого дачного места, наврет целую джек-лондонско-африканскую поэму. Что-то напряженное, резкое, невнимательное к собеседнику уже кипело в нем, он шел к товарищам, вновь уже провалившись незаметно в знакомый, скучный невроз «кто кого переимеет», уже заранее с тоской зная, что заговорит, перегалдит всех и вдруг очнется среди всеобщего упрека, скуки, совершенно потерянного контакта, хотя встретят его радостно, как своего.

И действительно, едва обошел веранду «Ротонды», такую знакомую по давнишним художественным неудачам, Олег уже издали сквозь открытые ок-

на «Наполи» увидел своих элегантных негодяев — Черносвитова, Околишина, Светобаева, и они искренно обрадовались ему, великодушно грустно расспрашивая о море, когда он деланно-неуклюже, побандитски враскачку, копируя какие-то старые американские фильмы, подошел к ним, но не успел ни расхвастаться, ни обидеться ни на кого, потому что почти одновременно, но с другой стороны, подошли к столу Алла Рашкавадзе, Гуля Барк и Катя Муромцева — три подруги или, вернее, две подруги, Гуля и Алла, сутулящиеся молодые женщины, одетые во все чужое, но элегантное, неискренно, но остроумно насмешливые, и Катя, новый человек на горизонте, залетная птица — простоватая, высокомерная купеческая дочь из большеглазой, широкобокой, крепко за жизнь держащейся породы.

Все встали и принялись церемонно целовать руки, чего Олег, растерявшись, сделать не посмел, но с удовольствием забрал в свою толстую, голую до плеча лапу холодную, влажную руку Аллы. «Вот это девушка, — подумал он, — худые руки, на лице какое наслаждение — полураскрытая худая рука спящей Аллы. Это тебе не Таня, медвежья лапа...»

Разговор начался с жалоб на духоту и на сердечную боль от близкой грозы, а та, легка на помине, вдруг тяжело прокатилась громом по крышам домов.

— Смешно, — сказала Гуля, — гром шумит, как будто дело делает, а дождя все нет.

И, как будто ей в ответ, тяжело — сначала редко, потом сплошь — забили по широкому тенту крупные капли дождя, мостовая сразу потемнела, и гарсоны, в спешке морщась, стали заносить стулья, а сидевшие слишком близко к окнам — пересаживаться к стене. Дождь теперь так шумел, что трудно было говорить. Алла, по-грузински злобно тараща глаза, закурила папиросу, и вдруг ночь осветилась ярким, дивным светом, и с неописуемым треском, рванувшим уши, молния упала где-то неподалеку, в стороне бульвара Распай. Олег вскочил и бросился смотреть, хотя не-

известно на что. А когда вернулся он, Алла и Катя успели уйти куда-то почти со всеми остальными, и только Гуля Барк мрачно продолжала курить, негромко говоря что-то Черносветову, загорелому сорокапятилетнему сюрреалисту с лицом испанско-индейского пастора в железных стариковских очках, и тот, не оборачиваясь, вежливо поддакивал, издавая нечленораздельный звук. Этот Черносветов, словако-испано-русско-французско-раскольниче-антропософский одиночка, был последним открытием компании, позднейшим, но едва ли не самым сногшибательным. Но скоро тот, как старый опытный волк, хорошо защищенный дикостью своего благородства-отщепенства, встал и по старинке церемонно простился, подав руку дощечкой, может быть потому, что чувствовал, что именно сейчас он может быть нужен, что Гуля, выпав из компании, на мгновение за него зацепилась. Так что против воли Олег и Гуля, оба сердясь на кого-то и на что-то, остались друг против друга; старые знакомые не знали, за что ухватиться, чтобы, хотя бы для приличия, заговорить, но обоих трогало и раздражало это смущение и сбитость с толку; но только он решил, наконец, заговорить, как вернулись Алла и Катя со всей бандой, подозрительно вдруг повеселевшей.

— Олег, идем в кабак к цыганам!

— Да ведь это ненастоящие.

— Ненастоящие, но поют почище настоящих.

В кабаке на рю Монпарнас, необъяснимо и неприлично «Кабаре о флер¹», едва вошли, глухой и частый ритм электрического граммофона пробудил в Олеге какую-то давнюю, счастливую и грубую ноту. «Ага, начинается парижская жизнь, распронагони его мать». В тесном, карнавально освещенном помещении, сбившись в проходе, толкались, дурачились молодые французы. Потом свет потух, зажегся прожектор, и в белом луче его появились накрашенные и

¹ Флер — цветы (фр.).

феерически четкие лица русских певцов. Помолчав мгновение, они вдруг все сразу привычно-кабацки оживились, запели знакомыми, чуть церковными голосами:

Милый друг, побывай у меня,
Ты бывай, бывай, бывай у меня!

Олег и Катя очутились рядом между окном и высокой стойкой, и после первой же рюмки между ними возник знакомый, но всегда новый электрический контакт, мгновенно изолировавший их от всех других, что по-своднически, то есть чисто по-монпарнасски, улыбнувшись, повернулись в другую сторону. Катя щурила свои длинные цыганские глаза без ресниц, и щеки ее ярко и, видимо, против ее воли горели от выпитого спирта.

— Дорого здесь, — сказал Олег, рискнув повести разговор на свой деланно-босяцкий манер. — Выйти бы, охолостить по одной в бистро, а потом вернуться потанцевать.

Против всякого ожидания тон этот понравился Кате, и она согласилась, и в тусклом кафе на Эдгар Кине симпатичные и низкорослые французские матросы, на этот раз уже совершенно настоящие, общнически посмотрели на него, и уже с ними незаметно выпили они и расплескали по пяти рюмок сногшибательного кальвадосу. В ушах Олега загудело, возвращаясь, он не слышал собственных шагов, но зато они говорили наперебой о лете, о Дании и еще о чем-то, что казалось необычайно смешным. По их возвращении кабак показался другим, более тесным, более ярким, ярким и темным в одно время, и в него они вернулись, как в родной дом.

Дайте да ходу пароходу,
Натяните да паруса.
Я за то его любила, за кудрявы да волоса.
Ах, да вы пейте, да пейте иль не пейте,
Все равно тоска сгрызет.

Коню гриву вейте иль не вейте,
Все в канаву да завезет.

Олег теперь уже тяжело дышал и начинал быть опасен в смысле скандала, хотя пьяный, как назло, сильно слабел, и его именно тогда ничего не стоило побить — конечно, человеку его спортивного уровня. Освещение опять мило, по-балаганному переменялось, зажглись красные лампы, и они начали танцевать, вдруг смирившись от необычайного этого факта — оказаться в объятиях друг друга, вдруг помолодев и изо всех сил заботясь о напускном благообразии, и Олега, как иногда поражала особая культурность ума, поразила необычайная музыкальная податливость этой красивой, крупной молодой женщины. При быстром движении на поворотах все сливалось в один разноцветный туман, все было одновременно и чрезвычайно приятно, и совершенно безразлично сквозь сладкий, почти приторный запах Катиных волос.

«Умное, тяжелое тело, как хорошо, что существуешь, — думал Олег, танцуя, — и само, без науки знаешь, кого тебе любить, а ведь умом, сколько ни думай, ничего не поймешь — не то всех, выходит, надо любить, не то никого. Как воплощенная, живая музыка в движении, ты то замираешь на четверть мгновения, то плавно идешь назад, то с разгону поворачиваешься, покачиваешься, наклоняешься, и сколько смысла в грозном остерегающем сиянии твоих глаз». Когда-то Олег чуть не задохнулся от удивления-благодарности, прочтя у Гегеля, что тело есть воплощенная, явная, реализованная душа: значит, не обуза, не завеса, а совершенство и роскошь творения, злое, оскаленное, дрожащее, как струна, когда над ним среди хлопанья флагов и рева толпы вот-вот щелкнет, ахнет выстрел стартера, и тогда нужно будет, во мгновение выпрямившись, всю душу, все сердце, всю жизнь вложить в первый отчаянный бросок, чтобы грудью, зубами, лицом вы-

рваться вперед, потому что все в состязании зависит от этого первого рывка, — или то же тело, легко, тяжело, привольно, с шумом дышащее, выдыхающее воздух под воду, когда, привыкнув к ритму, привычным движением выкидывает оно перед собой руку, всем существом, как лента, как рыба, подаваясь вперед, тело плывущее, тело танцующее, тело любящее со сжатыми зубами, уже не хранящее, не берегущее себя, счастливо, злобно храпящее, борющееся, побеждающее, теряя голову, слабеющее, освобождающееся вдруг. Как наивны те, кто хотели бы иметь другое тело, не находя себя в себе, и впрямь они или не знают своей красоты, или не подозревают тайного безобразия своей души.

Забыв о своем отдельном бытии, забывшись, Олег и Катя танцевали, как будто они в самом деле были одним существом. Вспомнил Олег и о том, что старый цирковой опытный позволяет делать некоторые особо рискованные акробатические номера только брату и сестре или мужу и жене. Когда он додумался до этого, что-то странное, какой-то счастливо-тяжелый страх прошел через его сердце, и он на мгновение даже сбился с ноги. А когда они возвращались к стойке и поравнялись с хорошо постриженным, гладким, похорошевшим от водки Околишиным, этим еврейским лордом без гроша в кармане, Околишин со слегка сообщнически-покровительственным видом, но так умело, незаметно сказал Олегу:

— Поздравляю! Только не радуйся слишком скоро.

Но Олег не внял предупреждению, сердце его, со всем его золотом, скопленным, тяжелым невыносимо, таяло, раскрывалось, тратилось вдруг на этого неизвестно откуда — на радость ли, на горе ли — взявшегося высокомерного, нового человека, теперь танцевавшего с каким-то молодым «метеком», то есть французом, в терминологии Олевой, высоко, до деревянности, до комизма, но элегантно носившего лакированную голову. Катя вдруг остепенилась и пришла в себя в руках дисциплинированного кав-

лера, и цыганское чернокрылое, чернобровое антично-коровье лицо ее теперь совершенно ничего не выражало, и вдруг Олег поразился как бы сквозь сон, до чего она была хороша в эту минуту, когда, выставив назад красивую полную ногу чуть неправильной формы («Ага, кавалеристка и ты»), кончавшуюся такой безупречной горбатой ступней в тонкой туфле, чуть заметно — не много, не мало, а ровно сколько нужно — касалась носком оранжевого пола сзади себя, и Олег не мог не восхищаться даже ее партнером: «Муштрованный сукин сын, с каким удовольствием je lui aurais cassé quelque chose»¹, — но вместе с тем смутно, глухо, позорно чувствовал, до чего Катя привыкла, привычна, естественна в хорошем обществе — для него совершенно недоступном — муштрованных, сдержанных, англазированных собачьих детей, которым он так завидовал, и до чего ему трудно будет с его ненавистной ему широкой натурой не понравиться ей — «с'etait déjà fait»², — а войти в ее жизнь, удержаться около нее. В эту минуту он ощущал себя всклокоченным босяком, и ему хотелось не то драться, не то проснуться, уйти, раскрыть своего Гегеля. «Да, а Гегель?» — подумал он и понял, что и Гегель ничем здесь помочь не может, ибо только увеличивает осатанелость, остервенелость его и так обычно некстати и на горе являющуюся решимость. Но горькие мысли вдруг оборвались, потому что Катя бросила кавалера, под села и, взяв Олега за руку: «Ну, тяжелая голова, замрачнела? Спел бы лучше что-нибудь, говорят, поешь хорошо», — и вдруг подурнев и покрасневшись, но все-таки успев подмигнуть ярко-розовому, но по-прежнему безупречному Околишину — мол, насвистался, мой поклонник, — вдруг подурнев, засмеялась, показывая неровные зубы, неловко прикрыла их фантастически белой рукой, стала вдруг до того по-братски, по-бабьи, по-исподнему мила,

¹ «Я бы ему поддал» (фр.).

² «Это было уже сделано» (фр.).

что Олег понял: что ни надень, а на долгое время пропала его голова, — в то время как снова оживший хор пел теперь:

Стаканчики граненые упали со стола.
Упали, не разбились, разбилась жизнь моя.

Олег теперь все больше пьяно мрачнел, и неведомо откуда возле него оказалась Алла, худая, глубоко-мысленная и мило беспомощная глубоководная грузинская княжна.

— Слушай, Алик, ты опять и пьян, и мрачен, и влюблен. Кроме того, держу пари, что ты сейчас будешь драться.

А Олег неожиданно серьезно-деловито, не до шуток, просто:

— Кто она, Алла, откуда взялась?

— Купеческая дочь из Дании, тебе под стать, только ничего у тебя не выйдет, потому что не умеешь ты фасон держать, как у нас в лицее говорили.

И вдруг Олегу показалось, что это о нем поет хор:

Прощаюсь ноне с вами я, цыгане,
И к новой жизни ухожу от вас.
Вы не жалейте меня, цыгане,
Прощай, мой табор, пою в последний раз.

«Как хочется хоть раз, в последний раз поверить. Не все ли мне равно, что сбудется потом... Любви нельзя понять, любви нельзя измерить, а там, на дне души, как в омуте речном...»

Да, конечно, не все ли равно, и не минуло ль в море давно это яркое облако, эта память о летнем просторе... Ночь грозная смотрит в окно, ты забудешь и счастье, и горе, ночь и дождь, и не все ли равно, как все это промчалось давно.

Катя сидит на полу, покрывши кончики туфель темно-зеленой шелковой юбкой, старым, в крови передававшимся жестом держит гитару. Уста ее едва шевелятся, голос ее еле слышен... Что она поет, напевает, гово-

рит, уставившись куда-то в дальнюю стену пустой комнаты широко открытыми глазами? И здесь, среди белой современной мебели, разбросанных книг и пустых бутылок, бумаги, чемоданов, в этом уже покинутом жилье, в хаосе переезда, Катя на ковре, спокойная, родная, бесконечно русская, едва касается пальцами гитары.

«Не надо ничего — ни поздних сожалений, ни равнодушных слов, былого не вернуть. Лишь хочется еще на несколько мгновений в речную глубину без страха заглянуть...»

Да, Олег, без страха. Пыль клубится над жаркой землей, степь без края погасла, устало, еле слышною пыльной тоской песнь в степи у костра погасала... Солнце землю спалило огнем, все свалилось во сны без отрады, только голос над мертвым костром напевает по древнему ладу... Жизнь промчится, а жить не успеть, что ж, помолимся Богу, с гитарой, будем пить, будем ждать, будем петь песнь о счастье, несущемся даром...

Медленно сквозь пьяную душу Олега несутся звуки. Только что вдруг замерши, вдруг присмирив, они долго и еле слышно говорили о снеге, о толщине деревянных стен, о ночниках, свечах, керосиновых лампах, о подоконниках, на которых, опершись на локти, лежат подростки, бесконечно долго следя, как рано на севере кончается день, и удивительно торжественно, удивительным благообразием раскаяния, прощения, возврата звучали эти слова в тишине предместья, в глубине ночи 13-го дома, куда Катя, пересмеявшись и перехулиганив, пьяно-серьезно пригласила Олега, по-русски лукаво, отчаянно, прямо глядя в глаза, и он понял, и у нее дома ни разу не подсаживался, не приставал, не пытался ее обнять, развалясь курил в кресле, пьяно, высокомерно философствовал, грустил, слушал...

«Проходит солнца луч сквозь замкнутую ставню, и в нем, как от вина, кружится голова... В ушах еще звенит твой разговор недавний — как то речное дно, темны твои слова...»

Как будто издалека, из другой комнаты долетает, доносится голос, шепот, причитание, нытье, напев. Как из мира иного, из жизни иной, божественно успокоенной, привольной, родной, совершенно лишённой вечного его обезображивающего усилия, напряжения, изуверства, отчаяния, страха... Жизнь без религии, нет, вернее с церковью и свечами, но без вечного его злого сумасшествия, одинокого, пещерного, раскаленного, вавилонского пыла недостижимой святости...

Ах, леса, леса, овейте, шумом своим успокойте изуверскую, дикую душу мою. Ляг во тьме и внимай, как неспешно поет соловей... Потеряй свою душу в высоком сосновом раю... Слишком долго ты рос на вершине — от света ты сходишь с ума. Раскаленное солнце пустыни сжигает широкие плечи... Тихо всходит луна, над болотом устала сосновая тьма... Ты вернулся, ты спишь, от зари и земли недалече...

Ах, Катя, Катя, домой с небес, из раскаленного ада святости, жестокости, спорта и книг — на землю, в смирение труда, усталости и физической любви... Ах, Катя, как скучает дьявол-подвижник на своих Вавилонских горах о земле, о траве и о белой круглой тяжелой груди своей родины...

Но дверь вдруг открывается, и в дом неведомо откуда и как вваливаются Алла, Черносвитов, Гейс, Околишин, Черепахов, и, оскорбленные, внезапно разбуженные, Катя и Олег поднимаются с мест, и Олег уходит, ошалев от любви и обиды.

Праведность... Сидение на стуле, который каждую минуту исчезает из-под ног, как будто его изнутри выели термиты. А тогда мгновенно задом — о землю, затылком — о кофейную стойку... Покой в Боге — вот что почти никогда не доступно подвижнику... И все-таки грех знает свой покой, например ассирийский покой длинноглазых женщин из кафе du Dôme, которые все утро проводят за тщательным омовением, одеванием, раскрашиванием своего тела, или за

телефоном, или в кровати за иллюстрированным английским журналом, но и этот покой кончается беспокойством: ожирение, гонорея, скука... Или тогда твой металлический покой без возврата, о, Безобразов, стеклянный ангел над золотой колесницей...

Покой в Боге, покой весны... Бог примиряется с человеком, когда тот откупается от него обрезанием, женитьбой, капитуляцией, охолощением мистической опасности, гениальности, одиночества, девства... Потому что девственников Он сам преследует, терзает Своей непосильной любовью... «О, прекратись, исчезни, погасни, — стонала Тереза в мистическом обмороке, — или я умру, сгину, не выдержу, и душа моя оторвется от тела».

Вечная внутренняя борьба, неожиданные, самые глубокие, самые горькие падения — просто от усталости, переутомления слишком долгих молитв до звона в ушах, соленого, кровавого вкуса во рту и свинца-стекла в переносице... Долгие, белые дни без храбрости, без счастья, без сил, совершенно без благодати над недостроенными развалинами потерянной, недооцененной, небрежением проигранной, недоигранной внешней жизни, проклятие раскаленной дороги, свинец в руках и в сердце — аскеза, благодарю вашу душу-мать... И вдруг страшно, ослепительно, до страха внезапно раскрываются двери в глубине сердца — с той стороны двойной воронки, — и нестерпимая, невыносимая слава, оглушительные слезы счастья, присутствия, физического присутствия Бога, принадлежности, преданности, проданности, обреченности Богу, когда еле успеваешь крикнуть, не успеваешь зажмуриться и сердце уже рвется, горит, разрывается, разрушается, тает, течет, исчезает в потоке Божественной любви. Когда наконец глаза, изъеденные слезами, открывались, Олег, всклокоченный, грязный, с тяжело бьющимся сердцем, слезал с дивана... Жизнь сперва представлялась невозможной, но потом, поев, побрившись, он вдруг

оживал к болезненно-яркой, бессмысленно-интенсивной жизни Монпарнаса. В слишком широко раскрытых, слишком светочувствительных глазах мир казался полным огня, каждый дом — спящим на солнце, притворяющимся добродушным чудовищем, каждый угол, каждое закатное облако, каждый фонарь казались одушевленным существом — притяившимся ангелом, демоном, огненной бабочкой, медленно полыхающей в сумерках... При встречах дикая, больная радость общительности вырывалась из сердца... Олег так много говорил, так хвалил, восхищался, галдел, что у случайного встречного создавалось какое-то болезненное, неловкое ощущение, так что тот спешил поскорее от Олега убраться... От одного человека до другого, от столика к столику, иногда смеша до упаду, иногда страха до отвращения, Олег перешумит, пересмеется, переволнуется и, еле живой, с бьющимся на лестнице сердцем, доберется, повалится (и это он, атлет и пловец), рухнет на продавленный диван и, о ужас, не сможет заснуть... Горя сумасшедшим, болезненным блеском, бессвязные образы будут нестись перед его глазами, подушка будет слишком низка, все тело будет чесаться, и он поминутно будет вскакивать, палить свет, скрежеща зубами искать невидимых блох... Потом наконец, собравшись с силами, заставит свои мысли остановиться, весь сжавшись, уставившись, замрет в непроглядной тьме, и тогда новое бедствие — галлюцинации, кошмары наяву обступят его... Мебель начнет двигаться, платье на вешалке примет форму повешенного человека, что-то бесформенное, полудеревянное-полубумажное закопошится на лестнице — и так до рассвета, пока он вдруг не провалится в бессвязные, унижительные сны.

V

Triste est le monde,
Le monde est triste,
La Belle Rosemonde
Embrasse son Christ¹.



лег уже два дня не медитировал. Тяжкое, мутное оцепенение счастья, вина, Катиного присутствия превратило его жизнь в поток картин и мук, среди которых он не может проснуться. Плывет, уносимый горячим течением, вечно спеша, волнуясь, стирая носки, бреясь, целуясь с тяжелой головой, торопливо мочеиспуская, не успевая опорожниться, прячет мочеточник так, что всегда, к бешенству своему, орошает себе ногу; посреди мечтаний о выигрыше в национальную лотерею, о такси засыпает и долго не может проснуться или сразу вскакивает, вспоминая, не пропустил ли свидания.

Он ошалел от объективности, вошедшей в жизнь, от чужого присутствия в своем, от внешнего отзвука, о котором он так долго выл, а теперь почти жалел... Часто возвращаясь домой, он с ненавистью смотрел на свои блестящие башмаки, напоминавшие ему, что он целый день валялся на диване или на постели, целовал, нюхал, ощупывал молодое, живое, опасное тело. Архитектурная симметрия его одиночества была совершенно разрушена, и он вечно с гнусным, подозрительно наглым видом куда-то спешил... «Ах, остаться бы дома, — вдруг ревел он в бешенстве, — не

¹ Печален мир,
Мир печален,
Красавица Роземонда
Целует своего Христа (*фр.*).

бриться, ходить в неглаженных брюках». В сортире грустил, пел, свистал (своя жизнь, скрытая от всех).

Наконец, свободным вечером, никуда не собираясь, Олег лежит на диване, стараясь определить свою позицию перед Богом («prendre position devant Dieu»). Понять свое место в непрерывном исчезновении всего... Долгими годами учась этому, еще в бреду жизни улыбается, предчувствуя катарсис, покой... Сперва мускулистое тело вытягивается в струнку. Ноги кладутся одна на другую, правая на левую (как у повешенного на двенадцатой карте Таро). Руки скрещиваются на груди, голова на вытянутой шее, почти без подушки, как можно дальше откидывается назад. Невольный тяжелый вздох облегчения, неподвижности, смерти. Осатанелая напряженность отсутствия вытянутых, каменных фигур на саркофагах.

В левой ладони Олег сжимает часы, которые быстро согреваются от напряжения этих пяти минут внутреннего молчания.

Олег закрывает глаза и видит перед собою знакомое чудовище, огромный стальной гидравлический пресс, пар из ноздрей, который, медленно сдвигая челюсти, отжимает все живое за порог сознания... Пресс исчезает... Разница между тем, чтобы думать о «ничто» и ничего не думать. Знакомое, привычное напряжение в переносице, темнота, ночь, небытие... Время идет адски медленно, слышится биение сердца, звон в ушах, тело чешется, но чесаться нельзя, и вдруг, как волшебный фонарь, как огненное наводнение, — картины, ассоциации, воспоминания, внутренний голос опять зарокотал, и Олег в мгновение побывал уже на Монпарнасе, в Дании и в астральном мире, но вдруг очнулся и, с мукой досады вцепившись в последний вагон огненного поезда, старается, разворачивая виденье в обратном порядке, вернуться в исходное ничто — явственное чувство усилия, какое-то отделение от самого себя, и вот круг завершен, исходная темнота возвращена, и только от

напряжения по ней плывут бесформенные огненные круги. Наконец пять минут прошло, и Олег, преображенный усилием, иконописно повзрослевший, просыпается к сознательной Темной Ночи...

Кто я?

Не кто, а что.

Где мои границы?

Их нет, ты же знаешь; в глубоком одиночестве, по ту сторону заемных личин человек остается вовсе не с самим собою, а ни с чем, даже и не со всеми. Океан нулей, и на нем — комичный, как голос радио на ледяной горе, говорящий попугай небытия.

Ты лакей блеска, властолюбия, зависимости и черной жажды тела, но вслед за исчезновением тысячи женщин и тысячи зрителей исчезаешь и ты сам, и два пустых зеркала не могут уже отличить себя друг от друга... Где ты сейчас?

Я только что был всюду, рассеянный во всем мироздании, но главное — на Елисейских полях и на Монпарнасе, субстанция моя, как жидкий клейкий огонь, разлита была вслед десяти породистым надушенным чудовищам, но вот она собрана скрежещущим усилием воли, и сразу я нигде, ибо где-то отказано мне.

Чтобы удержаться на этом рубеже двух бесконечностей, надо срастись, оплести эту точку в потоке нитями настоящих отношений, вечных воспоминаний о семье и дружбе, но как для меня это возможно, если Катин Олег ненавидит Олега Таниного, если Терезин Олег еще совсем другой, и так, один за другим, они обрушиваются, тонут, растворяются в ничто, и я есть Апейрос, Отсутствие, темная ночь, породившая и поглотившая их, я есть темное огненное зеркало, огненное море, тысячи превращений, не помнящих родства, и как я устал от непрерывного карнавала тысячи трагедий, но ведь это все мне снится. Аскеза есть насильственное пробуждение от мировой сонливости воображения бытия, пробуждение сознательное, дополняющее, внезапное, мгно-

венное, невольное, потрясающее пробуждение от боли, когда разом в остолбенении разлуки тысячецветная ткань разрывается и все мироздание обрушивается в ничто. «Мироздание тает в слезах. И как краска ресниц, мироздание тает в слезах...» Снова как до начала мира. Ничто глазами человека с продавленного дивана смотрит в лицо Виновника всякой боли, то есть жизни... Лицом к лицу на умопомрачительной высоте...

Олег тяжело дышит с закрытыми глазами, супя брови, морщась, обливаясь потом от напряжения, и снова вытянутое тело, сжатые губы, Темный Лорд великолепной гробницы, где ты?.. Нигде... Потому что Париж — это где-то, когда-то, между небом и землей, где медленно идет снег дней, тотчас тая на мокром асфальте... Сколько времени, который час... Никакой. Никогда... Заблудился в веках между Эгейскими мистериями, стоицизмом, Гегелем и Лафоргом... Луна, мировое Ничто, все видящее, кроме самого себя, неподвижно смотрит глазами Олега на мировое все, мчащееся перед ним, как море туч... Самосознание трансцендентального субъекта невозможно, значит, Ничто говорит с Богом... Но почему Бог должен отвечать... Оторвавшись от семьи, народа, истории, Олег стремительно полетел в то чистое отсутствие, из которого Бог пытался вначале сотворить небо и землю, но не смог окончательно преодолеть его в его средоточии, и вот сперва от боли, а потом титаническим ослепительным мужеством аскезы оно сбросило с себя, проснулось вдруг от всех форм неба и земли... Олег теперь чувствует, видит телом, мимирует всю музыку творения, все горы, спящие на солнце, как складки на его лице...

У Олега настоящих личных отношений не сложилось ни с кем. Танечка явно ошибалась, целуя его и путаясь среди десяти симпатичных блондинов, с которыми целовалась, переписывалась, выясняла отношения до бесконечности... Катя любила, а может быть, уже не любила, какую-то тяжелую, буйную, на-

литуую кровью кабацкую тень, охотно, как музыкальное наваждение, рвущуюся жить, принять на себя все Катины мечты о благообразной жизни в России, такси, цыганские романсы, коммунизм, вечное высмеивание всего и всех... Не все ли равно было Олегу, ну споем, звезданем, посмеемся, не все ли равно ему, Ничто, чем ему быть сегодня, эту зиму... И вот теперь это Ничто-Никогда-Никто ныло, выло, стонало, молило Бога вернуть его во время, в историю, в семью, в память, в жизнь.

Боже... По-детски бормоча, тысячу раз повторяя одно и то же, Олег внутренне вопил: «Дай мне быть чем-то, сделай меня человеком, ведь я никого не люблю, не умею запомнить, не принимаю всерьез, Боже, я так люблю Тебя, Вечную Память живых», — и слезы, вдруг рождаясь в сердце, вынося, разливая жизнь из глубины сердца, орошая душу, выступали на углах глаз и теплыми ручейками беззвучно стекали на уши... Боже, Боже мой, дорогой мой Господь... И вдруг: «Да ведь мне и не надо будущего, я сейчас очнусь и исчезну, я встану с колен (протягивая руки с дивана, но все с закрытыми глазами), вот Ты, вот Ты передо мною, и я люблю, смею любить Тебя... Жалкое Ничто, обожаю Тебя и прощаю Тебе все свои муки, свое одиночество, свою нужду, ибо я нахамил, напортил сам, оторвался от жизни...» Слезы, слезы. Олег судорожно плачет, а солнце любви все горит и сияет над ним... Наконец он неловко слезает с дивана и на коленях, мокрый, грязный, всклокоченный, дико указывает рукою на какое-то место на стене: «Вот, Ты здесь, Ты здесь. Будь благословен, это я Тебя благословляю. Живи, живи, живи всегда...»

Усталость, изнеможение, разъеденные глаза сладостно щиплют и чешутся. Который час?.. Опять на диване лицом к стене... Слабость ребенка... Лицом к подушке, как к чьей-то теплой, грязной груди... Сон... Сны... Уничтожение боли.

Дни сменяются днями. У каждого имеется расцвет, которого никто не видит, кроме бродяг и пьяных, нехотя шурящихся на небо. У каждого дня имеется вечер, который неуловимо начинается в цвете читаемой страницы, медленно переходящем из желтого в розовый, голубой, серый, черный, — тогда почему-то не хочется зажигать свет, чтобы не путаться, умирая от грусти, между двух огней, как некогда Олег между Аполлоном и Терезой. Неподвижно, с книгой в руках, темная личность смотрит в пространство, обдумывая сложную и горькую географию своего одиночества, где-де, через какую границу ему через него попытаться перейти, чтобы вскоре насильственно и с позором быть вновь в него водворенным, подобно административно высланному, принудительно возвращенному в исходную тюрьму.

Весь этот, такой знакомый, скучный горный ландшафт чудесно исчез вдруг с Олеговых глаз. Его заменило вечное ожидание, неустанная тревога и боязнь перепутать свидание, место и время встречи, какая-то занятая, кокетливая беззаботность-озабоченность в разговоре с товарищами, как будто нашел службу или получил наследство. Особенно счастливыми были сборы Олега, когда, неестественно оживившись и вынырнув вдруг из книг, в которых он по-медвежьему обрастал волосами, пух и пропахивал бздятиной, начесывал брови до лысин, ковырял в ухе и скреб голову, вдруг из мира призраков, из вневремени одним движением выплывал он в настоящий день, мыл ноги, что редко обычно делал, стоически любя грязь, запах пота, табака, мочи; стирал и зашивал носки, вытаскивал из-под тюфяка отлежавшиеся и еще теплые брюки, брился, тер докрасна морду грязным полотенцем и, помолодевший, похорошевший, на когтях выкатывался на улицу, расправляя плечи в осенней сырости, еще летний, загорелый, живой, летел, шел, все время себя сдерживая, к Кате. Если бы он себе позволил, он бы бежал всю дорогу, и только потому не делал этого, что боялся непри-

лично вспотеть и переволноваться, ибо для него, и так постоянно неестественно возбужденного и пьяного без всякого вина, самым аванажным был именно первый момент встречи, когда лицо еще сохраняло так идущую диким натурам неподвижность, замороженность улицы, холода, одеколона и смущения. Катя жила в отеле на бульваре Монпарнас, и он по дороге проходил мимо двух пар часов — одни в глубине гаража на Обсерватуар, другие над зданием бани, — и вечно они показывали слишком мало времени, и надо было еще крутить по кварталу, нагоняя минуты, что давалось с трудом. Наконец последняя оглядка на себя в зеркале (вредная, между прочим, ибо знал он, что увеличивает застенчивость), и Олег, напрягши все мускулы, как боксер, встающий со своего табурета, входил в подъезд. Этот напряженный, отчаянный вид делал его сугубо подозрительным в глазах хозяина, сквозь которого приходилось каждый раз пробиваться чуть не моральным насилием. К тому же хозяин и хозяйка были всецело на стороне Салмона, приехавшего всегда на автомобиле и умевшего разговаривать, и Олег еще вчера наткнулся на характерное проявление этого предпочтения. Катя где-то закрутилась и опоздала, Олег походил под дождем, потоптался под тентом книжной торговли и, вернувшись, сквозь стекло двери увидел записку, нацепленную на крючок от ключа, входя не удержался, чтобы не отогнуть пальцем и не прочесть: «Mr. S. ne viendra pas ce soir»¹. Олег успел уже подумать, что этот сукин сын сам о себе так величественно в третьем лице написал, когда на него налетел хозяин с угрожающим: «Qu'est-ce qu'il y a?»² Олег смирился и ушел, зато Катя его вознаградила, нарочно громко, шутя перечитав записку ему при хозяйине, и так, продолжая посмеиваться и помахивая запиской, поднялась по лестнице.

Эту встречу, когда Катя одевалась при нем, он вообще не оценил тогда, но теперь, когда больше ее не

¹ «Господин С. не придет сегодня вечером» (фр.).

² «В чем дело?» (фр.)

видел и не мог видеть, малейшие ее детали отчетливо до мучительности оживали перед ним. Вспомнил он, как Катя душила кончиком пальца губы свои и мочки ушей, все время лукаво, тревожно, в упор смотря на него в зеркало, и как он беспомощно-гордо удерживался или попросту не решался обнять ее и поцеловать, переминаясь и не ценя своей силы тогда заставить ее опоздать к Салмону. И все-таки она опоздала почти на час, опоздала из-за слез, которые вдруг потекли, накатившись из-за края ее огромных глаз без ресниц, и тогда сурьма расплылась по щекам, и все надо было начинать сначала.

Перед самым отходом, в приготовлении к которому было все отношение Кати к Олегу (отношение опустившегося человека, двойственное из-за слез, опаздывания, чуть прикрытых насмешек над запиской и того, что она так тщательно одевалась, красилась, душилась), стоя у ночного столика и с усилием глотая из горсточки какую-то шоколадную крупу, от одного вида которой Олегу становилось больно на сердце, Катя, смеясь неизвестно над чем, молвила:

— Каким это вы жалобно-гимназическим голосом сказали: «Ах, уже надобно идти».

А он, Олег, мгновенно насупившись и приготовясь к отпору:

— Вам не нравятся жалкие голоса?

— Нет, я люблю такой голос. Так спрашивал всегда тот белобрысый из университета, которого я любила... — Олег ожил, но это и была его последняя удача, которую он еще смог оценить. Мука разлуки с Катей уже туманила ему голову, и он плохо соображал, зачем ей понадобилось тащить его до самого кафе дю Дом, а главное, еще более, зачем ему было туда входить вместе с ней, хотя уже несколько раз он начинал прощаться. Не понял он тогда, может быть, самой большой своей победы, а именно, что Катя хотела, чтобы Салмон увидел его. Хотела нарочно столкнуть их на узкой дорожке, защититься Олегом и ожить к гордости счастья.

Сегодня же Олег, поднимаясь по лестнице, вспоминал другую яркую до муки минуту. Конечно, Олег переделикатничал. Потом, вспоминая, невесело скажет: «Par délicatesse j'ai perdu ma vie...»¹ Десять раз Катя ждала, что он потеряет голову, поцелует, обнимет всюю тяжелою своей теплотой, но знакомство с Безобразовым и Танины дни не прошли для него даром. Олег то сиял нарочно счастливым, холодным теплом, то действительно смутно боялся чего-то непоправимого, аскетически страшился падения в горячий омут, и это было грубо. Катины руки вдруг разжимались, что-то злое, кокетливо-скопческое появлялось в его неуклюжей усмешке, но зато во сне свет ее тела раскрывался всецело, и он просыпался, весь дрожа от счастья, как будто бы вдруг с солнцепека попав в темную комнату, ничего почти не видя и не понимая в первую минуту.

Снился ему какой-то низкий деревянный дом, где-то среди ярко освещенных песков, поблизости, но не в виду моря. Он, Катя и Таня рассматривали какие-то символические картины, картонки, карты, которые от их внимания оживали и начинали двигаться. Потом все трое, радуясь тому, что это возможно, совершенно голые шли по какой-то узкой, оранжевой дороге, прорубленной в скале, ярко и ласково смеясь, и так по скалистым ступеням сошли на берег, где свадьба со всеми сопровождающими ее девушками усаживалась в колесный пароход, сделанный из белого, холодного и мягкого материала, может быть, из шелка или из мороженого, отъезжая в океан тысячи форм существования. Потом в комнате, обитой белыми чехлами, в ярком сиянии сада Катя лежала на Олеге, наполовину оставаясь все-таки на воздухе, и все его тело пило, вбирало в себя ее присутствие...

В тот вечер, который Олег вспоминал на лестнице, поднимаясь за Катей и жадно всматриваясь в тяже-

¹ «Себя сгубил я, привередничая...» (фр.)

люю грацию ее ног — как мускулы на них напрягались при шаге и как, подымаясь на ступеньку, они обнажались, как два работающих древних божества, немного более обычного, — в тот вечер они уже долго сидели, обнявшись, все же не решаясь откровенно целоваться в уста, но со страхом счастливо нежничая и глядя друг друга. У Кати наконец затекла рука, она откинулась и закурила папиросу, запрокинув голову и выпуская дым к потолку. Синяя охотничья куртка ее сбилась, задралась кверху, и между ней и старой шелковой юбкой блеснула беспорочно белая, удивительно гладкая полоса тела. Рука Олега, дойдя до этого места, остановилась как бы обожженная, но через нее по всему ее телу разлилась горячая яркая радость какой-то несбыточно горячей откровенности. Катя поняла и замерла в тревоге, надеясь, боясь его предприимчивости, но Олег снова не решился продолжать в том же духе, и Катя, осмелев и передвинувшись, вся выгнулась дугой, свесив ноги с края кровати и слегка раздвинув их. Она отвернула голову и сказала по-цыгански сквозь зубы: «Ах, я должна была бы совсем не так с вами обращаться», — прямо намекая на то, что они теряют счастливое время, но Олег, так давно уже ведший насильственно целомудренную жизнь, весь похолодел от неожиданности и, испугавшись, что он не возбуждился как следует, действительно болезненно-нервно остыл совершенно.

Катя встала, вдруг постаревшая, с лицом, налившимся кровью, — она вообще слишком легко краснела, ее тонкая кожа быстро наливалась кровью от счастья, от лжи, от злобы. Она пила воду, глотала шоколадную крупу, курила и шурилась.

Успеем еще, успокаивал он себя, не зная, как это часто бывает, что это и были самые счастливые их дни, по-детски недооценивая и пренебрегая ими, не ведая, что завтра, скоро, Таня снова выпустит свои когти и счастье его с Катей запутается в ссорах.

Другое видение. Рано, с мокрой от дождя головой, капли которого, смешиваясь с одеколоном, со лба стекали до его губ, Олег, счастливо проскочив мимо хозяина, с бьющимся сердцем поднялся наверх, досадуя на то, что сердце бьется, и утешая себя тем, что это не от слабости, а бьется оно от муки. Сдерживая себя изо всех сил, Олег стучит в заветный сороковой номер... Молчание... Олег стучит сильнее... Снова молчание, на этот раз уже почти невыносимое, тем более что Олег начинает чувствовать коловращение в животе от волнения.

Но ключ с широкою медною звездю (чтобы не таскали по карманам), оккультно-нагло неподвижный (как черт, притворившийся ключом), торчал в дверях, и, вдруг решившись, Олег отворяет дверь и останавливается перед пустою и смятой кроватью (Катя ушла, закутила, заупотреблялась с Салмоном, ах, чего я думаю, разбить ему тотчас же его худую морду!). И вдруг он увидел, что на ковре между зеркалом и чемоданом ничком лежит Катя, совершенно одетая, даже в пальто с милыми его меховыми эполетами. Быстро закрыв дверь, Олег скинул пальтишко вместе с пиджаком, подался к ней и легко поднял ее с земли, со страхом почувствовав на руках мягкую и дорогую тяжесть ее спины и бедер. Положил на кровать, целомудренно одернув юбки. Вдруг на кровати Катя очнулась, быстро, невнятно забормотала что-то, тяжело, отсутствующе осмотрелась, узнала Олега и, вдруг протянувши к нему руки, притянула его к себе и, обычно такая гордая и неприступно-расчетливая, спряталась головою к нему в свитер и, отчаянно прижимаясь к нему, зарыдала.

Долго-долго бормоча и сопя носом, Катя плакала, потом устала, слабо повела головою и задремала, клюнув носом рядом с Олегом, мучительно отлежавшим руку и не смевшим двинуться. Из ее бормотания он узнал, что они встретились вчера с Салмоном в кафе дю Дом и тот, чувствуя недоброе, повез ее пить, что, выпивши, они, наконец, объяснились, и что она

впервые откровенно с ним говорила, и что он вдруг перестал хамить и задаваться, съежился, подался и заговорил о том, что ему уже тридцать пять лет, что он не хочет губить ее молодости, сразу перевернув сердце ей, наивно недооценивавшей свою власть и ожидавшей ругани, грубости, может быть, даже драки. Что после этого он по-товарищески напросился к ней наверх и что сперва все было очень хорошо, а потом опять все было то же самое, после чего она ревели, до пяти часов не спала, утром же оделась, чтобы идти по делу, и вдруг завертелось все в голове.

Время шло. Плача, сопя, бормоча во сне, Катя все крепче пристраивалась к Олегу, тычась в него носом, как медвежонок, ища защиты, и сердце Олега таяло, рвалось, сопело, бормотало от нежности, но было ему тревожно: не очнется ли она вдруг и не рассердится ли на себя и на него за свою слабость? Однако Катя очнулась совсем по-другому... Засмеялась, даже напудрилась, шутя над собою, и послала Олега в бакалейную лавку, но до этого было еще одно небольшое, но мучительно-счастливое словесное происшествие. Олег, согревшись около Кати, скинул свой морской свитер, не забыв со спортивным кокетством закрутить рукава безрукавки до самого толстого плеча, обнажив свои перетренированные руки. Катя прильнула к этим рукам лицом, закрыв глаза, и вдруг, помолчав сказала: «Как хорошо, что у тебя такая гладкая, коричневая кожа... Страсть не люблю волосатых рук, черную спутанную шерсть на руках... Брр...» — и вся болезненно, не открывая глаз, содрогнулась от отвращения, и Олег понял, что длинная черная шерсть на белых и, вероятно, скелетических руках росла именно у Салмона и что, это о ней вспомнив с отвращением, Катя прижалась к нему, Олегу... Торжество его в эту минуту над соперником было полное, и, как всегда в невыносимых случаях, он внешне пропустил эти слова мимо ушей, ревниво сохранив их в сердце.

В итальянской бакалейной-колбасной Олег накупил сосисок, пива и квашеной капусты с салом, зная

наверно, что всю эту убоину он, как вегетарианец, есть не будет, но это его не трогало, ибо он от волнения забывал совершенно о еде и сне...

Платя, Олег не преминул жалко пококетничать перед кассиром, независимо извлекши Катины сто франков, хотя и показав этим самому себе, что в эти сказочные дни его и Катины деньги казались общими. Все же, идучи на свидание, Олег старался хотя бы папирос купить на свои, чтобы хотя бы спервоначалу не курить, не травить ее «Лаки Страйк», хоть и до страсти любил их. Но вокруг денег, вдруг расставшихся их денег, и начало внешне разлагаться их счастье, ибо именно из-за денег были их последние самые ядовитые обиды.

Таща все в объятиях, Олег возвратился в отель и уничтожил хозяина счастливым своим видом. Но наверху выяснилось, что ни ложка, ни вилок, ни стульев в комнате нет. Катя прямо на чемодане, на бумаге расставила харч. Села рядом на пол (она вообще любила сидеть на полу, уютно, по-помещицьи покрыв юбкой даже самые кончики туфель)... Олег неуклюже, неудобно сел на другом краю (он всегда нервически следил за своими движениями, стараясь красиво и мужественно вставать, ходить, закуривать, и поэтому часто был до смешного неестествен, даже комичен).

Теперь Катя, выплакав свое горе, руками ела капусту, запивая ее прямо из полбутылки английского пива с тмином, и с набитыми щеками смеялась милым своим опухшим лицом, сплошь напудренным в спешке так, что и ресницы побелели. Как здоровый человек, духовные муки которого в конце концов выражаются в диком голоде, Катя ела почти по-волчьи, почти жрала, бравирюя неряшеством, мужицким манером, в то время как руки ее, белые до фантастичности, громко говорили о ее высоком происхождении... Теперь на нее нашла безудержная смешливость, она рассказывала анекдоты, пыталась рассказывать все с полным ртом, закрывая его руками, что-

бы в спешке смеха не опростать на собеседника, наконец до того пережралась, что уже не могла сказать ни единого слова, и только неумело сдерживалась, чтобы не икать. Что-то скотское, милое, родное, животное было в этом обжорстве для Олега, которого любовь по-прежнему лишала всякого голода и которому все было равно, кроме нее... Отдышавшись, они сели снова на кровати лицом к окну, рядом, и окружили себя табачными облаками... Катя, пересмеявшись, молчала, тяжелыми масляными глазами уставившись в тусклую, окруженную овальными мирами дыма электрическую горелку.

Медленно углы комнаты исчезали в темноте. Окно было совсем голубое, и там, по ту сторону улицы, уже желтыми пятнами зажегся свет в соседнем доме. Там жили люди тяжелой, мерной, уверенной жизнью, враждебной обычно Олегу, но сейчас, казалось, он помирился с нею и с дождем. Подойдя к окну, он видел темные низкие облака, блестящую улицу, зеленоватый свет фонаря на углу, но и это было теперь нужно и не щемило сердце. Часы шли. Они почти ни о чем не говорили, вдруг уморившись жить и быть счастливыми; с глубоким удивлением, благодарностью покоя, переговаривались в темноте. Теперь Катя лежала у него на коленях, сама устроившись, сама уткнувшись лицом в его темный черный свитер собачьим, русским, родным жестом, который так любил Олег, и снова ему захотелось в Россию, все ледяное европейское барство скатилось с плеч, и он чувствовал себя русским всклокоченным студентом с противоречивыми убеждениями. И было что-то в их молчаливом сидении в чужом гостиничном номере чужой страны от синевы русского леса, от несказанной грусти позднего вечера в Сокольниках, где часто, слишком далеко зашедши со своими лыжами и отбившись от своих, они (с братом) сживали на белой смерзшейся снежной шапке на скамейке и всматривались в непередаваемую синеву снега, кончавшуюся чернотой деревьев. Медленно, высоко над вершина-

ми сосен летели вороны, и протяжный, неспешный грай сжимал сердце, и вдруг издали, кажучись светящимся домиком, со звоном по снегу приближался трамвай, и два красных огня чем-то сказочным, пряничным, заброшенно-грустным светились над ними.

От курения пересыхало в горле. Олег пил воду, зажигал спичку, снова усаживался, пристраиваясь поудобнее, и снова длилось счастливое время с баснословной щедростью, которую только дает обеспеченность, молодость, отчаянность. Только иногда гарсон стучал в дверь или вспыхивал и гас свет. Катя спускалась к телефону, но скоро возвращалась, рассказывая, что переусловились, наврала, но осталась свободной.

Потом, идучи домой, Олег спрашивал себя, в чем же, собственно, дело и почему порвалась для него связь времен так сильно, что он вдруг совершенно потерял прошлое, почти не думая о Тане; да, кстати, где она? И он радовался, что ему все равно.

Каждый из нас ходит по улице со своей одиночной камерой на плечах, и, как только остановится перекинуться словом с приятелем, пруты, как живые, вырастают в землю перед ним. За одним столом, как в американской каторге, люди разговаривают из-за решеток, вежливо по-волчьи сверкая белыми зубами. Но как наивен тот, кто примет эту обходительность за полноценную монету, как быстро ударится он мягкой мордой о невидимые прутья. Ибо у каждого человека есть такая предельная цена, за которую он тотчас же продаст любого товарища (разве какая-нибудь на свете дружба перешибет любовное свидание?)... Для меня эта цена франков пятьдесят, для другого немного поболее, смотря по образу жизни. В Фавьере Олег хорошо понял, что живет в каменном веке, что под легким слоем пудры ледниковая грубость жизни выпрастывается на каждом повороте, что можно рассчитывать только на себя или на временно замороженного любовью человека и ровно столько дней, сколько длится наваждение. От этого

была его новая ставка на физическую силу, здоровье, образование, высокомерие, ибо наглая замкнутость казалась ему честнее, вежливее неосуществимой любезности, и в ней ему чудилось больше чувства первоначального греха, больше откровенности об органической невозможности кого бы то ни было морально полюбить, к кому бы то ни было отнестись без скуки, внимательно... Поэтому Олег знал, например, что компанию могут водить только люди с одинаковым количеством свободных денег, а у кого помалее — проходи, братей, сторонкой, ибо никогда все равно не сольешься с кругом, автоматически попадая на жалкое, второстепенное место, когда, нарушая благообразие, придется вдруг, вспотев от унижения, попросить: «Володя, я тебе хочу сказать кое-что по секрету». Причем данный Володя уже читает на твоём лице, в чем дело, и, не желая бороться, уже согласен заплатить, но едва заметно переглянулся уже с остальными, мол, опять начинается. Счастливый, не водись с невезучими, проходи стороной. Несчастливый, не подходи к фартовику, каждое слово ваше — горечь и упрек для другого, обида и подвох... Олег вдруг вырос, вдруг стал взрослым, едва у него раскрылись глаза на звериную жизнь, где каждый из-за малейшего развлечения — бриджа, синема или просто обеда в меценатском доме — охотно бросит другого со всеми его трагедиями и где удивительная частота всеобщих встреч свидетельствует только о том, что очень часто ни у кого из ловчил ничего не получилось на этот вечер, кроме кафе. Олег вдруг возмужал, и, о чудо, отношения его с товарищами вдруг улучшились, ибо он сумел отказаться от давнего постоянного тайного упрека другим в бессердечности, поняв, наконец, почти до конца свое бессердечие собственное... Теперь он научился, вдруг деревенея и выкатывая грудь, быстро, без сентиментальности прощаться и уходить или не подходить вообще к компании, если чувствовал носом, что они уходят кутить. Усвоил нравы каменного века и перестал ставить иных в неловкое положение проявлением или

требованием жалости, ибо чувствовал, наконец, метафизическую невозможность неоскорбительно пожалеть другого и глубокое унижение, похожее лишь на злую обиду, самому оказаться жалеемым... Что-то сухое, веселое, крепкое появилось в его обращении вместе с безрукавками, моноклем и американской стрижкой — наголо вокруг головы по краю куста-оазиса на верхушке.

Не жду пощады и стыжусь ее оказывать... Всегда на войне, всегда в лесу, всегда начеку и наготове — и вдруг в Катиной комнате глубокая безопасность, глубокое спокойствие наполняли его: вечный поединок между ними вдруг прекращался, и Олег негаданно-нечаянно молодец, опускал плечи и говорил совсем другим, безыскусственным, не слышащим себя голосом вместо вечно напряженного, деланно-веселого, чуть скрежещущего голоса мучительства жизни.

Комната медленно темнела, тонучи в синеве сумерек и папиросного дыма. На полу, на чемодане еще валялись остатки каннибальского пиршества: недоеденная капуста в потемневшей картонке, пивной полуштоф, окурки. Они сидели на кровати рядом, низко, близко друг около друга... У Кати уже прошел припадок беспричинной сытой веселости, и она молчала, неподвижно в профиль глядя поверх тусклой медной решетки кровати в окно, а там, за окном, шел тяжелый и бесконечный весенний дождь. День быстро убывал, проституционное убожество отельной комнаты было уже почти невидимо. Света не зажигали.

Спокойно, отсутствующе, в оцепенении счастья Олег смотрел на Катю, но Катя не поворачивалась, хотя было заметно, что она чувствует этот взгляд. Лицо ее, с правильным, почти греческим носом, выражало какое-то счастливое мрачное смирение перед сумерками, дождем, безделием и собственной порочностью. Над чуть припухшими веками начерченные ресницы, как черные лучи, прямо, не загибаясь, оттеняли большие, слегка коровьи глаза. Рот был

широкий, с сильно выступающим подбородком, и с чисто греческим великолепием от гладкого невысокого лба отступали темно-коричневой волной блестящие надушенные волосы... Запах этих дорогих и грубых духов прилипал ко всему, и ночью, пришедши домой и снимая рубашку, Олег с изумлением находил его на плече и вороте, там, где прикасалась к нему тяжелая Катина голова. Голый и целомудренный в своем старом монашеском одиночестве, Олег с изумлением нюхал рубашку, как будто не верилось ему, что Катя действительно существовала.

Катя была не очень умна, во всяком случае не умна на разговор, но обо всем без сложных доводов судила удивительно верно и в немногих словах. Было в ее особом роде ума то драгоценное, редкое у русских качество, которое можно назвать чувством масштаба, и редкая нелюбовь преувеличивать. Например, Катя, несмотря на мелкие свои купеческие навыки и жадность к деньгам, доходящую до того, что она не стеснялась пересчитывать приносимую Олегом сдачу, была коммунисткой, и это безо всякой модной западной игры. «Все это чепуха и безнадежность», — говорила она о Европе, и Олег, со всеми своими великими аргументами, растерянно замолкал. Рассуждала она вообще, как играла на гитаре: тихо, спокойно, мрачно, деловито, чуть слышно напевая — без особого голоса, но с абсолютно точным слухом. Любила Толстого и Чехова, уставала от Достоевского, что всегда было для Олега доказательством хорошо поставленной головы. «Ты заметил ли, — как-то сказала она, — что Достоевский никогда не описывает природу, не видел, вероятно, леса, всю жизнь проговорив, а если улицу — то обязательно ночь и грязно». И Олег потом долго смеялся, пораженный спокойной верностью этого замечания. Ибо все-таки она была погибшая девушка.

Как-то, на другое утро, Олег разбудил Катю около одиннадцати, вытащил ее на улицу, смеющуюся и порозовевшую от холодной воды. Это было одиннадца-

того ноября, в день перемирия. Условились они идти смотреть парад войск, но к одиннадцати часам он давно уже кончился, и только, проходя по бульвару Монпарнас, видели они, как усталый, но в тяжелом порядке возвращался в казарму колониальный полк в защитных шинелях. Первые ряды шли молодцевато, но задние с французской безобидностью, добродушием, не оставляющим их даже в армии, перли не в ногу, почти вразброд за пулеметными повозками... Было решено, во всяком случае, пойти в Лувр или хотя бы в Люксембургский музей по соседству, но, проходя мимо, Катя вспомнила, что скоро надо будет обедать, и они вошли и быстро погрузились в странное очарование пустого днем кафе, целиком наполненного малиновыми отсветами бархатных диванов. После шоколада и поджаренного хлеба Катя вдруг заказала «Манхатан коктейль», затем вермут, касис и куентро, и они попросту тяжело, жалко, счастливо напились среди бела дня, смеясь и ссорясь в пустом кафе на изумление гарсонов, в глазах которых Олег кредит неожиданно возрос. Но платила за все Катя. Из кафе оставалось только идти домой. Олег, оставив Катю в ресторане напротив отеля, ибо она, пройдя железную школу пьянства в Итонском колледже, безусловно под хмелем владела собою, пошел нетвердо обедать домой исключительно из приличия и классовой борьбы. Когда же он вернулся, Катя спала на кровати в уже полутемной комнате, не сняв даже коричневой шубейки-дохи.

Так и сейчас на лице Кати, еще освещенном последней голубизной дождя, явно можно было прочесть что-то опустившееся, неудачливое, рано растраченное, может быть, даже непоправимо утерянное; но вместе с тем было на нем то особенное античное благообразие сознательной неподвижности, гордо-меланхолической обреченности самому себе и жизни, которая в глазах Олега только и придавала значительность движениям людей и без которой они казались ему какими-то прыгающими мышами про-

свещения. И вместе с тем... не догадалась ли или, чего худшего, не видела ли она, как он блевал, исчезнув якобы за папиросами и вернувшись, конечно, без них, и снова, как корабль, подхваченный ветром и низко склоненный к воде быстро вырывается вперед, он утонул, подался, сиганул и отчалил в тяжелую нервическую спешку мытья, бритья, грязной еды...

И вот уже Олег на улице, и всего грязного его утренне-похмельного благородства как не бывало, опять завертелось колесо жизни Якин-Боаз, водоворот радости, страха, и Олег, спеша всю дорогу, думал: дадут или не дадут о себе знать вчерашние носки, которые он не успел выстирать, и грустно вдруг засмеялся громко над самим собою: «В гимназии это у нас называлось — прийти с букетом».

Опять завертелось огненное колесо жизни... Между бритьем, походом и первыми счастливыми поцелуями под дождем... Была у Кати такая русская, неизвестно как передавшаяся монастырская повадка — когда Олег, низко склонясь, целовал ей руку, целовать его в голову, по-архиерейски, почти по-нянькински, и на дожде крепкие ее духи казались каким-то ненормальным, весенним чудом, как запах сада, вдруг, снежною ночью, распутившегося в декабре... Фонари горели ярко на снегу... Снег летел крупными хлопьями, и на длинные бархатные перчатки с кожаной обратной стороной, как лисья лапка, которые Катя по последней моде носила на номер больше своей руки, снежинки налетали и долго не таяли, красуясь также на меховых эполетах ее простого английского пальто, которое напоследок сам для нее выбрал и купил ее отец, красивый седой господин с розовым лицом и золотыми зубами, притворно-весело на людях ухаживающий за своей дочерью, хват, жила и толстый корень, вокруг которого на семь верст трава не растет... Дни летели за днями в нежном, снежном очаровании почти целых суток вместе, когда, как будто потеряв счет времени, с откровенно цыганской отчаянной щедростью молодости и обеспеченности Катя

тратилась на Олега почти без остатка, вдруг перескочив через жадную свою хватскую природу, так что оба не знали уже никогда, ни который час, ни вообще вечер ли или уже ночь на дворе и обедали ли они... Олег ничего не писал, даже к дневнику не прикасался или, только раскрыв его и бросив взгляд, сразу наткнувшись на бесчисленные «белый жаркий день, как лошадь в гору, в поту печали» и т.д., смеясь, писал поперек страниц: «Живу, живу, живу... Наконец живу...»

И вот сегодня от непобедимого, кокетливого, вечно расшвыриваемого здоровья Олега не осталось ничего... Сегодня, в белый, ослепительный зимний день, Олег вдруг проснулся на сто верст от поверхности жизни... Вчера он лег слишком поздно, говорил слишком много, как заведенный, и, когда собеседников не осталось, продолжал истерически галдеть у стойки кафе дю Дом, куда под утро сползаются окончательно бывшие люди. Там он находил себе последних собеседников, каждый из которых уже по несколько раз подвергался хозяйскому запрету «быть сервированным» за неплатеж, хулиганство, попрошайничество; потом, за давностью, все это забывалось, и только жирный меланхолический гарсон с каким-то особым отсутствующим видом наливал им, — они же заискивали, хорохорились и всячески унижались, хотя нравы были скорее кроткие, — там были беспаспортные шоферы, лишённые бумаг, сутуловатый бродячий хиромант, шестипалый купец с золотоподобной цепочкой, длинноволосый художник, слышащий голоса, а перед кафе на тротуаре топтались неудачники еще горшей категории — узкоплечие педерасты без признаков беля, арабы и заросшие бородами глубокомысленные пьяные старики, не решавшиеся даже подойти к стойке... По негласному уговору с хозяином, из этого кафе, дабы оно по закону не утратило права на ночную торговлю, никого в участок не водили, волочили только немно-

го по rue Delambre¹, грандиозно давали по шее — и не-описуемая личность, мигом протрезвев, скрывалась в сторону Edgard Quinet², чтобы, дав круг, через полчаса снова появиться на бульваре. Олег прогалдел здесь с толсторожим славянского вида небритым Гамлетом в разбитых очках, поминутно оглашая воздух молодцеватой матерщиной, без которой после известной степени усталости и печали не мог связать двух фраз (исконная национальная пунктуация, облегчение и жалоба, обвинение всего на свете), пролопотал до изнеможения и позднего неохотного зимнего рассвета и со слюной во рту, со звоном в ушах потащился к себе на Place d'Italie³.

Дело в том, что они сильно поссорились с Катей утром из-за советской литературы, но, в сущности, конечно, не из-за этого. Не встретились после обеда, а вечером назло ему она засела играть в бридж со всей бандой, которая злобно приветствовала ее появление как признак скорого заката Олеговой звезды, потому что так уж и повелось в этом мироздании кончаться романам, а именно — насупленной актерской игрой в бридж одного из мелодекламаторов и унижительным злым дежурством другого за соседним столиком, усиленно и тем более неудачно старающегося держать себя как ни в чем не бывало... И только в час, когда Олег, перемучившись, переждав до черного отращения, пересердившись, мрачно, упорно курил обожженными губами, все-таки выдерживая фасон и не спускаясь вниз, где повадились картежники кретинизироваться, она, как мифологическое видение, высокогрудое, белорукое и щурящееся от смеха, появилась вдруг на ступеньках лестницы и, слегка раскачиваясь и нарочито и очаровательно двигая бедрами, прошла между столиками, а за ней, как тритоны и прочая тяжелая мокрая морская ерунда, полезли ненавистные Олегу литературные личности кон-

¹ Улица Делаамбр (фр.).

² Эдгар Кине (фр.).

³ Площадь Италі (фр.).

курирующей эстетно-славянофильской банды... Смотря на них, Олег злорадно подумал о том, как багровеет и уродуется человек от долгого смеха, как платье его сдвигается со своих осей, губы распухают, руки наливаются кровью... Красиво, легко, гнусно двигая боками, Катя приближалась к его столу... Тритоны, моржи, тюлени окружали ее, рыча, дую, плюясь, куря, фальшивя, поправляя отсиженные штаны... На минуту сердце Олегово остановилось, все превратившись в отчаянную мольбу, молитву, чтобы она заметила его, остановилась, присела подле, но когда он уже все считал потерянным, она вдруг, сделав скромное лицо, присела на самый краешек стула, в то время как ее мифологическая свита неохотно, принужденно начала с ним здороваться, вдруг забурлив, отступив, опешив, не сумев-таки удержать волшебницу от ненавистного похитителя... Но едва Катя исполнила немую Олегову просьбу, тотчас же вспомнил он железный закон недобрых их отношений, закон Линча всякой русской любви, тотчас же окаменел, оледенел, отвернулся в сторону, где стояли гарсоны, несомый неестественной храбростью ожесточения, подозвал одного из них, заплатил, нарочно передав чаевых, и, не прощаясь, как часто делал, отчалил на металлических ногах-пружинах, плохо соображая направление... Перешел на другую сторону бульвара Распай и там около аляповатого ресторана забился в тревоге, отчаянии, сомнении, нерешительности, заочевал по кварталу, не зная уже, не вернуться ли, во всяком случае совершенно потеряв возможность идти домой...

Проснувшись, Олег долго не мог встать... Вчерашнее словесное иступление сменилось совершенным упадком сил и какой-то давно не испытанной хрупкостью, стеклянностью во всем теле... Трудно было поднять руки, хотя, отлежанные на жестком ложе, они болели и чесались... Но кроме того, Олег не совсем соображал, где он и почему нет Безобразова в

комнате, — настолько все теперешнее, грубое, яркое, постыдно-тяжелое отошло от него за тридевять земель, и этой давно позабытой им стеклянной хрупкой физиологии невольно в его больном мозгу соответствовали совсем другие годы, другие лица... Новая его жизнь, постыдно-напряженная, отражение его нового полнокровия, здоровья, исчезла куда-то, унесенная, смытая переутомлением, и как во время раскопок под современным городом жестянок обнаруживается другой город — средневековый, а под ним — третий, античный, четвертый — эгейский, пятый — неолитический, и как, должно быть, реставратор смывает яркую лубочную икону и под ней открывает другую, зелено-фиолетовую рублевскую Богородицу, как наводнение, смывая песок, обнажает циклопические стены, — так и сейчас чувствовал он снова в себе некую давнюю снежную душу, еле живую, сумеречно цепенеющую в венке из воска при приближении первого горестного столкновения с жизнью, душу, которой вовсе уже не уместиться, не отразиться в новой его тяжелой, пьяной от скопления крови физиологии... Но сколько их было, этих душ, и Олег, куря папиросу, в кровати вспоминает...



от она стоит неподвижно на углу, без друзей, без единого знакомого, без приличного платья, узкоплечая, невыразимо покорно смотрящая на четырехчасовое зимнее небо, уже готовое распасться снегом, разлететься, осыпаться снежинками. В венке из воска и мокрыми ногами только что обошедшая всех своих приятелей-презрителей, поднявшаяся на четыре лестницы и никого не заставшая дома. Душа, которой некуда, совершенно некуда деться... А возвращаться домой в отель «Босежур», в желтый пыльный свет под потолком... Лучше головой о мостовую, лучше ходить весь вечер. Сумрачно, по-зимнему синели подворотни домов, люди спешили, охраняя свои свертки. Но Олег уже объелся шоколаду до тошноты, истратив на него все деньги, от тоски то и дело заходя в булочную и покупая конфеты по сорок сантимов... Холодно, неподвижно придерживая тающий венок из воска, цепенея пьяная от одиночества душа, смотря на медленно и неуклюже, как брови, опускающийся вечер, повернувшись спиной к своему отелю. Ярко, предпразднично-печально сквозь редкий снег звенели трамваи, теперь уже уничтоженного восемьдесят второго номера... Улица пустела, и вдруг среди тьмы отчаянная яркая мысль: «Но ведь сейчас уже больше семи часов, пока дойду до Глясьер, до русской столовой, будет восемь... Поем каши и пойду в кинематограф...»

Вторая душа, которую вспомнил Олег, любила рано, часто до рассвета, подняться с кровати... Эта душа еще ничего не знала о спорте, об усилении, сутулая,

и узкоплечая, и большеглазая, она любила в чистом и пустом рассветном городе слушать соловьев, которые не спеша привольно тренькали, скулили, ворковали за высокой стеной католического монастыря, маленькие и высокомерные птицы, верные своим стотысячелетним ритмам... Туманно синела лоснящаяся мостовая, а вдали корпуса строящихся домов казались античными крепостями из розового мрамора, над которыми маленькой перламутровой раковиной луна тонула в рассветной голубизне неба; что-то таинственное, омытое свежестью лесов, источников, пещер было в этом неторопливом ворковании... Потом солнце всходило не спеша, проезжали зеленые грузовики для поливания улиц, шурша широким водным веером. Первые трамваи шли, отражая солнечные лучи, и только что проснувшиеся, задорно звонко звенели своими звонками. Пыль поднималась от грузовиков с цементом, и теперь уже нужно было далеко идти на край города на городские укрепления, чтобы снова найти летнюю тишину, медленный звон самолета, как бы остановившегося в воздухе, кладбище старых вагонов, где не спеша маневрирует низкий товарный паровоз старой конструкции... Эта душа, прятанная в рассветах, предместьях, на солнечных пустырях, уже не была так беззащитна, как первая... Что-то грустно-античное, меланхолично-стоическое было в ее худых плечах и больших неподвижных темно-серых глазах, но и она исчезла, уступивши солнечно-неподвижному, угрожающе-прекрасному, насквозь мужественному миру Аполлона Безобразова.

Как это было давно, как будто совсем другие люди, молодые люди в различных демисезонах, и все они — Я, худые, широкоплечие, с красной, распухшей от жары рожей, с тонкими, белыми руками, покрытыми испариной усталости, в изнеможении ложившимися на бумагу, с широкими и грязными, налитыми кровью руками, отдавленными гирями, с широкой скуластой небритой мордой, ищущей, ко-

му бы показать кузькину мать, и еще другие молодые люди, плачущие в церквах, в слезах, в отчаянии веры лежащие ничком на полу, играющие в карты или на улице пыжащие свои плечи перед зеркалами, сурпящие брови, выпячивающие нижнюю губу, наглые, пьяные, заискивающие, гордые, молчаливые, болтливые, обезумевшие от злобы, умирающие от страха перед кондуктором — и это все я... Я... Я... воистину не я живу, а живут во мне души, а я — только склад старых декораций, слов разного происхождения, улыбок различных, давно сошедших со сцены персонажей. А вот еще одна душа совсем в другом роде... С моноклем, с бахромою на штанах, с пороком сердца и с порочным сердцем, идет, лукаво радуясь, — луна оставлена Лафоргом ей в наследство... Душа 1925 года.

Розовый жар неподвижного городского заката, скука, испарина, боль в сердце, а на углу, с ночным горшком на голове, пляшет неизвестный человек, а вокруг, как бабочки грехов, реют в воздухе листки его стихов...

Слабость, слабость с утра, грязные натруженные ноги, галстук в горошину, позднее вставание, насмешка над парком, над солнечным днем... Ночью, в кафе, среди табачной гари, сквозь ледяное окно монокля — блестящее, зловещее ошаление остроумия, выдумки, баснословные рассказы... Ниспровержение всего, утверждение чего попало, великолепное презрение к последовательности и стихи изо всех карманов... В сортире в «Ротонде» сочинительство карандашом на двери, пальцем на зеркале, на почте — на телеграфном бланке и с невозмутимым видом на улице — на корешке газеты, и вечное злое остервенение, полет, парение зловещего юмора, усталость с утра, нечистоплотная еда, стоя или на ходу, прямо руками...

А завтра снова, как выйдешь к вечеру на улицу, — огромная тяжелая летняя луна, низко плывущая над крышами, тяжелая музыкальная истома нескончае-

мого дня, еще разлитая во всем, раскрытые ворота, натруженные за день промежности в брюках без кальсон, воскресным вечером хриплое пение пьяных солдат, и в каждом огне, за каждым фонарем — улыбающийся дух преисподней, мертвец, скелет, полу-женщина-полуполицейский, огромный клоп, играющий на рояле... Из черной воды ночи — белые ноги, красные головы утопленников, дребезжание автоматического рояля, запах мочи и первое шуршание рано сгоревших листьев под стоптанным башмаком... Тупая, мучительно-приятная боль в сердце, волны испарины, желание онанизма, оккультизма, эксгибиционизма...

Ослепительный луч в комнате, я уже не сплю, но зачем вставать, мне 25 лет... Как это было давно, давно, как это все было, было, было...

Ночь, улицы опустели, свинцовая тяжесть во всем теле... Икаю... Качаюсь. Ах, все равно, имели, имели они меня (кто, все, весь мир?), и вдруг разом — мордой о скамейку... Пускай могила меня накажет...

Из-за чего, собственно, они поссорились? Конечно, не из-за советской литературы, а из-за Слоноходова... Слоноходов, широкоплечий, тяжелодумный красавец, расслабленный богатырь, евразиец, закрывая широкой ладонью свой идеально греческий подбородок, рассказал ему, что Катя, долго походив вокруг да около, не так давно прямо предложила ему совершить с ней половой акт и что он было принялся за дело, но на середине сочинения ее желтые неровные зубы и общая нервная атмосфера произвели на него тягостное впечатление, и он, не довершив дела, бросил ее на произвол судьбы, но не это поразило, а фраза Кати, брошенная как бы мимоходом: «Вы знаете, Олег в меня сильно влюблен, что мне с ним делать?»

Искони дьявол ходил за пустынножителями: девять — за послушником, девяносто — за настоящим чернецом... Но точно так же святые преследуют

грешников, как больная совесть — человечество, но не того ли ценнее обращение самого господина Лжи — так Аполлону Безобразову навязчиво снились душераздирающие небесные сны. «Бог меня преследует», — скажет он однажды Олегу с видом потерянного человека...

Олег теперь встречался с Безобразовым... Любил оный назначать свидания всегда в различных новых кафе с неожиданными нравами. Воскресным весенним вечером они встретились на Boulevard Sébastopol в желтой, ярко выкрашенной пивной, где оглушительно шумел самодельный оркестр. Прямо смотря перед собой в зеркало, упершись в свое отражение и наслаждаясь его неказистостью, вечным инкогнито своим, Аполлон слушал невероятно, необычайно, фантастически врущую гармонику — остальные музыканты играли средне, но она, вводя в «Хоту» самостоятельную вставную музыкальную фразу против такта, поднималась до такого свинячьего, чертячьего, адского визга, что казалось, делала это нарочно... С багровым лицом, окаменев от напряжения, гармонист колдовал над своей раздвинутой колдобиной, бубнил, гугнявил, верещал и, казалось, был совершенно глуп...

Гармоника выла... О чем выла гармонь та?.. Улица слабо шумела... О чем шуршала улица?.. Невслышно шевеля губами, говорили люди... О чем они спорили?.. Аполлон Безобразов молча, упорно смотрел на своего визави — отражение в зеркале. О чем он думал?.. Отражение высокомерно-угрюмо смотрело на него, но что оно видело стеклянными глазами, различало, не видючи?.. Олег, как глухонемой демон, за шумом музыки, за резким блеском дешевых ламп судорожно жестикулировал стаканом, спичками, бровями, напрягал мускулы, сопел, раздувал ноздри... Аполлон рядом с ним казался человеком другой расы, и даже удивительно было, о чем они могли говорить.

Олег рассказывал Безобразову о Татьяне, Кате,

совокуплении полов, классовой борьбе, законе Линча. Но о чем думало зеркало его, отраженное в зеркале зеркала? Зеркало, болтая, повторяло лицо, но лицо теряло в зеркале смысл, ища его в нем... Зеркало повторяло бессмыслицу лица, ищущую в зеркале смысл, стола, лампы, но не повторяло музыки, и поэтому неповторенная музыка становилась неповторимой. Аполлон в зеркале и Аполлон на берегу зеркала казались тождественны, но Олег, Олег зеркальный, отличался от Олега, говорящего в зале, потому что зеркало не повторяло звука, — и снова они оказывались тождественными потому еще, что звука этого за музыкой не было вовсе слышно. Олег до боли кричал в сплошном визге гармоникки, но даже сам не всегда слышал себя, и поэтому Олег говорящий был равен Олегу не говорящему и оба они подобны были Олегу зеркальному, не могущему говорить. Но о чем думал Безобразов?... Ровно о том же, о чем верещала музыка, — ни о чем и обо всем вместе, в точности — о чем попало с той разницей, что музыка отчаянно била мимо цели, а он сознательно отрицал ее... И так целый вечер Олег жестикулирует, музыка орет... Олег молчит, говоря... Музыка, звуча, не относится к делу: а Аполлон неподвижно смотрит на свое отражение...

В конце вечера получается следующий результат уравнения: Олег измучен, но доволен (Аполлон-де во всем с ним согласился), Аполлон доволен (Олег просто не смог разрушить этого довольства, принесенного им с улицы), музыкант доволен (его выслушали), публика довольна (он кончил)... Олег говорил о себе, Аполлон говорил «да» и «конечно»... В общем, наговорился, переговорил и договорились.

Как ныне собирается вещей Олег... зловещий... осоловевший... Олег идет по бульвару... Переговорили и договорились... Впрочем, говорил больше я... Опять он выскользнул у меня из рук... Величествен, но однообразен, утомительно-совершенен... Погоди, найдется и на него баба лягавая: «Monsieur

Personne cherche Madame Personne...»¹ Хотел бы я видеть... Ах, душа, когда же ты наконец посмеешь быть, как он, — огромной, высокомерной, зловещей, вешей, — увидишь наконец бесчеловечное величие вешей?.. Их необычайную законченность, их святую обреченность своей единственной форме, их святую глупость и бесполезность в не ее. Их абсолютную обреченность своему назначению.

Аполлон не отвечал, и все-таки для Олега разговор состоялся. Безобразов почти не слушал, и все-таки Олегу было больно, потому что слова, падая в омут безобразовщины, слабея, теряя вес, замолкали с особым жалобным звуком... Они обесцвечивались, теряли убедительность и вес... Нет, они даже не глохли, ибо Аполлон Безобразов не был вовсе средой без отзвука наподобие юмористов — расстранных, дезэлектризованных полулюдей: нет, звук иногда даже усиливался, но как-то искривлялся, попадая в его атмосферу, вытягивался, раздувался, как человек, на лету, во сне меняющий форму, тряжущий голову. Слова на лету меняли значение: безопасные, смешные становились страшными, угрожающими (слова о поле), счастливые — печальными (слова о небе, о силе, о разуме), новые — древними (все слова вообще)... Аполлон не отвечал, но на носу его был написан ответ... И Олег вдруг глох, смущался, падал куда-то, стыдился неприличной неважности, суетливой трагичности своих слов. Особое мучение неподвижности, как магнитная аномалия, окружало его, все теряло силу и цвет, так что Олегу казалось, что даже вещи, на которых случайно останавливались глаза Безобразова, сначала чувствовали смутную тяжесть, неловкость, наконец начинали явно шевелиться, корчиться под его взглядом... Например, круасан в своей корзинке: Олегу показалось, что он начал дрожать, едва Аполлон уперся в него взглядом, и вдруг судорожно зашевелился, как

¹ «Господин Никто ищет госпожу Никто...» (фр.)

будто Аполлон взглядом этим выжимал из хлеба живую душу... Ты живых людей видишь насквозь — то есть одни скелеты... Что же делать, скелет всегда интересен: *l'homme est bavard — son squelette, toujours élégant*¹.

О одиночество, ты всегда со мною, как болезнь сердца, которой не помнишь, которую не чувствуешь, и вдруг останавливается дыхание, как одиночная камера, что всюду ношу с собою... Глухонемота... Беспамятство... Неграмотность... Один на бульваре, не помнящий родства, останавливаюсь, ослепленный своим богатством... Свободен, совершенно свободен пойти направо или налево, остаться на месте, закурить, вернуться домой и лечь спать посреди дня или среди дня пойти в кинематограф, мигом из дня в ночь, в подземное царство звуковых теней. Ад, наказание, каторга, рай, наслаждение, награда, и снова Олег смеялся над своим народом, не додумавшись до одиночества иначе как подпольного, страдающего и вынужденного, не дошедшего до индивидуализации. Один, один, один. Свободен, как лев в пустыне, лев-вегетарианец, но кто он?.. Студент?.. Нет, Олег провалился на первом же экзамене, о, позор, на сочинении о Гоголе... Писатель?.. Да, в отхожем месте, пальцем на стене, в мечтах, в дневниках, в отрывках без головы и хвоста... Монах с грязными ногами и наодеколоненной головой. Пролетарий, нет, безработный буржуй, нет, нищий идеолог буржуазии... Бездельник?.. Нет, Олег целый день занят чем-то... Философ?.. Но ведь он ни единой книги не дочитал до конца... Дурак?.. Нет, потому что ему всегда казалось, что это он сам мог написать... Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... политической партии, вероисповедания... И вместе с тем какая неповторимая русская морда с бесформенным носом, одутловатыми щеками, толстыми губами!.. Но вдруг нос ста-

¹ Человек — болтлив, его скелет всегда элегантен (*фр.*).

новится тоньше, губы уже, и саркастический, спокойный, презрительный аполлон-безобразовский свет падает на лицо. Что-то дьявольское, дальнее, монастырское, небожительское просвечивает сквозь него... С холодным удивлением вдруг, будто проснувшись, всматривается он в окружающее, но сейчас ему было уже далеко до дивной аскетической неподвижности этого метафизического бандита, да, кстати, где он, этот герой, без единого приключения?.. Совершенно неизвестно — и уж если Безобразов исчезнет, то, хоть живи в соседнем доме целая армия товарищей, его не разыщут... Потом Безобразов — это все и никто, и, может, он уже переменял свою фамилию и искренне считает себя французом.

Олег идет по авеню де л'Обсерватуар Итали́ и с удивлением понимает, что Катя всего этого не знает... Ничего неземного, неподкупного, ледяного в ней нет; как красивое белое животное, грустное и спокойное, Катя всегда и за всем видит землю... Она удивляется: почему Безобразов не работает, почему у всех нет денег, почему Олег не сдает экзаменов на шофера такси?

Вот у тебя какая линия жизни, ты до девяности лет проживешь и успеешь написать девяности книг... У нее есть деньги, но работа для нее благодать, победа над сном, над пьянством и мертвой печалью... Она теперь мечтает открыть модную мастерскую.

Будем работать, Олег... Будем жить, жить, жить... А потом бросим их всех, уедем в Россию, куда-нибудь на Урал, на завод, за которым сразу — лесная пустыня, магнитные скалы... Будем ходить рваные... Хорошо... Среди рваных... Научимся говорить на блатном кучерявом зощенковском жаргоне... Ах, Россия, Россия... Домой с небес... Домой из книг, из слов, из кабацкого испитого высокомерия. И Олег говорил: «Да, Катя...» И глаза его зажигались, как зажигались они от всего: от музыки, от вина или же от уличной драки. Но дальний, спокойный, иронический голос Аполлона Безобразова говорил в нем.

И ему становилось жалко Катю, и он понимал, что первый ее разлюбит, переснобировует, погубит отношения, что он резиновый, непромокаемый, что ему ни о чем не больно, что ему ничто ничего не стоит, что он ничего не помнит и что именно потому, что ему дико больно, ему, в сущности, вообще совсем не больно жить. Но, Аполлон, развратитель юношества, там, где прошел ты, что-то твердое, недобро-веселое, иронически-таинственно-задумчивое появляется на лицах, и я начинаю понимать, почему так часто любил ты говорить, что это дьявол, на горе богам, научил человека аскетизму.

Еще и еще раз Олег сопротивлялся Кате, ее телу, ее теплоте, простоте, покою, юмору, смирению, благообразию, и это потому, что в его беззащитное сердце Татьяна снова впустила свои когти. Как-то, переходя из кафе в кафе, на мостовой, среди автомобилей, Олег увидел ее, идущую прямо, холодно, внешне удивительно бесстрастно, с лицом, полным напускной лени и презрительной угрозы...

Полюбовавшись ею невольно полмгновения, он прошел мимо, но вдруг услышал окрик: «Олег!..» Подошел к ней, вдруг стремительно разлетаясь к ней навстречу, обрадовавшись, смутившись, помолодев от неожиданности, радости, удивления, боли... Вместе они прошли по бульварам, и Олег поднялся к ней домой.

Усталость, усталость позднего пробуждения... Свинец в руках... Звон в ушах... Металлический вкус во рту... Шум кабака, топорное увлекательное треньканье двух роялей сразу поблекло вместе с глухой счастливой тяжестью алкогольной отравы... Поблекла и спешка, важность, неотложность, отчаянность танцев, и вместе с пьяной бестолковой удалью ночи поблекла и другая отчаянная важность, неотложность присутствия Кати...

Днем, когда Олег тяжелой лапой скребет голову, только что вылезши наконец из-под одеяла и

мучительно желая мочиться, но не решаясь ни надеть опорки, ни нестись босиком по холодному полу, Катя кажется далекой, как будто расстояние от Итали́ до Монпарнаса вдруг расширилось, увеличилось на десять верст... К чему эта борьба с хозяином, спешка, перетрата денег, вечное унижение стоптанных ботинок, которые так отчетливо видны на стеклянном светящемся полу кабака?.. К чему эта дикая спекуляция, дикая экзальтация, мотовство сил, остроумия, молодости?.. Белое зимнее небо смотрит в окно... Олег, наконец решившись, на одних пятках подъезжает к умывальнику и сперва долго, с облегчением мочеиспускает в раковину, слушая характерное урчание жидкости, напоминающее почему-то Финляндию, затем, наклонившись, как пес, лакает воду из-под крана, радуясь ее свежему избытку, затем льет ее себе на голову, фыркает, трет уши и глаза докрасна, зажмурившись, ищет полотенце и докрасна утирает рожу и глаза, затем начесывает волосы на нос и обломком гребенки рассупонивает пробор. Голова сжата холодом склеившихся волос, он смотрится в зеркало, думая о том, что в его возрасте уже нельзя не побрившись вылезать на улицу.

Затем в комическом отчаянии принимается высчитывать растроченные вчера деньги, не забывая даже и самые мелкие суммы на спички, марку и т.д. Затем в бешенстве на самого себя: «Ну, сколько ты ассигнуешь на пропой вчерашний, ну, скажем, десять франков, осовестись, не жадничай, ведь под два рояля, по пятерке на каждый... Значит, кроме десяти, растрочено только восемь да еще три вчера на бобы и яйца...» И вдруг глубокая душа его тяжело, громко протестует на это несоответствие: «Ведь три франка только прожрал, а восемнадцать — целовальнику за его рвотный динамит, да еще чуть не с одолжением... Ей-то ничего, сволочи, могла бы за меня заплатить, а вот не понимает и не понимает, что для меня десять франков, пять франков, франк...» Выпив из заплесневелого ведерка литр

простокваши, Олег шарит рукой по карманам, наконец, становится на четвереньки и, покраснев от напряжения, всматривается в пыльную темноту под диваном, тщетно высматривая окурок, бычок, ахнарик. Нашел и, немного повеселев, встал, закурил, кривясь и опалив нос, задымил и принялся выдавливать нечистоту на лице — старое, тупое, унижительное занятие безысходных, сбитых с толку утр, но угрей-то нет, и сволочь, и это развлечение подвело его.

И вдруг Олег вспомнил одно выражение Катиного лица, когда она, видимая только в профиль и до пояса сквозь стекло телефонной будки, объяснялась по-английски, знал он, со своей горе-жертвой Салмоном, названивавшим ей из Лондона... Как он ее жарко, классово ненавидел в эту минуту за ее аморальное приволье, с которым она заказывала такси, или давала сложное поручение коридорному, или попросту от вечерней грусти звонила в Данию сестре расспросить ее о каком-то полюбившемся граммофонном диске, название которого вылетело у нее из головы, но, против воли, он не мог не восхититься ее горестно-бесстрастно склоненным лицом, серьезным даже при невеселой немой улыбке, когда над шевелящимися губами только брови ее передвинулись и под глазами набухли мешки... Лицо это, у телефона, сумело сделать ему больно, и любовь его проснулась... От этой мелкой боли он ожил, и тотчас же намеренные строгие решения, которые он только что назвал ей принял: разобрать стихи 1924 года, начать читать «Философию бессознательного» Гартмана, выстирать кальсоны, сходить ко всенощной на Petel, — все это сразу сгнуло куда-то, отошло на задний план, и спохватившееся сердце вспыхнуло беспокойством.

Катя была опустившимся человеком, но всякий человек, просто не сознающий своего уродства, был смешон Олегу. Катя шла по широкой дороженьке под гору, но хорошо понимала это и потому вела себя с достоинством, иногда даже величественно, су-

мрачно, просто... Ибо всякий человек, по его мнению, опустился, потемнел, с неба на землю сошел на нет... Всякий когда-то разлетелся в жизнь в наивном безумии молодости, презирая неудачника, создавая, выдумывая себя, вещи, которые он сделает, и другие, до которых никогда себя не допустит: так гимназист, готовящийся к экзамену, с утра, еще лежа в кровати, составляет себе суровую программу дня — но на дворе оказалось гораздо жарче, чем он ожидал, летнее солнце и звон пчелы тяжело играли в чайной посуде, а после пришли другие гимназисты с предложением перед занятиями покататься на лодке, потом нужно же было обедать, а после обеда в траве так тяжело, так нестерпимо палило солнце, что пришлось-таки заснуть на раскрытой книге.

Кате тоже пришлось заснуть на раскрытой книге жизни, отчасти потому, что богатая легкая жизнь дома, еще с колледжа, приучила ее к позднему вставанию, пьянству, недевечьему юмору. Так, в поздние пробуждения на тяжелую голову Катя и додумалась до коммунизма, но это было где-то далеко, так пусть и нам попадет; практически же любила деньги и бессознательно одновременно и презирала бедных, и тянулась к ним. Ее каждый раз возмущало, что товарищи Олега из той же банды не работают, норовят проехать за ее счет и что Олег с каким-то привычным, чужим и подхалимным видом потуплялся к моменту платежа, ожидая спасения от нее и вообще от всякого встречного, и только на крайний край вытаскивал немногочисленные деньги, неохотно с ними расставаясь. Купеческая дочь из породы неистребимых, с детства привыкшая к покровительственному, презрительному тону, которым за столом говорилось о бывших людях из той же купеческой среды, Катя была попросту груба в деньгах, и хотя сейчас классовая борьба между нею и Олегом еще не замечалась, именно эти жалкие темы должны были послужить самым болезненным признаком распоровшейся их по шву дружбы.

Вчера он встретил Таню у двери, спускаясь от Гроссманов, и она вдруг неуклюже, притворно весело заставила его подняться к ним обратно — она шла позировать... Олег недолюбливал Гроссманов. Николай Гроссман был подслеповатый и необычайно гордый рыжий человек, старый товарищ Олега еще по художественной академии, но неуспешный и скрытный, он первый из всех них перешел во французское подданство и замкнулся от всех на своем седьмом этаже и пожизненном шомажном вспомоществовании. Но так как Гроссманы жили около самого Монпарнаса, в возвышенной скуке своих пеших путешествий иногда оказавшись перед самым их домом, Олег не мог удержаться, чтобы не зайти поесть чего-нибудь. Ибо болезненное самолюбие Гроссмана выражалось, между прочим, и в необычайном, подчеркнутом хлебо-сольстве, хотя каждое посещение всегда было каким-то глухим инцидентом между ними, ибо Гроссман нервически не любил русских, и Олег был для него типом русской безответственности, перед которым Гроссман мог развернуть во всю ширину свою злобную вежливую отчужденность, делая Олегу каждый раз больно и невольно вызывая его на грубости. Так, например, Олег никогда не мог простить ни Гроссману, что тот никогда не приходил к нему, Олегу, на дом, ни себе, что, несмотря на все это, продолжал заходить к Гроссману, — и это русско-еврейское мучение больных самолюбий длилось очень давно.

Таня села в кресло, и на нее нацелилось семейство живописцев. Олег некоторое время молчал, уставившись на нее. В до неприличия открытом платье, загорелая и полногрудая, она, рядом с их узкоплечей бледнолицестью, казалась медведем, попавшим в метро; скучная живопись длилась долго, Олег ушел в другую комнату, завел граммофон и с нервическим актерством принялся отколачивать чечетку — один, под музыку, битый час. Наконец они спустились вместе, но, доведенный до холодного бешенства

ожиданием, он уже перехотел мириться... Таня хотела его видеть, но условиться с ним не решалась, медлила, выпячивала губы и исподлобья наблюдала за ним; у вокзала все вдруг вылилось в поток бессмысленных, но, в сущности, еще любовно-ненавидящих слов. Олег ругался чуть не последними словами и вдруг оторвался от нее, оставив ее в горестном обалдении посреди тротуара. Он полетел куда глаза глядят с такой злобой во взгляде, что прохожие невольно оборачивались, — Олег тоже оборачивался, готовый на все... Как служащий, нашедший новую службу лучше прежней, униженно-грубо хамит своему бывшему эксплуататору, не кланяясь ему на улице или запальчиво-унизительно закуривая во время разговора с ним, так и Олег выискивал самые обидные выражения вроде «рабовладелец», «широкая натура», «загадочная женщина» и т.д., но теперь он летел к Кате — ему было где торжествовать над Таней...

Теперь окно было совершенно черно — свет давно уже желто горел под потолком, а Катя и Олег все еще не могли расстаться. Мир слишком расширился вдруг вокруг них и налился спокойным тяжелым весенним дождем. Оба, неподвижно, без слов, обнимаясь, но еще не совсем целуясь, раскаивались в чем-то, вспоминали что-то непоправимое и, как будто дойдя наконец до родного дома и обернувшись с мрачным, почти торжественным спокойствием неправоты, наконец познанной, склонялись над своим прошлым. Оба без конца рассказывали свою жизнь, выпрашивая мельчайшие подробности, как будто дело шло лишь о каком-то относительно небольшом периоде, проведенном в разлуке, до которого им все друг о друге было до конца известно... Словами «жизнь... любовь к плоти, земле, природе» они отделяли себя, свой мир от монпарнасской немочи. Словами «память, дружба, цыгане, сумерки» они отделяли себя от Тани и ее львиного хамства, не помнящего родства. Действительно, Катя глубоко по-русски жила памятью. Она сама признавалась, что врожденно любит

мучить, что вечно ссорится с друзьями, но что ни с одним из них не смогла разделаться окончательно, что каждый из них сохранил на нее какие-то права, и приди он сейчас, не знаю почему, пришлось бы тебе, Олег, уйти... Что она несет на себе всю бесконечную тяжесть нескольких никогда не залеченных, не забытых, не оконченных отношений, повисших где-то между небом и землей невыносимым упреком неисполненного ангельского задания. «У меня всегда все начинается в четыре дня, а длится четыре года...» Особенно Олег это почувствовал, углубившись в ее сумочку, распухшую, бесформенную черепаху, что было просто странно у такой элегантной женщины.

Помнил Олег, как медленно, каждый раз замолкая и задумываясь, видя пред глазами бесчисленные лица, дома и встречи, вынимала она из сумочки визитные карточки, записки, фотографии и короткие, из ресторанов, письма. С каждым из них был у нее связан тяжелый случай, который она продолжала нести в сердце, и, возвышенно-печально улыбаясь припухшими глазами, она рвала их или перечитывала, пытаясь рассказать, замолкая, грустя, напевая что-то, а иногда даже с недоумением останавливаясь, видимо, не узнавая чего-то, не могучи вспомнить чьего-то имени, лица, места.

Так они встречались целый месяц. Декабрь начинался над городом. Поздняя какая-то, даже несправедливо хорошая погода шумела желтыми листьями. Небо было то голубое, то черное, полное тяжелых грозových облаков, так что в пальто часто бывало жарко, а без пальто — в мгновение налетала буря, и стой тогда в подворотне, рискуя опоздать на свидание.

На улице в переполохе дождя мокрые щеки их встречались радостной, солоноватой свежестью, так что они не раз ошибались направлением в метро, в кондитерской объедались пирожными, не обедали, курили и без конца ходили по магазинам, выбирая и не покупая какую-то женскую чепуху, потому что Катя на Рождество должна была уехать в Копенгаген

к родителям, и этот отъезд какой-то особенной мучительной курортной романтикой окружал их жизнь.

Рождество приближалось. Зима была необычайно теплой, иногда бывали тяжелые, прямо-таки весенние грозовые дни — только день или два над Люксембургским садом лежал белый нетающий снег, и Олег, пышучи внутренним жаром полнокровья, наслаждался своей непростужаемостью; без пальто, без шапки, выкатив плечи, путешествовал по городу, красный, как рак, от холода и доброты... Катя вставала поздно, утро Олег проводил в библиотеке, веселомрачно одолевая своего Гегеля и снобируя соседей, и это вместо того, чтобы зубрить улицы для своего такси... «Успеется за месяц ее отъезда». Но, в сущности, это были все те же Татьянины утра солнечного, какого-то метафизического злорадства легкости, здоровья... Потом ел, брился и, расшвыривая вещи, спешил на свидание, вдруг переменившись, ожив и просияв, со счастливым холодом удачи в сердце. Побрившись и надев новые брюки на грязные загорелые ноги без кальсон, Олег тяжелой походкой идет в гиревой клуб, заранее нервничая до сердцебиения. Идиотское сердце: час таскать гири — не слышно во все, а от Катиного письма бьется, как скаженное... Подходя к площади Итали́, Олег удивляется, как всегда, чистоте площади и аккуратности зеленых решеток вокруг скверика (нигде не насрано, не Россия). Мимо витрины фотографа (снять бы в голом виде до пояса и показать Кате). Мимо зеркала шапочной торговли (больше не ношу кепок — и дешевле, и моднее). Вот он у бельевщика (хожу без кальсон — и ничего, привык, больше не натирает). У кинематографа (давно не был, не тянет одному в кинематограф в полдень. Зенит земной тоски, вершина одиночества — одному в кинематографе днем). У булочной (можно пожрать чего-нибудь после тренировки, да не стоит — хлеб белый, мертвый, безвитаминовый, как мел, да и, жуя, все думаешь о недостаю-

щих зубах). У аптеки (как это покупают презервативы, сгорел бы от стыда, никогда не решусь). У гробовщика (какая ерунда). У музыкального магазина (долгая остановка: вот бы мне радио в десять ламп, век бы крутил-покручивал... Вот бы одному в комнате с Катей танцевать под лондонский джаз... Танцевать голому, совокупляться под джаз, но подо что лучше — под танго или под бостон, не под Вагнера же или под «Героическую» симфонию; а, да, вот под «Послеполуденный отдых Фавна» Дебюсси). Подходя к переулку около самого жимназа «Жан Дамн» (ну, теперь крепись, спокойнее, не кокетничай, не нервничай, не смотри ни на кого...), Олег, сузив плечи, платит три франка и совершенно подростком проходит в зал под ироническим взглядом огромного жирного кассира... Запах пота, пустота, банный свет с потолка, поломанный деревянный ринг на возвышении, слева — параллельные брусья, деревянные бутылки рядом, справа — рыхлый песок и огромные черные гири, как солдаты у стены, черные бомбы с перемычкой в рост человека, некоторые из коих он не в силах даже пошевелить.

Олег снимает неловко пиджак, но не раздевается до конца и душа не берет, отчасти от смущения, отчасти от того, что слабеет от воды, отчасти от нелепого страха, что в раздевалке украдут вещи... Двенадцать часов, посетителей, к счастью, — но и к тайному сожалению, — никаких, только один маленький и белый голый человек, мечась как угорелый, делает шадов баксинг, дерется с воображаемым противником, и огромные толстяки, отставные чемпионы, за стеклянной стеной снисходительно жрут... Что же, надо приниматься за дело... Экскурсия в сторону параллельных брусьев... Стойка... Вольт направо... Неловкий удар шиколоткой по брусу... Потеря равновесия... Кувыркком на карачках вниз... Конфуз, оглядка во все стороны... Гири... Возьмем для начала двадцать пять, тридцать... Направо... Налево... Короткая болванка отгаскивается от стены и легко, без заминки (сейчас осрамлюсь...

Окончательно потерял веру в себя... Сердце бьется, но пред кем? Актерская душа...).

Воп! ça va...¹ Тридцать пять налево... Разгон, заминка (не осрамись!). От плеча тридцать пять лезут, как на колесиках (ты видишь, сволочь трусливая...). Сразу без перехода пятьдесят пять — три пуда с лишним... Едва Олег взялся за них, огромная величина шаров сжала сердце (эдакую не сдвинешь...). Но, собрав все бешенство нерастроченной эротической муки самолюбия, жалости к себе, Олег рванул гирию, и вот каким-то чудом — мелькнул отчаянный, как молния, изуверский слоновый момент — она у плеча, совершенно ломая, раздавливая кисть. Олег слегка приседает и, о, диво, побеждает собственную неудачливость, старость, болезненность, бедность: гирия дрогнула, подалась и выперла к грязному стеклянному потолку (с ума сошел, не спускай глаз... убьет...), покачнувшись, едва не обрушившись, причиняя невыносимую ломоту плечу, переполняя сердце сумасшедшей гордостью... С размаху об землю... От стука толстая рожа высунулась из-за перегородки, но, поняв профессиональным наметанным оком, что дело идет все-таки о пятидесяти пяти кило, ничего не сказала...

Затем Олег долго крутит, тащит и подкидывает знакомые тридцать кило... Это для него ничто, почти как книга в руке, и он манипулирует ими не глядя, как попало, что с большими гириями — смертная опасность снизу, сверху, со спины, от плеча. Затем, на удивление толстой роже, двадцать кило в четырехугольной чушке безукоризненно останавливаются, повисают на вытянутой руке, и вот уже Олег, раздувшись как вол, торжествующе влезает в душу, внутренне, однако, зная, упрекая себя за то, что такая тренировка на людях, с бьющимся от самолюбия сердцем, ему один вред. Покуда он еще помахивал двухпудовым чугунным калачиком, таким привычным ему, гимнастическая зала начала постепенно

¹ Ну! хорошо... (фр.).

наполняться народом: двое толстых красных людей, несомненно пьяных, пришли выяснить спор с гирями в руках, худой высокий молодой человек — по предписанию врача, коричневый красавец на кольцах. Но Олег уже выжал, вывинтил, вытолкал, вырвал свои сорок минут; из-под теплого мыльного душа, с мылом в ушах, измученный, счастливый, переволнованный, но торжествующий, выкатился, как ошпаренный, на улицу.



то утро Люцифер показал свои рожки, и они целый день ссорились, гордясь, как варвары, не веря телу и его простому глубокому притяжению. Сатанея и ожесточаясь, они ругались в тесной отельной комнате среди облаков дыма, гордясь и играя разлукой, вдруг повернувшись друг к другу чужою, враждебною стороною, но внутренне, на гибель себе, не веря вовсе, что разлука возможна...

О порочное удовольствие ссориться, рвать дорогое прошедшее и с каким-то злым головокружением говорить непоправимые слова. Все хрупкое, дождливое очарование этих дней вдруг показалось нереальным и тщетным. Вспоминал Олег потом, как Тереза ему говорила, что люди, как камни, которые медленно и неловко опутывает золотой паутиной небесное насекомое дружбы, чтобы когда-нибудь тысяченитяная ткань была так крепка, чтобы всех вместе, как сеть, можно было бы поднять, отделить от дна реки исчезновения, но по малейшему поводу камни вдруг начинают судорожно шевелиться и рвать с себя наряд прекрасный, потому что он стесняет их мертвую, дикую свободу небытия. И все-таки едва злая вспышка уймется, золотое насекомое памяти опять продолжает:

— Почему ты не работаешь, если ты меня любишь, почему ты не сдаешь экзамены на такси?

— Да, ты бы поискала сама работу и поучила бы улицы.

— Если очень хотят, всегда находят и выдерживают экзамены.

— Не работаю, потому что и так живу, потому что научился и так жить, выживать, выжувливать всякие

пособия, покупать башмаки на толкучке (*не без гордости*). Потому что сумел тридцать лет не работать, привык к свободе.

— Получать пособие... Как будто ты инвалид, старый инвалид труда, бывший человек, а где, спрашивается, и чем ты вообще был, в чем когда участвовал активно, что ты, например, делал во время гражданской войны?

— Никогда ни в чем не участвовал, среди смятения отступления читал, открывал Ницше в Новороссийске, в козьем полушубке, был на луне и этим горжусь — всегда жил вне истории, как Люцифер, белоручка, между Индией и Гегелем (*все больше подражая Безобразову*). Я с трудом учился и наконец научился сокращать свои потребности, бросил курить, сам стираю, не хожу даже в синема. Вечно кручусь в аскетическом треугольнике между койкой, библиотекой, кафе и церковью, как черт, пошедший в монахи...

Катя вдруг с нескрываемой искренней горечью, так что слезы разом брызнули у нее из глаз:

— Да ведь это не жизнь... Не жизнь, я тебе говорю!

Олег ошеломлен. То, чего он так долго добивался, чему учился, чем так гордился, вдруг сгнуло, провалилось, растаяло в этом глубоком родном нутряном стоне, вопле, причитании... Да ведь это не жизнь, не жизнь. Какая-то страшная, абсолютно наивная его неправота перед жизнью, Катей и Россией раскрылась вдруг в стихийном, чавкающем дачном шуме ее слез — под свинцовым, измученным дорогой своей тяжестью небом — их горя-счастья... И снова Катя бросалась в слезы, тяжело, счастливо, истерически таяла в слезах, как земля в дожде, и, утешая ее, обнимая ее и внезапно теряя голову, Олег сжимал ее крепкие бедра, чувствовал, ощупывая их мягкую, тяжелую упругость, и вдруг, неизвестно откуда набравшись храбрости, раздвигает их, в то время как Катя как будто не замечает этого, расстегивается, в одно мгновение отодвинув юбки, ищет входа в Катино тело, а там, под юбкой, как бы нарочно ничего не наде-

то и чулки держатся на круглых резинках, останавливающих кровь, и горячее белое мучительное тело Кати, тоже потерявшей голову от слез, чувственности, печали, неожиданности, расступается, раздвигается ему навстречу. И наконец Олег касается ее живой теплоты, кажущейся ему раскаленной, еще одно усилие, и мягкий мокрый жар обнимает его до основания, и он с бьющимся от удачи сердцем и от радости, что опасения его не сбылись и он не ослабел по дороге, не стесняясь, вдвигается как можно глубже, так глубоко, что Катя вздрагивает, инстинктивно шире раздвигая ноги, и, сама обнимая, прижимает его к себе... Но она все еще не открывает глаз, и вкус слез и знакомый зуд натруженных слезами век сладостно смешивается со слоновой тяжестью оседлавшего ее и разошедшегося тела и со сладкой болью сильных и неловких его движений внутри ее, а там, в глубине живота, почти в груди, он ходит взад и вперед, такой большой, разрывающий ее... Катя обнимает Олега все крепче и сама как попало в обалдении движет боками, но вот неловким движением они разлучились, и с отчаянной готовностью Катя раздвигает ноги во всю ширину. А Олег сам уже принаравливается, погружается в горячее тесто ее тела. Олег все не кончает. Катя судорожно цепляется за него и вдруг слабеет, сладостно, длительно слабеет и как-то по-другому, устало-благодарно все еще принимает, чувствует его горячее присутствие внутри себя.

Наконец, в первый, кажется, раз в жизни, Олег изо всех сил полностью освобождается, не вынимая, но Катя опять разволновалась, и он продолжает, и вскоре корень опять деревенеет, и Олег, радуясь этому, как школьник, снова насилует ее медленно, тяжело, упорно. Теперь Катя давно широко открыла и полузакрыла глаза и, что-то невнятно бормоча, поддает ему в счастливом обалдении слабости, почти в обмороке истомы счастья, но вот она кончила во второй раз, и страшная блаженная слабость отделяет ее от Олега. Олег, заметив это, не кончив, но с нравствен-

ным удовлетворением, отрывается от нее и, после неуклюжего, тяжело-неприличного момента слезания с тела, приваливается рядом, и оба в смущенном удивлении непоправимо молчат, уткнувшись в подушку. Катя беспокоится, но не смеет уйти в туалетную закуту. Олег, добившись, чего хотел, опять, увы, не вовремя и не от всего сердца, а в горестной борьбе самолюбий и власти, скрывая лицо в подушку, смеется, сердится, раздумывает о том, сколько уступок, денег, дисков, консомаций он от нее получит... В комнате теперь совсем темно, они все еще не говорят ни слова, и медленно сонливость одолевает их, и вот уже Катя, наплакавшись, накричавшись, налюбившись, засыпает, а Олег притворяется спящим...

Употребил-таки... Употребил — вот и все, конец мира. Употребил, завладел, врыл свою явку в новую землю... От этого сердце успокаивается, но жить как-то подлее, хоть и подлая гордость какая-то — смотри, я тоже человек, я тоже употребляю... Все употребляют, кроме Бога... Да и то: творение — вроде совокупления с Ничто, с природой; молитва — совокупление с душой. Не потому ли так Бог преследует меня?..

Не зная, как выйти из положения, Катя продолжала спать, притворяться спящей... Поняв это, Олег вдруг почувствовал свободу... Торопливо причесался и ушел... Ну, ничего, монах, согреша с мравием, принялся опять за «Четы-Минеи», завтра опять за работу, за гирю, ах, стальной мой двугорбый верблюд пустыни, как я тебя люблю...

Олег шел быстро и наслаждался холодным воздухом, коловшим уши. Ночь была пустынная, и фонари неподвижно горели в снегу. Железный и четкий мир господина Никто был снова вокруг. Душа его вдруг приняла серьезное выражение, как и полагалось, лицо расправилось, и повзрослело, и сумрачно похорошело. Холод зимы вернул его в давно прошедшие годы. Он вспомнил Терезу и Безобразова, вой

ветра в заколоченном доме и ночные чердачные рояльные упражнения его демона, и все сегодняшнее-вчерашнее показалось ему животным, ярко-угрюмым хаосом раскоряченных органов. Овладев Катей, он как бы освободился от нее, ее тяжелое прекрасное молодое тело лежало где-то далеко, как мраморное, на снегу. Употребил и пошел на поганых ножках. И снова Тереза, широкоплечая, худая, с огромными совыми серыми глазами, прошла перед ним, ах, если бы хоть поцеловать эти глаза — отдал бы и Катю, и Таню, и едва ли не жизнь впридачу. Он уже не понимал, зачем он это сделал, как католический епископ древних времен, разгоном междоусобий втянутый в распря, после победоносной сечи не понимал, какое вся эта кровь имела, имеет отношение к его постригу. Покой весны был уже далеко позади. Снег теперь пошел гуще, все было бело вокруг, и идти приходилось по сплошной целине, бесконечной лентой оставляя след под фонарями, и вдруг ему стало дико жалко: зачем, зачем он так непоправимо поцеловал землю, на мгновение потеряв не только силу, но и память о родине и о товарищах по хрустальной неподкупности? Слезы какой-то измены выступили у него на глазах, и, подставив лицо снегу и умирая от раскаяния и детского страха перед полицией, он встал на колени и принялся, кладя земные поклоны, читать «Царю небесный».

Камни говорят промеж собою... «Как мы стары, как жарко нам на солнце, как быстро проходит время... Позавчера здесь, рядом, строился город, сегодня даже развалины его срослись с землей, а я не обточил себе и половины правого бока... А люди, до чего они могут додуматься в свой комариный век? Наш разговор начался, когда мы вместе вышли из-под почерневшего ледника, где тысячу лет в котловине вращались справа налево... Тысяча лет на возражение, это немного...»

Второй камень... «Тысячу лет солнце всходило на-

право от меня, тысячу лет я лежал в основании двери, заколдованный, покрытый письменами, и она поворачивалась на мне. До этого десять тысяч лет я лежал на дне моря на мелком месте... Как мы молоды, кажется, я начну следить за облаками; камни — подводные облака, и как они переменчивы... Море шумит вокруг, природа рассеянно гладит себя по мокрым каменным волосам, и опять прошла тысяча лет...»

Катя во сне... «Как он напирал, входил в меня тяжело, неукротимо-решительно, он, обычно такой беспомощный, и насколько нижняя голова умнее верхней: двое желез, два лба с волосами, два полушария мозга с извилинами, а завтра я уезжаю, загнал, замучил, ходить больно, а глаза спокойные, их дело — сторона. Меланхолический насильник с отсутствующими глазами».

Музыка в воздухе... «Я гасну, я гасну, я приближаюсь к последней ноте, а они только что принялись за дело, и все это конкуренция говорящих машин, корень во влагалище, хлип-хлюп исподнее радио, я гибну, я гасну, и как далеко до покоя весны».

Айседора Дункан, в паноптикуме, восковым голосом... «Я тоже жила, и я тоже употреблялась, но с кем, сколько раз и в каком положении — не помнит даже сам Бог, употреблялась, скучая, употреблялась пьяная, веселая, молодая, старая, стоя, читая газету. Употреблялась в церкви, вся жизнь, как орган, провисела на органе, а теперь и вовсе обесчленилась, куски мои разорвала подземная ночь, и только танец неподвижно-золотой, в венке из воска, созерцает Бога».

Боги древних мистерий, запертые в задней комнате ресторана... «Хули буду, зада буду, мазда манду, куда в аду... Мы были, и нас забыли, но мы слышим — там, за дверью, совокупляется жизнь... Мы считаем и поем... Раз, два — небо и земля... Раз, два, три — яркий свет от неба до земли... Человек просыпается и печально трет... Четыре, пять — ах, надоели, надоели все тайны».

Олег во сне... «Железы болят, употребить — это умереть, закопавшись в землю головой, а над нею облака проходят сквозь комнату, и умывальник полон кровью Пилата, и как все это непоправимо — как дождь в пустыне, как корабль в море».

Катя... «А завтра я уезжаю».

Рассвет со двора, громко и неохотно: «Ну ладно, просыпайтесь, довольно валять дурака».

И снова с утра следующего дня они начали ссориться. Олег — тайно сердясь на Катю за непоправимость ее согласия. Катя — упрекая его за то, что он недостаточно счастлив и благодарен теперь, когда она отдала ему все, что могла, и стараясь отыграться на деньгах, не платить за него больше. С утра шел тяжелый, мокрый снег. День взошел желтыми непроницаемыми сумерками. Горели фонари. В такси сквозь снег как-то чуждо-сказочно радовало их предпраздничное оживление. Груды сладостей были вывочены на улицу, приказчики и громкоговорители хрипло и безостановочно пели.

Счастливой была только первая минута, когда, мучимый хозяином, поминутно заглядывавшим в салон, Олег дождался наконец Кати и когда, скрывая радость и смущение, они вежливо, ласково-официально поздоровались. Приятно Олегу было и то, что Катя приделалась, хоть он скоро и понял, что это не для него, а для города.

Целый день немногосложно, «атмосферически» они ссорились, не находя общего тона, все время злобно срываясь. Непоправимое их вовсе не сблизило и только подчеркнуло — уже вновь освободившуюся и только временно ослепленную любовью — рознь воспитания. Он — одиночка, вечно избиваемый полусумасшедшими родителями, узкоплечий гимназист, рано научившийся пудриться, красть деньги, нюхать кокаин, молиться, рано ударившийся об лед жизни... Она — заласканная, забалованная, привыкшая ко вниманию единственная дочь двух се-

мей... Он — парий, богема... Она — купеческая дочь, буржуйка... Он — гордость вопреки всему: выжил, не повесился, не заонанировался... Она — гордость: жила по-человечески, с образами и именинами, училась, пила, употреблялась, сколько хотела, каталась, как шар по маслу... Рознь привычки к юмору, ибо он привык смеяться над буржуями, а она привыкла острить над бывшими людьми, над богемой, над бывшими русскими и т.д. Отдав Олегу все, смутно чувствуя, что этого не надо было делать, потерявшись, проиграв любовь, Катя старалась внешними повадками стереть с лица земли факт их вчерашнего однобытия. Говорила на «вы», сидела все время в профиль, и действительно ей удалось на мгновение сделать Олегу больно, пробудить, воскресить в нем тот чистый, отчужденный облик, который он некогда любил. Но в конторе авиационного общества она не удержалась и слишком вкусно, слишком демонстративно долго говорила по-английски с красивым приказчиком в светлом костюме, который сам в манерах подражал авиаторам, и слово «Копенгаген» (единственное, которое Олег понял в их граммофонном курлыкании) произносила с торжественно гордым придыханием. И поэтому очень скоро, в универсальном магазине «Aux Trois Quartiers»¹, произошел окончательный разрыв, хотя ни одного непоправимого слова, по существу, не было еще сказано. Олег, не умея себя держать, усиленно желая принять участие, лез к Кате с советами касательно сумки, которую она выбирала, и так неловко, что профессионально проницательная продавщица сразу сообразила неувязку и презрительно полуулыбнулась так, что Катя тотчас же невольно покраснела и рассердилась на него. Олег с комическим знающим видом обо всем говорил, что это-де слишком дорого. Наконец Катя купила сумку, и продавщица предложила оксидированные, модерной кубистической работы буквы-

¹ «Три квартала» (фр.).

инициалы. Сумка — пятьдесят франков, литера — двадцать. Олега, по-нищенски знавшего цену деньгам и комически экономного, это нервически возмутило, он стал спорить, и здесь Катя не удержалась и сказала:

— Что это вы мои деньги считаете?

Под ударом Олег замолчал и, потеряв самообладание, только повторял про себя: «Ах ты стерва, стерва, стерва...» От обиды он утратил способность ориентироваться, запутался в стеклянных дверях, но до аэроплана оставалось еще много времени, и Катя, может быть, чувствуя, что перехамила, часто краснела и бестолково, невесело шутила, смущенно шурясь.

В обалдении обиды, усталости, физической тоски непоправимого Олег очутился в кондитерской. За окном продолжал хлопьями валиться снег. По привычке детей богатых родителей, хорошо питающихся под семейным кровом, Катя вне дома часто экономила на еде, как на чем-то навязчивом и скучном, раз навсегда обеспеченном; с бессознательным сословным хамством она выбирала и степенно пробовала засахаренные каштаны для Дании, к которым Олег никогда не решился бы притронуться, да и не дали бы ему. Желая показать себя (знай, я силен!), съел пирожное и с отчаянием заплатил за него франк семьдесят пять, снова совершенно погубив себя в глазах продавщицы, сразу, не дожидаясь, униженно-жуликовато заплатив (ага, на свои деньги жрет) и этим совершенно отделившись от Кати... «Стерва, стерва, ети твою мать», — продолжал бормотать он почти вслух. И здесь же, в кафе подле самой Оперы, началась их последняя разлука, на этот раз уже настоящая, и какой необъяснимо-глубокой, отчаянной грустью из-за злого обалдения вырвалось на миг воспоминание их недавнего, но уже столь безвозвратно прошедшего прошлого.

Олег и Катя сидели у самого окна за узким столиком, каждый как бы сам по себе, отвернувшись от

публики, глядя на улицу. Желтый день, недолго поборовшись за призрачное существование, явно теперь уступал ночи. Перед зданием Оперы у самых стекол медленно опускались тяжелые миры снега. Уже зажглись светящиеся рекламы, и их огни отражались на мокрых столбах фиолетовым, нереальным пламенем. Прохожие появлялись и исчезали, и у каждого по-другому были засыпаны снегом голова и плечи. Одни были совершенно чистенькие, только что, видимо, из жилого помещения, усиленно морщились холеными лицами. На других снег высился целыми белыми сооружениями... Все успевали померяться взглядом с Олегом — прикинуть его социальное положение и сексуальную стоимость, посмеяться над ним или заискивающе уступить в неравной борьбе. Животно-добродушные, они попадали в сферу его взгляда, как пловец, вдруг ударившийся ногой о бревно, — волчий его, униженно-надменный, демонически-боксерский, театрально-холодный взгляд сразу заинтересовывал. «Макросутенер с убеждениями...» И они с интересом оглядывали Катю. Десять раз ему хотелось выбежать и набить морду, потом другое брало верх: «Драться — тогда со всеми... Вышлют... Да и не скроешь, что не я, а она платит за консомации...» Машины скользили в снежных одеялах, время шло, и разговор их, десять раз начинавшийся, десять раз прекращался, и за ним все росло вдруг проснувшееся к непоправимости ссоры отчаяние рано и невозвратно опустившихся и потерявших жизнь существ... Но креп злой задор. «Нахамить и уйти к моченой матери, вдарить по сытой роже напоследок...» Но всматриваясь в эту сытую рожу, Олег с ужасом различал на ней высокую офелиевскую усталость, дивную греческую печаль большого и с откровенным отвращением сжатого рта... Ресницы, как черные бархатные ножницы, безостановочно отрезали в воздухе какие-то нити, тени воспоминания. Живые, подвижные, бьющиеся, как птицы, ресницы черными ласточкиными крыльями бились с невиди-

мым противником. Прямой, но совершенный нос, говорящий о расе, равновесии, детской обреченности, причастности семье, земле, старости. Крутой высокий лоб, без единой мысли, весь укрепленный в слушании, ощущении, ощупывании какого-то рокового и драгоценного равновесия жизни и силы, себя и тебя, слабости и мужества, как белый мраморный диск, на котором подвешено коромысло весов, и волосы — огромная коричневая птица, сидящая у нее на голове...

Катя курила папиросу за папиросой и с детским упорством проигрыша зло кокетничала с Олегом коровьей неподвижностью своего профиля, античным идиотизмом его, который он так любил, вспоминая белорогих коров, дочерей Аполлоновых, за пожранье которых все до единого поплатились жизнью Лазэртидовы спутники, и уличное марево, как содранные кожи, угрожающе-тревожно ползло и мычало пред его душой. И снова, теперь уже наверно уходящая, улетающая, потерянная, классово чуждая блядь, буржуйка, она казалась ему изваянием из горячего воска, ожившим архаическим фресковым персонажем, как тогда, в начале, когда он сравнивал ее с элевсинской Деметрой, вдруг выпрямившейся до потолка, вдруг позабывшей в гневе о своем инкогнито, личине старушечьей, — огромная, высокогрудая, золотоволосая, гневная, выронившая вдруг младенца, которого, нашептывая, палила только что под огнем очага, и тяжелым, низким громовым голосом велевшая обалдевшим царевнам, Кадмовым дочерям, установить здесь святилище и таинства осенние... Олег хорошо знал это оккультное свойство внезапно хорошеть от обиды, оскорбленно просыпаться вдруг к своей строгой тайной красоте — свойство душ, долго унижавшихся с людьми.

Подняв подбородок и брови, вдруг отчаявшись в словах, Катя по-античному величественно, тупо смотрела на мокрый кружащийся снег за окном.

Олег возвратился домой. Войдя в комнату, измученный счастьем, кровью, победой над кровью, победой над счастьем, сел, лег, прислонился лицом к своему единственному другу — лицом к стальной поверхности. Медленно холод входил в его измученную, расчесанную кожу... Друг был неподвижен, и только ритмично от времени до времени в нем чавкал, дышал пар, улетаая прозрачным облаком в неподвижную зеленоватую синеву; спокойно стояли стальные механизмы-маховики и поршни. Олег, закрыв глаза, созерцал своего железного друга, давний его циклопический вертолет, подъемную машину в четвертое измерение, его медитацию, труд всей его жизни. Олег, закрыв глаза, поглаживал своего друга. Одно волеизволение — и этот паровой пресс выйдет из неподвижности и раздавит сумрачно сияющий облик Кати и всякую жизнь. И снова на вытесненном, раздавленном месте проснется Господин Никто, аристократический Обитатель, первый Лорд великолепной гробницы. Олег только что, казалось, страстно бушевал, безысходно-непоправимо, искренне огорчился, плакал, пил, дрался, но, под дождем вернувшись домой, мгновенно остывал и, едва вступив в свое хаотическое ателье и зажегши свет, опять чувствовал себя на один сантиметр от пустыни и «Подражания Христу» — единственной, кажется, книги, которую удостоил прочесть медленно, не спеша, скрежеща, не пожирая страницы, а почти на каждой строчке останавливаясь, пораженный, и не смея даже от уважения записывать на полях свои великие оккультные мысли. Приникши к холодной поверхности железного человека, как одинокий изобретатель в глубине сарая — к неуклюжему своему самодельному нелетающему аэроплану, Олег наконец отдыхал. Медленно внутри огромной машины чавкал, вздыхал пар, раскаленное, зеленоватое облачко появлялось в зеленой подводной лазури, и снова оба товарища молчали, слушая свою судьбу... Вчера он говорил

Кате, прощаясь: «Ты знаешь, что я — религиозный человек, что я столько мучился по церквам и по книгам... Так вот, единственно, по чему я узнаю на улице или в разговоре товарищей по аскетическому счастью-несчастью, — это по их злой, беспощадно-горькой усмешке при всяком разговоре на религиозные темы, ибо только они знают... как Бог очевиден и как Он недостижим. Как весь горизонт занят Богом, но как ни одного Его луча не проникает в сердце... Дьявол тысячелетиями всматривается в лицо Бога, как Меркурий — в лицо Солнцу, он знает малейшую черточку этого лица, потрясающий покой лежит на нем, но они не видят друг друга.

Магический кристалл, средоточие невидимого источника мирового пола, лицо это — как мучительное летнее небо, где солнца не видно, но на которое все же в тяжелой истоме больно смотреть — полно сиянием силы, равновесия, жалости и строгости жизни и смерти, добра и зла... Дьявол на аршин от него, но из другого измерения, пристально, утомительно выставив вперед голову, всматривается в него... Он видит глаза, но не улавливает взгляда, он почти ощупывает нос, но не чувствует дыхания... Метафизическое чудовище, медитация, пар из ноздрей, донесло его до самой поверхности Бога — сине-зеленое небо, грандиозный профиль, на котором укоренено коромысло весов Страшного Суда, совершенная неподвижность, грозная, ослепительная истома тщетной победы. Нечеловеческая красота равновесия разума и жизни: правый глаз — синий, левый — черный, как у великой Дианы Эфесской, строгость и жалость мужского и женского, стальные античные углы рта, а над всем этим, над ослепительно белыми волосами, разделенными ровным пробором (серединой дороги праведников), — корона абсолютного безразличия всего... Все видит дьявол на аршин от Божественного лица, одним безумием воли на раскаленной от усилия воли машине времени поднявшийся до неправдоподобной высоты, куда не достигнуть ни одному смертному, не

потеряв жизни, куда только одна смерть, румяная, аскетическая, атлетическая, поднимается «на крыльях жестокости» к самой себе, на подъемной машине аскезы, в то время как укоризненно, угрожающе, неподвижно тысячи глаз Стражей Порога пристально наблюдают за смельчаком, ожидая малейшей слабости, малейшей оплошности, чтобы наказать ненавистного, потому что дьявол научил человека аскетизму».

Медленно за запотелыми стеклами падал, спускался снег... Они должны были расстаться, порвать оцепенение, заплатить, встать, начать двигаться к выходу. Последние, самые обидные слова были сказаны, и вместе с тем никогда, может быть, их счастье, ошеломленное наконец раскрывшейся очевидностью непоправимой разлуки, так — до физической слабости, до жалкой слабости в ногах — так не рвалось, схваченное необходимостью, не билось, не плакало где-то между небом и землей, между электрических ламп над консомациями, сложными в смысле уплаты, — или там, за окном, где, как дельфины, с ярко зажженными фонарями появлялись и исчезали автомобили. Все терялось и таяло там, теперь, за непроглядной метелью, как мгновенно через несколько часов огромная неуклюжая машина Imperial Airways¹ должна была, согласно неуклонному расписанию, оторваться от земли и тотчас же исчезнуть, ослепнув за снегом, ничего не видя пред собою, глухо и безошибочно ориентируясь на немолчный — то слабеющий, то усиливающийся — пищик радиомаяка. Метель... Несмотря на тупое равнодушие французского среднего счастья, многие из краснорожих сидельцев, присмирив, смотрели на улицу, завсегдатаи у стойки перешучивались с хозяйкой, но голоса их как-то обрывались и падали в глухоте, и только новые входящие тяжело и счастливо острили, опуская ворота, топоча ножищами. Но

¹ Имперские авиалинии (англ.).

Олег и Катя не поворачивались, они уже до конца побороли каждый себя, оба победили, оба проиграли, и сердца их неподвижно вслушивались теперь, как над ними в снегу рвалась и рвалась и не могла разорваться их близость, и когда Олег поднялся первым, это снова тяжелое ошаление их любви сорвало его с места, шепча на ухо: «Только сделав ей сейчас как можно больнее, сумев сделать больно, ты встретишься с нею вновь...»

Только что Олег платил Катиными деньгами, и последний упрек ее — упрек в том, что он, Олег, на горе им, не научился ценить жизнь, в том, что он запутал, в злобе свел их дружбу на жестокую любовную вражду, в том, что он не донес в своей жизни денег, страны до нее, Кати, в том, что мир беспощаден к спившимся, сбившимся, перегрустившим людям, — выразился в невероятно злом упреке Кати, в потоке злых, грубых слов о том, как смел он ее деньгами дать гарсону вместо франка франк пятьдесят на чай, хотя на его немой вопрос глазами она явственно показала пальцем один франк на чай, а он подумал: «Блядь, ведь сидели три часа, гарсон десять франков заработал бы на этом столике...»

Брань прекратилась так же внезапно, как началась; для Олега она была лишним доказательством любви к нему — в резкой чудовищной грубости ее звучал весь теперь даром исчезающий жар их никогда не сбывшихся поцелуев. Олег встал:

— Я условился с Таней, прощай теперь.

— Если ты сейчас уйдешь, мы никогда больше не увидимся. (Мне больно, и если ты сейчас уйдешь, мне будет больно всю дорогу, и я не напишу, но постараюсь вернуться скорее и постараюсь, не подавая виду, увидеться, чтобы отомстить, вернуть боль, непоправимо измучиться еще раз.)

В остервенении мужества Олег не сдался, взялся за дверь. Туча снежинок влетела в кафе... Шагнул еще раз в призрачно освещенное фонарем марево и тотчас же исчез из виду.



Если городские часы стоят, они все же два раза в день правильно показывают время: стоя на двенадцати — в полдень и в полночь. Потом они начинают немного отставать, врут, завираются, бредят, наконец, ближе к ночи, неловко, неподвижно опять подкрадываются к истине. Так целый день Олег витал где-то между Аристотелем и Гартманом, вне времени и пространства, но каждый вечер, исполнивши головокружительную петлю, из вечности нырял во время и вовремя, никогда не опаздывая, с бьющимся сердцем подлетал к Катиному подъезду; в точности как заплечный дух, вурдалак, путешественник, к третьему крику петуха превращающийся в стол или стул, хоть и не с первого усилия — ибо сперва по воздуху текла кровь и в светящемся облаке образовывались ножки и ручки, — но зато прочно, так что на таком стуле можно было сидеть, и только иногда, от рассеянности или обиды, стул вспыхивал и исчезал в четвертом измерении, и тогда любовь Олега тяжело, комично ударялась задом оземь. Олег тщательно притворялся человеком рядом с Катей, и Катя ничего не подозревала о Господине Никто, в которого он регулярно превращался в библиотеке или на диване, лицом к стене, головою к Богу... И только случайно с ним приключались казусы, обмолвки, и тогда их нежность, как рыба в бассейне, внезапно лишившемся воды, отчаянно, неуклюже билась о ледяное стекло. Так, например, когда Олег рассказывал Кате о Безобразове... Кате тот не нравился. Или еще — когда, увлекаясь, он пускался в свои гностические, буддийские теории творения, грехопадения Бога, от которого тщетно отговаривал

Его, но не смог уберечь холодный разум — Люцифер, Великий Аскет, первоучитель всех подвижников. Тогда контакт между ними терялся, и голос Олега, как колесо со стертými зубцами, скрипел в пустоте, тем более что именно в это время Катя осмелилась из-за Олега хамить Салмону, бороться с ним за свое православное счастье, и вся, нравственно избитая и полупьяная, нуждалась раньше всего в умении бесконечно долго, любя слушать ее сетования и в двух больших глазах, в которых, как в неподвижной воде пруда, отразилась бы ее горемычная чернокрылая голова; а Олег как раз совершенно не умел слушать, был почти от природы лишен этого дара-благодати. Но, увы, еще одно обстоятельство вмешалось теперь в это темное дело: Таня вдруг предъявила свои права...

Они как-то случайно-неслучайно встретились нос к носу на Boulevard Raspail¹, и Олег, сперва как бы из вежливости, согласился пойти к ней. Но Таня со звериным удивлением — как это ее вещь, ее раб, ее робот вдруг перестает ей подчиняться? — распустила свои чары, и Олег недолго сопротивлялся внутренне, хотя, сообразив свою удачу, еще долго играл в веселого, независимого и нелюбяще-свободного; играл почти бескорыстно, потому что в Катини дни просто забыл о своей унижительной зависимости от Тани. Встретившись с ней, он был резко весел; грубо сияя и пользуясь тем особым и ярким сиянием, которое всегда окружает удачников, предстал вдруг перед Таней таким, каким, в сущности, всегда был, но каким она его совершенно не знала: нахально-здоровым и привередливым всезнайкой, счастливо-надменным атлетическим босяком. Было в нем теперь что-то барское и ласковое, внешне уступчивое, как солнце на воде, с моментальной возможностью перестать кланяться, хамить, вдруг переменив тон, осадить или даже побить человека; грубоватое русское удальство

¹ Бульвар Распай (фр.).

щедлости, равнодушия, цыганско-европейского спортивного лоска, нарочитого веселого высокомерия нищеты — и все это, когда он, на время, избавился от своей единственной вины (той, что слишком сильно любил ее), заиграло, зашумело в его словах, и Таня невольно и скрытно залюбовалась им. Нищего, униженного, старого, мстительно-ущемленного вида как не бывало. А когда Олег опять раскрылся на встречу Тане, ошеломленный удачей, воспоминаниями долгой борьбы, сбитый с толку неожиданной полнотой выигрыша, он уцепился за этот новый стиль тем более легко, что чем-то он и в действительности был новым его отношением к ней. Как будто человек, воскресший из мертвых, но успевший узнать, что и по ту сторону вовсе уже не так худо, и чертовски силен этим знанием, Олег теперь наконец знал, что может без нее обойтись. Она из мифологического существа вдруг сделалась молодой и широкоплечей женщиной, обидчивой, тщеславной, гораздо более неожиданно доброй и откровенной, чем он думал в то, уже прошлое, время, когда ему во что бы то ни стало, до страсти, хотелось узнать ее «личную жизнь», а она, чувствуя болезненно преувеличенную цену этого разоблачения, тем тщательнее все от него скрывала.

И снова они начали встречаться...

В тот вечер Олег пришел к Тане после обеда, и в доме, обычно полном родственников, не было никого, кроме них.

Странно это было, особой счастливой странностью невозможной обычно вещи. Можно было говорить во весь голос, в кухне шарить по стенным шкафам в поисках варенья, сыра, печений и потом стоять есть, запивая холодным чаем из чашек с отбитой ручкой, потому что дом Танин был хаотический, безалаберный, холостяцкий, может быть, потому, что матери у нее не было, а родственники так надоедливо в нем толпились, что был он неизвестно чей. Таня

и Олег ходили по комнатам и звонили по телефону, решив на этот вечер остаться вдвоем, и было особое удовольствие в том, что Олег мог теперь сказать, что вторник и среду он занят, и в четверг тоже, что он вообще *бывает занят*, тогда как раньше он всегда униженно оказывался свободен и вечно повторялся тот же жалкий диалог между ними: Таня, насупившись, спрашивала его, когда они увидятся, а он всегда сердился и краснел, отвечая, что это — когда она хочет, зная, что она сама прекрасно знает, что для нее он свободен всегда.

Олег в ожесточении удачи не узнавал ни себя, ни дома Таниного, ибо сколько раз он, буквально дрожа, как овца, ведомая на заклание, входил в подъезд, как в пасть адову, и мелко крестился чуть ли не на глазах у консьержки. Так что вид у него получался настолько униженный, что раз консьержка, хотя знала его с виду, нарочно из недоброжелательства предложила ему подняться по черной лестнице — одно из последних унижений парижского жития.

Теперь Олег наслаждался тем, что может, не следя все время за выражением Таниного лица, рассматривать мебель и фотографии или смотреться в зеркало — любимое его онанистически-художественное занятие. Таким веселым и злым он нравился себе, и Таня, подойдя сзади и вдруг появившись из-за его плеча, лукаво-смущенным голосом сказала, причесывая голову гребнем:

— Представим вдруг, что мы одни живем в этой квартире.

Сидя на диване, удобно, привольно, скинув пиджачок, Олег, кокетничая толстой рукой, курил и, шутя, рассматривал давно замеченные им симметрично рогатые, задумчивые головы, которые против воли рисовальщика кубистических обоев получались из темных и светлых синих треугольников. Головы эти, хотя и рогатые, были как-то грустно, задумчиво откинута набок, без глаз смотрели куда-то поверх комнаты, и в этом был покой: как будто Олег расселся во рву

львов, откуда льва умыкнули в зоологический сад; лениво погарцевав перед зеркалом и надушив ушные мочки, губы и тяжелую грудь, Таня перекочевала на диван и, поджав ноги, по-русски с ногами устроившись, замурлыкала за облаками дыма.

Играя, кокетничая силой, в безопасности владея собою и ею, Олег, расширив плечи в черной морской фуфайке без ворота, уселся на другом конце дивана. Разговор начался, как всегда, о знакомых, по-эмигрантски немногочисленных, уже до конца, до костей обглоданных привычной насмешкой... За внешним добродушием — внутренняя напряженность, настороженность... Что будет?.. Лукавый блестящий взгляд Тани из-под бровей. Олег заводит граммофон, шурясь от дыма и не вынимая папиросы изо рта, кривясь, напевая, возвращается на место... Пауза. Но Таня не может выдержать, опять встает, проходит по комнате, кокетливо выставляя грудь, снова причесывается у зеркала, строя себе глазки, прямо, покачивая боками, идет к дивану... Олег ждет... Таня, упершись коленом, наклоняется над ним, упираясь оранжевыми руками в подушки, и вдруг, смотря в глаза, в упор спрашивает:

— Ты живешь с ней?

— Нет, но надо было бы.

— Почему (с усмешкой)?

— Так было бы безвозвратнее. Ты же знаешь, как мы себя бережем, боимся запачкать ручки, а так сразу все стало бы с небес на землю.

Таня молчит, продолжая смотреть в упор. Волосы ее, золотые, львиные, низко свешиваясь, касаются его лица, от них пахнет дешевым одеколоном, мылом, здоровьем, вареньем, табаком... Олег уже не помнит Катю, он уже схвачен, захвачен мыслью о том, когда и как он начнет целовать Таню, возьмет в горсть ее тяжелую, полную грудь, которая сейчас, как плод дерева познания, свешивается над ним, и вдруг Таня садится подле, и плечи и голова ее оказываются у него на коленях. Невольно, импульсивно он обни-

мает ее, и губы их сходятся. Олег чувствует наконец их влажный теплый холод, неповторимый особенный вкус слюны, губной помады, духов, табаку, и вдруг боль от укуса, сладкая, слишком резкая. Олег отстраняется и, играя грубияна: «Что за хамство — кусаться...» Теперь он гладит, ощупывает, как будто лепит ее скуластое лицо — Олег всегда жалел, что он не скульптор, — и Таня невольно счастливо закрывает глаза... Это его повадка. Таня и раньше любила ее, но теперь тяжелые его и сухие ладони доставляют ей дикое наслаждение. Медленно, как будто манипулируя голубую глину, Олег с глубоким античным удовольствием ощупывает каждую выпуклость этого дорожного лица, когда-то такого страшного, теперь мирно, как прирученный лев, лениво, угрожающе улыбающегося. Олег гладит ее затылок тщательно, нежно, с удивлением счастья ощупывая ее большие, мужские уши. «Я тебя физически обожаю, — скажет он как-то невольно, с удивляющей его самой теплотой восхищения в голосе... — Ты пойми, не сексуально, тоже и так, вероятно, но об этом я ничего не знаю, а физически... Ты пойми, я мог бы бесконечно на тебя смотреть, гладить тебя, и рисовать, и раздумывать, наблюдая, как ты, не ведая об этом, движешься по комнате, причесываешься, поднимая тяжелые руки... О, счастье, целые дни в закрытой ставнями комнате, среди розовых отблесков солнца и моря, без единой мысли, в родном неподвижном погружении, растворении; в живых тайнах Бог следит за любимым существом, слушает, как оно мурлыкает, моется, вздыхает, щелкает пальцами, разрезает книгу или спит, вдруг обезоруженное, вдруг лишенное страшного, защищающего Его взгляда и сведенное к беззащитной красе природы, не знающего о себе бытия, подобно лесу, не знающему, что он шумит в своем зеленом сне...» Олег долго, бесконечно долго в неподвижном оцепенении изумления, счастья, как будто вслушиваясь во что-то, рассматривал крепкую, но узкую, влажно-холодную Танину ладонь, всегда це-

лебно-матерински холодную, и холод этот (у всех остальных он ненавидел такие холодные, мокрые ладони, которые так удивительно, прямо провиденциально сочетались с его всегда горячей и сухой рукой), сырой холод этот на его лице веял каким-то необычайным успокоением, прохладой пещер на морском берегу, свежестью листьев на заре, снегом.

Так же медленно Олег продолжал гладить, лепить Танины плечи, грудь, бока; он сжимал их, не веря своему счастью. То едва прикасался, то, радуясь крепости этой плоти, стискивал в своей сильной пятерне ее грудь, и Таня вздрагивала от счастья-боли. Она не двигалась, закрывая глаза, притворяясь спящей, и этот покой под его лаской напоминал ему солнечный покой песка, гор, величественную архитектуру облаков... Как Олег все-таки любил тело! Сильное, несколько тяжелое микеланджеловское приволье тела на воздухе; злое, непоколебимое, сонное выражение колоссов, знающих о своей наготе, но не достаивающих ее замечать, а главное, неторопливую, глубокую, как солнечный день, медленность ласки, любовь не к запретным органам, а ко всему телу, долго сдерживаемую и, как солнечный мед, сияющую в медленном тяжелом прикосновении.

Таня продолжала лежать почти неподвижно, а он — лепить, почти слепо на ощупь радоваться, как будто узнавать ее тело, как слепой Микеланджело, должно быть, узнавал свои статуи, щупая, ощупывая их в горячей тьме своего уродства... Таня как будто отсутствовала, но лишь когда сомнение его брало и он отстранялся, рука ее выходила из неподвижности и, глядя его по волосам, возвращала, прижимала к себе. Олег понял, что это для него Таня под платьем совершенно обнажена, без всей той сложной женской чепухи, особенно пояса для чулок, который он нервически ненавидел; обнажена, как тогда на юге, и эта чистая и гладкая ее, еще загорелая с лета обнаженность, по которой материя скользила с мучительной, возбуждающей легкостью, соединяла оба куска их

счастья: шальное первое мгновение с теперешней уверенностью. Под руками Олега Таня невольно напрягалась, и все тело, гладкое, желтоватое, натянутое как струна, согнутое почти как мост, теперь даже ужасало его своею беспорочностью. Ему хотелось, чтобы она была мягче и не так по-античному безупречна в бедрах и почти плоском своем животе Артемиды. Что-то угрожающее и презрительное к слабости было в этой желтой и крепкой законченности...

Олег целовал медленно и с каким-то угрюмым поклонением ее бедра, живот и твердый венерин бугор, на котором свежевывытые волосы пахли все тем же вездесущим мылом «Кадум» и еще телом, чуть уловимым женским запахом, похожим на запах сена, которым пахла она вся, кусок летнего цветущего поля на мертвой городской почве, кусок высокохолмной и горькой от своего здоровья русской почвы среди ледяного ада мертвых, вымученных и трупоподобных белых тел.

Олег возбуждался, но не терял голову; член его как толстая, крепкая ветвь тянулся к Тане. Она чувствовала это сквозь платье, но Олег сдерживался, погруженный в то таинственное ощущение, где чувственность в своем преизбытке перестает себя узнавать, превращаясь в сложное и горячее восхищение зрения, осязания, искусства, в котором был отблеск лучших его греческих снов, и это была награда за его аскетическую жизнь, так тяжело давшуюся, за спорт, за отказ от онанизма, за роскошь его нового успокоенного здоровья... Забываясь, Таня невольно отодвигала одно бедро, но знал он, что, едва взгромоздится на нее, она, в нервическом исступлении запоздалой девственности, крепко сожмет их опять, с такой силой сдвинет их, что, попадись между ними голова, задушила бы насмерть, и в этом был страх жизни и страх смерти жизни, кощунства и растраты, страх Божий, отравлявший ее переспелые дни.

— Ты знаешь, Олег, я никогда не смогу смириться со всякими приспособлениями, чтобы не иметь де-

тей, или, как все делают, разлучаясь в последнюю секунду, — просто не посмела бы разлучиться... Для меня жить с тобой — это тотчас же иметь ребенка...

И Олег подумал, что даже его, беспозвоночного осла, вид разлитого семени отвращает, щемит ему сердце. Ибо, горячая и тяжелая, эта совершенно оккультная жидкость была для него как бы самой жизнью, и он понимал евреев, запрещающих ее разливать и даже смотреть на нее как на святая святых, или средневековых колдунов, что намазывались ею с ног до головы, как эликсиром жизни, пуше крови материализующим потустороннюю нечисть. Это была одна из причин, почему он не занимался онанизмом, но если приходилось ему невольно кончить во время сна, он с наслаждением страха думал о том, чем священно-ужасным она должна быть для женщины и чувствует ли она, как вдруг движение мужского органа внутри ее слабеет и из него бьет, несется, рвется горячая жидкость, и действительно нужно быть дегенераткой, чтобы отстраниться в эту минуту и разлить по телу эту живую влагу *anima mundi*¹, квинтэссенцию бытия, или — как некоторые женщины, особенно ему ненавистные — вдруг устать, охладеть и поморщиться от мокроты. Читал он где-то, что проститутки никогда не подмываются после своего коита. Олег ни с одной проституткой никогда не спал и этим гордился как самым ценным своим рекордом, хотя ему ни один товарищ не верил. И понимал теперь, до чего он не любил свой последний горе-роман, когда после совокупления, сердясь на него против воли, он спешил к умывальнику подмыться...

Тане физически очень нравился этот тяжелый, насквозь целомудренный и насквозь сексуальный русский люциферический мужик («руки голы выше локтя, а глаза синей, чем лед»), который, несмотря на шалую голову, никогда не делал сексуальных ошибок, не лез, но и не сдавал, медленно, длительно, как

¹ Душа мира (*лат.*).

нескончаемый летний день, радуясь ее плоти... «Ах, плоть дорогая», — думал Олег... Как редко голое срамное тело становится плотью, так же редко, как краска на холсте становится тоном, как стихи становятся поэзией, как мир открывается, наполняется присутствием Бога в то время, как в тысяче тысяч обычных случаев оно только тело без души, лишь голое срамное междуножие природы.

Олег никогда сам того не понимал, как он может никого не насиловать. Борьба с совокуплением была в нем такая отчаянная, что даже во сне, там, где все живое отпускает себя на свободу, она продолжалась. Олег все хотел во сне и не мог встретиться с Катей — мешали люди, гарсоны в кафе, отсутствие денег, чтобы подсесть к столику, где она, совершенно голая, заседала среди враждебной ему славянофильской компании, покрытой водорослями и мыльной пеной. Но когда они наконец встречались, одного прикосновения ее головы было достаточно, чтобы Олег обильно пролил свое удовольствие, по целомудренному выражению Пруста...

Когда Олег был здоров, самоуверен, счастлив, Таня не расставалась с ним целые дни, целые недели не разобщалась сердцем, и целый вечер не размыкался ни на минуту тот знакомый, электрический круг ярости, лукавства, приволья, насмешки над всеми и над всем, их звериной возни, борьбы, в которой им доставляло особое наслаждение чувствовать силу своих лап, сгибать, комкать и мучить чужую загорелую плоть, по временам шалея, кусая чуть не до крови... Олег редко терял голову, но если забывался на минуту и давал волю своим рукам, широкая грудная клетка, где билась недобрая птица, буквально хрустела, и, не подай она виду, он сокрушил, сломал бы ей непокорную кость. Но вдруг отстранялась вспотевшая голова, и, как апокалипсический лев, поднявший голову от мяса и окровавленной лапой раскрывающий книгу, Олег задавал вдруг какой-нибудь привычный

им головоломный вопрос — и тотчас же начинался между ними их особый, свирепый, никому не понятный каббалистический разговор, окруженный неведомой роскошью атлетических рук, блеском коричневой шелковой кожи и глаз, в которых горячее сумасшествие крови вдруг переключалось, преображалось, меняло направление и терзало, мучило теперь дух, как только что ломало и ласкало тело. Один из тех тяжелых мифологических разговоров, полных скрытой угрозы, как тяжелое летнее небо, в которых они находили свой особый мир, зверино-духовное счастье, свое особое средоточие их уговора-заговора... «Слушай, ты, — спрашивал вдруг Олег, своей страшной рукой отстраняя от себя ее плечо, как раздваивающаяся андрогина, в то время как ноги их и бедра оставались еще в положении совокупления, — скажи, ты понимаешь, что значит половые отношения с Богом?»

Во время таких разговоров сердце вдруг леденело, тело успокаивалось в античном, тяжелом, фресковом приволье абсолютной откровенности, так что, говоря, он крепкой горстью продолжал теснить, ошупывать ее бедро, но избыток их здоровья искренно, ярко претворялся в силу их львиного, тяжелого, религиозного любопытства. Потому что, как правильно говорила Таня, они оба были не совсем люди, именно человеческого им не хватало, ей в особенности, она скорее была великолепным духовным зверем, потому что идеальная физическая организация в ней соседствовала, совмещалась с органическим кровным вкусом к хрустальной музыке чистой отвлеченности логики, метафизики Каббалы. Так и кочевала Таня из огня да в полымя, изо льда в огонь, не умея, не видя, не чувствуя золотой середины чувства реальности души, сердца и поэтому всегда беспоконная, напряженная и мучимая беспричинными страхами человека, находящегося и смутно чувствующего, что находится где-то вне реальности и, следственно, вне себя. Но и в Олеге много было этих

черт, героических, геракловых, сверхчеловеческих — что-то от нелепого полубога, полужверя, лишенного самых элементарных человеческих, моральных свойств, неделикатного, бестактного до наивности, интеллектуально-безжалостного и духовно-безнравственного, кроме, конечно, одной своей, и безупречной, железной нравственности сексуальной.

— Скажи, Таня, понимаешь ли ты, что значит половые отношения с Богом?

— Да, я знаю, что мой Бог меня ревнует, завидует моим отношениям с тобой.

— Понимаешь, вот, например, еврей должен был бы ответить по-другому, несмотря на борьбу Иакова с Богом, ибо в библейском рассказе Бог явно стремился вступить в половое общение с Иаковом; но если еврей перед Богом, в присутствии Бога, совокупляется со своей женой, еврей уверен, что Бог подсматривает каждую ночь с пятницы на субботу, что делается в его алькове, что он улыбается, когда жена его, увлекшись, выгибается дугой, делая мост, поднимает мужа с кровати... Арийский Бог, мой Бог, ревнует мужа к жене и жену к мужу — так что это назло Богу арийская жена отдыхает, раскинувшись и держа мужа за его корень, — потому что монастырь, молитва и особенно келья и есть альков для совокупления с самим Богом, причем Бог всегда мужчина, а душа — женщина, раскрывающаяся, поднимающаяся горбом к Богу, Белусу, солнцу, Создателю мира...

— Да, я понимаю, и поэтому физическая любовь для меня — вызов и освобождение от Бога, какое-то равенство с Ним, возможность прямо и равно смотреть Ему в глаза, ничем от Него не завися, спокойно, высокомерно разговаривать с Ним лицом к лицу...

Изувер и скептик, природный мистик и мистификатор, раскольник и неутомимый книгоед, Олег умел, говоря, постепенно отступать в огненный туман полупонятных, сказочных слов, после которых они остервенело просыпались, причесывались, поправляли платье и, как голодные собаки, крались на

кухню шукать, искать, нюхать, воровать, жрать руками; с веселыми лицами и полными ртами, они возвращались, курили, теряли представление о времени, заводили граммофон и вдруг, случайно встретившись в танце, останавливались, впившись губами друг в друга (Олег особенно любил целовать стиснутые зубы Тани за мягкими расступающимися губами, белую эмалевую стену за горячей и мягкой преградой, о которой Маркус-гностик писал, что она — строгость Божья, — «Storos», — и его, природного каббалиста, это еще раз восхищало). И снова они шалели от поцелуев и от вкуса крови на раскусанных губах. Тело Тани из тяжелой массы превращалось вдруг в ничто в Олеговых руках, он скручивал и раздвигал ее руки, сжимал плечи до хруста. Ему, самому не замечавшему своей силы, она вдруг казалась полегчавшей, стремительной, почти хрупкой, пронизанной счастливым и свирепым нервным током; она почти каталептически судорожно откидывала голову назад, но Олегу уже ничего не стоило сломить ее сопротивление, и он счастливо мучил ее, как вавилонские цари, душившие голыми руками барса, который легко растерзал бы обыкновенного человека, — ибо Таня была необыкновенно сильна для женщины, и он помнил, как раз, на вечеринке, она легко подняла напившуюся до бесчувствия Аллу, наткнувшись на нее в коридоре, и отнесла через всю квартиру в спальню.

Часто в сиянии великолепной наготы Таня и Олег спорили, ругались, мечтали, дрались, философствовали. Это были счастливые дни. Родители Тани уехали куда-то, сестру за непоправимый провал на всех экзаменах отправили куда-то за границу с глаз долой. Дом опустел, и Таня ходила по нему, как по берегу моря, в одной синей юбке с большими перламутровыми пуговицами на боку, при каждом движении которой снизу доверху обнажались ее точеное коричневое бедро, колено и вся нога. Грудь была подвязана шарфом, и между ним и поясом мальчишеский ее за-

горелый живот в дикости своего целомудрия, сладострастия, откровенности, скрытности виден был весь. Таня по-дикарски, по-древнему кокетничала с Олегом — каждым шагом своим, каждым движением, так что часто Олег, как бы получив удар в лицо, зажмурился и отворачивался — до того ослепительно грубо, прекрасно, случайно обнажалось ее тело, и были в этом восхищение, задор, ласка, юмор и какое-то дивное восстановление в правах, реабилитация его, Олега, возвращение к той тяжести, роскоши, величественности, для которой он был сделан и которой он трагически лишился, к тому аристократическому благообразию медленных жестов и слов, о котором он так тосковал, ибо оно почти не встречается у бедного класса, — в метро, в кафе, на улице, где все носят на себе след явного, сызмальства давящего стеснения всех движений и жестов, приниженности, спешки, неприволья от вечной тесноты, работы, отсутствия свободного времени, путешествий, молчания, музыки, книг. Олег был падшим, бывшим, глубоко опустившимся человеком, и успех у женщин был для него подлинным восстановлением в правах, реабилитацией, дворянской грамотой. Ибо мужчины судят мужчин извне, если они хоть немного не педерасты, без чего они даже и не способны заметить мужскую красоту или физическое благородство, но и они иногда неизвестно почему уступают, заискивают перед некоторыми особенно удачными представителями своей породы. Женщины же, против воли откровенные, принужденные природой к откровенности, не могучи скрыть своего восхищения, часто водворяют опустившегося человека на его законное место.

Катя уехала, и после встречи с Безобразовым Олег уже сомневался во всем: в ней, в своей любви и даже, почти, в существовании Кати — до того Танины чары, державшиеся скорее на старых неврозах и ужасах, переживших любовь, были еще сильны. Отель на

Boulevard Raspail, на время выступивший из ряда домов и горевший мучительным значением, быстро вошел обратно в строй, сравнялся с соседями. Даже хотелось зайти встретиться с хозяином, тоже вдруг уменьшившимся в росте, снова сделавшимся человеком, французом, ничтожеством. Катя две недели как уехала, и зима вдруг со сказочной быстротой принялась наверстывать время. За ночь замела следы, навалила снегу — и уже другие, частые, мелкие, звериные, Танины следы пробежали по белому слою.

Ничего не понимая, с неостывшегося разгона одной любви перелетев в другую, он, может быть, ошибся адресом, как пьяный, не заметивший в баре, что собеседник его переменялся, и продолжающий плести свою тарабарщину. Да и Рождество со своей осатанелой зимней горячкой подвернулось под ноги.

Олег и Таня закутили... Так он иногда как бы терял сознание на месяц. Сознание, память ослабевали и уже не удерживали последовательности жизни, а только — куски ее, мучительные отрывки какие-то, в точности как в синема, когда, чтобы подчеркнуть стремительность и хаотичность действия, мельком в ракурсе или вверх ногами показывают куски побоища или бального зала... Это были грубые, потные ряшки усталых цыган... Какое-то «Ай-да»... «Ай-да» целый день, как отрывка, вязнушая на зубах... То дикие поцелуи, раскрытые ноги... гостиницы, деньги, собранные в горсть, бестолочь разлук, одевания, бритья, спешка, скука, жирная тяжелая спина и бессвязный лепет: «Милый, милый, дорогой...» Когда, теряя голову, на самом краю настоящего совокупления, они барахтались, толкались, мычали, беспорядочно гладили друг друга, с бьющимся сердцем отстранялись, переволновавшись, и все-таки не довершали любви... давили друг друга, сердились, уставши, одевались, уходили по лестнице, жалели деньги.

Олег поддался, сдал, сдался очень скоро. Сбитый с толку, перестал сомневаться и, непрестанно теряя счастье, оказался вдруг совершенно уверен, что

именно теперь оно начало начинаться; убеждал, убедил себя, хотя с самого начала сердце грустно, неподвижно, по-осеннему, слишком жалостливо, без упоения и страха раскрылось Тане... Ну, конечно, люблю... Почему же нет? Ну, конечно...

Дни летели быстро. Олег тратил свои шомажные гроши сразу, затем Таня доставала. Голодал перед получками, унижительно занимал, но всею головою бросился в последнее отчаянное сражение, спор, борьбу с неумолимо темнеющим днем, вечером их любви. Скоро Катя начала ему казаться эпизодом их отношений, как месяц тому назад Таня казалась ему ошибкой, от боли которой Катя для него открылась как настоящая жизнь... Совершенно ничего не понимая, Олег терял Катю, краткое свое, но совершенно полноценное, драгоценное счастье, для пронзительной, но уже обреченной, покровительственной нежности. Катя испортила ему окончательно Танины дни, обесцветила их, сделала почти смешными, как драку пьяных женихов в церкви... Таня, ошелолив Олега своею бесполезною уже щедростью, напортила Катины часы. Оба чудовища обезвредили одно другое, и сейчас Олег, думая, что вот он дорвался, вот он вступает наконец в жизнь, шел навстречу горшей, ядовитейшей безобразовщине... Но он не знал об этом. Вся его доброта, вся его человеческая, не мужская душа бросилась спасти Танину любовь, потому что Таня теперь любила. Она с каким-то сумрачным остервенением раскрывала свои комоды, отдавала, показывала ему свои дневники и письма, все, во что заглянуть Олегу в прошлом году стоило бы сердечно-го припадка... И все-таки... Когда Олег впервые принес домой и поздно ночью раскрыл ее дневник, когда вся изнанка, вся дикая правда приморских дней раскрылась перед ним, голова его закружилась, и от удивления и неожиданности заколомутило в желудке. Читая и все время бросая читать, не вынося чтения, куря и даже в возбуждении ходя по бетонной платформе перед домом, Олег узнал сказочные вещи,

баснословно грубые и правильные. А именно, что Таня тогда готова была его полюбить, ждала, любила, готова была любить, когда он приехал. Не могучи скрыть волнения, убежала из дома, долго кружила по холмам и, только с трудом нагнавши на себя внешнюю каменность, воротилась домой... Что вся его вина была именно в том, что он слишком скоро раскрылся, смутился, потерял самостоятельность и злую, нелюбящую, веселую бодрость, которую с русским бабьим атавизмом так ценила Таня. И так легко было сообразить, что та чудесная перемена, которая теперь в нем произошла (ты стал совсем похож на Аполлона — только если бы он был живым человеком, а не осатанелым актером), та бодрость, юмор, грубость, независимость, манера вдруг напевать, на-свистывать, забыв про все на свете, которая теперь, после Кати, у него появилась, были простым возвращением в естественное состояние из глубокого унижения любви, простым следствием того, что он любил ее все меньше и меньше. Такой замечательный взрослый человек — и так унижаться, плакать, целовать ноги... «Нет, это не мой герой, свирепый и твердый в любви. Это женщина с бородою», — читал далее Олег, и в первый раз, когда они встретились затем, с какой счастливой яркостью исправленной ошибки сияли его глаза тому, что Таня прямо загляделась и мучительно сладко почувствовала себя уже не монстром и не героем любопытства, а просто женщиной, девушкой, еле удерживающейся, чтобы не броситься ему на шею. В этот день они сидели на верхнем этаже какого-то дикого, сверхмодерного, дорогого кафе на Place Saint-Michel¹, где и красный бархат, и кубистические квадраты, и посетители с картонными плечами и молодыми бессмысленными лицами казались сделанными в одной мастерской передового декоратора. (С какой болью, мужеством, полногласием, полднем взрослого, тридцатилетнего

¹ Площадь Сен-Мишель (фр.).

человека, в расцвете сил, ответственности, боли, важности, непоправимости всего Олег презирал, уничтожал взглядом эту двадцатилетнюю, свежую, но несолидную человеческую растительность.) Но сила Олега, вдруг проснувшаяся, радующаяся себе, переливающаяся в атлетических самоуверенных манерах, в босяцком юморе и в низком грудном цыганском голосе, была уже не с Таней, а против нее, ибо она входила уже в тот комплекс, заговор, группу кошмарных персонажей вчерашнего сна, от которых он и пробуждался к мужеству, достоинству, свободе, и в этом торжестве тридцатилетней жизни, в отблесках красного бархата клоунских диванов она должна была бы прочесть не любовь к себе и не начало их жизни, а конец ее и вновь обретенную любовь к миру, зрительно, безопасно беспощадную, в которой она уже не могла иметь никакого места.

«Почему ты меня не возьмешь с собой, не уведешь с собой в свою ледяную безобразовщину?» — не понимая, что влюбленный и Безобразов — понятия несоединимые, невозможные, смешные, если бы только не встретил он такого же второго, стального, стремительного, беспощадного, как смерть, человека, на легких ногах, со стеклянными крылышками — воплощение свободы, полноты, неподкупности и юмора, как сокол, как судьба, терзающего все живое, но полного до краев нерастраченным, чудовищно интенсивным электричеством жизни...

Весна наступала медленно и со страшной болью. Исподволь, как-то непрошенно, сами собою легким зеленым дымом покрылись деревья, и вдруг, среди холодных, никаких дней — ни зимних, ни осенних — небо раскрылось голубизной такой яркой, что она казалась ненатуральной, такой прозрачной, что она как бы не существовала. Все вещи были неизмеримо далеко и рядом, отчетливо видимы в малейших подробностях, и сразу вечная импрессионистическая выставка парижских улиц, окутанных разноцветным

туманом, заменилась Испанией, Италией, Фра Беато Анжелико. Автомобили оказались свежевыкрашенными, оборванные люди чистили стекла и, достигнув необычайного блеска и откинувшись на верхушке своей двойной лестницы, разглядывали себя в самодельное зеркало; лошади, кошки, собаки, старики, чахоточные, против ожидания выжившие зиму, толстые полицейские, завитые студенты, переутомленные проблемами пола, как бродячие цветы, кочевали по улицам, но Олегу, который всерьез принял свою новую роль, весна резала глаза и сердце, ибо ничто его не радовало, ничто ему не помогало собираться в дорогу жизни из своего мертвого, но такого обжитого писательско-аскетического угла... Надо! надо, надо было работать. Но за что взяться? Олег зубрил улицы, но это отнимало все-таки мало времени, он писал, читал Гартмана в библиотеке, бессознательно жуликовато откладывая улицы напоследок... Нет, надо было до конца принять всерьез новые дни и сразу — головою в холодную воду, хотя бы для того, чтобы победить навязчивый страх перед хозяевами. На Монпарнасе он встретился со знакомым шофером-забастовщиком: «Идем, Олег, газетами торговать!» — «Идем, только зайду домой загримируюсь под пролетария». — «Да у тебя и так блатной вид!»

Снова в аду печали. Отчалила мука от жизни вещей, сама по себе борясь за невозможность мочь... Слова судьбы, славы... Слабость...

Почва неопикуемых адских острот. Свидетели разлуки: 1) дерево, на котором, с которого рвался в прошлое последний пожелтевший лист, череп Адама и скрешенные кости у его подножия; 2) улица, за полночь начисто выметенная ветром, гладкая, как спина Левиафана; 3) вывески над закрытыми лавками, перемежающийся холод ночи.

Глухота ветра, однако, отчаянно вывшего. Пустота счастья, однако, несомненно бывшего. Будущность руки: все-таки несомненно разжаться после

недолгого сопротивления и выпустить память из рук. Так вечер кончается ночью, а ночь — последними, за полночь невыносимо пустыми, невыносимо печальными предрассветными часами, когда закрываются все кафе и даже гаснут огни метро.

Бессмыслица растаявшего в пальцах смысла — как вода из-под крана: било, шумело, наполняло ладони — и ничего не осталось, едва жизнь попыталась охватить, удержать, воплотить, окружить стеной вечный снежный юмор осенних дней. «Куда тебе в лето! Но ведь я еще дышу на солнце... Твое солнце само, сияя, дрожит от холода...»

Ночь опустевшей улицы, неразвратная, безвозвратная, неузнаваемая там, где только что они еще защищались, устало боролись, привычно волновались за уставшую жить жизнь, но она разорвалась под ними с отчаянным звуком истлевшего холста, и все кончилось металлическим дребезжащим звоном хлопнувшей парадной и медленно отдаляющихся шагов, вскоре совсем переставших звучать, и снова над всем воцарился водянистый юмор осенней беспамятыцы, ветряной мельницы, и ночное море забыло раньше всех, забыло о счастье.

Миры прошли над этим местом. Миры пролетели со страшным шумом своей огненной музыки, но что запомнило это место, где столько местных Гамлетов, навек расставшихся со своей ненаглядной, с облегчением закуривали уже папиросу у самой стеклянной парадной? Ничего: улица как улица, по которой, медленно взмахивая рваными крыльями, пролетает вчерашняя газета, и все было, было, было, и ничего не запомнило мертвое место — стык четырех углов и тысячи судеб...

Усталость стали; камень не в силах сохранять твердость; вода не в силах течь; огонь не в силах жечь. Внезапная призрачность мира, прозевавшего свою реальность. «Как, мы еще живем?» Снег опускается к снегу, и где первый, где второй — уже Бог не упомнит...

Степень таяния сердца измеряется невозвратно-

стью его прежней формы... Рука разжалась и выпустила опустевшую жизнь, и боль огромного пустого отпуска стеснила дыхание. Тщетно протщившись быть безвозвратным, все отвратительно возвратилось в холодное вранье воспоминаний... Прощай, прощай!

«О чем шумит ветер», — думал Олег, притворяясь, что ничего не понимает или оглох. Боль весны была необычайно шумна и бестолкова. Работу было как-то мистически невозможно найти. Олег унижительно завидовал всякому рабочему, возвращающемуся с рабства, злобно-подобострастно смотрел и отворачивался, и тот ничего не мог понять.

Черепоходов со своими рассказами о заработках газетчиков перевернул ему сердце, которое, кстати, довольно легко переворачивалось, продолжая в глубине своей спать, зевать, думать все на том же правом или левом боку.

Олег одевался, как на маскарад. Взять, что ли, перчатки, руки не будут мерзнуть? Нет, настоящий газетчик перчаток не носит, терпит, сукин сын. Но, доехав, увидел мрачную молчаливую толпу бывших людей у окошечка в глубине узкого переулка rue Croissant¹, дожидавшихся первого издания, именуемого четвертым, дневного и малочитаемого; сердце его упало. «Il y a des mecs qui, leur journée finie, viennent ici prendre le pain aux malheureux»², — мрачно-наставительно говорил заросший волосами пещерного вида старик, и все с особой вежливостью нищих поддакивали, и вот, после долгой толкотни, Олег на улице с пачкой газет, которую он еще не умеет держать. Мимо него пробегают подростки, бодро, громко возглашая: «“Paris Soir”, tous les détails!»³ Нужно и ему кричать. Первый возглас, мучительно-странный,

¹ Улица Круассан (фр.).

² «Встречаются же такие типы, которые, отработав свое, пытаются и здесь урвать кусок у несчастных» (фр.).

³ «“Пари Суар”, все подробности!» (фр.)

страшновато для него самого вырывается из его глотки.

Слишком ли громко, слишком ли тихо — не знает он еще, а ноги-сволочи сами собою выносят его на Большие бульвары. Здесь смущение его становится нестерпимым, красный, как рак, он не знает, куда деть глаза, и он кажется себе без штанов... Нет, он сейчас не выдержит, бросит пачку, убежит на Монпарнас. Но, к счастью, первый покупатель отвлекает его внимание, он неумело раскланивается с ним, забывая отдать сдачу, и тот смущенно-презрительно напоминает ему об этом...

Азры хохуля акбы быкабазы сыганы уракарука курабасара буска буска укаса сагоса... «“Paris Soir”!.. Quatrième édition!»¹ Боже мой, еще тридцать штук осталось... Этому не надоть... Время идет... Этому тоже... Поспею ли все разбазарить и встать в черед за последним изданием?.. Укба укба брасина палитесрака брасигамука... Вот если бы сейчас убили Сталина или вообще конец мира, как бы я заработал... Этому тоже не надо...

Америка поглощена морем, десять миллионов жертв... Социальная революция в Германии... Новый Христос на Монпарнасе... Эвона, не рассыпь деньги... Дурак, слишком долго ищешь... Дилетант... Укба укба... Еще пятнадцать штук...

Нет, никто не покупает, решительно никто не хочет его четвертого издания, если бы не евреи, любимые его евреи... Евреи гнездятся в пассажах по ту сторону Boulevard de Strasbourg². Там ни единого покупателя, пыль, тоска заново отделанных кубистических лавок. Печаль зря проходящего весеннего дня, сквозь стеклянный потолок медленно идущего к закату. По-восточному щелкают пальцами. Олег, овладев ролью, давая сдачу, смотрит в сторону и, нарасспев, как будто страшно торопясь, возглашает свою кантилену: «Tous les détails du ministère!»¹ Сутолока

¹ «“Пари Суар”!.. Четвертый выпуск!» (фр.)

² Страсбургский бульвар (фр.).

вокруг, и вот он уже продал сразу пять экземпляров... Снова улица. Олег суется в кафе, это не по обычаю в квартале, но огромная кассирша дает разрешение. Неудача — сострадательные презрительные взгляды. Но в другом некто, переждав и перемучавшись, перетратив все нервы на ожидание кого-то, с дружеским облегчением подзывает его. В третьем пьяные снисходительно хамят. «Alors, on fait du commerce?» — «Non, mais laisse — le, tu vous bien que ça commence à faire autre chose»², — топчет подвыпившая старуха лапами по столу. Но истинное благодеяние — это стоянка опухших от неподвижности частных шоферов... Последние две он продает сумрачному отряду полицейских, чего-то недоброжелательно ждущих в боковой улочке. И вот он уже налегке, на ходу позвякивая мелочью, измученный и довольный, озирается вокруг... Но едва он вылез на Richelieu-Drouot, группы толпящихся, толкующих на тротуаре молодых людей привлекли его взор. Негромко спорили они, медлили, нехотя расступались.

— Alors, on remet ça?

— Attends, ça va barder tout à l'heure³.

За новыми газетами идти не хотелось. Олег опоздал, да и сердце переволновалось. Хотелось куда-то в толпу, толкаться, слушать. Как всегда, когда переволюешься, сил, казалось, целая бесконечность, хотелось без конца двигаться, говорить, острить, и вдруг сразу — свинец в ногах, тоска под ложечкой, хоть садись на скамейку... Нет, газетчиком Олегу не быть!..

¹ «Все подробности министерства!» (фр.)

² «Ну что, приторговываешь?» — «Да нет, оставь его — прекрасно видишь, что дело начинает принимать теперь другой оборот» (фр.).

³ — Ну что, вернемся обратно?

— Подожди, скоро жареным запахнет (фр.).



ри дня Олег, умерши для весны и друзей, провел в аду. Парфюмерный ад этот был расположен около *Porte de Clignancourt*¹ в одноэтажном особняке, запущенном до последней степени, и Олег работал или на кухне, или в подвале. Первый день был ярко-красный, второй — скорее розовый, третий — белый, приторный, ирреальный. Но первый был самый тяжелый из всех... Едва Олег, раболепствуя перед хозяином, перешел ту роковую черту, отделяющую свободного человека, приятеля, знакомого от раба, каторжника, поденщика, он еще долго не знал, как себя держать, любительски смеялся и сердил этим презрительного и угрюмого еврея-неудачника, которому принадлежало это пахучее, вонючее дело. Но вот он остался на площадке заднего крыльца, выходящего на заставленный бутылками дворик, — под навесом стояли мешки с сырьем для пудры, а желтые и красные полосы тянулись по земле, — остался перед доской, положенной на угол перил, на которой, как головы красного сахара, стояли лоснящиеся, хорошо пахнущие глыбы только что остывшей губной помады. Резать ее длинными ломтями показалось ему сперва забавой, почти игрой, так что хозяин, бесшумно появившись из-за его плеча, тотчас же сделал ему первое замечание, дабы стругать ему грубее и расторопнее. Наструганное ссыпалось в давитьник, между мраморными валами которого медленно, нехотя ползла кроваво-малиновая пахучая масса. Ползла, все время останавливаясь, потому что Олег все время прекращал крутить... Первые

¹ Порт Клиньянкур (фр.).

двадцать минут дались легко, хотя рукоять была неудобная и адски тугая, но скоро острая боль в плече заставляла останавливаться.

Пот лил ручьями с Олега, постепенно он снял с себя все, и вездесущий красный клей, принципиально, нарочито, гениально-несмываемый, налипал всюду. По временам, особенно в присутствии хозяина, который сам с озлоблением, на которое способен еврей-изобретатель, у которого жена вечно больна от неудачного аборта, со скрежетом зубовным крутил рукоять, сверкая глазами сквозь круглые очки, крутил пять-десять минут, победоносно тяжело дыша, исчезал и цокал губами, когда, по возвращении, заставлял Олега в изнеможении, с низко опущенной головой сидящим на табуретке. Но истинный ад начался только после обеда... Олег, руки в перчатках, ел жадно, слоняясь по улицам, ел яркими, оранжево-красными руками, которых никакое черное мыло на свете не могло побелить. Бледный и перемазанный краской, он ел на соседнем толкучем рынке, деланно-равнодушно рассматривая умопомрачительный хаос старых вещей, и на лице его, надорванно-торжествующе-измученно, как на лице лицеиста только что с мучительного экзамена, каждый встречный рабочий в привычной синей куртке мгновенно читал, что он только любитель, интеллигент, бывший человек, чтобы, прочтя, отвернуться с досадой, не то с презрительным сочувствием. Незаметно до отвала нажравшись чего ни попадя — сыру, винограду, переспелых бананов, — Олег, поваландавшись еще немного и прочтя «Paris-Midi», раньше срока вернулся на фабрику и, сидя на крылечке, чуть не задремал на солнце, пока начальственный окрик не пробудил его к реальности, более нереальной для него, чем все сны; в тяжелом оцепенении непроваренной, непрожеванной пищи, Олег познал истинно вавилонскую муку, прикованный к липкой железной рукояти, приводящей в движение мраморные валики, казавшиеся ему циклопическими каменными жерновами.

Сердце билось тяжело и непрестанно, крутящиеся огни летали перед глазами, а ноги гнулись от невыносимой истомы, но нужно было крутить, крутить без перерыва, ибо лысый и потный парфюмер, озлобленный неродящей и неработающей женой, считал по своей матерой опытной выработке, раздраженно вырывал у Олега ручку из рук и, в бешенстве непонятого миром гениального парфюмера («Я десять лет искал формулу этой помады, десять лет, и в нее входят пятьдесят специй!» — и Олег, притворно расширив глаза, подхалимски повторял: «Пятьдесят специй!»), крутил не переводя дух, с развевающимися фалдами своего яркого больничного халата. И с высокомерным торжеством убежал, уничтожив Олега... Часы шли унизительно медленно. Олег то спереди, то сзади, то правой, то левой рукой прилаживался к машине, но все так же неохотно из-под шести мраморных валиков полз багровый, приторно благоухающий пласт передавленной красящей массы. К вечеру, однако, все оказалось прокрученным, но вот другое бедствие: Олег неумело, неосторожно расшвырял красные очистки по всему полу, и ему пришлось, ползая на коленях, бесконечно отвратительно скрести и мыть истертый линолеум... В метро Олег впервые в жизни заснул, и кондуктор выбросил его на конечной станции. Пришлось еще раз брать билет, и прямо, ничего не видя перед собою, не поев даже и не раздеваясь, он повалился на свой продавленный диван, испытывая райское блаженство.

Второй день Орфея в аду был все-таки легче. Впервые, Олег работал в подвале, далеко от хозяйского глаза, там разговорился он с упаковщицей, смиренной, замученной дамой в очках, которая прежде верила, ходила в церковь, а теперь некогда ни о чем подумать, а воскресенье — спишь или стираешь целый день, только что в синема — в субботу вечером. «А сколько времени вы здесь работаете?» — «Да уж год почти». — «И вам еще не надоело?» — «Нет, привыкаешь как-то, и жизнь в вечной спешке летит,

как сон...» Снова Олег подумал о словах Фрейда, что все живое ищет смерти, не могучи выдержать мучения своего богатства, ищет израсходовать себя то ли в совокуплении, то ли в работе, то ли в пьянстве, и он с упреком отвернулся от ее смирения, как от давнишнего зрелища молодого человека, онанирующего в коридоре метро. Но ведь она умерла бы с голоду... Я же не умер с голоду... Женщине труднее нищенствовать... Мужчине — позорнее... Работать, забыть, забыться, смириться, освободиться от долга, быть... Как кровь из вен, как кастрация, отжили, отчуждили часть жизни, живем на остаток, а сколько остатка — синема да спанье до обеда, спать в воскресенье утром... И вам не стыдно?.. Нищенствуйте, спите на улице, боритесь за дух... Сидите в тюрьме, в монастыре, на шомаже... Нет, избавьте... нам бы наработаться, наупотребляться, избыть, излить жизнь, и с глаз долой... Туда и дорога... так и надо, *bande de châtrés*...¹ Ах, расстрелял бы все смирившееся, святость для бедных... Туда и дорога... Олег весь день штемпелевал, прессовал румяна, «делал компакты», как это по-деловому, отвратительно-смирненно сказала парфюмерная богородица, наполнял, утрамбовывал ладошкой формочки, артистическим жестом, скоро постигнутым, на лету раскручивал и закручивал стальной пресс. Работа шла в каком-то исступлении, обалдении, ошалении беспрерывного и однообразного танца — так, понял Олег, скорее проходит время в дурмане ритмической спешки, поглощающей дух, — отдыхал в клозете-раздевалке, куда ходил прятать в пиджак краденые пахучие богатства для Тани: пудру, крем для лица, брильянтин, бракованные карандаши для губ — все то, что из горького озорства и классовой ненависти он с бьющимся сердцем проносил мимо спящего на диване у открытой двери лысого химического гения... День прошел в одуряющей спешке, но ед-

¹ Скопцы (фр.).

ва он очутился на улице с шестьюдесятью франками в кармане, которые не без труда получил, потому что, даже собираясь все-таки заплатить, патрон как-то странно нервически медлил, жалея, борясь с собою и как бы с физической болью расставаясь с карбованцами. День этот, хотя и без физических и моральных страданий, особенно без унижительной необходимости время от времени сказать что-нибудь, чтобы поддержать свое достоинство, прошел до того незаметно, как будто выпал из жизни, как сон. Сил же почти не оставалось, и снова Олег, едучи, заснул, мотая небритой головою, заснул, накапливая на завтра весь запас рассказов о рабочих подвигах и муках, дабы доказать теперь, с деньгами в руках, до чего он принимает Таню всерьез.

Третий же день прошел в белом тумане до тошноты надушенной пудры. Этот день Олег с утра прокрутил барабан для протирания пудры в белой закуте, освещенной яркой электрической лампой. Пудра белыми облачками вылетала из щелей мельницы и повисала в воздухе сладкой, приторной пеленою, налипая решительно на все: на волосы, губы, ресницы. Крутя барабан, Олег приловчился даже немного читать Франца Баадера одною рукой и одним глазом, но это было очень опасно и замедляло время, разбивая ритмическую инертность трудом, а к вечеру, украв снова горсть губных карандашей, измученный непривычной работой и белый, как клоун, оказался на улице. Ветер быстро розовым заревом сходил на Монмартрский холм... По временам изумительным хрустальным звуком бухал колокол. Люди спешили и, перешучиваясь, покупали вечерние газеты. Многие сходили к центру города, где уже два дня происходили манифестации и свалки по поводу грандиозного финансового скандала... Олег налегке, со звенящей легкостью переутомления, обернувшегося неестественным нервным возбуждением, шел, ощупывая в кармане широкие двадцатифранковые монеты. Ему все хотелось купить, заходить в лавки или в

питейные заведения. Он был богат и как-то измученно-нервически, христиански весел и добр от усталости...

Медленно среди весенних огней неба и земли Олег спускался с Монмартра, останавливаясь перед витринами, сочувствуя обрызганному грузовиком велосипедисту, который тоже измученно, но странно весело, счастливо ругался, останавливался слушать пьяные споры субботних рабочих за стойкой.

Какое все-таки счастье иметь деньги... Вот войду и съем все эти пирожные... Небо еще не погасло, а улица уже горит... Куда они спешат... Спешат целоваться... спать, ругаться, в синема, жить... Сегодня мне хорошо с ними, все так ярко бьет в глаза, хотя это и не к добру, и вдруг, боюсь, сделается страшный припадок слабости, сонливости, тоски... Если так будет продолжаться, я смогу купить себе радио... Радио, какое чудесное изобретение, сидишь и крутишь, и сразу ты во всех концах мира... Зарывшись в кресло, с Таней на коленях слушать джаз или Шумана, потом останавливать радио и ночью в хаосе ателье (обязательно снимем ателье) в ярком круге низко опущенной лампы работать, читать, писать, писать, какое счастье... А там, за кругом света, в полумраке на диване, тяжелое, золотое, сияющее тело Тани... Да! Всю ночь бы палили свет, спорили бы, ссорились и целовались посреди спящего мира, как два царя. Ах да!.. Пойду посмотрю, может быть, сегодня опять будут драться на улицах... Но осторожнее, как бы не выслали... Ладно, с моей-то боксерской рожей и фуражкой на глазах... Пойду посмотрю в зеркало... Мм-да... Круги под глазами, черная фуфайка без рубашки, отчаянный и смущенный вид, и как это я нравлюсь женщинам, истинный шахтер, сутенер, матрос... Ага... а вот и полиция... Какие все-таки красивые ребята, прямо расцеловать бы в алые щеки, и с достоинством... Ага!.. по середине мостовой, как в Москве в февральские дни, а я с красной лентой на загнутой фуражке реалиста все

мечтал попасть в милицию — и не пустили... Вся моя жизнь — это вечное не пустили, то родители, то большевики, а теперь эти эмигрантские безграмотные дегенераты... Рыхлый снег под ногами, февральская каша и прощай занятия... Как все-таки было хорошо, здорово бежать, бросать все, удирать на телеге по украинским дорогам, и где я тогда был... Развейся в пространство, развейся, квартира, квартира моя... Тюрьма проклятая, сумрачная, бесконечная, закрытая белыми чехлами... Одни уроки музыки вспомнить... и подоконники... В Ростове среди вшивых раненых только что открыл Ницше... На Дону в лодке между небом и землей, не могучи, не умеючи еще читать... каждая фраза как выстрел в упор, тысяча мыслей, и нет сил продолжать, лучше грести, плавать, ходить целыми днями грязными ногами по луне... А рассветы, утра в ослепительной свежести осени... спал в библиотеке, просыпаясь, с изумлением нюхал сладкий книжный запах, розовые отблески на переплетах, и не было сил читать... и все это посреди обязательных постановлений... Военная музыка на бульваре... просят сохранять спокойствие, городу ничего не грозит... значит, еще одна эвакуация, и это все где-то во сне, в скучном неуклюжем бреду, а наяву — Ницше, Шопенгауэр и пьяный от света и своей обреченности узкоплечий сверхчеловек в хрустальных горах Вильс-Мари. Но осторожнее, теперь ты в самой гуще... Делай независимый, веселый, отсутствующий вид... Не мое, мол, дело, фуражку на ухо, и чего они орут, счастье свое, грубое, земное, золотое, бычье, защищать... *Vive Chiappe!*..¹ Осторожнее, не зарывайся, да теперь и не выберешься... Поорать бы самому... Да! Но что именно... Кьяпп, кстати, симпатичный малый, и не мучал нашего брата... Да! *mais tu n'y es pas*², это не идеология... Сади его, мать, ни вперед, ни назад... А, побежали!.. Ну, теперь надо смываться, брысь отсюда... Ах, черт... (В боковой улице, стараясь отдышаться-

¹ Да здравствует Кьяпп!.. (фр.)

² Не твоего ума дело (фр.).

ся...) Как все-таки ему попало... Сразу ослеп от крови, и только палкой... Податься, что ли, опять вперед... Да устал я, и все-таки видят, что я иностранец... Устал все-таки дико.

По временам рев толпы становился подавляющим, тогда Олег наэлектризовывался, кричал что-то и, даже, не помня себя, защищал кого-то (городового, сорванного толпой с велосипеда), без вина охмелев на чужом пиру посреди вулканов, океанов, гейзеров горячей крови роскошью пьяной вежливости, играющей на возбужденных лицах... *Eh bien... faut plusieurs fortes poignées n'ayant rien volé... Puis mettre tous les étrangers á la porte et travailler le main dans la main... Pas vrai, mon pote?.. Rapport au prolétariat...*¹ и т.д., и т.д. То волнуясь, то дрейфя, Олег бежал вперед и назад, как щепка, носимый толпой, скакал через клумбы и через парапеты, путаясь в кустарнике *Champs Elysées*², и вдруг оказался снова лицом к лицу с ночью, в пустоте боковой улицы, в презрительном молчании медленно наступающей весны.

Вот она, наконец, усталость, настоящая, внезапная, нестерпимая, и как мне выбраться из смятения этих чужих людей; еще мгновение — и я совсем перестану притворяться и, кажется, закричу по-русски... Ходят и орут... Революция в глаженных брюках, не с голоду, нет, а за избыток, приварок, достаток, не за хлеб, а за масло, за радость свою языческую, за автомобили у моря, загорелую кожу в белом платье, за радио в зимний вечер. Не только за жизнь, но и за счастье, за античное величие неравной оценки, за превосходство, неравенство, недоступность, снобизм, а ты, апокалипсическая вошь, прочь отсюда... Нет до всего этого тебе никакого касания... Ходят и воз-

¹ Так вот... отыскать бы несколько крепких, незапятнанных молодцов, выдворить всех иностранцев и вместе работать... Не так ли, дружище?.. И пролетарию легче будет... (*фр.*)

² Елисейские поля (*фр.*).

мущаются, чувствительны к убыткам и беспорядку, как радиоантенны, а тебе было все равно, и родителям все равно... Пускай кухарка поцарствует... Развейся в пространство, исчезни, квартира, квартира моя... С их точки зрения, надо было бы: здравствуйте, ваше благородие, вон Добролюбов улицу переходит, дайте ему по шее, дайте покрепче, не опоздайте дать... Стыдились полиции, стыдились денег, семьи, стыдились жить и защищаться... Получается, что были христианами... Слабые железы или христианство... или само христианство — род расслабления гениталий... Царство Мое не от мира сего... Но почему все-таки не защищать?.. Пятьдесят тысяч офицеров в Москве в октябрьские дни, все по квартирам, а шестьсот юнкеров на улице... Боялись?.. Нет, не боялись же на фронтах... Ах, чего там за квартиры ратовать... так и просрали по чистоте души. До фашизма не додумались, а лишь до белой мечты с толстовским заветом в кармане, и были побиты, потому что не захотели организовать систематический, массовый террор в тылу, а лишь хулигански-истерически расстреливали поодиночке, озлобляя и не умея запугать... А фашизм есть систематический террор, железная лапа, твердая вера в свое животное право... Интересно знать, что все-таки из большевиков выйдет, ведь теперь уже некого освобождать, спасать, все старое добито, и, хотя бы ради миллионов расстрелянных, хотелось бы, чтобы что-нибудь вышло... Ах! Научатся... первый трактор не пойдет... Третий, четвертый останутся в канаве, а на десятом все-таки вспашут Россию, была бы добрая воля, молодость и неограниченность перспектив. Но только жесток все-таки русский народ... Не царь ведь громил жидов и жег раскольников, потому что и царь — народ, народ в короне; татарин громил и жег народ в России всегда, вспарывал животы с удовольствием... Особенно женщинам. Сам знаю, сам татарин, чекист-околоточный, изувер-насильник... Сам был царем, сам царей убивал, сам бабам над головой юбки завязывал и пускал по деревне

бегать... сам томился в тюрьмах, спасался в скитах... Убивал докторов, закапывался живым в землю, палил овины, пел с цыганами, писал иконы, и, *entre nous*¹, — никакой личности все-таки нет, это все для мелкого удобства, а внутри я, все и всё, то есть нет, не все и не всё, а весь народ и вся Россия во мне тоскует, разговаривает, курит, молится, подхалимствует, ворует губные карандаши: но здесь я чужой всему, как грязный корень, враскорячку выдранный из земли, бродяга-зритель, огромный, стеклянный глаз на двух с половиной ногах.

Ошалелый, измученный, сам не свой пришел Олег к Тане. Ему хотелось теперь отсидеться в ее голубой комнате, очнуться, отоспаться морально, прежде чем заснуть. Приткнуться, прильнуть, присоседиться к ней так, чтобы в поле его зрения ничего бы не было, кроме ее горячего желтого плеча, ее лица, ее тела. Торжествующий, но внутренне совершенно готовый разрыдаться, из последних сил держась за реальность и приличие, Олег поехал на машине на пятый этаж и уже представлял себе, как по-новому, потяжелому рассядетя в кресле, не будет притворяться, лебезить, нервно, неестественно веселиться и обретет наконец ритм той совершенно взрослой, равномерно разделенной жизни, где можно молчать целый день с любимым человеком и все-таки ни разу не терять с ним душевного контакта, не прекращая разговаривать глазами, жестами, выражением лица. Покой, отдых существ, произвольно покинувших свои небеса, — то могучее благообразие тяжелой солнечно-волевой жизни.

Все это он думал, но, в сущности, ему после первого столкновения с беспощадной борьбой за существование хотелось просто материнских рук на своем лице, мягких и холодных. Отдыха, утешения... Ему хотелось плакать.

¹ Между нами (*фр.*).

Но, едва вошел в комнату, он с ужасом почувствовал, что придется целый вечер через силу острить и смеяться. Гуля, двоюродная сестра Тани, милое и доступное существо с крашеными волосами, развлясь, курила на диване, поблескивая большими, добрыми, масляными глазами... Потом Таня скажет, что Олег ничего сам не рассказал о своем измученном состоянии, и действительно, он через силу храбрился и хорохорился, рассказывая и преувеличивая уличные бои, ожидая, требуя, чтобы Таня угадала, сама догадалась, потребовала от него, чтобы он перестал и успокоился, и он благодарно-счастливо сейчас бы замолчал, отдохнул бы, может быть, ожил. Но Таня, как здоровый человек, у которого внешняя оживленность или ее отсутствие в точности соответствует бодрости или усталости, как человек, ничего не знающий о невыносимой, дикой экзальтации абсолютного переутомления, ничего не поняла в Олеговом голосе, однотонно-истерически приподнятом. И так как втроем ничего не получалось, она, на горе, предложила пойти на Монпарнас... Снова Олег, подчиняясь, не смея, не могучи бороться, сидел среди людей, слова которых по его ободраным, освежеванным нервам били, как смех и гомон по бесонно мечущемуся в постели. Все резало, мучило, уничтожало его, и снова ему в иступлении болтливой, болезненной словоохотливости пришлось рассказывать свои подвиги, и он, не замечая противоречий, уже бесстыдно врал от усталости. Снова он сдался перед ее топорной, невнимательной любовью, хотя весь вечер явно чувствовал, знал, что, любя, должен был бы сопротивляться, что мучительства этого он не забудет и любовь его от злости, усталости и голода сама себе перегрызет горло в своем одиночном заключении. Как в пьяном дыму, в тяжелом осоловлении и порабощении воли, Олег пошел со всеми в другой кабак, но вдруг, теряя жизнь и не могучи уже говорить, сидел таким мягким истуканом, таким трупом, тушей, бревном, вдруг пересмеявшись, переменившись в лице, осунувшись, постарев,

что даже Таня это наконец заметила, подседа к нему, неуклюже принялась расспрашивать. Но обида его была так глубока, что он только усмехался в ответ, горько выпятив губы, глупо покачиваясь в такт музыке. Страх чего-то непоправимого на секунду сжал ее охмелевшее сердце, она потащила его танцевать, но он отказался. Сбитая с толку и смутно чувствуя, что зашла слишком далеко, она встала, и они, ни с кем не прощаясь, вышли на дождь.

На улице, теперь уже совершенно сорвавшись, опрокинувшись в свои обиды, Олег продолжал злобно, враждебно отмалчиваться, уже соскользнув в одинокую, горькую, как отраву, усладу жалости к себе. «Так и надо, пропади все...» Теперь Таня, чувствуя бесполезность расспросов, сбитая с толку до боли в сердце, захваченная паническим ощущением непоправимого, по-бабьи глупо, растерянно, как тюлень, пытающийся играть на рояле, искала выхода и вдруг остановилась посреди улицы, и все с таким трудом добытые Олегом мелкие деньги исчезли в горсти заspanной недовольной прислуги отеля, которой Олег, подыхая от сожаления перед исчезающими деньгами, его деньгами в ее руке, уходящими по лестнице вниз, так и не мог заставить себя дать на чай. В комнате, снова до боли поразившей Олега адской грубостью своих красных клетчатых обоев, всем бездонным метафизическим унижением отельного ничто и никто, оба, тяжело дыша от выпитого вина, не сняв ботинок, повалились на кровать, и здесь началось что-то совсем невообразимое, нестерпимое и до муки отчаяния отчетливо ясное Олегу.

После нервного подъема, усталости, печали, бешенства, после того, как еще раз ему никто не помог, никто не понял, после того, как еще раз ему пришлось обойтись собственными силами, к Олегу вернулась вдруг абсолютно мертвая ясность, беспощадная зрительная четкость полнейшего отсутствия... Его и Танино тела были для него как два трупа в анатомическом театре, шалый, пьяный разговор коих он

слушал из другого конца комнаты. Ибо еле живой, каким он был, Олег пытался, толкаемый классическим атавизмом мужского самолюбия, пытался соответствовать, пытался расшевелиться, разыграть надлежущую страсть, хотя в эту минуту ему больше всего хотелось домой, на диван, лицом к стене, чаю, почитать «Последние новости». И сперва, на первых порах, тело будто слушалось, поддавалось этой грубо-противоприродной игре, но затем совершенно вдруг вышло из повиновения и из игры. Потому что никакого локального возбуждения Олегово тело вообще не слушалось. «Станный человек, — когда-то писала Таня в своем дневнике, — возбуждается от смеха, от счастья, от разговоров и даже от собственных слез». И действительно, желание поцеловать, погладить, ощупать, совокупиться рождалось у Олега вокруг какой-то таинственной игры счастливого музыкального сговора, грустного или смешливого, все равно. Так, помнил он, как его поразили изумительные стихи Льва Савинкова: «Под ногами шумела солома, ты, смеясь, повернулась ко мне. Мы построим себе два дома, здесь — один, другой — в вышине», — Олег в точности никогда не знал, какой из них строится раньше, но оба были ему необходимы, и тогда, как атлетический ангел, пробующий новые крылья, жизнь его с головокружительной быстротой путешествовала с неба на землю и с земли на небо. Так, удачно сказанная фраза, какое-нибудь правильно, реально, ощутимо выраженное, отвлеченное ощущение вызывали мгновенную благодарность, и вспышка восхищения, следующая за ней, вдруг мгновенно перерождалась в дикое желание поцелуев и физического обладания, умственная же грубость вдруг отчуждала физически. Так что, хотя он как бы сделан природой нарочно для этого, ему почти никогда не удавалось жить физически с человеком, не омрачаясь сердцем с тою же дикой стремительностью, которая свойственна ему была во всем. И как он хорошо понимал античного меланхолика, написавше-

го, что *omne anima post coitus triste est!*¹ Едва равновесие нарушалось, едва физического становилось хоть на копейку больше, чем морального, — и боль с умопомрачительной аптекарской точностью, как нож, поворачивалась в сердце. Сколько раз он клял себя, отплевывался, рычал от бессильной злобы, не могучи отмыться, успокоиться от краткого поцелуя, презирав себя за то, что из атавистического дикарского самолюбия не смог отказаться лишнюю минуту держать чужую ладонь в своей или лишний миг продолжить поцелуй, хотя уже внутренний пожарный колокол, тревожный звонок предупреждал его, что этого не нужно, что это слишком, что от этого и за это сейчас будет больно... Так, он всегда знал, когда нужно остановиться, и — не от страсти, нет, от унижительной какой-то сексуальной вежливости — никогда не останавливался. Особенно в эту ночь душа, так больно и с такой силой ударившаяся о лед жизни, как мяч, как бильярдный шар рикошетом, так высоко взлетела вдруг в аполлон-безобразовское ледяное поднебесье, что ему, собственно, часами надо было бы отходить, разговаривая, смеясь с Богом, чтобы медленно вернуться, оттаять к жизни, но сейчас Таня этого не понимала. И по-звериному веруя в лесную хмельную сексуальную магию, тупо, длительно, с закрытыми глазами жестикулировала в абсолютной пустоте его ледяного зренья... О, если бы она знала, как она выглядела со стокилометровой высоты Олевой злобы!..

Олег, нарочно ничего не говоря, неподвижно сидел на столе и с высоты этого стола, как с Монблана, презирал ее тяжелое и безобразное тело — Таня бесстыдно, невинно по-детски, грубо откровенно одевалась перед зеркалом, еще не сдаваясь, еще полоумно кокетничая, как тогда, когда-то, на юге, когда он лопотал, терял голову и напрасно комически жестикулировал, подобно морской волне, которая, шумно

¹ Всякая душа грустит после совокупления! (*лат.*)

и бесполезно рассыпаясь, бестолково и напрасно жестикулировала на скалах. Олег смотрел с высоты стола на целый мир любви, с высоты своего ангельского отвращения — на целый отвратительный теперь мир, потерянный навсегда и без сожаления...

И это то, что я любил... А то самое, как гора здорового загорелого мяса, кокетливо одевалось перед зеркалом — еще без платья, перевязанное всею постыдно неуклюжей женской снастью: поясом для чулок, приспособлением для груди, — и все это было разорвано, заштопано, заношено, видимо, с неудовольствием носимо, невыносимо.

Таня долго не замечала, не видела за притворно нежным взглядом, начинавшимся на самой поверхности глаз, другого, редко показывавшегося на поверхность, спокойного, жестокого, дневного взгляда из глубины зрачков, сейчас так беспощадно неподвижно на нее направленного. И вдруг в зеркале глаза их встретились. Олег не успел приготовиться, и удар был так силен, что Таня в классической позе Сусанны-купальщицы пред старцами, закрывающей ладонями свои соблазны, с удивленным, растерянным видом повернулась к Олегу, непоправимо смешная, как статуя, одетая в заштопанные женские десу. И хотя Олег опять мгновенно заслонился взглядом, странная неподвижность его продолжалась.

Несмотря на его полную бесхарактерность любовную, это было в нем типичной аристократической чертой («Чем ниже поклониться, тем выше выпрямиться»)... Способностью вдруг в один миг просыпаться и гневно холодеть, гневно холодно вырастать на три головы. Вдруг из обезьяны, тапира, медведя, крокодила превращаться в оленя, тигра, коршуна.

Олег продолжал молчать, но теперь Таня заговорила, залопотала, отчаянно засуетилась словами, тревожно, порывисто, наспех причесывая золотую свою соломенную копну вмиг во все стороны разлетающихся волос.

Олег не обвинял, не спорил, отделяваясь грустной полуулыбкой, а Танино беспокойство теперь беспомощно, бесстыдно, от страха потерявшее чувство меры, билось в его насмешливые уши так, как бесполезно, бесплатно и тщетно он когда-то шумел словами перед нею. И это то, что я так долго любил...

Страшная ледяная, нездешняя, ангельская злоба наполняла его сердце... Не сказал... А сама не могла догадаться? Мертвеца тащить в кабак... Как она все-таки тяжела, тупа, по-звериному неуклюже неизобретательна... Как мало в ней горного, ясного воздуха, отчетливой, не люциферической видимости, недостижимости. Детородная корова, донжуан с коровьим выменем... Ударить бы по толстой роже раз другой... Нет, Олег, и это прошло. Ни бить, ни спорить уже и не хочется... Как тупые, ангельские животные, как херувимы, эти коровы с крыльями, она просто не видит, не слышит, не ищет вездесущей боли... Пусть попадет в чужие, жесткие руки; покажет ей жизнь кузькину мать... Нет, Олег, она и не заметит своего отчаяния, потолстеет, по-скотски отупеет, выйдя замуж за белобрысого молодого человека себе на уме, который все понял и умеет себя держать; родит, проснется, вступит в жизнь, как волчица, корова, кобыла всеми четырьмя копытами вращается в навоз, в жизнь... Ее из нее не вырвешь, не выкопаешь, не выкорчуеть, у нее и сейчас на семь аршин корни в земле... Так наивно, по-скотски божественно прожив жизнь над бездной, ни разу не почувствовав головокружения, вдруг в один прекрасный вечер сорвется, постарев, в такое мертвое отчаяние, что всех пропойц перепьет, или так никогда и не узнает своего отчаяния, не посмеет его понять и застынет, оплывет жиром среди карт, книг, благотворительности, собачьей, свинячей, конурной жизни. А ты, Олег, иди теперь, несись, как планета, оторвавшаяся от солнечного притяжения, своею головокружительной дорогой пустыни, обреченности, сверхчеловеческой, легендарной смерти под забором, сходя с ума от ско-

рости, пустоты и свободы... Потому что хорошо кокетничать и снобировать женщин, пока кудри вьются и в ушах звенит от непокорной кровушки, а вот когда порасшатается, порастратится разбойничий религиозный задор, кому ты будешь нужен, лысый сверхчеловек в рваных башмаках, как Христос, ходящий по воде... А она бы обогрела, заслонила бы собою невыносимый мир, как статуя свободы, рабства, сна, счастливого ничтожества... Но ведь нет, на матерях не женятся, разве — ты, узкоплечая дохлятина с эдиповым комплексом. Как странно это тело, желтое, громоздкое, звероподобное... И что я любил в нем? И все это горячо, сладко, мутно, и от всего этого тупо, полнокровно бьется, томится сердце, а вот от гири не бьется... А он дома, этот тяжелый, молчаливый, металлический друг, лежит себе под диваном, чугунный, верный, прохладный, двугорбый верблюд пустыни, жизни, греха, скуки... Не одеваться, больше не бриться, никуда не спешить, не тратить деньги, не возбуждаться, не унижаться, жуликовато, нахально шествуя мимо швейцара... Довольно, довольно и ног этих, и бедер, и рыжих, пахнувших травой волос, обид, слез, страхов...

Довольно, довольно, на улицу под дождь, на свободу, к неведомым братьям прохожим, каждый из которых страдал, плакал сам, унижался и поэтому кровно, горько тебя понимает, проносья в бездну времен на стоптанных каблуках, и поэтому во сто раз лучше, чем она... Да, я — дегенерат, холуй, подхалим, сортирный писатель, но — христианин. Пойми, скотина, христианин... — И так далее в том же роде, со свирепым, тупым, механическим, наивным отращением сексуального бытия, определяющего сознание, так же тупо несправедливого сейчас, как тогда на юге, когда такой же слепой механизм восторгался в нем, боготворил и убеждал ее в одному ему известных ее необычайных оккультных добродетелях... Чужой и непостижимой была она и тогда, а теперь — снова чужой и ненавистно неинтересной... И едва дверь за-

хлопнулась со знакомым металлическим, слегка чавкающим звуком — когда-то таким оглушительным и душераздирающим, теперь еле слышным, — Олег, до краев налитый тяжелой, ледяной свирепостью-гордостью, пошел на Монпарнас... Усталости как не бывало, ночь была во всем мире, и в сердце ночь...

И с каждым шагом что-то мягкое, горячее, жалкое разрывалось в нем. Работать... Я — работать?.. Да разве иппогрифы, единороги и Левиафаны работают... И действительно, снова злая, суровая экзальтация входила в сердце. Нервическая усталость, жалкая, нервная усталость печали исчезала, грудь распрямлялась, шаги приобретали упругость... Теперь редкие ночные прохожие смотрели на него со странным уважением и даже оборачивались, встретившись с жесткими глазами, расширенными счастьем пустыни и ночи, в то время как вечером в метро не было человека, который с брезгливым участием не отворачивался бы от него... Нет, не выходит у тебя христианства... Слишком еще много в тебе горячей, ледяной, люциферической крови, этого холода звезд, который, как железо на морозе, жжет, как огонь. И едва, с недобрим видом причесавшись у уличного зеркала, выпрямившийся и похорошевший, Олег появился в дверях кафе «Наполи», дико, печально радуясь яркому искусственному свечению красных неоновых ламп, навстречу ему, пьяно обнимая его и хохоча, повалилась вся его нахально-нищенски-элегантная компания, поэтическая банда.

Здесь были Катя, Гуля, Алла, Околишин, Уваров и Леля Гейс, элегантная, тонкоорукая, презрительно-порывистая, черноглазая краля, над всем проносившая свой точеный арабский нос. Теперь Олег наслаждался ночью, скоростью, особым кокетством сидящих в автомобиле людей, особым наглым добродушием, с которым они озирают прохожих. Он не спеша, уверенно острил с Околишиным, в деланной своей неподвижности приживалки хорошего тона, похожего на ученого военного; он стал ниже, степен-

нее, злее, спокойнее, медленнее, наслаждаясь и тяжелой лапой своей, уверенно лежащей на гладком коричневом борту автомобиля, а спереди, там, за широким автомобильным стеклом, внемую жестикулировало целое веселое общество, что-то крича им и не получая ответа, строило рожи в полумраке машины.

Как ему это было приятно — участвовать, соучаствовать, быть принимаемому, как своему, в этой меланхолически-нахальной компании, катить на автомобиле, острить и философствовать с видом превосходства. То деланно, скорбно мрачняя, но в меру, конечно, то широко, жестко улыбаться белыми зубами, бесплатно починенными у русской докторши, покровительствующей эмигрантской поэзии... Как будто за ним стояла невесть какая удача, уверенность, положение в жизни, и она была у него, ибо это была удача презрения к удаче, атлетическое безумие наглого высокомерия, смеющегося над жизнью, положением в жизни, уверенностью. «Ты нравишься им, действуя на самые низкие их стороны», — сказала как-то Таня сквозь зубы, отчасти от зависти, так как сама в этой среде нравиться не умела. И действительно, здесь у него было несколько никогда не доконченных флиртов, ибо, исчезая, как облако, в свою пустыню и скидывая со всеми ее манерами земную личность, Олег совершенно забывал их, и кажется, встретиться ему Алла или Гуля на пути его раскаленного, насупленного, библиотечного шествования, то не поклонился бы он, совершенно естественно не смутился бы, как уличенное в его божественности античное мифологическое существо. Но вместе с литературными сплетнями и только здесь появлявшимся блеском зубов почти мгновенно обретал он снова, как ни странно, совершенно искренний интерес к Гуле или Леле Гейс, здесь он на полупьяную-полутрезвую голову хорошо знал, как надо себя поставить в подвыпившем женском сердце. Он смеялся, оправдываясь, что-де нигде не пропадал и все время о вас думал, и за смехом этим всерьез проходила ка-

кая-то неведомая всем этим кафежным жителям тень скалистого горного пейзажа, и многие из компании, смутно чувствуя в нем волка в человеческом воротничке, смутно полузавидуя-полувозмущаясь им, с какой-то особой грустью отставных ангелов смотрели на его непокорно курчавящуюся голову, не веря ему и уважая его притворство. Он то откровенно хамил, то без колебания, танцуя, прижимал к себе и даже целовал Лелин надушенный висок — здесь, где всей полумрачной, полуночной душой своей все умел почувствовать и аморально, чисто музыкально мог оценить, но где он ни в чем не нуждался, никого не любил и, следственно, мог хорошо относиться, ибо как только любовь, то есть сама жизнь, как кровь, проступает наружу, то, знал он хорошо, прощай счастливое время, так как единственный закон ее, более суровый, чем закон Линча: «умей во что бы то ни стало сделать больно». Он умел себя поставить вне власти и зависимости и вне вечной, прекрасной, как гром, неистребимой борьбы-ненависти любящих... Здесь весело, свирепо, нахально целуя руки, церемонно вставая и всех заставляя вставать, он был вечно возмущавший всех, но вечно прощаемый Алик, который под утро, когда утренний свет голубым уродством падал на лица, обращался вдруг в какую-то темноглазую аскетическую статую, с которой шутки кончались... И как действительно он умел так жить на самой границе воровства и морального сутенерства, никогда, однако, ее не переходя, вечно выручаемый стипендиями, ссудами, шомажным пособием. Профессиональный нищий, наодеколоненный пустынножитель без единого приключения, так что иногда казалось ему, что он подлинно заколдован судьбой, что никогда не найти ему ни работы, ни ходу в жизнь, но что за невидимой стеной его передвижной монастырской одиночной камеры никогда скупой и расчетливый ангел в лице Федорова, шомажного чиновника, не оставит его без тюремной порции чечевицы и дешевых сезонных яиц в столо-

вой. «Но для чего она меня бережет? — недоумевал Олег, рассматривая в зеркале свои могучие руки. — Ведь пропадает вся эта мужицкая красота». И вдруг ему становилось удивительно, до смешного ясно, что Бог слишком любит его, слишком ревнует его тяжелую кровь, чтобы не оставить его для себя. Бог выбрал тебя из числа самых красивых в свой гарем пустыни, и не оттого ли это беспримерное, прямо озорное мужество ссориться с любимыми существами?

Быстро овевая горячее лицо весенним холодом ночи, посвистывая, неслась американская машина мимо огней, огней, огней. На перекрестках кафе казались игрушечными, и люди в них — несложными автоматами, обреченными на нищенскую судьбу, и все они с невольным завистливым уважением встречали злые, спокойные, внезапно обнаглевшие до ангельского спокойствия глаза Олега.

Проехав Дворец Инвалидов, мост, реку, Елисейские поля, со стоном тормозов обогнув Триумфальную арку, машина на авеню Фош еще прибавила ходу; ночь была поздняя, и полиция исчезла с глаз. На Порт-Дофин стальной конь чуть с разгону не въехал в дерево; фонари на минуту отчетливо ярко осветили скамейку и клумбу, и снова равномерно быстро начали исчезать за спиной голые деревья Булонского леса, ряд за рядом фантастически возникая из темноты, несясь навстречу белому свету, пропадая. Леля Гейс, чтобы разминуться со встречной машиной, тушила свет, и тогда, освещенные снопом встречных лучей, они проносились, зажмурившись, и снова дорога вспыхивала далеко впереди. А наверху были звезды — огромные весенние звезды...

Потом машина остановилась, и пока пьяницы сощелкались, таинственно, сумрачно, близко запел соловей; проскулил, пророкотал, прощелкал свою арию и снова замолчал. Но автомобиль прынул с места, и снова деревья понеслись мимо.

Наконец все слезли у моста Сюрен, пешком по мокрой траве спустились под откос, переключаясь в

темноте, по мосткам над черною водой поднялись на неосвещенную баржу, бывший ресторан-поплавок, где, казалось, не было никакой жизни, но едва спустились по трапу — тренькающий шум граммофона встретил их.

Широкий салон с плюшевыми диванами вдоль стен был желто освещен свечами; кто-то танцевал, а в глубине помещения за грубо сколоченной стойкой какие-то плоские монгольские физиономии наливали красное вино.

Олег минуточку потолкался со своей хорошо одетой компанией, потом бросил ее, и у стойки началось пьянство.

Темно; огней не зажигали, а над туманною водой цыганский голос пел: «Едва ль мы снова встретимся с тобой! Как быстро тяжестью счастливой вино по жилам разлилось, глухим цыганским переливом мгновенные счастья пронеслось».

«В скольженье танца, в ритме спешном печаль забывши до утра, кто ты, случайный друг и нежный? как холодны твои уста! Еще не смея, не решаясь, над неподвижною рекой лицо склоняется, касаясь виска горячею щекой. И снова вместе жизни холод вином тяжелым победив, плывет душа в волнах тяжелых вина, печали и любви».

Нет, с кем ты целуешься, Олег? Разве ты не целовался только что со скукой до грубости настойчиво, но почему опять и музыка, и темнота, и запах волос, и тусклый блеск свечей слились для тебя в одно глухое тяжелое счастливое море, куда без страха, вдруг отвергнувши страх, лихо, отчаянно ты плывешь в неизвестном направлении, и кто это у тебя в объятиях, кого обнимаешь ты тяжелою рукой, легко, крепко прижимая к себе? Да ведь это Катя... Опомнись, Олег, да ведь это Катя в серебристой кофте низко склоняется своею блестящею надушенной головою к твоему плечу. Катя, откуда ты? Разве жива еще? Разве ты еще дышишь, напеваешь, танцуешь?.. Не уми-

рает ли разве все, что мы перестаем любить, не исчезает ли с лица земли, как дневные сны? Катя, Катя, откуда?.. Из Копенгагена... Куда, Катя?.. Дальше, Олег, дальше, где жизнь, другая жизнь, новая начинается... Забудь прошедшие дни... Олег забыл прошедшие дни, и тем слаще, по-новому, по-незнакомому тело ее, мягкое и горячее, прикипало, прижималось к нему, во власти неведомого сожаления, очарования непоправимого. Олег и Катя плыли в одно мгновение, отчалив от берега жизни в темное море цыганской музыки.

Мчались печальные дни, как несчетные снежные тени, снова встретились в бездне они, в бездне холода сна и забот. В шуме, музыка, мчись и звени, воздух полнится сумрачным пением, ненадолго случайно счастливое время придет. Ах, Катя, Катя, пропало наше счастье... Почему, Олег, не пропало еще вовсе!.. Ты попробуй, как надо, как люди, серьезно за мной походить... Смотри, выйдет и больше того, чем ты сам того ожидаешь...

Олег смеется. Выйдет... Они все хотят, чтобы что-нибудь обязательно вышло из отношений, тогда как он хочет вообще выйти из отношений вон... Боже, кто-то еще верит в такое счастье так поздно, так поздно поздней осенью солнечного наваждения... Разве все это не сгнуло куда-то, как дощатые балаганы вдруг в одну ночь снявшейся с места бродячей ярмарки?.. Какое еще там счастье, когда за жизнью, за морским пейзажем, полным стрекодух сосен, раскрылся, развернулся вдруг железный, скалистый хаос знакомого апокалипсического пустынножительства. Его, Олега, невольного, заветного, гусарского монастыря... И снова он и Безобразов, без роду, без имени, вне истории, одни на свете... Тереза в монастыре... Аверозс на небе... Кто еще может думать о счастье, когда конец Олегова мира уже начался, когда уже почти ничего не осталось от той земли, над которой Олег, поросший бородой, мечтал, пахал, курил, отдыхал на крыльчке, играл с детьми, а

вечером при керосиновой лампе читал Тане свои никому не нужные великие сочинения... Весь тот мир любви и античного сельского благообразия... Разве не сгинул уже без следа он, и снова без конца и без края над железной дорогой, над железными деревьями, над железными душами не закружилась метель небытия?.. Все снежно, все безнадежно, кто еще помнит о счастье... Пьяный, ошалевший от музыки, Олег ни на минуту не забывал раскаленного снежного ветра одиночества, пустыни, греха. Да, говорило ему что-то, покрутись здесь, поплачь, поцелуйся, подерись, ведь все равно теперь большая дорога без конца, без начала, от звезд к звездам. Шути, пой и целуй кого попало, не придавая никому значения, не привязываясь, не уважая никого... Не придавая никому значения, не ценя, не уважая никого, он все больше пьянел, неприлично прижимая Катю к себе, грубо толкался, расширяя плечи...

Он наглел, становился заметен, галдел, обращаясь ко всем на «ты». Катя не сопротивлялась, но по окончании танца исчезла куда-то, и Олег долго не мог ее найти. Потом она вынырнула из толпы, танцуя с небольшого роста смуглым человеком с энергичным испанским лицом. Но едва они кончили, Олег опять было подался к ней, но, заметив это, она опять испуганно закружилась в коричневых руках инородца, дикого неграмотного певца-самородка и компанейского душки. Глухая злоба начала просыпаться в сердце Олега; глухая злоба и недоброе намерение, особенно соблазнительное, потому что цыган был низкорослый и, должно быть, измученный бессонными ночами... «Врешь, братишечка, кишка тонка на эдакую белую русскую кобылу зариться», — зло повторял Олег, кусая толстые губы, на которых запекся вкус дешевого красного вина. Опять потеряв их из виду, протиснулся к стойке и здесь на целые полчаса погрузился в тяжелое, жалкое, спортивное бахвальство, ибо оба речных жителя — официант и

сторож этого темного плавучего заведения — были крепколищые, поджарые меланхолики и ветераны русского спорта времен Санитас и Геркулес клуба... Кое-что Олег действительно знал, а о всех прочих отвечал наугад: «Да, как же, да, конечно, знаю... Вместе тренировались в Рассинге...» Постепенно он превращался в чемпиона русского клуба, затем — в рекордсмена эмиграции на четыреста метров, наконец — в спортивного журналиста. Он врал, но не очень завирался, смешивая ложь с правдой...

Потом вдруг вспомнил и, теперь уже совершенно пьяный, снова кинулся, толкаясь, искать Катю, скоро наткнулся на нее, и она тотчас же, мельком посмотрев на него, заявила, что вообще больше не танцует... Олег, сбитый с толку, отступил к граммофону, и вдруг мимо него, громко смеясь, спиной к нему, его не замечая, пролетела Катя, веселая, пьяная, покрасневшая, грубо похорошевшая в жестких объятиях цыгана. Глаза Олега встретились с острыми угольными зрачками конокрада, и тот в остервенении успеха, сознательно хамя и перехамливая, торжествуя над этой мускулистой тушей, как трезвый Давид над пьяным Голиафом, бросил на лету: «Слушай, заведи еще раз эту, смотри, как мы хорошо пританцевались!»

Вся пьяная кровь бросилась в голову... Как, и здесь его имеют! «Нет, погоди, фараоново племя, я тебе покажу, как я ценю твое счастливое, элегантно общество, как я нуждаюсь в приятелях с автомобилем, в литературных покровителях Монпарнаса. Вы думаете, вы меня имели...» Вдруг от абсолютной апатии перелетев в грубое, злое, абсолютное действие, Олег сделал шаг, схватил валаха-коновала сзади за воротник, легко оторвал его от Кати и, с размаху, повалив, бросил о землю... Цыган обрушился с высоты своего карликового роста, повалив и разбив что-то, и сразу смятение и вопль, знакомая, счастливая атмосфера скандала, как дикий наркотик, свели Олега с ума. Как он любил эти секунды, когда скандал идет,

назревает, становится неизбежным, страх и наслаждение решимости разорвать цепи доброты, приличия, благоразумия, сорваться, прорваться в древнее, дикое, жестокое, ужасное... Олег еще дрожал, чувствуя во всей руке разлитое наслаждение, еще живое ощущение того, как чужое тело, как вещь, как мешок, как гиря, поддается, валится, уступает, и как часто после драк он с любовью поглаживал разбитую и заслуженную свою кисть.

Цыган, перетрусив и обалдев, но храня достоинство, по-детски, по-дикарски кидался теперь на Олега; сдерживаемый народом, театрально хватался за пустой револьверный карман, и Олег грубо, тяжело, беспощадно ругал его, ругался последними словами, находя последнее дикое наслаждение в преступлении приличия жизни, благообразия, дико, по-звериному освобождаясь от всего и от всех.

Бравируя, хамя, задаваясь, разыгрывая великодушие, Олег надевает пиджачок, в то время как на него сыплются упреки, уговоры... Свежий воздух палубы остужает ему лицо... Едва он поднялся на нее, приведенный шум потревоженного празднества разом исчезает и на место ему воцаряется ничем не тревожимый, ничем не замешанный покой заброшенных мест, пустырей, речных заводей, рассвета. День вставал. Река, неподвижная под движущимся небом, лоснилась серой туманной голубизной. Медленно сквозь пыль дождя обозначались дальние мосты и противоположный берег, шлюзы, трубы, низкие корпуса фабрик. День вставал с широкой, спокойной, печально-неуклонной щедростью нелицеприятных, спокойно-откровенных, спокойно-враждебных природных сил. И уже до вспышки злого сумасшествия (конечно, против Тани, потому что это ее он бил, бросал на землю, публично срамил, сам того не зная), еще внизу, сквозь пьяную тяжелую рассеянность, заметил Олег, что низкие четырехугольные окна баржи, никого не спрашивая, ни о ком не беспокоясь, посинели, и огни дальнего берега, теперь уже вовсе погас-

шие, светились желтовато-бледными полосами, смешиваясь с отраженными отблесками рассвета. Дождь, теперь еле ощутимый, до того мелкий, не падающий, а веющий сквозь сумрак утра, охладил тело, и хмельной пыл вдруг съезжился, сполз куда-то в концы, оконечности ног, освободив совершенно странно прозрачную голову... Сквозь красное энергичное лицо Олега, вдруг уступившее, растаявшее в усталости, как снег в воде, выплыло другое, никогда не исчезавшее совершенно, лицо юности, беспомощной нежности, которой так мучительно удивлялась Тереза... Теперь память о дне, слишком большом, слишком сложном, доверху полном тысячью отчаянных вспышек возбуждения и подавленности, огня и страха, перелилась через край, сдвинулась, поплыла по течению, отделилась от него, и все, что было вместе с видевшим этот сон Олегом, наваждение вместе со своим героем сдвинулось с сердца, как сплошной ледоход потрясений и растрат, и душа умерла, проснулась еще раз, до того, что, не будь слоновой усталости, показалось бы ему, что это он все прочел в книге. Как после целого дня потного, душного, летнего чтения, когда он со всклоченной головой вдруг возникал, вдруг просыпался, выныривал из романа Достоевского и несколько секунд не мог сообразить, который, собственно, час, обедал ли он и что вообще остается делать. Так воспоминания, срастаясь группами, мирами, департаментами, подивизионно, все вместе отчаливают от берега, едва личность тех дней, не выдержав потрясения, распадется, или просто, резко изменяя по ветру ход, жизнь уходит искать новую службу, не постепенно, а разом отделяясь от всего служебного мира с его важным, страшным и смешным, с печальными товарищами по несчастью жить, а главное — с особой временной, служебной личностью, личиной; как вслед за последней, непоправимой ссорой, разлукой сразу отчаливают в холодное море и дом, и улица, и все приятели любимого человека, и все места встреч, так в одну минуту

сердце скинуло переутомленную личность Олега, и холодное основание господина Никто медленно выступило сквозь дождь, как дальний берег сквозь последние тени ночи.

Вдруг ослабев после последней безумной вспышки нервного мужества, вдруг осунувшись и опустив плечи, он нетвердо шел по мосту... Какая-то подвыпившая компания мастеровых, голося свои негритянские песни, прижала его к парапету, и один из них, в неправдоподобно сдвинутой кепке, так что ее как бы почти не было видно за копной волос, весело, добродушно, зло обругал его: «Alors, tu n'y vois pas clair, citoyen andouillard?»¹ Олег ничего не ответил, не пришло ему в голову отвечать, и было даже приятно.

Холод теперь успокоил душу, прогнал хмель и остудил тело, и он, подняв воротник, ежился под дождем... Трамвая в будке пришлось долго ожидать. Яркий, белый день резал глаза. Красные люди, входя, весело обменивались условными, но всегда уместными фразами. Трамвай запаздывал. Олег, отчаявшись согреться, стоял у косяка, все глубже уходя куда-то, погружаясь, отплывая. Все, что было за эту долгую весну, казалось мертвым, поразительно успокоенным, дальним, безопасным. Наконец, как теплая колымага, дребезжа, подкатил трамвай, и Олег, забившись в угол, потащился в обратный путь.

¹ «Ну что, ты плохо видишь, гражданин болван?» (фр.)

P

вите, орлиные ночи, сияния падших огней. Лед просонок, просонье догадок про сон. Учитесь не жить, оживать, отжимать, нежить от жизни, отнимать у немотства лучи трубачей. Бывают же такие дни, слишком большие, слишком необъятные для воспоминания, и оно в них теряется, как в лесу... Слишком много случилось за день, слишком много было волнения, счастья, ссор, слез, унижений, удач. Со стеклом в носу, со звоном в ушах душа доползла наконец до берега ноги и легла на нем, накрывшись одеялом, как крышкой гроба, закрывши глаза. Голову голубизны тяжело положила заря на весеннее небо. Олег возвращался домой, а день вставал. Каждый из них занимался своим нерадостным делом. День неохотно голубел, а Олег чесал натруженные промежности и сквозь туман пытался заснуть наяву, но все же против воли с высоты стола устало, сыто, голодно, бесстрастно смотрел на мир. День разгорался все ярче, а Олег прятался от него за тяжелые веки, но день настигал его там и резал глаза. Первый трамвай прокатил, расцветший огнями добродетели, сумрака, спокойной совести рабочих, свежавымытых водою и сном. Олег, как пьяный, чесался и жалел, безумно, горько, унижительно жалел растраченные деньги... Лучше бы проел на яйца, апельсины, мороженое, шоколад. Как все-таки он нежно любил самого себя, гладил, укрывал в религиозные лучи. «И все-таки у тебя, там где-то, нагажено, среди райских цветов», — как-то сказал ему Безобразов. И день победил, а Олег сдался, закрылся от него, как больной рак, заполз в кошмарные сны.

Снова Олег проснулся от целого года новых жарких мук, очнулся к лучезарному холоду, и пробуждение вплотную срослось с засыпанием; охотно, легкомысленно выпустил он сон из рук и почти из памяти. Теперь казалось ему, что он никогда и не собирался обзаводиться семьей, квартирой, детьми. «Je ne travaillerai jamais»¹, — повторял он, как выстрел в упор, поразившую его фразу Рембо.

Олег чувствовал, что Бог боится его, ужасается его храбрости и любит его таким, как сейчас, совсем другую, страстной и страшной, любовью, а не покровительственной и мирной, которою он любил Олега женатого, бородатого, примиренного с жизнью, добродушно-молчаливого, безопасного. Нет, Бог снова любил в нем храбреца, девственника, аскета, пророка, Люцифера, как любит владыка красивейших, гордейших девушек племени, предназначав их для своего гарема, долго упорно борясь с их метафизической строптивостью. Он чувствовал грозное, напряженное, как сталь, облако божественной ревности над собою, преследующее его, как Израиль в пустыне. Как лебедь преследовал Леду, как бык ластился к Европе, как золотая туча спускалась к Данае. Снова отказавшись от широкой дороги, он вступал на скалистую тропинку отшельничества, избранничества, одиночества, и шаг его был легок по уже горячей мостовой, и еще одну минуту — он закричал бы, побежал бы навстречу Богу...

Ты думал, Олег, наконец обойтись без Бога, отдохнуть от его ненасытной требовательности, и вот он обошелся без тебя... Смотри, природа готовится вступить в свое печальное, короткое, летнее торжество, и ты спал, и тяжелой головою, полной горячею водою сна, видел сны о земной, кровной, бородатой жизни. Олег, ты опять нахамил Богу и без него попытался жить, тяжело, тупо клоунски ударился лицом о землю. Проснулся наконец от боли, оглянулся, а де-

¹ «Я никогда не буду работать» (фр.).

ревья вокруг уже расцвели и развесили яркие обильные новые листья... Лето в городе, и вот ты опять нехотя, лицом к лицу с Богом, вроде как ребенок, восхотевший спрятаться от Эйфелевой башни за цветущий куст в саду Трокадеро, обойдя его снова, мгновенно настигнут занимающим все небо железным танцором-чудовищем. Ты стараешься не замечать, но на белое небо больно смотреть и тяжелая потная духота давит сердце. Опять ты в открытом море, в открытой пустыне, под открытым небом, закрытым белыми облаками, в нестерпимой, непрестанной очевидности Бога и греха. И нет сил не верить, сомневаться, счастливо отчаиваться, табаком дыша, успокоиться в дневном синема. Весь горизонт ослепительно занят Богом, и в каждой мелочи, в каждой потной твари Он снова тут как тут. Глаза смеркаются, и нет никакой тени нигде, ибо нет дома моего, а есть история, вечность, Апокалипсис; нет души, нет личности, нет «я», нет моего, а только от неба до земли — огненный водопад мирового бывания, становления, исчезновения, где и Катя, и Таня, и я, и Аполлон — только тени, лица и загадочные фигуры.

Почему же все-таки ты проснулся от Кати и Тани, от их сказочных эпопей? Не сумел жить, не выдержал жизни? Или это от слабости?.. Нет, ты втайне остался ко всему безучастен, как рука, которую нельзя раздавить, потому что она уступает и складывается под чужим пожатием, чтобы снова, едва оно ослабеет, сама собою принять исходную форму. Потому, чтобы жить, нужно религиозно не осуждать себя за жизнь, не убегать от Бога в действительность, а вносить Бога в нее, орудя и скрепляя все им. Ты же, едва заметишь, услышишь сочувствие, тотчас бросаешь свою трудную службу и принимаешься смеяться над Богом. «Вот видишь, — говорил ты Ему, — как Ты скуп, необщителен, скучен, суров... Смотри, как тварь Тебя горячее, нежнее, внимательнее... Как тварь Тебя заменяет». И отринув родную, привычную суровость, Олег таял, размякал, тупел в бессодержатель-

ной нежности вечного нескончаемого праздничного дня, в утомительном нежничании взаимного восхищения, кокетливо-мужиковатых остроумий, папирос, бананов, конфет, кинематографов и поцелуев... Он умел любить только в отпадении от Бога, так сказать, инкогнито, и любовь проходила, как пьяная ночь, едва холодное похмелье обид остужало рассветное небо. Он не умел вносить Бога в свою любовь и долго смеялся, когда ему рассказывали, что в старообрядческих избах баба перед совокуплением задерживает икону черной занавеской. Да, как это далеко от священного совокупления при свете семисвечника в благодатную ночь с пятницы на субботу с чтением специальной молитвы при *viris introductio*...¹ Не умел любить религиозно, строго, скромно, медленно делаясь своим Богом с любимым человеком. Нет, он скорее сбегал от Бога в любовь и, возвращаясь, ненавидел свое бегство как постыдную слабость и нечто совсем обидное, какой-то оскорбительный привкус подобострастного небрежения, скрытности угодливой, как скрытность старших с избалованными детьми. Путанность, растерянность, фальшь оставались в сердцах, в которых его лохматый облик жил некоторое время... «Польская натура, мягкая и скрытная», — скажет о нем Таня впоследствии и тяжело замолчит, печально всматриваясь в прошлое.

Олег спал два дня, наутро третьего, переспав до безобразия, до боли в голове и в сердце и до слабости во всем теле, он очнулся задолго до солнца и, лежа на своем диване голый, с необычным удивлением-недоумением вслушивался в громкое пение петухов и птиц... «Откуда их все-таки такая пропасть в городе?» — думал он, потирая отдавленные плечи. За окном весело стучали шаги. Воскресное утро начиналось рано для велосипедистов, экскурсантов и других художников ног, успевших уже побриться и сходить в

¹ Мужское проникание (*лат.*).

муниципальный душ с расческой и обмылком в заднем кармане; поздно для тех, кто решил выпасться степенно в праздности отработанной недели, спуститься на рынок, чтобы возвратиться с целым цветущим садом в новом клеенчатом мешке. И ему тоже — для самого себя, для Бога — захотелось вымыться, одеться, аккуратно, медленно причесать свежую мокрую голову. «Я не умею, как Ты, осмысливать одиночество и поэтому тупо, глупо живу в вечном ожидании встреч, в вечном презрении себя за это», — написала как-то Таня Олегу... «А ты думаешь, это легко?» — самодовольно-печально улыбнулся он, читая это признание. И вот опять Олег один. Один лицом к лицу с раскаленным белым небом одиночества. И снова с утра принимается он сопротивляться тоске. «Крепче, суровее, будь холоднее», — говорил он себе. «*Sois dur, dur, dur*»¹, — шепчет со скрежетом зубов, выжимая чугунную гирю, отжимая из души, как из свежестиранной рубашки, грязную воду печали. Будь нечувствителен, будь суров, будь камнем, одетым в пиджачную пару, посмей наконец принять каменную законченность, безвозвратную оформленность вещей.

На улице, куда легкой походкой, напрягши мускулы, на когтях вышел Олег, все уже по-летнему, повоскресному ярко, тихо и однообразно, и Олег вспомнил стихи своего бога:

A quatre heures du matin, l'été,
Le sommeil d'amour dure encore.
Lentement l'aube évapore
Le parfum des soirs fêtés².

Все почти еще спят, счастливо спят, отработав и снесши деньги в сберегательную кассу или в кабак,

¹ «Будь твердым, твердым, твердым» (фр.).

² Летней ночью, в четыре утра,
Еще длится сон любви.
Не спеша, разгоняет заря
Гуляний вечерних духи (фр.).

спят за закрытыми ставнями, за закрытыми веками, в глубине ярких и бессмысленных предутренних, солнечно-эротических снов. Смятые простыни сбились к ногам, ноги раскинуты, разбухшие органы обнажены. А сейчас в разморенном обалдении летнего сна они будут счастливо и безвозвратно совокупляться, источать горячую, быстро текущую влагу, вспотеют и счастливо, благодарно поцелуются, вдруг подобрев, опять завалятся отдохнуть, полежать часика полтора.

Один среди тишины, чистоты, яркости рождающегося летнего дня Олег идет без направления и без сожаления, всматриваясь в безбрежную синеву неба. Молодые деревья ярко лоснятся на солнце. Это уже не каштаны тех давних аполлон-безобразовских времен, под которыми молодость Олега пряталась от дождя, ела мороженое с широко открытыми от удивления глазами (мороженое с глазами). Париж в этом жарком девятьсот тридцать четвертом году вырядился в молодую тополевую поросль (ибо мопассановские его каштаны вдруг разом зачахли, задохнулись в бензиновом перегаре), а над ними по высокому виадуку скользил новенький поезд метрополитена, заворачивая на бегу и лоснясь на солнце зеленым ящеричным боком, а за виадуком четко вырисовывались в синеве небольшие домики-виллы, среди своих палисадников прислоненные к вертикальной махине серого небоскреба, и вровень с его крышей направо высоко дымила фабричная труба довоенного фасона.

Расправив плечи, Олег шел теперь под виадуком слева, горячо припекаемый солнцем, между светлыми и темными колоннами, как масонский новопосвящаемый между Якином и Боазом. Зашел в табачное отделение и, пока хозяин путался со сдачей, засмотрелся у стойки на солнечные отблески еще пустого кафе, где только что вымытый пол, покрытый малиновым линолеумом, отбрасывал на потолок праздничный и мирный алый свет. Дальше обсерватории и

госпиталей Олегу начали попадаться первые воскресные прохожие, и начался у него с ними летний счастливый, мирный, бесконечно интересный поединок взглядами.

Все в жизни Олега расценивалось по отношению к тому, что он называл нищетой и роскошью, все, кроме денежной нищеты и роскоши, думал он, но, против воли, нищета казалась ему позорной, роскошь же благородной, естественной, божественной... Нищета есть бессилие, скованные руки, голос, уже не слышимый, гложущий на расстоянии аршина, голос, которому больше не послушен мир. Нищета есть грех, расплата и бессилие. Роскошь есть подобие жизни царства, где все поражает, подхватывает, воплощает малейшее движение ресниц Божьих. Однако жизнь свою Олег стоически, героически осуществил, выпростал вопреки нищете, скованности и глухоте своей подпольной судьбы. Не получив никакого образования, он вырвал его, отсиживая зад на неудобных скамейках, из замусоленных, унизительно плохо освещенных библиотечных книг. Будучи худ и малокровен — воздержанием, каторжной ежедневной борьбой с чугуном вырвал у жизни куполообразные плечевые мускулы, железный зажим кисти. Будучи некрасив, не уверен в себе — осатанением одиночества, всезнайства, доблестью аскетизма овладел тем свирепым и светлым механизмом очей, склонявшим, подчинявшим часто, к его удивлению, сияющие молодостью и красотой женские головы. Ибо Олег, как и все аскеты, необычайно нравился — и уродство, грубость, самоуверенность только усугубляли его шарм. Жизнь отказала ему во всем, но он создал себе все, царя и наслаждаясь теперь среди невидимых плодов своего пятнадцатилетнего труда; так, в разговоре он спокойно, лукаво сиял универсальностью своего знания, так же ошеломлявшего собеседника, как та легкость, с которой он, сидя на диване, поднимал и играл тридцатикилограммовой гирей или стулом, который он кистью руки за спинку легко удерживал.

живал в горизонтальном положении, смеясь над невеселым, неживым, неаскетическим, сентиментальным, неверующим христианством парижских эмигрантских поэтов. «Смерть есть одно из совершенств Божьих, un des luxes de Dieu¹, и, может быть, наиболее ослепительное, потому что этот художник не терпит в своей руке ни одной истощенной, изломанной, рано растраченной вещи. Бог есть роскошь счастья святых, но и неповторимая гениальность адских мук грешников. Он есть и яркость пламени, ярость гибели всего, предавшего жизнь, и Он же — священная рассветная тишина успокоившейся за ночь души, согласившейся наконец, что любовь есть совершенная радость». И только одна нищета казалась ему не религиозной, не божественной, постыдной. Нищета здоровья и темперамента, немощность сексуальной растраченности. Нищета ленивого ума. Нищета холодной недоброй крови. «У тех, у кого ничего нет, отнимется еще и то, что есть», — любил он цитировать Павла. Считая сексуальную измызганность-растраченность более позорной, чем небытие и смерть. «О смерть, ты чудо художественной добросовестности Божьей, и что было бы, если бы у Него не хватало мужества лишать жизни всех этих сексуальных уродов, кафеиных литераторов без воли и гордости».

Так, один против всех, Олег на солнечной стороне осуществлял свой безупречный ритмический танец. Перед синим ковчегом утреннего неба, закрутив до неприличия рукавчики безрукавки, шел в неизвестном направлении с необычайно счастливым, высокомерным выражением на своей тупой и бесформенной загорелой славянской роже, сражаясь глазами с удивленными встречными, ибо здесь, в этом было его возмездие, болезнь и уродство, непрочная гора, мания величия, с которой он, перехамив и вымотавшись, вниз головою летел в глубокий овраг мании преследования. Олег то, как лев на быка, бросался с

¹ Одна из Божьих роскошей (фр.).

высоты своего седьмого этажа на опустившиеся, униженные летней тоской души сен-мишелевских студентов, но победа не разъясняла неба, не освобождала дыхания, не облегчала шага, она, скорее, не-удержимо, болезненно привязывала его к прохожим, и, переистратив, расшвыряв свою нервную энергию, преждевременно устав и потеряв чувство действительности, он вдруг уменьшался в росте, чернел лицом до неузнаваемости, жалобно, подло озирался вокруг, подхалимствуя потерянным взглядом. Мания преследования как естественная реакция природы, стремящейся восстановить равновесие, сгибала его в три погибели, и тогда Олег вдесятеро платил за все свои люциферические приключения. Сам неосторожно разрушив естественную «демократическую» изоляцию, за которой, как под стеклянным потолком, немятежно путешествует каждая душа по своим делам, осуждая, смеясь, издеваясь глазами над проходящими, Олег еле полз, по временам стараясь закрыться руками от всего, всеми судимый, унижаемый, мучимый патологически, нервно, он был во власти каждого встречного. Сладострастие властвовать обращалось в рабство, самоуничижение, — и так всю жизнь переходил он от наглости к подхалимству, от хамства к угодливости, перекланявшись половине своих знакомых, перехамив другой половине. Но теперь это было уже в прошлом. Наученный тысячей ужасов, в это безмятежное апрельское воскресенье Олег шел не по людям, а вне людей, за тысячу верст по ту сторону оценки и зависимости. Шел и твердил про себя: «*Sois dur, dur, dur...* Грех аскетизма изолировал тебя, и ты больше ничего не знаешь о каждой из этих жизней, а каждая из них за высокой стеной твоего незнания есть сам Христос в лаковых ботинках. Но ты этого не видишь, ничего дальше этих ботинок лаковых... Ты скован абсолютной темнотой греха, ты идешь, как слепой среди тысячи прожекторов, перед стихиями-ангелами и слонами Апокалипсиса, и не ищи, следственно, не тщишься воздать кому-нибудь по

заслугам. Ты не рабочий, и нечего притворяться ученым большевиком, *il ne faut pas accepter ce rôle*¹, которую дает тебе вот этот атлетический землекоп в синих штанах; ты не католик и не художник, не поэт и не писатель, ибо все это для тебя суррогаты твоей аскезы; ты религиозный уникам, но религиозность твоя демонична и неблагодатна, *tu es un damné, un monstre, un hors-la-loi, grandiose et archaïque, mais prends ton parti de toi-même et gravis ton chemin avec une folle obstination de semihumain*². Не нападай и не защищайся, не насилуй и не подвергайся насилию, совершенно четко безмятежно танцуй свою судьбу, только самому себе обреченный, только самому себе понятный, милый и отвратительный». И Олег надевал пиджак, чтобы скрыть свою мускулатуру и пройти незамеченным по людному месту.

Быстро проносясь мимо него, кружась, как на карусели, автомобили огибали Триумфальную арку, а над ними медленнее, ярче, торжественнее проплывал ослепительный флот облаков, к которым, шумя на весеннем солнце, тянулась новая молодая зелень тополей. Олег сидел по правую сторону от своего величественного друга — неизвестного солдата, и оба они молчали: Олег — уставившись на жизнь, ярко и шумно проплывавшую мимо, а тот — опрокинувшись в чернокрылую бездну покоя и вечной справедливости. Какие-то молодые иноземцы, слезши с велосипедов, снабженных приспособлениями для багажа, фотографировали арку вместе с ними двумя, в неподвижности состязавшимися с каменными барельефами. Здесь любил он сидеть, измучившись, прославившись долгой равномерной ходьбой по асфальту и по идеям — от жалкого щемящего сожаления об отъезде Кати до полного стоического принятия своей судьбы. Прильни, говорил он себе, прими

¹ Не надо принимать эту роль (*фр.*).

² Ты проклят, ты монстр, человек вне закона, величественный и первобытный, но не отказывайся от себя и иди своим путем с бездумным упорством получеловека (*фр.*).

форму своей судьбы, как губы принимают форму бронзовой статуи, которую они целуют. Угадав ее, подражай только ей, учись только у нее. Ты, неизвестный солдат русской мистики, пиши свои чернокнижные откровения, переписывай их на машинке и, уравнивая аккуратной стопой, складывай перед дверью на платформе, и пусть весенний ветер их разнесет, унесет и, может быть, донесет несколько страниц до будущих душ и времен, но ты, атлетический автор непечатного апокалипсиса, радуйся своей судьбе. Ты один из тех, кто сейчас оставлены в стороне, которые упорно растут, как хлеб под снегом, которые удостоятся, может быть, войти в ковчег нового мирового потопа — мировой войны. Ковчег, который ныне строится на Монпарнасе; но если потоп запоздает, ты погибнешь, но и это перенесешь спокойно, так же, как перенес, принял уже гибель своего счастья или заочную гибель своих сочинений... Жди и накапливай солнечную энергию; может быть, и тебя затравят газами, и только после смерти, в мирах иных, в столь знакомых мирах ослепительных снов и кошмаров, вспыхнет, взорвется вся твоя сдавленная золотая сила... Жизнь эта... Смысл ее — возмездие... Разве, всматриваясь в себя, ты не видишь, что и ты начал с полного неуважения к чужому мнению, с инстинктивного игнорирования чужой свободы, с религиозной нетерпимости, с духовной жестокости? Ты сам в прошлых жизнях своих или в теле отцов своих высылал, расстреливал за убеждения, жег рукописные книги, из-за ослепительной духовной ненависти ты так же понимал себя как мстителя, судью, судьбу, и вот ты опять в твоём насильственном шомажном монастыре закован в одиночную камеру непечатности и неизвестности... Время твое настанет только тогда, когда до основания разрушенный мир все-таки придется строить заново, ибо духом человек интересуется нехотя и с горя, и только отчаянием можно его обернуть к Божеству и к его медиумам, или все отложится до будущей жизни. Подумай толь-

ко: «выдержал ли бы твой дух иную судьбу, иную жизнь, построенную не на сплошном отказе от воплощения, проявления-реализации, не на шомаже, непечатности, нищете, эмиграции, а на знаменитости, счастье, деньгах и власти?.. Не рано ли тебе об этом думать, тебе, столько раз моментально предававшему свой золотой город за одно движение ярких розовых губ, за одно жирное сияние красивой надушенной головы. Если бы революции не случилось, ты был бы сейчас, в тридцать один год, старый, растраченный, излюбившийся, исписавшийся человек, и ничего не было бы в тебе напряженного, аскетического, электрического, угодного Богу... Дух, как электрическая туча, вечно не реял бы над твоей пустыней, над твоей берлогой в пустыне, где кости отделились от тела. Ободришься, лохматый, матерый лев... Они расплатятся, твои враги, вся эта сухая немочь декадентская, за свое презрение к ослепительно высокой тревожной буре духа, которая так близко пронеслась мимо них, как близко к бесплодному пустырю пронеслись другие бури — Леон Блуа, Эрнест Хелло, Шарль Пегги... Так, так надо, и ты из их числа, из числа живо замурованных. С разных сторон неба две звезды горят над твоей одиночной камерой: звезда самоубийства и звезда подвижничества, — и это твоя дорога, дорога сильнейших, храбрейших мужей — Эпиктета, Рамона Люля, Мартинца де Паскали, всех этих ослепительных девственников неподкупности...

Постепенно Олег, переволновавшись, начал уставать, мысли его начали путаться, приобретая все более мифологические облачные очертания; тяжело подперши подбородок сильной рукой, он все смотрел на проносящиеся автомобили, мало что различая перед собою, и вдруг знакомый, почти ненавистный, но такой прекрасно-спокойный голос Безобразова спросил его:

— Ну как, удалось путешествие домой с небес?

— Нет, не удалось, Аполлон... Земля не приняла меня.

— Ну, так, значит, обратно на небо?

— Нет, Аполлон, ни неба, ни земли, а великая нищета, полная тишина абсолютной ночи... Помнишь Saint Jean de la Croix¹. Темною ночью, о счастье, о радость, никем не замеченная душа вышла из дому, о счастье, о радость, навстречу своему... жениху.

— Ну ладно, ладно... Но, значит, опять друзья...

— Да, Аполлон, снова в раю друзей...

1934—1935

¹ Святой Иоанн Креста (фр.).

КОММЕНТАРИИ

АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ

Публикация романа Б.Ю.Поплавского «Аполлон Безобразов» имеет уже свою довольно длительную историю. Поплавский закончил работу над романом в 1932 г., но при жизни ему удалось опубликовать лишь несколько глав в сборниках «Числа» (№ 2—3, 5, 10). При этом в № 10 за 1934 г. «Чисел» был напечатан только фрагмент главы под заглавием «Бал». Другой отрывок из романа, «В горах», появился в том же 1934 г. в шестом номере парижского журнала «Встречи».

Замысел романа возник у Поплавского, по-видимому, в середине двадцатых годов, а первые главы и наброски появились в 1926 г. Из дневника Поплавского мы узнаем, что во вторник 21 ноября 1927 г. поэт читал страницы из романа Татьяне Шапиро: «В этот вечер я, дрожа от страха, пришел к тебе и зловеще заскрежетал из глубокого кресла о жестокости, но ты успокоила меня, сказав, что ты не воспитана на эгоистическом эстетизме. Потом я читал А.Б....» Потом она скажет: «Я не спала эту ночь от А.Б.»

Первые главы романа, напечатанные в «Числах», привлекли внимание критики, и Г.Адамович даже высказал предположение, что Поплавскому, может быть, суждено полнее выразить себя не в стихах, а в прозе. Та же мысль прозвучала и в отзыве В.Вейдле на страницах ежедневной парижской газеты «Возрождение». «Среди прозы молодых писателей, напечатанной в “Числах”, самая талантливая, самая личная — проза Поплавского», — отмечал В.Вейдле и продолжал: «Новые главы его фантастического романа “Аполлон Безобразов” навеяны отчасти “Артуром Гордоном Пимом” Эдгара По, но это не значит, что они подражательны, да и главным учителем Поплавского остается не По, а Рембо. Если бы он умел так же сосредоточивать свою фантазию, как его учитель, если бы за каждой его фразой чувствовалась такая же человеческая подлинность и глубина, то его надо было бы признать уже сейчас настоящим и немалым писателем; но и так, несмотря на некоторую произвольность его выдумки, на некоторую долю “эпатирования”, присущую ему, на несколько засоренный и не всегда, так сказать, поспевающий за стилем язык, нельзя все же сомневаться в его таланте; в прозе талант этот сказался едва ли даже не ярче, чем в стихах». Однако публикация в № 5 «Чисел» последней, 28-й главы романа «In mare tenebrum» вызвала гневную отповедь Д.Мережковского. Сохранилось свидетельство В.Ходасевича, сообщавшего в статье «О писательской свободе», что «Д.С.Мережковский уполномочил Антона Крайнего (З.Н.Гиппиус. — *Комм.*) заявить, что он, Мережковский, “не может простить себе, что отдал главу из новой своей книги «Иисус Неизвестный» в

«Числа», где она в 5-м номере появилась в соседстве с грязными кошунствами декадентского романа Поплавского»».

Повлияло ли резкое суждение Мережковского на окончательную судьбу романа — неизвестно, но Поплавский исключил главу 28 из окончательного текста романа, изменил существенно линию повествования и дал новую нумерацию глав, соединив некоторые главы. В последней редакции романа, которую Поплавский закончил в 1932 г., всего 16 глав.

У Бориса Поплавского почти не было надежды издать роман после того, как несколько издателей его отвергли, и в одном из пунктов завещания, составленного в 1932 г., он обращается к друзьям с просьбой «попытаться что-нибудь сделать с Аполлоном Безобразовым». Но все усилия друзей Поплавского оказались тщетными, найти издателя не удавалось. Об одной из попыток, окончившейся неудачей в 1933 г., рассказал Илья Зданевич в воспоминаниях о Поплавском (Синтаксис. 1986. № 16).

После смерти Поплавского его друг и душеприказчик Н.Д.Татищев напечатал в нью-йоркском журнале «Опыты» (№ 1, 5, 6) в 1953—1956 гг. еще несколько глав из романа.

В 1991 г. для московского журнала «Юность» (№ 1—2) американские слависты В.Крейд и И.Савельев подготовили публикацию всех ранее напечатанных глав из романа «Аполлон Безобразов». Фрагмент наиболее удавшейся Поплавскому главы «Бал», к сожалению, выпал из московской публикации; отметим также, что «Дневник Аполлона Безобразова», которым заканчивается публикация в «Юности», Поплавский не включил в последнюю редакцию романа.

Ксерокопию последней редакции романа Поплавского А.Н.Богословский получил незадолго до своего ареста от Наталии Ивановны Столяровой, близко знавшей поэта в Париже в 1931—1934 гг. В 1934 г. Н.И.Столярова неожиданно уехала в СССР, где во времена большого террора была арестована и получила 8 лет лагерей. О последующей судьбе Столяровой рассказывает А.И.Солженицын в № 160 «Вестника РХД».

31 мая 1984 г. А.Н.Богословский был арестован и приговорен Мосгорсудом 18 июля 1984 г. по статье 190-1 УК РСФСР к 3 годам лагерей. Перед обысками ему удалось передать друзьям ксерокопию романа Поплавского, и таким образом она сохранилась. Библиографическая картотека о жизни и творчестве Поплавского была изъята у А.Н.Богословского при обыске еще 14 июня 1983 г. и затем по приговору суда уничтожена «как не имеющая ценности».

31 августа 1984 г. в московской больнице умерла Н.И.Столярова. Вскоре после ее смерти при невыясненных обстоятельствах исчезли ее библиотека и большой литературный архив, в том числе и дневники Бориса Поплавского; часть из них нам удалось разобрать еще в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов.

После освобождения из лагеря А. Н. Богословский смог разыскать ксерокопию романа «Аполлон Безобразов» и подготовить к печати первые главы, в том числе и 3-ю главу, которая не была опубликована ни в тридцатые, ни в пятидесятые годы и не вошла в состав московской публикации 1991 г.

В вышедшем в 1993 г. в Петербурге сборнике прозы Поплавского (Домой с небес: Романы. С.-Петербург; Дюссельдорф: Logos; Голубой всадник) замечаются некоторые разночтения по сравнению с текстом, опубликованным в 1992 г. А. Н. Богословским в «Новом Журнале» (№ 187, 188, 189. Нью-Йорк).

Аполлон Безобразов. — Своего героя Поплавский наделил фамилией, которая нередко встречается в русской ономастике. Фамилия эта, однако, не лишена символического значения и невольно ассоциируется с близкой по созвучию фамилией «Карамазов» (где «Кара» значит «черный»). Безобразный — физически или нравственно — или же лишенный всякого образа герой, однако, окрещен именем бога, воплощающего греческий идеал гармонии и красоты. Фигуру своего героя Поплавский создал под влиянием знаменательных для него образов — Ставрогина и Мальдорора (героя «Песен предрассветной боли» Лотреамона). Аполлон — аскет, мистик, наделенный таинственной силой притяжения; он уже «по ту сторону добра и зла», отрешился от всего земного, от любви и от сострадания: это — «каменный человек». Двойственность, намеченная уже в фамилии героя, вводится в самую ткань повествования, где литературная тема двойника, унаследованная от XIX в., получает своеобразную трактовку: по словам А. Н. Богословского, «в противостоянии героев романа... Поплавский попытался представить внутреннюю борьбу, которую ему приходилось переживать в поисках духовного освобождения. В этой борьбе изощренный софист и стоик Аполлон Безобразов побеждает своего двойника, нетвердого и неуверенного в истине христианского откровения Васеньку».

С. 7. *Элюар (Eluard) Поль* (1895–1952) — французский поэт. В юности примыкал к дадаизму, движению, одно время близкому к группе «Через», в которой участвовал и Б. Поплавский, а затем, вместе с Андре Бретоном, Луи Арагоном и Филиппом Супо, Элюар основывает новое течение — сюрреализм.

С. 12. *Сэт (Сет)* — в древнегреческой мифологии бог пустыни и чужеземных стран, брат и убийца Осириса.

Все каменело в его присутствии, как будто он был Медузой. — В древнегреческой мифологии Медуза — одна из трех сестер Горгон, отвратительное чудовище со змеиными волосами и огромными зубами, чей взгляд превращает простых смертных в каменные изваяния.

С. 13. *Атласские горы* — у Гомера Атлас, брат Прометея, поддерживает на своих плечах колонны, отделяющие землю от неба. Эти

колонны упираются в дно морское где-то западнее от Греции, т.е. именно там, где простирается горная система, названная именем Титана: на северо-западе Африки, в пределах Марокко, Алжира и Туниса.

Симон-волхв — волшебник-самаритянин, современник апостолов, принял крещение в надежде увеличить свою волшебную силу, но апостол Петр не пожелал передать ему дар излечения больных. Тогда Симон основал свою собственную секту: он считается отцом гностицизма новой, христианской эры. Согласно легенде, Симон-волхв возвысился над землей на огненной колеснице в присутствии императора Нерона, но апостолам Петру и Павлу удалось победить его чары и сбросить его наземь: ученики Христа оказались сильнее приверженца гностиков.

Озирис (Осирис) — в древнегреческой мифологии бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых.

С. 15. *Фокс-фильма* (Fox-film, у Поплавского — женского рода) — американская кинематографическая фирма (1915—1935), основанная венгерским эмигрантом Вильямом Фоксом, выпускавшая вестерны и фильмы о жизни американских фермеров.

С. 17. *...жестом Ксеркса, приказывающего выпороть море...* — Ксеркс I (?—465 до н.э.) — царь государства Ахменидов с 486 г. В 480—479 гг. возглавлял поход персов в Грецию, окончившийся их поражением. По его приказу через пролив Гелеспонт были выстроены два моста, соединивших Азию с Европой, но разразившаяся буря уничтожила постройку. Разгневанный Ксеркс решил наказать Гелеспонт 300 ударами бича.

С. 19. *Интеллигбельный* — относящийся к сфере интеллекта, сверхчувственный (галлицизм).

Была ночь 14 июля... — Во Франции 14 июля — национальный праздник — День взятия Бастилии.

С. 20. *...подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, подобно Данте и Вергилию...* — Здесь пара, составленная Аполлоном Безобразовым и Васенькой, сопоставляется автором с двумя знаменитыми «литературными» парами: похождения Дон Кихота в сопровождении Санчо по испанской земле в поисках подвига и идеальной женщины завершаются полным разочарованием и смертью героя, зато сошествие Данте в преисподнюю, где вождем ему служит Вергилий, позволяет поэту попасть в рай, где путь ему указывает его возлюбленная, Беатриче. Поэт переживает озарение, после чего его сердце и разум полностью подчиняются божественному закону: «любовь движет солнце и светила». Параллель между «Божественной комедией» и «Аполлоном Безобразовым» напрашивается сама собой, лишь с той разницей, что в своей дилогии Поплавский воспроизводит схему Данте в обратном порядке: в первом романе аскеза, эта мнимая святость, приводит героя в «зловещий нищий рай», освещенный темным подземным солнцем, Аполлоном, а во втором романе герой пытается

вернуться «домой с небес», но «земля не принимает» «неизвестного солдата русской мистики».

С. 25. *Какоуэт* (от фр. *cachouète*) — поджаренный арахис, земляной орех, играющий ту же роль, что подсолнечные семечки в России.

С. 27. *Тао Тэ Кинг* (транскрипция с французского; по-русски: Дао дэ цзин) — «Книга (правильного) пути и добродетели», написанная легендарным мудрецом Лао-Цзы, жившим в Китае в IV—III вв. до н.э.

Монте-кристо — духовое мелкокалиберное ружье.

С. 29. *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 140) — римский философ-стоик, оказавший решающее влияние на Марка Аврелия, эстетику неоплатонизма и также на византийское монашество IX в. Об Эпиктете, Марке Аврелии и стоицизме Поплавский часто упоминает в своих дневниках и стихах (см. во «Флагах»: «Римское утро», «Стоицизм»).

С. 30—31. *Фазтон* — в древнегреческой мифологии сын Гелиоса, выпросивший у отца его огненную колесницу, которой сам править не умел, и чуть не спаливший небесный путь и всю Землю. Зевс поразил его молнией, и мертвый Фазтон упал в реку Эридан. Фазтон символизирует своеволие и тщеславную дерзость человеческого разума.

С. 32. *Дионис* — греческий бог плодородия и виноделия, получивший актуальность благодаря Фридриху Ницше. Во время становления русского ренессанса начала XX в. Вячеслав Иванов перенял у немецкого философа образ «умирающего и вечно возрождающегося бога весны, путешествий в загробный мир, сексуальных оргий и религиозного экстаза» (Этк инд А. Эрос невозможного. С. 58). От Ницше пошла и привычка противопоставлять Диониса Аполлону: первый символизирует хаос, власть чувств, своеволие, а второй — гармонию, разум и покой. По меткому определению А.Эткинда, «в мире русского символизма Дионис стал главным героем, как Эдип в психоанализе Фрейда». Вслед за Вяч. Ивановым многие стали уподоблять «извечно отдающегося на растерзание и пожирание бога эллинов» образу Иисуса Христа.

С. 38. *Товий* — Товита, героя одноименной ветхозаветной книги, постигают всевозможные несчастья, однако он остается верен Богу, за что последний посылает ему архангела Рафаэля, обернувшегося простым смертным. Ангел помогает Товию, сыну Товита, обрести невесту, Сарру, найти клад, некогда схороненный Товитом, и исчезает, вернув благочестивой семье счастье и благополучие.

С. 40. *Зоар* — Зогар, или Книга сияния, — так называется первое письменное изложение еврейской Каббалы, появившееся в XIII в. в Испании, в городе Леон. До тех пор передававшаяся устно в узком кругу посвященных, Каббала представляет мистическое течение в иудаизме, не чуждое влиянию гностиков и неоплатонизма. На Западе ею вдохновлялись масоны, в особенности Мартинец де Паскали (о нем Поплавский упоминает в конце романа «Домой с небес»).

«*Подражание Христу*» («*L'imitation de Jésus-Christ*») — духовно-наставительная книга XV в., написанная по-латыни. Ее обычно приписывают немецкому монаху и мистiku Томасу Гемеркену.

...«*Этики*» Спинозы... — Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) — нидерландский философ. В «*Этике*», его главном сочинении, изданном посмертно, центральное место принадлежит концепции секуляризованной морали — осмыслению понятия свободного человека, руководствующегося в своей деятельности только разумом. Принципы гедонизма и утилитаризма соединяются у Спинозы с положениями аскетической созерцательной этики.

С. 42. ...*Безобразов в детстве был бойскаутом*... — Скаутизм — система внешкольного воспитания, сложившаяся в Англии в начале XX в., существовала и в России, где скаутизм был основан неким полковником Пантюховым. Движение возродилось в 1921 г. в Константинополе, объединив 300 мальчиков и девочек. Некоторое время в нем в качестве вожатого участвовал и Борис Поплавский (см. в т. 3 наст. изд. Дневник 1921 года). Скаутизм охватывал часть эмигрантской молодежи и во Франции. Пытаясь сохранить русские традиции и православную религию, его организаторы устраивали различные вечера и представления. Той же цели служили и летние лагеря, располагавшиеся на Атлантике.

С. 44. ...*невиданные каррарские мраморы*... — Итальянский город Каррара издавна славится добычей, обработкой и вывозом белого мрамора.

С. 46. *И вдруг улица*... — В IV главе «На рассвете» отрывок, начинающийся со слов «Лети, кибитка удалая...», является «патетической адаптацией финала “Мертвых душ” Гоголя», как справедливо подчеркнул Луи Аллен («Домой с небес», 1993). Причем, как и у Гоголя, встречаются реминисценции из былин: «маслом подмазанный, ветром подбитый, солнцем палимый...». Однако уже в начале романа встречается вариация на гоголевские темы, хотя здесь Поплавский обыгрывает описание Невского проспекта, причем у обоих писателей прогуливаются не люди, а «клячья людей» (Бердяев о Гоголе), «кусочки человечьи» (Замятин. «На куличках»). Ср. у Гоголя: «...один показывает шегольский сюртук с бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпу...» и у Поплавского: «...руки, носы, подмышечные части, груди различных величин и крепости, брюки и бесчисленные шеголеватые ботинки самых невероятных цветов...». Даже прилагательное «демикотонный» перекочевало с Невского проспекта на парижскую улицу!

...*мимо памятника Нею*... — Ней Мишель (1769–1815) — маршал Франции, один из ближайших соратников Наполеона. Командовал арьергардом французской армии при отступлении ее в 1812 г. из России, причем проявил такие примеры мужества, что император наградил его титулом «князя Московского». После «ста дней» был

расстрелян Бурбонами. Недалеко от места казни, на Монпарнасе, как раз напротив кафе «Клозери де Лиль», посещаемого писателями-эмигрантами, и по сей день возвышается его статуя: на ее постаменте высечен список побед, одержанных маршалом, в том числе и над русскими войсками.

С. 47. *Taxis de la Marne* — в 1914 г. парижские таксомоторы (их тогда было всего 700) были реквизированы для транспортировки войск, участвовавших в Марнском сражении. Это событие, впоследствии возведенное в миф, заслонило решающую роль, которую сыграло в победе на Марне наступление русской армии генерала Брусилова в Восточной Пруссии.

Монпарнас — «Париж, Париж, асфальтовая Россия»: этот Париж, еще охваченный кольцом фортификаций, где рассказчик прогуливается и даже спит летними ночами, имеет свои высоты: «комната-гроб» площади Высшей политехнической школы, Латинский квартал с площадью Сен-Мишель, где герой познакомился со своим двойником, Монпарнас с его кафе «Ротонда» и «Дом», ставшими пристанищем для отверженных обществом русских эмигрантов («живу в кафе, как пьяницы живут»). Долгие блуждания по Парижу приводят Аполлона и Васеньку на набережные Сены, на кладбище Монпарнаса, ставшее для них местом трапезы и отдыха, они заглядывают в кинотеатр, это царство оживленных теней, оказываются на бульварах в «магических» местах, столь близких сердцу сюрреалистов: музей восковых фигур, аттракционы, где мир автоматов, оживляемый и приводимый в движение желанием человека, предстает миниатюрным миром, рожденным божественной мыслью, «дворец зеркал», искажающих внешность, кукла-гадалка в стеклянной будке, железной рукой выбирающая роковую карту. Этот искусственный мир, являвшийся мощным стимулом для воображения и создания образов, основанных на аналогии, и есть та «волшебная ежедневность», которую сюрреалисты пытались разглядеть в самом банальном предмете, способном помочь проникнуть «по ту сторону зеркала».

«Ротонда» и «Дом» — об этих кафе писали многие современники Поплавского: Роман Гуль, Владимир Варшавский, Юрий Терапиано, Илья Эренбург, Василий Яновский. Художники собирались в «Ротонде»: «Было это очень давно, в двадцатых годах, — вспоминает Андрей Седых. — Мы бродили целыми днями по Парижу в поисках работы, а по вечерам собирались в “Ротонде”, тогда еще грязном, полутемном и дешевом кафе. “Ротонда” была нашим убежищем, клубом и калейдоскопом. Весь мир проходил мимо, и мир этот можно было рассматривать, спокойно размешивая в стакане двадцатисентовое кофе с молоком» (Андрей Седых. Далекие, близкие. М., 1995. С. 257). На Монпарнасе существовали и другие кафе: группа «Через» собиралась в кафе «Порт-Руаяль», члены «Гатарапака» (а затем и его преемника, Палаты поэтов) встречались в кабачке «Хамелеон», а

«Селект» был излюбленным кафе Г.Адамовича, А.Гингера, А.Присмановой. Беседы на литературные темы «Кочевья» проходили по четвергам в таверне «Домениль»; из-за наплыва слушателей заседания часто переносились из малого зала в большой. Уже во время своего первого пребывания в Париже Поплавский стал завсегдатаем этих кафе, куда он заходил из расположенной рядом Академии изящных искусств, где занимался живописью.

С. 48. *Фатидический* — роковой (галлицизм).

С. 49. *Бесспиритуальный* — лишенный духовности (галлицизм).

С. 50. *Монпарнасское кладбище* — ныне на этом кладбище покоятся вместе с некоторыми видными деятелями русского революционного движения народоволец Петр Лавров, один из основоположников эсеровской партии Григорий Гершуни, представители белой эмиграции: Симон Петлюра, знаменитый шахматист Александр Алехин, художники Иван Пуни и Хаим Сутин, скульптор Осип Цадкин.

С. 56. ...*как пение Валькирий, уносивших его душу...* — Пение Валькирий из одноименной оперы Вагнера принесло запоздалую известность этим богиням из древнегерманской мифологии, которых, по преданиям, Óдин, грозный бог войны, посылал на поля сражений за душами доблестных воинов. Избранники затем пировали в Одиновом раю, где Валькирии ухаживали за ними, наливая им пива. Вместе с музыкой Вагнера Третий рейх Гитлера присвоил себе и всю воскрешенную им мифологию, проникнутую духом героизма.

...*все деньги до последней копейки растратил бы он, опуская их без счета... в металлическое брюхо спортивных Молохов.* — Своим божествам финикийцы нередко приносили человеческие жертвы, в Карфагене, например, в течение праздника «молк» в огонь бросали живых младенцев. Из-за ошибочного толкования название праздника было присвоено не существовавшему на самом деле у финикийцев богу Молоху, ставшему впоследствии символом всепожирающего, мнимого божества.

С. 57. *Жарри (Jarry) Альфред* (1873–1907) — французский сатирический писатель, автор известного фарса «Юбю-король», в котором высмеивается глупость, доведенная до абсурда. Жарри выдумал патафизику, «науку мнимых решений», чьи основы он изложил в «Докторе Фаустроле».

Писатель — общественный туалет (от фр. pissotière).

De Dion-Bouton — Дион-Бутон — основатели второй французской фирмы транспортных средств на паровой тяге (1881). В 1898 г. фирма Рено установила эти двигатели на свои автомобили, а также на дирижабли.

...*телесно-музыкальное согласие их динамического андрогината.* — Андрогин — мужеженщина, образ, который совмещает мужское и женское начала. По представлениям гностиков, Адам был создан двуполом, пока из него не была выделена и обособлена Ева.

Идею божественного андрогина развивает Д.С.Мережковский в книге «Атлантида — Европа» (Белград, 1930), которую высоко ценил Б.Поплавский. Так, в главе «Андрогин» Д.С.Мережковский пишет, ссылаясь на Платона:

«“Некогда, — говорит Платон, — был третий пол, состоявший из двух, мужского и женского... Это существо называлась Андрогинном”. — “Когда же Зевс разделил его на два пола, мужской и женский, то каждая из двух половин начала искать ту, от которой была отделена, и, находя друг друга, обнимались они и соединялись в любви”. — “Вот почему мы естественно любим друг друга: любовь возвращает нас к первоначальной природе, делая все, чтобы соединить обе половины и восстановить их в древнем совершенстве... Ибо каждая из них — только половина человека, отделенная от целого... Желание вернуться в это первоначальное состояние и есть любовь, Эрос”.

“Андрогин Платона есть Адам Бытия”, — полагает христианский учитель церкви Евсевий Кесарийский. Кажется, в самом деле, корень этих двух столь различных сказаний — один и тот же религиозный опыт — вечно повторяющийся сон человечества», — заключает Д.С.Мережковский (Мережковский Д.С. Атлантида — Европа. М., 1992. С. 269).

С. 62. *Азоны* (от др.-греч. αἰών, главные значения: время, вечность, срок жизни, поколение; aeon(es) через латинскую транскрипцию) — согласно гностикам, являются вечными существами, порожденными Высшим Богом, то есть Отцом, и Мыслью, которая исходит из Него.

С. 64. *Эспадрильи* (фр. espadrilles) — легкая летняя обувь, верх которой сделан из холста, а подошва — из плетеного каната.

С. 66. ...к *Цитерину острову*... — Будучи в Москве, Поплавский учился во французской гимназии, затем, оказавшись в Париже, он завершил свое образование как самоучка. В связи с этим фонетическая транскрипция личных имен или географических названий чаще всего опирается у него на французский источник, как в данном примере: «Цитерин остров», от фр. Cuthère вместо русского «остров Кифера». Остров Афродиты, богини любви, Кифера стал впоследствии символом любви и наслаждения. Можно заметить, что сборник стихов Г.Иванова, вышедший в Берлине в 1937 г., называется «Отплытие на остров Цитеру».

С. 67. *Порто* — портвейн, крепкое португальское вино.

С. 69. *Подходит ко мне жином. Садится у вуатюру*. — Жином (фр. jeune homme) — молодой человек. Вуатюра (фр. voiture) — машина, таксомотор. Здесь Поплавский воспроизводит русско-французский жаргон, типичный для шоферской среды: в 1930-е гг. во Франции 14 000 русских работали таксистами.

С. 70. *Бизерта* — портовый город на севере Туниса, служивший с 1881 г. французской военно-морской базой, куда были отправле-

ны, вместе с экипажами, тридцать судов российского флота, на которых в 1920 г. остатки армии Врангеля добирались до Турции. Многие моряки так и остались в Тунисе, некоторые же уехали в Париж.

Ассенизация (фр. *assainissement*, букв. оздоровление) — здесь в значении «тюрьма».

Ажан (фр. *agent*) — полицейский.

С. 72. *Либерте, братерните, карт д'идантите* (от фр. свобода, братство, удостоверение личности) — Поплавский обыгрывает здесь девиз Французской Республики: «Свобода, братство, равенство», так как именно наличие или отсутствие удостоверения личности превращало эмигранта либо в полноправного гражданина Франции, либо в изгоя. С 1917 г. иностранцам стали выдавать особую «карт д'идантите», русским же беженцам, которых советское правительство декретом от 15 декабря 1921 г. лишило гражданства, выдавался «нансеновский паспорт». С 1927 г. иностранцам стало легче получать французское подданство, зато экономический кризис вскоре привел к разным ограничениям и принуждениям: за неимением удостоверения о работе эмигрантов, в том числе и русских, стали высылать за пределы страны. Многим русским, которым «к себе домой» возвращаться было нельзя, пришлось провести долгие годы во французских или в бельгийских тюрьмах.

...Россия... *Ситроеновская*... — Ситроен (Citroën) Андре (1878–1935) — французский инженер и промышленник, с 1919 г. предпринявший серийный выпуск автомобилей, оказывал помощь беженцам, и в частности покровительствовал русским эмигрантам, немалое число которых трудилось на его заводе на набережной Жавель. Недалеко были расположены заводы фирмы Рено, где также работало около 2000 русских. В связи с этим Бьянкур и 15-й округ Парижа превратились в «русские колонии». В 1924–1925 гг. А.Ситроен организовал рекламную автомобильную экспедицию в глубь Африки. В ней участвовал художник Александр Яковлев, который привез из Африки около 300 картин и рисунков о природе и быте туземцев. Яковлев также участвовал в экспедиции по Азии (1931–1932), которую финансировал Ситроен. Американский финансовый крах нанес основателю знаменитой фирмы непоправимый удар. А.Ситроен разорился и вскоре умер.

С. 74. ...на дне парижского Иерусалима... — В своей статье «Русский Монпарнас во Франции» Довид Кнут цитирует Леонида Андреева, сказавшего, когда эмиграция еще только начиналась: «Русские сделались евреями Европы» (Довид Кнут. Собр. соч. / Сост. В.Хазан. Т. 1. Иерусалим, 1997). То же сравнение встречается и в статье З.Гиппиус в «Общем деле» от 19 июля 1921 г., в которой публицист пишет: «Мы и евреи — не одинаково ли угнетенный народ? И не наш ли это общий — ленинский, всероссийский — погром?.. Избиваемые русские, избиваемые евреи — по одной стороне, и од-

но. Избивающие русские, избивающие евреи — по другой, и тоже одно». В свою очередь, призывая свою паству к мужеству и приятию своей судьбы, митрополит Евлогий развивает ту же мысль, утверждая, что лишь тяжкие испытания жизни в изгнании способны вернуть русских, как некогда и евреев, к религии своих предков и к истинной духовности. Столица рассеяния, ее Иерусалим — это, естественно, Париж, где, как утверждает Поплавский, «ковчег нового мирового потопа — мировой войны... ныне строится на Монпарнасе». Именно здесь, «на оторванном от всех исторических и национальных традиций Монпарнасе» (Вл. Варшавский), где царит тот «особенный еврейско-русский воздух», который воспел Д. Кнут, впервые произошло сближение, а порой даже и органическое слияние (Д. Кнут, М. Шагал и др.) обеих культур, русской и еврейской.

«*Апокалипсис Терезы*» — по свидетельству отца Поплавского, так должна была называться третья часть трилогии, задуманной поэтом. Однако в архиве Поплавского никаких следов данной рукописи обнаружить не удалось: возникает мысль, что главы VI–IX из «Аполлона Безобразова», повествующие о «Житии Терезы», и являются зародышем этой третьей части. У героини два имени: первое, Вера, вызывает у читателя целый ряд ассоциаций с Россией и православием (см. Вера у Лермонтова, «поэта жалости», по определению Поплавского, и женские образы у Достоевского), а второе, Тереза, уводит его в средневековую католическую Испанию, где святая Тереза, кармелитская монахиня, писала мистические сочинения и вела духовную переписку со святым Иоанном Креста. Подробнее о них см. коммент. к с. 117. У Поплавского любовная интрига, завязавшаяся между Верой/Терезой и Робертом, как бы проецируется на мистическую любовь, связывающую двух испанских святых: в наш век столь редкое совершенство воспринимается как недостижимый идеал.

С. 75. «*Не искушай меня без нужды...*» — Стихотворение Е.А. Баратынского «Разуверение» (1821). Положенное на музыку М.И. Глинкой, стало одним из самых популярных русских романсов.

С. 76. *Демпинг* (от англ. dump — сбрасывать) — сбрасывание излишних товаров по низким, бросовым ценам. Термин вошел в употребление со второй половины 1930 г., когда в Западной Европе и США развернулась кампания против советского демпинга.

Овидий Назон (43 до н.э. — 17 н.э.) — римский поэт. За безнравственность дидактической поэмы «Искусство любви» был сослан императором Августом в Бессарабию, где и прожил последние годы жизни у Черного моря (нынешний город Констанца).

С. 77. «*Уж я не верую в мечты...*» — Неточно. У Баратынского: «Уж я не верую в любовь...».

С. 82. *Сольвейг* — олицетворение женственности и самоотверженности. Сольвейг продолжает любить Пер Гюнта, несмотря на

все отрицательные черты характера героя одноименной пьесы Ибсена.

С. 85. *Антигона* — племянница фиванского царя Креонта, нарушившая приказ царя и предавшая земле тело своего обесчещенного брата царевича Полиника.

С. 86. *Saint Sulpice* — площадь в Латинском квартале, на которой высится знаменитое асимметричное здание церкви Сен-Сюльпис.

С. 90. *Контравансионщик* (от фр. *contravention* — штраф) — полицейский, штрафующий нарушителя правил уличного движения.

С. 91. *Альбертина* — героиня романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

С. 94. «*Oisive jeunesse...*» — Эти стихи составляют начало первой строфы стихотворения французского поэта Артюра Рембо (1854–1891) «*Chanson de la plus haute tour*» («Песня самой высокой башни») из сб. «Озарения I. Новые стихи и песни». См. также «Домой с небес», гл. 5. Рембо был самым любимым поэтом Поплавского, его «богом». Самого Поплавского часто называли «русским Рембо»: обоих поэтов сближает как тяга к эксперименту в области поэзии и личной жизни, так и трагическая, преждевременная кончина.

С. 96. ...из *остзейских дворян*. — София Валентиновна Кохманская (1871–1948) — мать Бориса Поплавского — происходила из остзейских дворян; к ним относились выходцы из немецких дворянских родов, проживавшие на территории Лифляндии и Эстляндии (современные Латвия и Эстония).

С. 99. *Гюисманс (Huysmans)* Жорис Карл (1848–1907) — французский писатель, эстет, мастер поэтической прозы; отказавшись от раннего увлечения оккультизмом и сатанизмом, вернулся к католическому вероисповеданию. Его влияние ощутимо в «Аполлоне Безобразов».

Катерина Сиенская (1347–1380) — итальянская святая из города Сиены, автор мистических сочинений.

Боссюэт — Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704), проповедник и писатель, епископ, автор знаменитых «Надгробных речей».

Масильон Жан-Батист (1663–1742) — французский проповедник, сумевший с большой силой описать страдания души, отлучившейся от Бога.

Ксавье де Местр (1763–1852) — французский писатель, эмигрировавший в Россию в 1800 г. Автор книг «Путешествие вокруг моей комнаты», «Параша-сибирячка», «Пленники Кавказа».

Монталамбер (граф Шарль Рене де Форбс; 1810–1870) — один из главных представителей католического либерализма XIX в., выдвинул лозунг: «За свободную Церковь в свободном государстве».

С. 114. *Ларошель*, точнее Ля Рошель (фр. *La Rochelle*) — портовый город во Франции, на Бискайском заливе.

Клодель Поль (1868–1955) — французский поэт и писатель. Восстав против буржуазной и позитивистской атмосферы, царившей в

Париже в конце XIX в., Клодель вернулся к католической религии и создал новый тип театра, который по силе эмоционального воздействия можно сравнить с вагнеровской оперой.

Лотреамон (Изидор Дюкас; псевдоним: граф Лотреамон; 1846—1870) — писатель, открытый сюрреалистами, автор книги «Песни Мальдорора», которую Поплавский считал гениальной, видя в ней первое произведение, написанное методом «автоматического письма». В ответе на литературную анкету «Чисел» Поплавский сообщал о своей мечте: «...написать одну “голую мистическую книгу”, вроде “Les chants de Maldorog” и затем... уехать, поступить в солдаты или рабочие». Сам Лотреамон умер в неизвестности и одиночестве от чахотки в возрасте двадцати четырех лет.

Луази Альфред (1857—1940) — французский священник, толкователь Священного писания в модернистском духе.

С. 117. ...*письма св. Терезы к Иоанну де ла Круа*. — Святая Тереза (1515—1582) — испанская кармелитская монахиня, автор многочисленных мистических трактатов. Иоанн де ла Круа, или святой Иоанн Креста (1542—1591), — испанский кармелитский монах и мистик. В письмах к нему св. Тереза обосновывала необходимость преобразования мужских кармелитских монастырей в соответствии с реформами, проводимыми ею самой в женских монастырях того же ордена с целью укрепления монашеской жизни и дисциплины.

С. 122. *Бафомет* — идол, изображавший «человеческое лицо, обросшее бородой», которому якобы поклонялись члены католического духовно-рыцарского ордена тамплиеров. Несмотря на все усилия Инквизиции, эту статую не удалось обнаружить, и впоследствии образ Бафомета стали толковать как представление первородного принципа, изображая его гермафродитом.

С. 126. *Преванториум* (фр. gréventorium) — лечебное заведение для больных туберкулезом.

С. 137. *Барбезан* (точнее Бардезан; ок. 154 — ок. 222) — философ, астролог и поэт из г. Эдес (сев. Месопотамия). Среди многочисленных его сочинений следует отметить «Диалоги против Маркиона и прочих еретиков». В его трудах можно усмотреть своеобразную попытку синкретизма вавилонской астрологии, греческой философии и христианской морали.

Маркион — сын епископа, родившийся в Синопе в начале II в. Маркион, подвергнув критическому осмотру Священное писание, пришел к выводу, что ветхозаветный Бог, демиург, сотворивший землю, гневный и мстительный, не имеет ничего общего с добрым Богом, отцом Иисуса. Маркион стал поучать о противоположности Евангелия Закону и призывать к отвержению видимого космоса, так как материя в основном подчинена демону. Свое толкование христианства философ-гностицист изложил в «Антитезах». Маркиона «открыли» в России в начале века и продолжали им увлекаться на Монпарнасе, где, по меткому определению Владимира Варшав-

ского, «возрождение средневекового мирозерцания выразилось главным образом в склонности толковать христианство в духе восточного дуализма, отрицающего мир и историю» (Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 294). Увлечение маркионизмом ощущается во многих стихотворениях «Снежного часа», и в особенности в «Аполлоне Безобразов», где в спорах между главным героем романа и его оппонентом, Васенькой, выражаются два противоречащих друг другу толкования христианской религии.

С. 141. *Авгуральные фигуры* — авгуры (от лат. augur) — жрецы в Древнем Риме.

С. 142. *Он говорил о том, что звук Е — начало, О — окружение и сумма всего, У — воля и звук трубы конца, А — полнота утверждения и вечность, И — сила, пронзающая окружность, начало всякой личности и печали.* — Здесь, несомненно, ссылка на известный сонет Артюра Рембо «Гласные» из сборника «Первые стихи».

Оэахоо — свободная адаптация через латинскую транскрипцию (Oeах) имени греческого героя, участника Троянской войны.

Индра — индийский бог атмосферы, один из трех членов ведической Троицы. В ведические времена почитался самым высшим богом.

Иоанн — с др.-евр. «Яхве (Бог) смилостивился».

Анна — с др.-евр. грация, миловидность.

Шартрский собор — Шартр — городок, расположенный в 70 км к юго-западу от Парижа, знаменит на весь мир своим прекрасным готическим собором. Собор этот, в 1260 г. посвященный Божьей матери, служит центром паломничества, особенно для католической молодежи.

С. 143. *Ариэль* — воздушный гений, слуга Просперо в шекспировской «Буре» (1612).

Эльфы — в германских поверьях духи природы, населяющие воздух, землю, горы, леса, жилища людей, обычно доброжелательны к людям. Эти «маленькие человечки» встречаются и в поэзии Поплавского.

С. 144. *...Аверроэс — новое лицо в доме...* — Как становится ясно на последующих страницах, это «новое лицо», «настоящая фамилия которого была английская», было прозвано Аверроэсом Аполлоном Безобразовым. Аверроэс (1126—1198) — латинизированная фамилия арабского философа и врача Ибн Рушда, автора трактата «Опровержение опровержений», чьи рационалистические идеи оказали сильное влияние на средневековую философию (аверроизм): выделение Аверроэсом «рациональной» религии, доступной образованным, и образно-аллегорической, общедоступной, явилось одним из источников учения о двойственной истине.

С. 145. *Сады Гесперид* — по представлению древних греков, священные сады Гесперид находились за Атлантовой горою — в них произрастали яблони, плоды которых приносили бессмертие и

вечную молодость. Последний, двенадцатый подвиг Геракла состоял в том, что он проник в сады Гесперид и, по совету Афины Паллады вкусив яблоко жизни, обрел бессмертие.

С. 146. *Милло* (точнее Мийо, Milhaud) Дариус (1892–1974) — французский композитор, дирижер, музыкальный критик.

«*Китайка*» — весьма популярная во Франции песня, связанная с завоеванием в 1884 г. протектората Тонкин в северной части Вьетнама.

...*ахроматические аккорды*... — Аккорды, сформированные при помощи тонов, не относящихся к данной тональности. «Белые аккорды», расцвеченные случайными звуками. Или сложное сочетание «белых звуков», характерное для символизма, особенно для музыки А.Н.Скрябина.

С. 149. *Жуандо* (Jouhandeau) Марсель (1888–1979) — французский писатель.

С. 151. *Иллюминантизм* — учение «иллюминантов», т.е. освещенных, озаренных. Во Франции первая секта иллюминантов возникла в Авиньоне в 1784 г. Ее члены, среди которых был некий русский князь Грабианка (впоследствии он умер в заключении на родине), хотели осуществить «истинное Божье царство» на земле, но потерпели неудачу... Секта, основанная в Баварии в 1776 г. профессором церковного права Вейсгауптом, носила ярко выраженный политический характер: ее «священникам» вменялся захват власти. Своей конечной целью орден считал воцарение анархии. Орден достиг своего апогея в 1780 г., но вскоре его стали обвинять в содействии Французской революции и его членов выслали за пределы Баварии.

С. 152. ...*наподобие средневековых карт Таро*... — Карты Таро, символические карты, связанные с Каббалой и эзотеризмом, используются при гадании. В свой константинопольский период Поплавский посещает «Маяк», организацию русских скаутов, где слушает лекции П.Д.Успенского. В дневнике поэта сохранилась запись от 15 марта 1921 г.: «Пошел в Маяк. Был на лекции. Говорил с Успенским. Муравьев достал карты Таро. Смыслов мне гадал в скаутской». Видный теософ и оккультист, ученик Гурджиева, в своей книге «Символы Таро» (1912), как и в своих других сочинениях, Успенский пытается соединить ценности индийской религиозной философии, а также искания новейших адептов древней мудрости Елены Блаватской и Анни Безант с идеями Ф.Ницше о «вечном возвращении».

С. 162. *Армия Спасения* — протестантское общество, которое посвящает себя религиозной проповеди и помощи неимущим. В районе Монпарнаса на авеню дю Мэн до войны действовал русский филиал этой организации.

С. 169. ...*подобные светлым гранитам фиванских храмов*. — Фивы — древнеегипетский политический и религиозный центр, став-

ший столицей Египта со времени фараонов XI династии (22–20 вв. до н.э.).

...*длинногривые кони Гесперид*. — По античной мифологии, Геспериды, дочери Атланта и нимфы Заката, каждый вечер исчезают за горизонтом на колеснице, в которую запряжены Кони Солнца.

С. 170. *Лаго ди Гардо* — озеро Гардо, находится на севере Италии, у южных подножий Альп.

С. 171. *Дрейфус* Альфред (1859–1935) — офицер французского штаба, еврей, в 1894 г. ложно обвиненный в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, военный суд приговорил его к пожизненной каторге. Под давлением общественности Дрейфус в 1899 г. был помилован, а в 1906 г. — реабилитирован.

Жорес Жан (1859–1914) — вождь Французской социалистической партии, основатель газеты «Юманите». Активно выступал против готовящейся Первой мировой войны. Убит французским правым экстремистом 31 июля 1914 г. накануне мировой войны.

Бернар Сара (1844–1923) — знаменитая французская актриса.

С. 172. *Дельфийский оракул* — в Дельфах находился общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона.

Меридианус-Даемон (с лат.: полуденный демон) — «бесом полуденным» раннее христианство называло бога Пана, соблазнявшего и пугавшего людей: во время летнего полудня, когда замирают леса и поля, Пан наводил на людей беспричинный, так называемый панический страх. У Плутарха смерть Великого Пана символизирует конец античного мира.

С. 175. *Фригийская шапочка* — головной убор древних фригийцев, послуживший образцом для шапок участников Французской революции 1789 г.

Митра — в древневосточных религиях бог солнца.

Парацельс Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541) — немецкий врач и естествоиспытатель, подверг критическому пересмотру идеи древней медицины, пытаясь подойти к объяснению болезней с точки зрения химических процессов.

Великий Кунрад — судя по контексту, Джозеф Конрад (1857–1924), польский моряк, ставший великим английским писателем. В его творчестве, где слышатся отголоски Достоевского, открываются глубины человеческой души.

Сен-Мартен Луи Клод (1743–1803) — самый значительный французский теософ XVIII в., автор многочисленных мистических и философских трудов. Адвокат, затем офицер, Сен-Мартен сначала примкнул к масонству, оставаясь всю жизнь верным своему учителю Мартинез де Паскали. Открыв творчество Якова Бёме, Сен-Мартен перевел его на французский язык и стал распространять учение немецкого мистика. Затем вступил в орден «Неизвестных философов». Оказал сильное влияние на немецкий романтизм и русское масонство.

Апулей Луций (ок. 125 — ок. 180) — римский писатель и философ, платоник, автор романа «Метаморфозы, или Золотой осел», в котором изображен, отчасти сатирически, упадок античного мира.

Проклус — Прокл (ок. 410—485) — древнегреческий философ, мистик, представитель позднего платонизма.

Филон Александрийский (ок. 20 до н.э. — 54 н.э.) — философ, глава религиозно-мистической александрийской школы. Учение Филона представляло собой эклектическое сочетание положений стоицизма, платонизма, пифагоризма и иудейской религии. Филон — один из предшественников раннего христианства. Разработанный им аллегорический метод истолкования Библии оказал влияние на средневековую культуру.

Секст Эмпирик (середина II в.) — греческий философ и врач, представитель скептицизма, считавший, что понимание недоступности истины освобождает человека и приводит его в состояние невозмутимости («атараксии»). Один из первых историков логики, Секст Эмпирик собрал большой материал по истории античной философии.

С. 177. *Блейк (Blake) Уильям* (1757—1827) — художник, поэт, гравер; в своем творчестве Блейк развивал мотивы, близкие к миропониманию гностиков: тема падения человека и всей вселенной с первого дня творения, тема вездесущего зла, но, в отличие от гностиков, Блейк верил в возможность воссоединения противоположных начал. В «Бракосочетании ада и небес», в «Освобожденном Иерусалиме», так же как и в своих гравюрах, Блейк выступает как истинный визионер.

С. 178. «*Stabat Mater dolorosa...*» — Эти три стиха являются точной цитатой из григорианского приходского служебника («Гимн сострадания блаженной Богородице»). Они пелись во время Великого поста.

С. 179. «*Jésus s'en va en terre...*» — Пародия на французскую шутовскую песню об английском генерале Мальборо.

С. 184. *Иоанн Испанский* — св. Иоанн Креста (см. коммент. к с. 117).

«*Веселая вдова*» — оперетта (1905) Ференца Легара (1870—1948), венгерского композитора и дирижера, популярная в начале XX столетия. В дневнике Поплавского читаем: «Иногда в музыкальной фразе запечатлевается целая какая-нибудь мертвая весна, или, для меня, в запахе мандариновой кожуры — целое Рождество в снегах, в России; или же все мое довоенное детство в вальсе из “Веселой вдовы”» (Поплавский Б. Из дневников 1928—1935 // Поплавский Б. Неизданное. М., 1996. С. 99).

С. 189. ...*читал... у араба Альгазеля...* — Речь о Мухаммеде Альгазеле (1058—1111) — мусульманском теологе, философе-мистике.

С. 194. *Лафорг (Laforgue) Жюль* (1860—1887) — французский поэт, автор сборника стихов «Подражание Богородице Луне» (1886).

С. 205. ...*счастливые часов не наблюдают*. — Фактически цитата из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

Употребить и прогнать, как сын Давида. — У царя Соломона, сына царя Давида, было семьсот жен и триста наложниц. «И развратили жены его сердце» (3 кн. Цар. 11:3).

С. 207. *Антонин Пий* («набожный Антонин»; 86—161) — римский император из династии Антонинов. Продолжая политику Адриана, избегал войн и возводил оборонительные сооружения на границах.

Юлиан Отступник (331—363) — римский император. Получил христианское воспитание, однако еще юношей стал увлекаться философией, особенно неоплатонизмом: Юлиан считал себя последователем Марка Аврелия и в Константинополе, тогдашней столице империи, учился у самых знаменитых мыслителей своего времени, а в Афинах был посвящен Элевсинским таинствам. Став императором, объявил себя язычником и взялся за восстановление древней греческой религии, что привело к притеснениям христиан, которые, со своей стороны, прозвали его «Отступником». Раненный в бою с персами, он умирал стоически, беседуя с философами о бессмертии души. Загадочная личность императора издавна привлекала внимание историков и писателей, в том числе и Дмитрия Мережковского, посвятившего «Отступнику» свой знаменитый роман «Смерть Богов. Юлиан Отступник».

С. 208. «*Блаженны нищие духом, ибо они Бога узрят...*» — Мф. 5:3; Лк. 6:20.

С. 209. *Марк Аврелий* (121—180) — римский император из династии Антонинов. Представитель позднего стоицизма.

С. 216. *Этот Примо Карнера обязательно будет чемпионом мира*. — Поплавский, сам отличный спортсмен, опубликовал в «Числах» две статьи о боксе. Во второй, посвященной итальянцу Примо Карнере, чью блестящую карьеру Аполлон Безобразов (псевдоним Бориса Поплавского) сумел предсказать, он пишет: «Бокс и спорт будут, кажется, последним убежищем риска и импульсивности в будущем идеальном мире...» «Добродушный великан» Примо Карнера, которому покровительствовал Муссолини, потерпел поражение от американца Макса Бэра, чемпиона мира 1934—1935 гг. в тяжелом весе.

С. 219. *Жерар де Нерваль* (*Gérard de Nerval*; наст. имя Жерар Лабрюни; 1808—1855) — поэт, прозаик, «открытый» в XX в. сюрреалистами, заметившими сходство между своими поисками и творческим путем поэта, для которого жизненные приключения возводятся в миф, а образ любимой женщины становится воплощением Софии, вечной женственности. Пытаясь осмыслить тайную взаимосвязь между земным и небесным, Нерваль придает огромное значение сновидениям, видя в них, как впоследствии Поплавский, «вхождение в настоящую жизнь». Нерваль увлекается оккультизмом и в 1842 г. отправляется в Египет в надежде открыть тайну древнего культа богини-матери Иси-

ды (Исис). Его сборник сонетов «Химеры» считается шедевром оккультной поэзии. Он оказал несомненное влияние на Поплавского.

С. 220. *Направо был Люксембург...* — Имеется в виду Люксембургский сад.

...как на картинах Коро... — Коро Камиль (1796–1875) — французский художник. Одухотворенные, лирические серо-голубые пейзажи Коро Б. Поплавский особенно ценил.

С. 223. *Amilcar* — амилькар — марка автомобиля.

ДОМОЙ С НЕБЕС

«Аполлона Безобразова» Поплавский писал в течение шести лет или, что вероятнее, написав, вносил в текст очередные поправки всякий раз, когда появлялась надежда увидеть роман напечатанным. По сравнению с ним второй роман был завершен за довольно короткий срок — всего за год, и, волею судьбы, Борис уже не имел возможности что-либо исправить в своем «оккультно-макулатурном» сочинении. О точной дате окончания «Домой с небес» можно узнать из дневника: 15 сентября 1935 г. Поплавский записывает: «Вчера <...> день был измученный, полурабочий, но удовлетворенный концом романа. Теперь мечта купить новый серый блокнот для продолжения рукописного блуда». После окончания романа Поплавский еще успел написать две статьи — «Сопrotивление музыке» (26 сентября) и «О субстанциональности личности» (5 октября 1935 г.): он спешил вернуться к любимому занятию, видя в философии и религиозной мысли свое истинное призвание. Освободившись от романа, расставшись со связанными с ним тяжелыми воспоминаниями и переживаниями, Поплавский, впервые за долгий период, испытывает чувство облегчения и радости, о чем свидетельствует дневниковая запись от 5 октября: «Снял все-таки этот “субъективный” куст со стола. Солнце, отшельничество, труд, счастье». А через четыре дня поэта не стало.

Через год после смерти автора отрывок из романа был напечатан в первом номере альманаха «Круг»: И.И.Фондаминский желал предоставить место в своем издании тем, кому крупные издательства редко открывали свои двери. Вторая книга «Круга» (Берлин: Парабола, 1937) предлагала читателям продолжение романа Б.Поплавского, а еще один отрывок появился в третьем — и последнем — выпуске альманаха. Вырванные из контекста, эти фрагменты воспринимались скорее как дневниковые записи, чем как страницы из романа, особенно теми читателями, кто лично знал автора. Глеб Струве разделяет это мнение, когда пишет: «Хотя в “Дневниках” Поплавский говорил, что все персонажи его двух романов им выдуманы, многое из дневников могло бы легко быть перенесено в “Домой с небес”, а такие места в романе, как следующие, читаются, как дневниковая запись: “О одиночество, ты всегда со мною...”»

(Струве Глеб. Русская литература в изгнании. Париж; Москва: УМСА-press; Русский Путь, 1996. С. 209). Автор «Русской литературы в изгнании», недолюбливавший Поплавского, все же признает: «В прозе Поплавского, действительно, есть и “музыка” (более подлинная, пожалуй, чем в его стихах, беспомощных и ритмически бедных), есть и словесная меткость, есть и доказательства наблюдательности. В обоих романах действие происходит в Париже, в “Домой с небес” главным образом на русском Монпарнасе. Русско-монпарнасская атмосфера передана очень хорошо» (Там же. С. 208).

Автобиографичность романа также подчеркивалась Бердяевым: Олег — это «в сущности сам Поплавский». Подтверждая эту догадку, Николай Татищев добавлял, что и остальные персонажи имели реальных прототипов (прототипом Тани, например, была Наталья Столярова), чьи имена они и носили в первоначальном варианте. Окрестить их по-иному автор согласился лишь по настоянию своего друга. Это не значит, однако, что роман сводится к фиксации жизненных событий или мысли автора, которому выбранный исповедальный жанр позволяет как бы объективизировать свои потенциальности, изображая их под масками разных персонажей. Этим свойством Поплавский наделил и своего демонического двойника: «Аполлон Безобразов со всех сторон был окружен персонажами своих мечтаний, которых он одного за другим воплощал в самом себе, продолжая сам неизменно присутствовать как бы вне своей собственной души, вернее, он не присутствовал, а в нем присутствовал какой-то другой и спящий, и грезящий, и шутя воплощавшийся в своих грезах, и этот другой держал меня в своей власти, хотя я часто бывал сильнее очередного его воплощенного двойника».

Лишь после публикации полного текста обоих романов (Домой с небес: Романы. С.-Петербург; Дюссельдорф: Logos; Голубой всадник, 1993) читателю удалось обратить должное внимание на художественный замысел писателя. В своем предисловии к этому первому русскому изданию прозы Поплавского профессор Луи Аллен утверждает, что оба романа «составляют дилогию. Третья часть триптиха “Апокалипсис Терезы” осталась незавершенной из-за смерти автора». Но никаких следов этой третьей части пока обнаружить не удалось. О ней, правда, упоминает отец писателя, Юлиан Поплавский («наброски плана последней части трилогии»), однако сам Поплавский в дневниках говорит только о своих двух романах. К тому же можно лишь гадать о месте, которое занял бы в трилогии «Апокалипсис»: последнее или центральное? (Ведь Тереза полностью отсутствует в «Домой с небес», оба романа отделены шестилетним промежутком времени, куда свободно мог бы поместиться рассказ о жизни Терезы в монастыре, в котором она затворилась в конце «Аполлона Безобразова».) Как бы то ни было, вопрос о художественной завершенности произведения как целого остается открытым, что осложняет и изучение его композиционных особенностей.

В центре второго романа находится фигура повествователя Васеньки, который, возмужав, превратился в Олега. После поездки на юг, где Олег встречается с Таней и решает искать путь спасения в любви к женщине, Аполлон выпадает из главной линии романа и вновь появляется только в конце, после окончательного провала Олега, потерявшего и Таню, и Катю — две ипостаси женственности. Именно тогда возобновляется диалог между Олегом и его двойником:

«— Ну как, удалось путешествие домой с небес?

— Нет, не удалось, Аполлон... Земля не приняла меня.

— Ну, так, значит, обратно на небо?

— Нет, Аполлон, ни неба, ни земли, а великая нищета, полная тишина абсолютной ночи...

— Ну ладно, ладно... Но, значит, опять друзья...

— Да, Аполлон, снова в раю друзей...»

Круг замыкается: пройдя определенный жизненный цикл, герой возвращается в первоначальное состояние. Небезынтересно также отметить, что последние слова романа перекликаются с последними словами, занесенными поэтом в свой дневник: «Рай и царство друзей». Таким образом трагически реализуется желание Поплавского «расправиться, наконец, с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной».

В данной публикации восстанавливаются часть отрывков и отдельные фразы, изъятые в вышедшем в 1993 г. в Петербурге сборнике прозы Поплавского («Домой с небес») и обозначенные в нем многоточием. Других разночтений между текстами обеих публикаций нет, что вполне естественно, так как обе опираются на тот же оригинал, а именно на рукопись Поплавского, хранившуюся в семье Татишевых и подготовленную для публикации Степаном Татишевым. Рукопись насчитывает 187 страниц, причем первая написана от руки Поплавским, так же как и два лирических отступления — видения (с. 54—55, рукопись), отрывок от 144 до 155 с. и 14 последних страниц (от 173 до 187). Либо Поплавский не успел все отпечатать, либо добавил позже лирический пролог и другие фрагменты не событийного порядка. Все цитаты и слова на французском языке вписаны рукой Поплавского, так же как и некоторые правки в тексте. На обратной стороне последней страницы Поплавский написал: «Дать прочесть: 1) Лиде 2) Костицкому 3) Пусе 4) Шаршуну 5) Соне 6) Софе 7) Адамовичу 8) Дине 9) Николаю 10) Г. Иванову 11) Фельзену 12) Яновскому 13) Ол. Льв. 14) Фриду 15) Оле».

В рукописи также заметны следы правки, судя по почеркам, Николая и Дины Татишевых.

Выражаем глубокую благодарность Анне Татишевой, предоставившей нам текст рукописи Поплавского.

С. 229. *Жан Поль (Jean Paul; наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763—1825)* — немецкий писатель, один из тех «братьев по

духу», которых Б. Поплавский безошибочно распознавал. Жан Поль формально относится к немецкому романтическому движению, хотя во многом предвещает самые смелые эксперименты XX в.; в его прозе основную смысловую нагрузку несут отступления и размышления «по поводу», сплошь да рядом встречаются вещие сны, видения и галлюцинации, а герои его раздваиваются и перевоплощаются. Для Жан Поля лишь тот может быть героем, кто «умеет возвышаться над землей... стремится к смерти и заглядывает по ту сторону туч». Немудрено, что этого загадочного писателя, интересовавшегося также Талмудом и Каббалой, открыли вновь в начале XX в., в ту пору, когда зарождался сюрреализм, и понятно, почему именно эта цитата вводит читателя в сложный внутренний мир повествователя «Домой с небес».

С. 230. *Потом змея подолгу читала газету...* — Образ змеи, появляющейся в предыдущей фразе в сравнении, обоснованном вполне реалистически, выступает здесь в качестве субъекта, а ведь олицетворенный змей, «человеко-змея», это и есть Аполлон Безобразов: содержание главы тринадцатой одноименного романа первоначально пояснялось следующими словами: «В которой змей говорит с дерева». В ней действительно люциферический герой искушает Васеньку, призывая его к вечному сну, т.е. к физическому исчезновению и метафизической смерти.

«*Paris-Midi*» — «Пари-Миди» (буквально: «Полуденный Париж») — газета, выходившая в 1930-е гг. и читаемая широкой публикой, «плебеями», соседствует здесь с «Учением о науке» *Фихте*, книгой сложной и мало кому доступной. Поплавский вообще любит подобные контрасты — вспомним его знаменитое «занимаюсь метафизикой и боксом». «Змея» же из обоих источников умеет черпать некую жизненную мудрость и даже вдохновение. Ведь газета — это чистейший образец «литературы голого факта».

С. 231. *Май 1932 года.* — Данный отрывок из «монашеского дневника» Аполлона Безобразова перекликается с дневником самого автора за тот же год (см. т. 3 наст. изд.) и в то же время идейно соединяет начало нового романа с «предыдущим действием», где гностическая тема появляется уже в третьей главе, а дальше развивается мысль о том, что «дьявол — самое религиозное существо на свете, потому что он никогда не сомневается... в существовании Бога».

С. 232. *...ехать в лагерь... уже не хочется...* — Русские всегда любили французскую Ривьеру, напомилавшую им родной Крым: еще до Первой мировой войны русская колония в Ницце насчитывала 3300 человек. После революции русские благотворительные организации (такие, как Земгор, Красный Крест, скауты и т.д.), скупая дешевые в те времена участки земли на побережье Средиземного моря, устраивали на них летние лагеря для детей и молодежи. В 1931 г., по официальной статистике, 4219 русских жили в департаменте Приморских Альп: у некоторых здесь сохранились виллы,

другие же лечились или работали (в 1923 г. Владимир Набоков, например, работал батраком в имении, где управляющим был Соломон Крым, бывший председатель крымского правительства). С 1926 г. в Провансе стали возникать русские сельскохозяйственные колонии (этот эпизод послужил темой для первого романа Нины Берберовой «Последние и первые» — Париж, 1931).

Тулон — военный порт на юге Франции.

Бандоль — морской курорт, расположенный между Марселем и Тулоном.

Катерина (Кэтрин) *Мэнсфилд* (1888–1923) — английская писательница. Мастер краткой формы, новеллы, где в центре внимания находится не интрига, а внутренний мир персонажей. К. Мэнсфилд провела конец своей жизни на юге Франции и под Парижем, в местечке Авон близ Фонтенбло, где Г. И. Гурджиев открыл свой Институт — педагогический и исследовательский центр по всестороннему изучению человеческой психики и возможностей ее духовного преобразования. Знаменитый оккультист взялся вылечить писательницу, болевшую туберкулезом. Под влиянием учения Гурджиева Мэнсфилд написала книгу «Гарден — Парти». В Авоне Мэнсфилд и умерла в 1923 г., занеся в свой дневник: «Я чувствую себя глубоко счастливой. Все хорошо».

С. 240. ...*в Терезины дни...* — Этим напоминанием автор восстанавливает «связь времен» в фиктивном пространстве романа. В биографии самого Поплавского это время соответствует периоду 1925–1926 гг., когда, вернувшись из Берлина, юный поэт попал под влияние Ильи Зданевича и стал жить в добровольном затворничестве («Был резким футуристом и нигде не печатался»).

С. 244. *Урыльник* — умывальник.

С. 245. «*Плегария*» — «Молитва» (исп. *Plegaria*).

С. 246. «*Последние новости*» — ежедневная газета (Париж, 1920–1940). Первым редактором был М. Л. Гольдштейн, бывший киевский адвокат, а с марта 1921 г. «Последние новости» — орган Республиканско-демократического объединения (РДО) — редактирует П. Н. Милюков. «Последние новости» были самой читаемой русской газетой не только во Франции, но и во всем русском рассеянии. В 1930-е гг. газета выходила тиражом 35 000 экз. В ней читатель мог найти информацию о текущих событиях во Франции и в России, а также узнать о литературной жизни русского зарубежья благодаря очеркам и отрывкам из романов, которые печатали видные писатели и критики.

С. 247. *Дон-Аминадо* (наст. имя и фам. Арнольд-Аминад Петрович (Пейсахович) Шполянский; 1888–1957) — писатель-сатирик. Начинал в 1913–1914 гг. как фельетонист. С 1916 г. сотрудник «Нового Сатирикона». Одновременно пишет стихи и выступает как драматург. С 1920 г. в эмиграции. В Париже выпускает сборники стихов и прозы, отмеченных мягким юмором и симпатией к «маленькому

человеку», а порой становящихся едкой сатирой, бичующей зло. Часто выступает вместе с Н.А.Тэффи и Сашей Черным. В 1930-е гг. после смерти Аверченко — крупнейший сатирик эмиграции, некоторое время редактор «Сатирикона» и детского журнала «Зеленая палочка», один из составителей Антологии русского юмора «Смех в степи» (на фр. яз.). Автор книги воспоминаний «Поезд на третьем пути» (1954).

Сатиры (в пещерах и в шелковых носках)... — Синтаксические конструкции, подобные этой, правильные с грамматической точки зрения, но абсурдные по смыслу, изобилуют в стихах Поплавского периода «русского Дада» (1924—1925).

С. 248. *Фавьер* (La Faviere) — в целях отстранения от личной биографии автора в первой редакции романа это название было заменено другим, ставшим впоследствии знаменитым, — Сен-Троpez — в те времена это маленький, живописный порт. В Фавьере под соснами у моря расположились несколько русских дачек, среди них дача П.Н.Милюкова, на которой проживали вначале Маша и Саша Черные, художник Билибин, Николай Станюкович. Сюда приезжали отдыхать профессор Метальников, Наталья Гончарова с Михаилом Ларионовым и среди «молодых» поэтов — Вадим Андреев, Антонин Ладинский и Борис Поплавский, навещавший Наталью Столярову летом 1932 и 1934 гг. Здесь же ютился Куприн — в сарайчике для рыбацких лодок на самом берегу. Над этой «свободной русской колонией» развевался русский флаг, и, как вспоминает поэт Николай Станюкович, когда, «перевалив холм, отделяющий бухту Фавьера от низменности Лаванду, я охватывал взором русские дачки и трепещущий над ними трехцветный флаг, мне казалось, что я вернулся домой» (Станюкович Николай. Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост. В.Крейд. М., 1994. С. 345).

С. 249. *Леонтьев Константин* Николаевич (1831—1891) — религиозный мыслитель, тонкий знаток литературы, автор великолепного исследования «О романах Л.Толстого. Анализ, стиль и веяние»; неприятие Леонтьевым современной западной цивилизации ярко выразилось в его знаменитой книге «Восток, Россия и славянство» (1885—1886). Идеи Леонтьева оказали несомненное влияние как на скифство, так и на евразийство.

С. 250. *Оверармстронг* — индийский стиль плавания.

С. 253. *Лафорг* — см. коммент. к с. 194.

Пруст Марсель (1871—1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени». Оказал огромное влияние на «младшее поколение» эмигрантских писателей (в том числе на Ю.Фельзена и Г.Газданова). Известно, что Поплавский читал доклад «О Прусте и Джойсе», текст которого до нас не дошел, однако отношение Поплавского к Прусту можно восстановить по разным его высказываниям. Поплавский не согласен с жизненной

позицией Пруста, который как бы заперся в «пробковой камере», пожертвовав реальной жизнью ради эстетического ее перевоплощения. Это «бесконечное отдаление», по мнению Поплавского, порождает тот «надменный эстетический катарсис», то отрешенное очищение, которым так злоупотреблял Пруст, окрасивший всю свою жизнь «в серо-голубой цвет своей предсмертной болезни» («По поводу...» — см. т. 3 наст. изд.). А с эстетической точки зрения Поплавский упрекает Пруста в переизбытке рассуждений, превращающем его романы как бы в некие «essais» (эссе), и утверждает, что «между Джойсом и Прустом такая же разница, как между болью от ожога и рассказом о ней» (там же). Поклонники Пруста — это своего рода «богословы», аскеты, жертвующие своей жизнью ради погружения в особый мир писателя.

...было... откровением о воплощении... — Эти слова, в которых выражается отказ от тезисов гностиков, перекликаются с записью, занесенной Поплавским в дневник 11–12 декабря 1931 г.: «Нет такого второго, более “физического” человека, чем я. Тело для меня — Божественное откровение души, явление ее» (см. т. 3 наст. изд.).

С. 255. *Гильгамеш* — мифопоэтический правитель города Урук в Шумере (конец 27 — начало 26 в. до н.э.).

...о море, атог. — Игра слов. Атог — любовь (лат.). На обыгрывании стихов Элюара Поплавскому удается передать «женскую природу» Средиземного моря, которое в конце концов предстает перед читателем как *волшебница* (во фр. яз. море — женского рода).

С. 268. ...свадебного марша «*Лоэнгрин*»... — «Лоэнгрин» — опера Рихарда Вагнера (1848). Во втором действии оперы Лоэнгрин вместе с невестой Эльзе, полный мрачных предчувствий, под звуки органа вступает в храм.

С. 278. *Летейский перевозчик* — в послегомеровских народных верованиях греков перевозчик Харон переправлял на челноке через реку Ахерон в подземное царство тени умерших. Поплавский, вероятно, перепутал Ахерон с Летою, рекой забвения.

С. 281. «*Гоелан*» (фр. *goéland*) — чайка.

С. 284. ...сен-мишелевский *Люцифер*... — Бульвар Сен-Мишель пересекает Латинский квартал, это студенческий «Невский проспект», место встреч и свиданий, место любовных побед и поражений.

С. 288. *Котдазюровская действительность* — от фр. *Côte d'Azur* — Лазурный берег, т.е. французская Ривьера, которую русские беженцы «колонизировали», — подробнее об этом см. коммент. к с. 232 и 248.

С. 289–291. «*Prose d'outre-tombe*», «*Sommeil — Apprentissage de la mort*». — Два отрывка, выпадающих из событийной последовательности, как бы восполняют пробел между «первым и вторым действием этого оккультно-макулатурного сочинения». Заглавие первого заимствовано у Шатобриана, автора «Замогильных записок», а вто-

рой связан с темой сна, столь знакомой Поплавскому (см. «Снежный час» — т. I наст. изд.), причем здесь, скорее, описан кошмар или страшная галлюцинация, навеянная наркотиками, всплывшая из московского детства, когда Поплавский ходил «кокаиниться в церкви», а «в подвалах были курильни гашиша и опия». Тема обоих отрывков общая — это взаимоотношение между мужчиной и женщиной. М. и Ж., обозначающие, по Вейнингеру, начала мужское и женское, несомненно, заимствованы Поплавским у Зинаиды Гиппиус. См. ее доклад «Арифметика любви», прочитанный на собрании «Зеленой лампы»: «сплетение двух начал, М. и Ж., во всякой личности... единственно и неповторимо» (Русский Эрос, или Философия любви в России. М., 1991. С. 212).

С. 296. «*Ротонда*» — см. коммент. к с. 47. В этом кафе Поплавский ежедневно встречался со своими друзьями-художниками К. Терешковичем, С. Карским, М. Ларионовым, В. Бартом, А. Френкелем и др. в 1921–1922 гг., когда он посещал художественную академию Ля Гранд Шомьер, мечтая посвятить себя живописи.

С. 297. «*Наполи*» — это маленькое кафе быстро исчезло, став частью «Ротонды».

...*Черносвитова, Околишина*... — Прототипом Черносвитова, по всей вероятности, является Сергей Шаршун, что подтверждается и сходством внешнего облика («с лицом испанско-индейского пастора в железных стариковских очках»), и некоторыми биографическими подробностями («загорелый сорокалетний сюрреалист... словако-испано-русско-французско-раскольниче-антропософский одинок»). Известно, что до Первой мировой войны Шаршун жил в Испании, что, обосновавшись в Париже, он стал называть себя «первым русским дадаистом» (а потом — сюрреалистом), а в дальнейшем, увлекшись антропософией, стал вегетарианцем и занялся самосовершенствованием. Околишин — вероятно, Ю. Фельзен.

С. 298. *В кабаке на рю Монпарнас*... — Русские кабаки стали появляться на Монпарнасе с 1930 г.; самыми шикарными были «Палата» и «Золотая рыбка». В последнем выступали знаменитые цыгане Дмитриевичи, с которыми дружили Александр Вертинский, Иван Мозжухин и Жозеф Кессель, описавший русский «Пигаль» (т.е. ночную жизнь в русских кабаке, расположенных на площади Пигаль) в своем знаменитом романе «Княжеские ночи». Нина Берберова вспоминает, что в «Золотую рыбку» она ходила вместе с Поплавским, который очень любил цыганские песни.

С. 299. *Эдгар Кине* — бульвар в монпарнасском квартале.

Кальвадос — яблочная водка.

С. 305. *Кафе du Dôme* — см. коммент. к с. 47.

С. 308. ...*о такси*... — Т.е. о работе на такси. До Второй мировой войны 3156 русских работали таксистами в Париже и его окрестностях. Несмотря на низкий заработок и на постоянное нервное напряжение, эта профессия ценилась эмигрантами, так как она пре-

доставляла некоторую независимость и была все же менее изнурительной, чем работа на автомобильных заводах Рено или Ситроен. Чтобы стать таксистом, надо было пройти медицинский осмотр и сдать довольно сложный экзамен, к которому можно было готовиться, посещая курсы, организованные Объединенным Союзом русских шоферов.

С. 310. *Απειρος* (др.-греч.) — бесконечный, бесчисленный.

С. 316. «*Par délicatesse j'ai perdu ma vie...*» — В этой фразе соединяются два последних стиха из строфы А. Рембо, послужившей эпиграфом к пятой главе «Аполлона Безобразова» («Себя сгубил я, приведенная»).

С. 320. «*Лаки Страйк*» («*Lucky Strike*») — во Франции очень дорогие в 1930-е гг. сигареты известной американской фирмы.

С. 326. *Касис* — наливка из черной смородины.

Куентро — марка крепкого ликера.

Итонский колледж — знаменитый колледж для детей из аристократических семей, находящийся в английском городе Итон. Девочки вряд ли в него принимали.

С. 327. *Якин-Боаз* (по-русски — Иахин-Воаз, от древнееврейского) — словосочетание примерно означает: «Пусть утвердит тот, кто в силе».

С. 328. ...«*белый жаркий день, как лошадь в гору...*» — Эта цитата, конечно, взята из дневника самого автора (см., например, запись от 20 июня 1935 г.: «Белый раскаленный день, ошпаренность шомажа, постыдная растерянность, тяжелая молитва лежа...»).

С. 329. ...*потаскился к себе на Place d'Italie*. — Девять последних лет своей жизни Б. Поплавский прожил с семьей около площади Италй, на улице Барро, № 76 bis, в маленьком павильоне, примостившемся на крыше огромного гаража фирмы Ситроен (в таких павильончиках обычно жили шоферы такси). В этом же бедняцком павильоне снимала квартиру и Дина Шрайбман.

С. 331. ...*в венке из воска...* — В этом абзаце автор воскрешает то время, когда, едва приехав из Константинополя, еще юношей, он «в венке из воска» (так названа четвертая книга стихов, которая вышла в Париже в 1938 г. после смерти поэта) бродил по Парижу, изнывая от тоски и одиночества (см. «Дневник 1921 года» в т. 3 наст. изд.).

С. 334. *С моноклем... луна оставлена Лафоргом ей в наследство...* — Эта фраза является цитатой первой строфы стихотворения «Другая планета», вошедшего в сборник «Дирижабль неизвестного направления» с посвящением Жюлю Лафоргу (см. коммент. к с. 194), но в первоначальном варианте, напечатанном Режисом Гейро (см.: Поплавский Б. Покушение с негодными средствами. Москва; Дюссельдорф: Гилея, Голубой всадник, 1997): в данном варианте мы читаем «лукаво» вместо «ехидно» и «ей» вместо «мне».

Душа 1925 года. — Это та душа, которая поддалась соблазну «безобразовщины» — в «то легендарное время» («Аполлон Безобразов»).

Сам Поплавский жил в «раю друзей» и был душой этого общества избранных, преклонявшихся перед его талантом. Илья Зданевич, писавший впоследствии: «жили мы тогда стихами Поплавского», даже собирался выпустить сборник стихов юного поэта под названием «Дирижабль на Северном полюсе» (об этой неосуществившейся публикации см. в книге «Покушение с негодными средствами»). Однако именно в 1925 г. Поплавский стал удаляться от своих старых друзей в надежде заслужить более широкое признание и «переменил» свою «душу» (о чем речь пойдет в следующих абзацах).

С. 336. «Хота» — испанский народный танец.

С. 343. ...*разобрать стихи 1924 года*... — Эту работу Поплавский успел завершить до смерти — собранные в одну папку стихи он намеревался напечатать под заглавием «В венке из воска». На титульном листе должно было значиться: «Первая книга стихов. Париж — Берлин, 1922—1924».

Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеалист, автор «Философии бессознательного» (1869). На его учение о мировой воле Ленин обрушился в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

...*сходить ко всемогущей на Petel*... — Весной 1931 г. в погребке на улице Петель, № 5, в 15-м районе Парижа, возникла церквушка, сооруженная усилиями прихожан, желавших остаться верными Москве, — в 1927 г. Евлогий, митрополит Западной Европы, перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата после того, как советская власть отменила Московский патриархат. По этому же адресу, но в новом здании в 1958 г. был основан Храм Трех Святителей с иконостасом и фресками, расписанными отцом Григорием Кругом и Леонидом Успенским.

С. 345. ...*пожизненном шомажном вспомоществовании*. — Т.е. пожизненном пособии по безработице (от фр. *chômage* — безработица).

С. 349. ...«*Героическую симфонию*»... — Имеется в виду Третья «Героическая» симфония (1804) Л. Бетховена.

...«*Послеполуденный отдых фавна*» *Дебюсси*. — Поплавский, несомненно, имеет в виду одноименный балет, заслуживший шумный и скандальный успех. На музыку Дебюсси Вацлав Нижинский поставил свой первый балет, для которого «Бакст сделал серию выразительных костюмов, в которых он оставался верным своеобразному архаизму, воскрешавшему мотивы Греции в стилизованных формах модерна» (Пожарская М.Н. Русское театральное-декоративное искусство. М., 1970. С. 257). Роль фавна, получеловека-полуживотного, Нижинский танцевал с такой выразительностью, что отдельные моменты в финале были сочтены непристойными. После премьеры, имевшей место 29 мая 1912 г., на страницах «Фигаро» появилась статья Г. Кальметта, директора газеты, утверждавшего, что на сцене выступал «неприличный фавн, с грубыми движениями,

полными животной чувственности». Зато гениальный танцор нашел достойного защитника в лице Родена, написавшего о нем восторженную статью в газете «Матэн».

Жимназ (фр. *gymnase*) — гимнастический зал.

Шадов боксинг (англ. *shadow boxing*) — бокс с воображаемым противником.

С. 356. *Камни говорят промеж собою...* — Тема «окаменения» в творчестве Поплавского заслуживает отдельного исследования. Вспомним «Превращение в камень» во «Флагах», характерное состояние из «Аполлона Безобразова» — «все каменело в его присутствии, как будто он был медузой», в дневнике от 1 марта 1934 г. — «Песнь безумца о свободе камней» и т.д.

С. 362. *...Лаэртидовы спутники...* — Лаэрт — царь Итаки, отец Одиссея в поэме Гомера.

...с элевсинской Деметрой... — В Элевсине, близ Афин, почитался культ богини земледелия Деметры.

...Кадмовым дочерям... — Дочери Кадма, основателя древнегреческого города Фивы, и Гармонии.

С. 363. *Геликоптер* — вертолет.

«Подражание Христу» — см. коммент. к с. 40.

С. 364. *Диана Эфесская* — храм Артемиды (греческое имя богини охоты) возвышался в Эфесе и считался в древности одним из семи чудес света.

С. 365. *Консомация* (от фр. *consommer* — потреблять) — в данном контексте: угощения.

С. 378. *Белус* — Бел — господин, хозяин, т.е. Бог.

С. 379. *Маркус-гностик* — либо Маркион (см. коммент. к с. 137), либо менее известный проповедник гностицизма Маркос.

С. 385. *Фра Беато Анжелико* (ок. 1400–1455) — итальянский монах и живописец, представитель раннего Возрождения, заслужил прозвище Беато (т.е. Блаженный) своей живописью, выражающей неземную гармонию и красоту. Этот незаурядный колорист украсил монастырь Святого Марка во Флоренции фресками, среди которых самой знаменитой является «Благовещение». В своих картинах он первым изобразил детально и с любовью пейзажи родного края. Творчество Анжелико свидетельствует о воплощении духа и воспевает одухотворенную материю.

...читал Гартмана... — Эдуард фон Гартман (1842–1906) — немецкий философ, последователь Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, автор «Философии бессознательного». Гартман приходит к выводу, что эволюция влечет Вселенную к уничтожению путем осознания ее неразумия и нецелесообразности.

Левиафан — морское чудовище наподобие дракона, упоминаемое в Библии. Бог, по преданию, либо умертвил его, либо заточил в глубокую пещеру.

С. 387. *«Пари Суар»* — «Вечерний Париж».

С. 388. *Азры хохуля...* — Эта «абракадабра» напоминает образцы заумной поэзии, созданные Поплавским в период «русского Дада». Видно, выкрики других продавцов газет и гул улицы воспринимались поэтом как своеобразная мелодия «неведомых слов».

С. 389. *Richelieu-Drouot* (Ришелье-Друо) — станция метро на Больших бульварах.

С. 394. *Франц Баадер* (1765—1841) — немецкий философ и теолог. Изучал сначала медицину и естественные науки, но рано обратился также к занятиям философией. Создатель своеобразной философской системы, в которой высказывается за полное отождествление знания и веры как единственно истинную форму познания Божества.

...по поводу грандиозного финансового скандала... — Скандал, в котором были замешаны высокопоставленные лица, был связан с именем Сергея Стависского (1886—1934), дельца русского происхождения. После его смерти (по всей вероятности, убийства) фашистские лиги устроили массовую демонстрацию 6 февраля 1934 г. в защиту префекта полиции Жана Кьяппа, снятого со своего поста новым президентом республики Эдуардом Даладьё после того, как полиция стреляла в толпу и было много раненых и убитых. «Дело Стависского» послужило усилению ксенофобии и антисемитизма, годы эти были особенно тяжелыми для русских эмигрантов, которым по малейшему поводу грозила высылка.

С. 396. *Кьяпп Жан* (1878—1940) — тогдашний парижский префект полиции, покровительствовавший фашистским лигам.

С. 404. *Десу* (фр. dessous) — нижнее белье.

С. 419. *Как Лебедь преследовал Леду...* — Леда — супруга спартанского царя Тиндарея, которой Зевс овладел, обратившись в лебедя.

...как бык ластился к Европе... — Европа — дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, принявшим облик быка. Европа родила Зевсу троих сыновей.

...как золотая туча спускалась к Даная. — Даная — дочь аргосского царя Акрисия. Во избежание исполнения зловещих пророчеств отец заключил ее в башню, в которую Зевс все же проник в виде золотого дождя. Даная родила Персея, будущего победителя Медузы Горгоны. Для Поплавского душа — это любимая Богом невеста.

С. 422. *«A quatre heures du matin, l'été...»* — Первая строфа «Благодатной предрассветной думы», стихотворения А. Рембо. Два последних стиха Поплавский запомнил неточно.

С. 423. ...*между Якином и Боазом.* — См. коммент. к с. 327.

С. 425. *«Утех, у кого ничего нет, отнимется еще и то, что есть», — любил он цитировать Павла.* — Имеется в виду ап. Павел. Данный текст в первооснове восходит к словам Иисуса Христа: «...ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф. 13:12); «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мк. 4:25).

С. 427. ...*неизвестного солдата*... — С 1921 г. под Триумфальной аркой находится могила Неизвестного солдата, символизирующего всех погибших на поле брани в войну 1914—1918 гг.

С. 429. *Леон Блуа* (1846—1917) — французский католический писатель. Стилист, любивший сочетание возвышенного и вульгарного, автор ряда биографий (среди прочих Наполеона, Жанны д'Арк), в которых он пытался раскрыть истинное значение судьбы своих героев. Блуа также в течение двадцати пяти лет регулярно публиковал выдержки из своего дневника.

Эрнест Хелло (1828—1885) — французский католический публицист.

Шарль Пегу (1873—1914) — французский поэт, философ и публицист, автор исторической драмы в стихах «Жанна д'Арк». Одна из его главных тем — тема воплощения духа.

Рамон Люль (1235—1315) — в молодости был трубадуром, затем посвятил себя философии и теологии. Люль создал учение на стыке трех культур — христианской, мусульманской и еврейской. Он много путешествовал и написал более трехсот книг на разные темы, от романа до мистических и научных сочинений. Считается создателем каталонского языка.

Мартинец де Паскали (1710—1774) — теософ, знаменитый в свое время чудотворец, основатель ордена для посвященных. Его сложная доктрина возникла под влиянием гностицизма. После его смерти орден слился с масонством.

СОДЕРЖАНИЕ

АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ.....	5
ДОМОЙ С НЕБЕС	227
Комментарии	431

Поплавский Б.

П57 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2: Аполлон Безобразов. Домой с небес: Романы / Подготовка текста, коммент. А.Богословского, Е.Менегальдо. — М.: Согласие, 2000. — 464 с.

ISBN 5–86884–057–7 (Т. 2)

ISBN 5–86884–055–0

Проза Бориса Поплавского (1903—1935) — явление оригинальное и значительное, современники считали, что в ней талант Поплавского «сказался даже едва ли не ярче, чем в стихах» (В.Вейдле). Глубоко лиричная, она в то же время насквозь философична и полна драматизма. Герои романов — русские эмигранты, пытающиеся осмыслить свою судьбу и найти свое место на этой земле.

УДК 882

ББК84 (2Рос=Рус)6

Борис Юлианович Поплавский
Собрание сочинений в трех томах
Том второй

Компьютерная верстка *Г. С. Азимов*

Корректор *Г. В. Заславская*

Подписано в печать 10.07.2000 г. Формат 84х108 ¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарнитура *Ньютон*. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 23,89. Заказ № 5124
ЗАО «СОГЛАСИЕ». 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28, стр. 1.
ЛР № 040552 от 31 июля 1998 г.
e-mail: soglasie@mail.ru
<http://www.user.cityline.ru/~amid/soglasie.html>

ОАО Типография «НОВОСТИ».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Как ни своеобразны, певучи, находчивы, остроумны, как ни пленительны стихи Поплавского, я думаю, что по-настоящему должен был он найти себя не в стихах, а в прозе. Надо надеяться, что два его романа будут рано или поздно обнародованы. Я знаю только отрывки: есть среди них страницы восхитительные... Его «Аполлон Безобразов», конечно, так же личен и лиричен, как его стихи, но то, что в нем сказано, — сказано глубже и тверже.

Георгий Адамович

Теперь, когда напечатана его проза, опубликованы его дневники, Поплавский — в своей жизни и в своем творчестве — нам ясен. Как это часто бывает с гениальными неудачниками, лучшее, что осталось от него — это его дневниковая исповедь и те страницы «Домой с небес», которые близки к этой исповеди.

Нина Берберова

В герое романов Поплавского много жалкого и болезненного, отвратительного добродетельному читателю, и все-таки в нем есть что-то необыкновенно привлекательное. Читая Поплавского, мы все время чувствуем присутствие живого человеческого существа, одинокого и несчастного, с вечно ноющей в сердце болью и грустью, неспособного к насмешке.

Владимир Варшавский

ISBN 978-5-86884-057-9



9 785868 840579 >